ФРАНЦ
ВЕРФЕЛЬ

Песнь Бернадетте



АЗБУКА-КЛАССИКА

Песнь Бернадетте
Франц Верфель

Аннотация
Франц Верфель. Песнь Бернадетте
Предисловие автора
Часть первая. Вторичное пробуждение 11 февраля 1858 года
Глава первая. В кашо
Глава вторая. Массабьель, дурное место
Глава третья. Бернадетта ничего не знает о Святой Троице
Глава четвертаяКафе «Прогресс»
Глава пятая. Кончился хворост
Глава шестая. Яростный и горестный рев Гава
Глава седьмая. Дама
Глава восьмая. Чуждость мира
Глава девятая. Мадам Субиру выходит из себя
Глава десятая. Бернадетте не дозволено видеть даму во сне
Часть вторая. Будьте так добры
Глава одиннадцатая. Камень летит вниз
Глава двенадцатая. Первые слова
Глава тринадцатая. Посланцы науки
Глава четырнадцатая. Секретное совещание,

которое оказывается прерванным
Глава пятнадцатая. Объявление войны
Глава шестнадцатая. Дама и жандармы
Глава семнадцатая. Эстрад возвращается от грота
Глава восемнадцатая. Декан Перамаль требует чудесного пробуждения розы
Глава девятнадцатая. Вместо чуда – позор
Глава двадцатая. Зарница
Часть третья. Источник
Глава двадцать первая. День после позора
Глава двадцать вторая. Обмен четками, или: «Она меня любит»
Глава двадцать третья. Луидор и пощечина
Глава двадцать четвертая. Ребенок Бугугорт
Глава двадцать пятая. Ты играешь с огнем, о Бернадетта!
Глава двадцать шестая. Круги по воде, или Жалкие подражатели
Глава двадцать седьмая. Огонь играет с тобой, о Бернадетта!
Глава двадцать восьмая. Адольф Лакаде решается на государственный переворот
Глава двадцать девятая. Епископ просчитывает последствия
Глава тридцатая. Прощание навсегда

Часть четвертая. Теневые стороны благодати
Глава тридцать первая. Сестра Мария Тереза покидает город
Глава тридцать вторая. Психиатр включается в борьбу
Глава тридцать третья. Перст божий, или Епископ дает Даме шанс
Глава тридцать четвертая. Один анализ и два оскорбления его величества
Глава тридцать пятая. Дама побеждает императора
Глава тридцать шестая. Бернадетта среди мудрецов
Глава тридцать седьмая. Последнее искушение
Глава тридцать восьмая. Белая роза
Глава тридцать девятая. Наставница послушниц
Глава сороковая. Мой час еще не пробил
Часть пятая. Польза страданий
Глава сорок первая. Золотые руки
Глава сорок вторая. Сразу много гостей
Глава сорок третья. Знамение
Глава сорок четвертая. Не для меня этот источник
Глава сорок пятая. Дьявол терзает Бернадетту
Глава сорок шестая. Адские мучения плоти

Глава сорок седьмая. Внезапное озарение
Глава сорок восьмая. Я никого не любил
Глава сорок девятая. Я люблю
Глава пятидесятая. Пятьдесят «Ave Maria»

Аннотация

Франц Верфель – классик австрийской литературы XX века, пражский поэт, писатель и драматург, ученик Густава Майринка, соратник и друг Макса Брода, Райнера Марии Рильке, Роберта Музиля, Мартина Бубера – был звездой. Он считался лицом немецкоязычного экспрессионизма и вместе с Францем Кафкой и Максом Бродом входил в «пражский круг» – группу писателей и поэтов, которые перед началом Первой мировой изобретали неслыханный голос новой литературы. Поэзией Верфеля восхищались мэтры; его пьесы ставили по всей Европе. Верфель обладал развитым чутьем к трагическому, страшному и смешному, журналистской наблюдательностью, романтическим, порой мистическим взглядом на реальность и редким умением улавливать тончайшие движения человеческой души. Его поздний роман «Песнь Бернадетте», ставший бестселлером в США и экранизированный в 1943 году, – проникновенная и подкупающая своей репортерской точностью история французской девочки,

которой в Лурде являлась Дева Мария; история бескомпромиссной честности, любви и восторга перед этим миром вопреки всему.

Франц Верфель
Песнь Бернадетте

Franz Werfel
DAS LIED VON BERNADETTE
© Е. Е. Михелевич (наследники), перевод, 1997
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2023
Издательство Азбука®
Серийное оформление Вадима Пожидаева
Оформление обложки Валерия Гореликова, Татьяны Павловой

* * *

Памяти моей падчерицы Манон

Предисловие автора

В конце июня 1940 года, после падения Франции, мы, спасаясь бегством, покинули наше тогдашнее местопребывание на юге страны и добрались до Лурда. Мы, то есть моя жена и я, еще надеялись, что успеем в последний момент перебраться через испанскую границу в Португалию. Но, поскольку все до единого консулы отказали нам в выдаче необходимых для этого виз, нам ничего не оставалось, как в ту же ночь, когда немецкие войска заняли пограничный город Андэ, с величайшими трудностями бежать вглубь Франции. Департаменты Пиренеев превратились в сплошной охваченный хаосом военный лагерь. Миллионы участников нового диковинного переселения народов блуждали по дорогам и до отказа заполняли города и деревни: французы, бельгийцы, голландцы, поляки, чехи, австрийцы, немцы, изгнанные из Германии, среди прочих — солдаты разбитых армий. Лишь с величайшим трудом можно было раздобыть скудную пищу и кое-как утолить голод. Кому удавалось заполучить хотя бы стул с мягкой обивкой, чтобы провести на

нем ночь, становился объектом зависти. Бесконечными рядами стояли на дорогах автомобили беженцев, набитые домашней утварью, матрацами, кроватями, так как бензина не было вовсе. В По мы услышали от одной местной семьи, что единственное место, где при большом везении еще можно, вероятно, найти убежище, — это Лурд. Поскольку мы находились всего в тридцати километрах от этого знаменитого города, нам посоветовали рискнуть постучаться в его ворота. Мы последовали совету и наконец обрели кров.

Таким образом Провидение привело меня в Лурд, о чудесной истории которого я имел до той поры лишь самое поверхностное представление. Несколько недель мы скрывались в этом городе в Верхних Пиренеях.

Это было страшное время. Но и очень важное для меня, так как я впервые узнал необыкновенную историю девочки Бернадетты Субиру и познакомился с фактами чудесных лурдских исцелений. Однажды, находясь в крайней опасности, я дал обет. Если мне удастся выбраться из этой отчаянной ситуации и достигнуть спасительных берегов Америки — так поклялся я сам себе, — первая работа, за которую я возьмусь, будет песнь Бернадетте, которую я восславлю,

насколько это будет в моих силах.

Эта книга есть исполнение моего обета. Эпическая песнь в нашу эпоху неизбежно должна была воплотиться в форме романа. «Песнь Бернадетте» — роман, но не вымысел. Ввиду характера описанных событий недоверчивый читатель с большим правом, чем при чтении других исторических сочинений, задаст вопрос: «Что здесь правда? Что придумано?»

Я отвечаю: все знаменательные события, которые описаны в этой книге, произошли в действительности. Поскольку нас отделяет от их начала не более восьмидесяти лет, они не теряются во мгле истории и их правдивость подтверждена достоверными свидетельствами как друзей и врагов, так и множества беспристрастных наблюдателей. Мой рассказ ничего к этой правде не прибавляет и ничего в ней не изменяет.

Правом на поэтическую вольность я пользовался только там, где художественное творение требовало некоторого хронологического сжатия и где необходимо было высечь из материала живую искру.

Я осмелился пропеть хвалебную песнь Бернадетте, хотя я не католик; более того, я еврей. Отвагу для этого мне дал гораздо более ранний и куда более неосознанный обет. Уже в ту пору, когда я сочинял свои первые стихи, я поклялся себе всегда и везде прославлять своими творениями божественную тайну и человеческую святость — вопреки нашему времени, которое с насмешкой, злобой и равнодушием отворачивается от этих величайших ценностей нашей жизни.

Лос-Анджелес, май 1941

Франц Верфель

Часть первая
Вторичное пробуждение 11 февраля 1858 года

Глава первая
В кашо[1]

Франсуа Субиру поднимается в темноте. Ровно шесть. Серебряных часов, свадебного подарка умной свояченицы Бернарды Кастеро, у него давно нет. Залоговая квитанция городского ломбарда на эти часы и на некоторые другие убогие ценности истекла уже прошлой осенью. Но Субиру знает, что сейчас ровно шесть, хотя колокола городской церкви Святого Петра еще не звонили к утренней мессе. У бедняков часы в голове. Они знают время, даже не глядя на циферблат и не слыша боя часов. Бедняки вечно боятся опоздать.

Субиру нащупывает деревянные башмаки, но не надевает их, а берет в руки, чтобы не производить шума. Он стоит босой на ледяном каменном полу и слушает дыхание своей спящей семьи, эту удивительную музыку, от которой у него сжимается сердце. Шесть человек спят в этом помещении. Он и его Луиза еще сохранили свою прекрасную свадебную кровать, свидетельницу их радостного начала. Старшие девочки, Берна-

---

[1] Notes: 1

Кашо — тюрьма, застенок *(фр.). — Здесь и далее примеч. перев.*

детта и Мария, делят на двоих неудобное жесткое ложе. А младших, Жана Мари и Жюстена, мать укладывает на соломенном тюфяке, который на день убирают.

Франсуа Субиру, все еще не трогаясь с места, бросает взгляд на камин. Это, собственно, даже не камин, просто примитивный очаг, который владелец этой «роскошной квартиры» Андре Сажу сам соорудил для своих жильцов. В очаге под золой еще тлеют и потрескивают несколько веток, слишком сырых и потому не сгоревших дотла. Время от времени вспыхивает слабый огонек. Но у Франсуа недостает энергии подойти и раздуть пламя. Он переводит взгляд на окна, за которыми начинает сереть. Его глубокое недовольство жизнью переходит в гневную горечь. С губ готово слететь проклятие. Субиру — странный человек. Больше, чем убогость комнаты, его раздражают два зарешеченных окна, одно побольше, другое поменьше, два мерзостно косящих глаза, глядящих на узкий, грязный двор кашо, где благоухают отбросы со всей округи. В конце концов, он ведь не какой-нибудь бродяга или старьевщик, он честный мельник, бывший владелец мельницы, в сущности, не хуже, чем господин де Лафит со своей лесопилкой.

Его мельница в Боли под Шато-Фор была просто замечательная. Мельница Эскобе в Арсизак-лез-Англь тоже была недурна. Даже старая мельница в Бандо, хоть она и не стяжала такую славу, как две первые, свое дело делала. Разве он, честный мельник Субиру, виноват в том, что ручей Лапака, на котором стояла мельница, с годами обмелел, что цены на зерно поднялись, а безработица все растет? В этом виноват Господь Бог, император, префект, черт знает кто, только не он, честный Франсуа Субиру, хоть он и позволяет себе иногда пропустить стаканчик или перекинуться в трактире в картишки. Но виноват Субиру в этом или не виноват, — что толку, жить приходится в кашо. Кашо на улице Пти-Фоссе — не жилой дом, это бывшее место заключения, городская тюрьма. Стены здесь сочатся сыростью. Щели затянуты плесенью. Все дерево коробится. Хлеб мгновенно покрывается белым налетом. Летом здесь жара, а зимой мороз. Поэтому несколько лет назад мэр Лакаде распорядился кашо закрыть, а преступников и бродяг перевести в караульное помещение внутри городских ворот Бау, исключительно для того, чтобы создать им более сносные условия. Предполагается, что для семьи Субиру условия в кашо достаточно хороши. Как бы не так, думает

бывший мельник. Бернадетта опять хрипела и хлюпала носом. И тут Субиру вдруг становится так себя жалко, что он принимает решение опять забраться в постель и еще поспать.

Но до такой трусливой сдачи позиций дело не доходит, так как просыпается и встает матушка Субиру. Это женщина лет тридцати пяти — тридцати шести, выглядящая на все пятьдесят. Она тотчас наклоняется над огнем, раздувает искры, ворошит дымящуюся солому, подкладывает щепки и несколько сухих веток и наконец вешает над вновь занявшимся пламенем медный чайник с водой. Субиру величественно и мрачно наблюдает за безмолвными хлопотами жены. Он тоже не произносит ни слова. День начинается, обычный день со своими тяготами и разочарованиями. Такой же, как был вчера, такой же, как будет завтра. Наконец-то зазвонили колокола городской церкви. От этого дня уже никуда не деться.

У Франсуа Субиру одно-единственное желание: влить в свой пустой желудок обжигающий глоток водки. Но бутылку забористой настойки «Чертова травка» матушка Субиру держит под замком. Высказать вслух свое желание он не решается, так как «Чертова травка» — вечный предмет споров между супругами. Франсуа еще

немного медлит и наконец влезает в башмаки.

— Я уже выхожу, Луиза, — тихонько бормочет он.

— У тебя есть на примете что-нибудь определенное? — спрашивает жена.

— Да, конечно, кое-что есть, — глухо отвечает он.

Этот диалог повторяется ежедневно. Достоинство не позволяет Субиру признаться самому себе и открыть жене всю безрадостную правду их положения. Женщина с надеждой делает шаг от очага.

— Наверное, у Лафита? На лесопилке?

— Как бы не так, у Лафита! — насмехается он. — Кто говорит о Лафите? Но знаешь, я поговорю с Мезонгросом и с Казенавом, почтмейстером…

— Мезонгрос, Казенав… — Женщина разочарованно повторяет эти имена и возвращается к своим делам.

Франсуа нахлобучивает на голову берет. Его движения медленны и неуверенны. Внезапно жена вновь поворачивается к нему.

— Я вот о чем подумала, Субиру. Нам надо отослать из дому Бернадетту, — шепчет она.

— Что значит «отослать из дому»?

Субиру только что отодвинул тяжелый дверной

засов. Ведь это же дверь тюрьмы. Каждый раз, когда он отодвигает этот засов, ему вспоминается самое скверное время в его жизни: когда он целый месяц сидел без вины в следственной тюрьме. Его рука бессильно падает. Он слышит шепот жены:

— Я думаю, ее можно отправить к тете Бернарде. Или, еще лучше, в деревню, в Бартрес. Я уверена, Лагесы снова захотят ее взять. Там у нее будет свежий воздух, козье молоко, хлеб с медом, к тому же она так любит деревню, а немножко работы ей не повредит…

Франсуа Субиру чувствует, как его вновь охватывает горечь. Он понимает резоны Луизы, но душа его протестует. У Франсуа слабость к громким словам и гордым жестам. Вероятно, среди предков Субиру были испанцы.

— Значит, я и вправду нищий! — в отчаянии восклицает он. — Мои дети голодают. Я вынужден отсылать их к чужим людям…

— Опомнись, Субиру, — прерывает его жена, так как он говорит слишком громко. Она смотрит на него, стоящего с опущенной головой, такого отчаявшегося, но полного достоинства и такого слабовольного. Затем поворачивается к шкафу, достает бутылку и наливает ему рюмку.

— Неплохая мысль, — говорит он смущенно, глотая обжигающее зелье. Душа его жаждет повторения. Но он пересиливает себя и уходит. На кровати, где спят сестры, лежит Бернадетта, старшая, с широко открытыми спокойными темными глазами.

Глава вторая
Массабьель, дурное место

Улица Пти-Фоссе — одна из тех узких улочек, что со всех сторон обегают Лурд, старинную, расположенную на горе крепость. Улица поднимается извивами, пока не выводит на главную городскую площадь Маркадаль. Рассвело. Однако уже в нескольких шагах совсем ничего не видно. Небо низко нависает над головой. Густая пелена дождя и крупного снега — снежинки больно ударяют Субиру в лицо. Мир вокруг пуст и равнодушен. Лишь звуки горнов драгунского эскадрона из крепости и из Немурской казармы звонкими сигналами побудки прерывают безмолвие. Хотя здесь, внизу, в долине Гав-де-По, снег уже тает, ледяная стужа пробирает до костей. Это дыхание Пиренеев, притаившихся за облаками, пронизывающее послание тесно сгрудившихся ледяных вершин, от Пик-дю-Миди до зловещего демона Виньмаля, там, между Францией и Испанией.

Руки у Субиру покраснели и окоченели, небритые щеки мокры от дождя и снега, глаза болят. Однако он долго мнется в нерешительности

перед булочной Мезонгроса, прежде чем войти внутрь. Он знает заранее: все напрасно. Правда, в прошлый карнавал Мезонгрос нанимал его время от времени и использовал как разносчика. На масленицу различные братства и корпорации устраивают свои праздники. К примеру, большой бал портновского цеха, почитающего святую Лючию. Бал обычно проходит в гостинице почтовой станции, и фирма Мезонгроса поставляет туда весь свой товар, начиная от хлеба и кончая кремовыми тортами и пышками. Именно тогда Субиру заработал солидную сумму в сто су, да еще принес детям полный кулек всяческих гостинцев.

Он собирается с духом. Входит в лавку. Добрый материнский запах свежего хлеба обволакивает его, одурманивает все его чувства. Толстый булочник, прикрыв живот белым фартуком, стоит посреди лавки и громко командует двумя подмастерьями, которые, обливаясь потом, таскают из печи черные противни с пышными булочками.

— Может, я вам сегодня в чем пособлю, месье Мезонгрос? — спрашивает Субиру, стараясь говорить как можно непринужденнее. При этом его рука привычно залезает в открытый мешок, и опытные пальцы, пальцы мельника, с наслаждением перетирают и пробуют на ощупь муку.

Толстяк не удостаивает его даже взглядом. Голос у Мезонгроса сиплый, как у всех зобастых.

— Что у нас сегодня за день, старина? — брезгливо сипит булочник.

— С вашего дозволения, четверг, месье…

— Сколько же дней осталось до «Пепельной» среды? — продолжает допытываться Мезонгрос тоном учителя, ставящего ученику ловушку.

— Еще шесть дней, месье, — нерешительно отвечает мельник.

— Именно так! — торжествует Мезонгрос, словно он выиграл пари. — Шесть дней, и конец этому дурацкому карнавалу. А корпорации так и так заказывают теперь не у меня, а у Руи. Старое доброе время накрылось окончательно. Нынче им подавай не булочника, а кондитера. И коли так обстоят дела во время карнавала, можно себе представить, что принесет нам Великий пост. Нынче же вышвырну за дверь одного из этих бездельников…

Франсуа Субиру мучительно размышляет. Не попросить ли ему сейчас у булочника хлеба? Но он не в силах выговорить просьбу. Не хватает храбрости. «Даже в попрошайки и то не гожусь»… — проносится у него в голове. Словно недовольный покупатель, он поправляет берет и

молча покидает лавку.

Чтобы попасть на почтовую станцию, ему нужно пересечь площадь. Казенав собственной персоной уже стоит посреди двора в окружении своих карет и упряжек. Бывший сержант тыловой части в По, он привык вставать спозаранку. Служил он, правда, давным-давно, еще при жирном Луи-Филиппе. Но Казенав очень любит, когда к нему обращаются по-военному, да еще задним числом повышают его в чине. Во всякое время дня он носит высокие сапоги, начищенные до блеска, и кавалерийский хлыст, которым лихо хлещет по своим голенищам. На багровом лице с сизым отливом выделяются закрученные, густо нафабренные императорские усы. По одному этому можно догадаться, что Казенав — убежденный бонапартист, под каковым понятием он разумеет некий партийный символ веры, в котором слова «Франция» и «слава» постоянно сочетаются со словом «прогресс». С тех пор как построили железнодорожную ветку от Тулузы через Тарб и По на Биарриц — причина в том, что император и особенно императрица Евгения регулярно посещают Биарриц, — дела у содержателя почтовой станции в Лурде пошли еще лучше прежнего. Любой путешественник или пациент, желающий

посетить один из пиренейских курортов, непременно вынужден останавливаться у Казенава. В его руках сосредоточены все возможности, за большую или меньшую плату, с удобствами или без оных, доставить всех жаждущих отдыха в Аржелес, Котре, Гаварни, Люшон. Сейчас, конечно, до начала сезона еще далеко. Какими приманками его удлинить и как увеличить число приезжих — эти вопросы являются предметом постоянной дискуссии между Казенавом и честолюбивым лурдским мэром Адольфом Лакаде.

Субиру в свои юные годы две недели прослужил в армии, большего от него не требовалось. Сейчас он изображает, насколько это возможно, солдатскую выправку и строевым шагом подходит к Казенаву.

— Доброе утро, господин почтмейстер! Не найдется ли у вас для меня работенки?

Казенав важно надувает щеки и презрительно фыркает:

— А, это опять ты, Субиру? Когда уж наконец твои дела наладятся, черт побери? Каждый должен делать свою работу. Никому ничего на блюдечке не подносят…

— Господь немилостив ко мне, месье… Вот уж сколько лет, как счастье меня покинуло…

— Наше счастье, может, и зависит от Господа Бога, мой друг, но в нашем несчастье, это уж точно, всегда виноваты мы сами…

Свист хлыста громко подтверждает эту истину. Субиру опускает глаза.

— Мои дети уж точно в этом несчастье не виноваты.

Казенав отдает громкий приказ конюху Дутрелу. Субиру вытягивается перед ним, делая последнюю попытку.

— Может, все-таки что-нибудь найдется… господин капитан…

Казенав становится благосклоннее.

— Я всегда охотно помогу старому вояке… Но сегодня правда ничего нет…

Тело мельника на глазах тяжелеет. Он медленно поворачивается к воротам. Но тут Казенав его останавливает:

— Погоди, любезный! В конце концов, двадцать су ты можешь заработать. Работа, конечно, не слишком чистая. Старшая милосердная сестра из больницы требует, чтобы вывезли за город и сожгли больничный мусор. Использованные бинты, послеоперационную корпию, белье с заразных больных и тому подобное. Если желаешь, запряги гнедого в маленькую тележку…

Двадцать су!

— А вы не могли бы заплатить тридцать, господин капитан?

Казенав не удостаивает его ответом.

Субиру действует согласно указаниям. Запрягает дряхлого гнедого, худшего коня в конюшне, в небольшую тележку. И вот уже тележка трясется по камням и ухабам на пути в больницу, в которой трудятся сестры из монастыря Святой Жильдарды Неверской, в то время как другие монахини той же обители преподают в здешней школе для девочек. Больничный привратник уже выставил три ящика с отбросами. Они не тяжелы, но от них, как от чумы, разит нищетой всякой плоти. Мужчины грузят ящики на тележку.

— Будь поосторожнее, Субиру! — предостерегает привратник, крупный авторитет в области медицины. — В этом дерьме бездна всякой заразы. Отвези его подальше, к пещере Массабьель, сожги, а золу выбрось в реку!

Дождь и снегопад прекратились. Тележка громыхает по скверной мостовой. Больница Неверских сестер находится у северного въезда в город, там, где пересекаются дороги из По и Тарба. Субиру приходится притормаживать на спуске по крутой улице Басс, чтобы выехать из Лурда

через западные ворота Бау. Только переехав Старый мост, еще римской постройки, он может немного разжать онемевшую руку с вожжами. Он дает гнедому самостоятельно брести по дороге. Гав делает здесь крутой поворот. Древний горный поток возмущенно шумит на тысячу голосов, словно этот почти прямоугольный поворот причиняет ему невероятную муку. На пути разгневанной реки повсюду встают гигантские гранитные глыбы. Субиру не прислушивается к шуму Гава. «Почтмейстер не сказал мне „нет“, — размышляет бывший мельник, — он наверняка заплатит мне тридцать. На восемь су куплю четыре хлеба, но не у Мезонгроса, клянусь честью, не у Мезонгроса. Полфунта овечьего сыра, это сытно; вместе с хлебом это будет четырнадцать су. Прибавим два литра вина, уже двадцать четыре су. Еще бы куска два сахара, подсластить вино детям, сахар укрепляет силы… А всего лучше отдам тридцать су Луизе. Тогда мне не надо будет все это распределять. Пусть сама решает. Себе не возьму ни единого су. Клянусь всеми святыми…»

Несмотря на перспективу получить тридцать су — можно сказать, подарок Небес, — на душе у Субиру становится все мрачнее. Голод подступает к нему в виде тошноты, еще усиливающейся от

мерзкого запаха поклажи. Дорога огибает владения господина де Лафита, известного лурдского богача, который, прежде чем счастье вознесло его на недосягаемую высоту, начинал, как и Субиру, простым мельником. Его обширное имение расположено на так называемом острове Шале, образуемом изгибом Гава и ручьем Сави, который впадает в реку за скалой Массабьель. Владения Лафита включают в себя господский дом в стиле короля Генриха IV, со множеством башенок и эркеров, парк, просторные лужайки и весьма внушительную лесопилку. В Лурде ее с почтением называют «фабрикой». Лесопилка построена с размахом, великолепная плотина собирает всю силу ленивого мельничного ручья и дает неожиданно много энергии. На этом ручье стоит и маленькая старая мельница. Сидя на козлах, Субиру уже отчетливо ее видит. Мельница принадлежит Антуану Николо и его матери. Субиру отчаянно завидует Николо, в сто раз больше, чем богачу Лафиту с его замком, фабрикой и роскошными каретами. Слишком большое богатство зависти не вызывает. Но с Николо он бы мог потягаться. Разве он хуже этого Николо? Он определенно лучше: старше, опытнее, это уж точно. Но непостижимые Небеса распорядились

по-своему: тот, кто лучше, сидит на мели, а кто хуже, спокойно посиживает на пороге мельницы Сави и следит за равномерным вращением мельничного колеса. Субиру с такой силой хлестнул гнедого по костлявому крупу, что тот невольно подпрыгнул и перешел на рысь. Дорога теряется в бурых вересковых зарослях. Серебристые тополя господина де Лафита остались позади. Остров Шале становится все пустыннее. На этой его стороне растут только дикий самшит и несколько кустов орешника. Полосы ольшаника, окаймляющие Гав справа, а ручей Сави — слева, бегут друг другу навстречу.

На левом берегу как реки, так и ручья вздымается скалистый склон. Это не слишком высокая гора с приземистым каменным гребнем, в просторечье ее называют Трущобной или Трухлявой. Дело в том, что в ее скалистой толще природа выдолбила несколько пещер, или, выражаясь поблагороднее, гротов. Самый большой из них, грот Массабьель, находится сейчас прямо перед глазами Субиру. Это углубление в известковом обрыве, шириной примерно в двадцать шагов и глубиной в двенадцать, формой оно напоминает жерло хлебопекарной печи. Пустая сырая дыра, засыпанная галькой и речным мусором — весной

ее регулярно заливают воды Гава, — зрелище безотрадное. Среди галечника кое-где пробиваются чахлые побеги папоротника и мать-и-мачехи. На половине высоты грота, на скалистой стене чудом прицепился и растет единственный тощий куст дикой розы, как бы обрамляющий отверстие в форме вытянутого овала или остроконечной готической арки, словно это вход в соседнюю каменную пещеру. Можно вообразить, что этот узкий овальный вход, или это готическое окно, высекла в незапамятные времена рука древнего строителя. Пещера Массабьель пользуется дурной славой у жителей Лурда и у крестьян окрестных деревень долины Батсюгер. Это определенно дурное место: старухи рассказывают немало ужасающих историй, якобы произошедших в этой пещере, и уверяют, что там «нечисто». Когда рыбаков, пастухов или тех, кто собирает хворост в общинном лесу Сайе, находящемся поблизости, застигает гроза и им приходится искать здесь убежища, они всякий раз осеняют себя крестом.

Франсуа Субиру — не старая баба, он мужчина, закаленный жизнью, и его не слишком пугают страшные истории о духах и привидениях. Он останавливает повозку на узком перешейке

между Гавом и ручьем Сави. Слезает с козел и размышляет, как бы ему побыстрее управиться со своей работой. Может, имеет смысл перетащить повозку через мелкий ручей и сжечь больничные отбросы внутри грота, где огонь разгорится легче, чем на воздухе. Субиру медлит. Перетаскивая ветхую повозку по острым камням на дне ручья, ее легко повредить, а то и сломать.

Франсуа никогда ничего не решает быстро. Он стоит и чешет в затылке, покуда до его слуха не доносится глухое хрюканье и заглушающие его грубые возгласы. Это свинопас Лерис со своим стадом. Свинопас выбегает на противоположный берег ручья, а его черные свиньи блаженно возятся в небольшом болотце между общинным лесом и гротом Массабьель. Лерис — тоже человек, немилосердно побитый жизнью. Субиру в какой-то мере презирает его и смотрит на него свысока. Во-первых, Лерис — кретин; во-вторых, у него так называемая волчья пасть и он лает и воет, когда пытается говорить; в-третьих, он пасет свиней, что прошедший обучение мельник считает едва ли не самым презренным делом на свете. Лерис — низкорослый приземистый детина с непомерно большой рыжей головой и раздутым зобом. С головы до ног он закутан в овечьи шкуры — это

делает его похожим на туго перевязанный пакет. (Директор школы Кларан считает, что древний житель Пиренеев внешне был в точности подобен Лерису.) Лерис подает взволнованные знаки Субиру. Свинопас всегда взволнован, как все горемыки, которые из-за расстройства речи лишь с трудом добиваются понимания. Мельник жестом подзывает его к себе. Лерис быстрыми шагами переходит ручей, как бы не замечая под ногами воды. Мохнатая собака бежит за ним, не менее взволнованная, чем ее хозяин.

— Эй, Лерис! — окликает его Субиру. — Можешь мне помочь?

Лерис — добродушное существо, предел его честолюбия — всюду, где только возможно, доказывать свою полезность. Мощными руками он снимает с тележки один ящик за другим и, по приказу Субиру, несет их на самый узкий конец перешейка, где вываливает содержимое на землю. Образуется зловонная пирамида из окровавленной ваты, гнойных бинтов и грязных тряпок. Мельник, привыкший к чистой работе и подверженный тошноте, зажигает трубку, чтобы запахом табака заглушить зловоние. Ему кажется, что он различает среди отбросов невероятные вещи, например отрезанный человеческий па-

лец. Он быстро сует Лерису коробок с серными спичками, чтобы тот поскорее поджег кучу. Тем временем страшно похолодало. Не чувствуется ни малейшего дуновения ветра. Зловонный мусор воспламеняется мгновенно. Пастух и собака радостно пляшут вокруг диковинного жертвенного костра, дым от которого, благосклонно принимаемый Небом, поднимается вертикально вверх.

Субиру между тем присел на камень и молча наблюдает за происходящим. Вскоре добродушный свинопас подсаживается к нему. Лерис достает из своей сумки ржаной хлеб и кусок сала. Отрезает от того и другого равные порции. Издавая нечленораздельные звуки, сует Субиру его долю. Голодный мельник жадно вонзает зубы в пряную еду, первую за сегодняшний день. Но он быстро приходит в чувство и начинает жевать медленно и задумчиво, как и полагается почтенному мельнику, сознающему свое неизмеримое превосходство над деревенским кретином и свинопасом. Не отводя глаз от огня, молниеносно пожирающего свою пищу, мельник бормочет:

— Была бы здесь еще и лопата…

Услышав эти слова, услужливый Лерис срывается с места, мчится через ручей и приносит из

грота две лопаты. Их, видно, оставили там рабочие, строившие дамбу для защиты от весенних разливов Гава. Тем временем огонь превратил мерзостные остатки страданий плоти в кучку золы. Мужчинам не составляет особого труда поднять на лопаты золу и обугленные останки невесть чего и сбросить все в Гав, который с присущим ему холерическим темпераментом повлечет этот дар в реку Адур и дальше, в океан.

Еще нет и одиннадцати, когда Франсуа Субиру, уже не с таким пустым желудком и не с такой безнадежностью в душе, предстает перед Казенавом.

После длительной торговли и многократного обращения «господин капитан» он наконец держит в руке двадцать пять су. На углу улицы Пти-Фоссе он еще полон решимости отдать весь заработок Луизе. Но уже перед кабачком папаши Бабу его начинает одолевать искуситель, которому, учитывая все тяготы сегодняшнего утра, он способен оказать лишь слабое сопротивление. Двадцать су, кругленькая серебряная монетка, — вот уговорная плата за его работу. Пять медных монеток покрупнее составляют выторгованную надбавку. Где сказано, что честный отец семейства, который, как никто, настрадался

в эту холодину, трудясь для своей семьи, не может истратить пять су, эти «бешеные деньги», на себя самого? За стаканчик своего крепчайшего самогона «Чертова травка» папаша Бабу больше двух су и не возьмет. Мельник находит, что это сходная цена. У папаши Бабу он задерживается не дольше, чем требуется, чтобы осушить один-единственный стаканчик.

В кашо ему в нос ударяют приятные испарения, вырывающиеся из кастрюли. Хвала Богу, это не «миллок», их обычная похлебка, и не кукурузная каша! Мамаша Субиру готовит луковый суп. «Этих женщин не так-то легко одолеть, — думает он. — Всегда они как-то выкручиваются. Кто знает, возможно, им помогают четки, которые они постоянно таскают в кармане передника». Субиру сначала долго слоняется по комнате и занимается разными пустяками, прежде чем вытаскивает и отдает жене серебряную монету, небрежно, будто это всего лишь жалкий аванс, за которым завтра должны последовать луидоры.

— Ты молодчина, Субиру, — говорит она с признательностью, за которой скрывается сострадание, и Субиру тоже убежден, что он именно таков, что сегодня он и впрямь молодец. Затем жена ставит перед ним тарелку лукового супа.

Он, как всегда, хлебает его серьезно и задумчиво.

— Где дети? — спрашивает он, закончив еду.

— Девочки скоро придут из школы, а Жюстен и Жан Мари играют на улице…

— Малышам не следует играть на улице, — неодобрительно замечает бывший мельник с чувством сословной гордости. Поскольку Луиза не склонна сейчас затевать спор, Субиру поднимается из-за стола и громко зевает. — Я здорово промерз сегодня, пожалуй, мне лучше прилечь, — говорит он, сладко потягиваясь. — Как-никак заслужил…

Луиза Субиру откидывает одеяло. Франсуа сбрасывает башмаки, ныряет в постель и натягивает одеяло до подбородка. Даже если ты беден как церковная крыса и судьба к тебе чертовски несправедлива, жизнь дарует порой свои маленькие радости, особенно после исполненного долга. Субиру ощущает приятное тепло, сытость и все большее довольство собой, отчего очень скоро погружается в сон.

Глава третья
Бернадетта ничего не знает о Святой Троице

За учительским столом сидит сестра Мария Тереза Возу, одна из тех монахинь Неверской обители, которые трудятся в больнице и в примыкающей к ней лурдской школе для девочек. Сестра Мария Тереза достаточно молода, и ее вполне можно было бы назвать красивой, если бы только не слишком тонкие губы и не слишком глубоко посаженные блекло-голубые глаза. Бледность ее лица под белоснежными крыльями чепца переходит чуть ли не в болезненную желтизну. Руки с длинными пальцами выдают благородное происхождение. Но если вглядеться пристальнее, можно заметить, как покраснели и набухли эти благородные руки. Судя по беспощадным признакам строгости жизни и умерщвления плоти, сестра Возу несомненно являет собой образ средневековой святой. Преподаватель катехизиса аббат Помьян, тонкий насмешник, говорит о ней так: «Добрая сестра Мария Тереза скорее Христова воительница, нежели Христова

невеста». Он знает классную наставницу Возу довольно хорошо, так как она придана ему в помощь и осуществляет под его руководством религиозное обучение девочек. (Забота о людских душах постоянно вынуждает аббата Помьяна посещать окрестные деревни и ярмарки, так что нередко его не бывает в Лурде целыми днями. Он сам называет себя по этой причине «коммивояжером Господа». Его начальник, декан Перамаль, терпеть не может подобных острот.) Итак, под надзором Помьяна Мария Тереза Возу готовит девочек к первому причастию, что должно состояться весной.

Перед учительницей стоит девочка. Она довольно мала для своих лет. Ее круглое лицо кажется совершенно детским, тогда как худенькое тело уже обнаруживает все признаки раннего созревания, свойственного южанкам. На девочке простое затрапезное платьишко, какое носят маленькие крестьянки. На ногах деревянные башмаки. Впрочем, все дети, и не только дети, обуты здесь в такие башмаки, за исключением немногих, принадлежащих к так называемым высшим слоям общества. Карие глаза девочки спокойно встречают взгляд наставницы. Ее собственный взгляд свободен, отрешен, почти

апатичен. Что-то в этом взгляде выводит сестру Марию Терезу из равновесия.

— Ты действительно ничего не знаешь о Святой Троице, дитя мое?

Девочка, все еще не отводя глаз от учительницы, отвечает ей звонким голоском, естественно и непринужденно:

— Нет, мадемуазель, я ничего об этом не знаю…

— И ты никогда ничего об этом не слышала?

Девочка долго думает, прежде чем ответить:

— Возможно, я что-то слышала…

Монахиня резко захлопывает книгу. Ее лицо выражает неподдельное страдание.

— Не знаю, дитя мое, счесть ли тебя дерзкой, равнодушной или просто глупой…

Не опуская головы, Бернадетта поясняет таким тоном, словно речь идет вовсе не о ней:

— Я глупа, мадемуазель… В Бартресе говорили, что моя голова не для ученья…

— Значит, все именно так, как я и опасалась, — вздыхает учительница. — Ты дерзка, Бернадетта Субиру…

Возу нервно прохаживается перед рядами парт. Памятуя о своем долге духовного лица, она обязана подавить в себе гнев и недовольство. В это

время восемьдесят или девяносто учениц начинают беспокойно ерзать на скамьях и все громче переговариваться.

— Тише! — командует учительница. — О Господи, кто меня здесь окружает! Вы язычники, вы хуже и невежественнее язычников…

Одна из девочек поднимает руку.

— Ты ведь тоже, кажется, Субиру? — спрашивает монахиня, которая всего три недели назад получила этот класс и еще не все лица связываются у нее с именами.

— Конечно, мадемуазель. Я Мария Субиру. Я только хотела сказать, что Бернадетта… что моя сестра все время болеет…

— Тебя об этом никто не спрашивает, Мария Субиру, — резко выговаривает ей учительница, которой это сестринское заступничество кажется чуть ли не бунтом. Нет, одной христианской кротостью эту орду девчонок из простонародья не обуздаешь. Но Возу умеет поддерживать свой авторитет.

— Так твоя сестра больна? — спрашивает она. — И что у нее за болезнь?

— Болезнь называется «атма» или как-то иначе…

— Ты, верно, хочешь сказать «астма»…

— Точно, мадемуазель, астма! Доктор Дозу так ее и назвал. Бернадетте трудно дышать, а часто…

Мария пытается изобразить, как Бернадетта задыхается. Это вызывает веселый смех всего класса. Учительница жестом прерывает чрезмерное веселье.

— Астма еще никому не была помехой в учебе и благочестии. — Сестра Мария Тереза хмурит брови и строго оглядывает класс. — Кто из вас может ответить на мой вопрос?

Девочка с первой парты быстро встает. У нее буйно вьющиеся черные локоны, горящие честолюбием глаза и поджатые губы.

— Ну, Жанна Абади! — поощрительно кивает учительница. Это имя она произносит чаще всех других. Жанна Абади не упускает случая блеснуть.

— Святая Троица — это просто Господь Бог…

Суровое лицо учительницы изображает улыбку.

— Нет, моя дорогая, все не так просто… Но ты имеешь хоть некоторое понятие…

В этот момент все ученицы встают, почтительно приветствуя вошедшего в класс аббата Помьяна. Молодой священник, один из трех помощников декана Перамаля, полностью

оправдывает свое имя: «Помьян» — по-местному «яблочко». Щеки у кюре тугие и румяные, глаза веселые и плутовские.

— Небольшое судебное разбирательство, сестра? — спрашивает аббат, глядя на бедную грешницу, все еще стоящую перед классом.

— К сожалению, должна вам пожаловаться на Бернадетту Субиру, — проясняет ситуацию учительница. — Она не только ничего не знает, но и дерзит.

Бернадетта делает непроизвольное движение головой, как бы желая что-то уточнить. Волосатая рука аббата Помьяна берет ее за подбородок и поворачивает лицо к свету.

— Сколько тебе лет, Бернадетта?

— Сравнялось четырнадцать, — звучит звонкий голос Бернадетты.

— Она самая старшая в классе и самая невежественная, — шепчет сестра Возу капеллану. Он не обращает на это внимания и вновь поворачивается к Бернадетте.

— Ты можешь мне сказать, малышка, в каком году и в какой день ты родилась?

— О да, это я могу сказать, господин аббат. Я родилась седьмого января тысяча восемьсот сорок четвертого года…

— Вот видишь, Бернадетта. Ты вовсе не так глупа и можешь отвечать вполне разумно. Знаешь ли ты, на какую октаву[2] приходится твой день рождения, или, чтобы было понятнее, какой праздник мы празднуем накануне дня твоего рождения? Помнишь? Ведь это было не так давно…

Бернадетта смотрит на капеллана все тем же взглядом, в котором странно сочетаются твердость и апатия и который так разгневал перед тем сестру Марию Терезу.

— Нет, этого я не помню, — отвечает она, не опуская глаз.

— Ничего страшного, — улыбается капеллан. — Тогда я сам скажу это тебе и всем остальным. Шестого января мы празднуем Богоявление. В этот день три царя из восточных стран, они же три волхва, пришли в вифлеемский хлев, где родился младенец Христос, и принесли ему чудесные дары: золото, пурпур и благовония. Ты видела в церкви ясли, Бернадетта? Там есть и три царя.

Лицо Бернадетты Субиру оживляется. Щеки покрываются легким румянцем.

---

[2] Notes: 2

Октава — в католической церкви праздник, продолжающийся восемь дней (вернее, последний день такого праздника).

— Да, ясли я видела, — восторженно кивает она. — И все эти красивые фигурки, совсем как живые: Святое семейство, и вола, и осла, и трех царей с маленькими коронами и золотыми жезлами, конечно, я их всех видела… — Большие глаза девочки становятся золотистыми, их преображает мощь образов, которые она в себе вызывает.

— Таким образом, мы кое-что знаем о трех царях, или, иначе, о трех святых волхвах… Запомни это, Бернадетта, и будь внимательнее, ты ведь уже не маленькая. — Аббат Помьян хитро подмигивает учительнице, он преподал ей урок истинной педагогики. Затем обращается к классу: — Седьмое января, дети, важная дата в истории Франции. В этот день родился некто спасший отечество от величайшего позора. Это случилось четыреста сорок шесть лет тому назад. Подумайте, прежде чем ответить, кто это.

В ту же секунду звучит чей-то торжествующий голос:

— Император Наполеон Бонапарт!

Сестра Мария Тереза прижимает руки к животу, как будто ее пронзает внезапная колика. Несколько девочек не упускают случая разразиться диким хохотом. Аббат сохраняет шутливую се-

рьезность.

— Нет, мои дорогие, император Наполеон Бонапарт родился позже, много позже…

Помьян идет к доске и пишет большими красивыми буквами, как в букваре, поскольку многие девочки еще не вполне овладели азами чтения и письма:

«Жанна д'Арк, Орлеанская дева, родилась 7 января 1412 года в деревне Домреми».

Когда хор школьниц начинает глухо и разноголосо расшифровывать эту надпись, наконец-то звенит звонок. Одиннадцать часов. Бернадетта Субиру все еще стоит перед рядами парт, одна в пустом пространстве, где нужно отвечать. Мария Тереза Возу выходит из-за стола и становится прямо перед ней. Ее гордое лицо в бледном свете февральского дня выражает истинное страдание.

— Из-за тебя, милая Субиру, мы сегодня ни на шаг не продвинулись в катехизисе, — говорит она тихо, так тихо, что ее может слышать только Бернадетта. — Подумай сама, действительно ли ты этого стоишь…

Глава четвертаяКафе «Прогресс»

На площади Маркадаль, где в основном и разыгрывается общественная жизнь Лурда, между двумя большими ресторанами приютилось кафе «Французское». Оно находится неподалеку от остановки почтовых карет, от того места, где большой мир вторгается в малый мир пиренейского городка. Только в прошлом году владелец кафе месье Дюран, не посчитавшись ни с какими расходами, решительно обновил свое заведение. Красный плюш, мраморные столики, зеркала, огромная кафельная печь, увенчанная зубцами наподобие римской сторожевой башни. Благодаря этой крепости-печи кафе «Французское» стало самым теплым помещением в городе Лурде. Господин Дюран, однако, не ограничился заботой о тепле, он позаботился и о свете. Он завел у себя современное освещение, последний крик моды. Большие керосиновые лампы под зелеными абажурами, укрепленные на металлических штангах в виде коромысел, свисают с потолка, изливая свой уютный свет на мраморные столики. Владелец кафе убежден, что даже в жадном до новинок Париже, где гоняются за всякими

усовершенствованиями, немногие заведения могут похвастаться столь великолепным освещением. В отличие от большинства своих земляков Дюран не склонен к излишней экономии. Если необходимо, он зажигает свет и днем, как, например, сегодня, когда за окнами все застилает сплошная зимняя хмарь. Он заходит и дальше в своей щедрости. Не ограничиваясь светом физическим, стремится распространять свет духовный. Для этой цели на гардеробных крючках висит в специальных рамах множество больших парижских газет, подписная цена которых не отпугнула прогрессивного хозяина кафе. Здесь имеется «Сьекль», «Эр империяль», «Журналь де деба», «Ревю де дё Монд», «Пти репюблик». Да, даже «Пти репюблик», этот радикальный листок, направленный против императора и правительства, это в высшей степени вольнодумное издание, за которым, как всем известно, стоит сам сатана от социализма Луи Блан. То, что здесь всегда можно найти и «Лаведан», еженедельную лурдскую газету, разумеется само собой. Редакция заключила с господином Дюраном взаимовыгодное соглашение, согласно которому каждый четверг на столиках кафе должно лежать не менее четырех свежих номеров «Лаведана».

Ввиду этих неустанных забот Дюрана о духовных потребностях своих гостей вряд ли кого удивит, что его престижное заведение часто называют кафе «Прогресс».

Приток посетителей достигает своего максимума дважды в день. В одиннадцать часов, в час аперитива, и в четыре часа пополудни, когда закрываются канцелярии суда. Чиновники этого ведомства — завсегдатаи кафе. Французское государство, размещая свои инстанции, действует весьма своеобразно. Так, префектура департамента находится в Тарбе. Казалось бы, в соответствии с этим супрефектура должна находиться во втором по значению городе департамента, то есть в Лурде. Но нет, для ее размещения выбран крошечный городишко Аржелес, где супрефектура, а также приданное ей жандармское управление как бы отъединены от бюрократического круговорота. Причина разъединения столь важных инстанций непостижима. С другой стороны, Лурд оказывается несправедливо обойденным. Посему Лурд делают местопребыванием высшей судебной инстанции департамента, каковая, по логике вещей, должна была бы находиться в Тарбе. Таким образом, господин Дюран имеет честь принимать у себя господина Пуга, председателя

высшего земельного суда, а также имперского прокурора Дютура и некоторое число прочих господ: адвокатов, административных чиновников, секретарей суда.

Покуда в зале еще не появился ни один из этих господ. За круглым столиком в углу одиноко сидит месье Гиацинт де Лафит. Это вовсе не упоминавшийся нами известный богач де Лафит, но всего лишь неимущий кузен этого великого человека. Господину Гиацинту из милости отведена комнатка в одной из башен замка, проживать в которой он может в любое время. Семья богача де Лафита часто путешествует. Тем охотнее последнее время использует свое право на убежище господин Гиацинт. Лурд — прекрасное место для человека, страдающего безденежьем, а Париж, который не может отличить подлинного от поддельного, пусть катится к черту! Кто в состоянии работать в Париже? Одни журналисты, проститутки и все те, кто готов прозакладывать собственную душу.

С первого взгляда заметно, что Гиацинт де Лафит — человек незаурядный. Даже одевается он по-особому: он подчеркнуто старомоден. Пышно завязанный галстук вызывает в памяти Альфреда де Мюссе. Зачесанные назад волосы,

открывающие высокий лоб, напоминают о Викторе Гюго. Хотя Лафиту еще далеко до сорока, в его шевелюре уже поблескивает благородная седина. Когда-то он был почти дружен с Виктором Гюго: этот гигант однажды, много лет назад, удостоил де Лафита благосклонным замечанием. Дело в том, что де Лафит был на его стороне в битве за драму «Эрнани» в «Комеди Франсез»[3]. Он принадлежал к тем избранным, что носили красные жилеты. Помимо Гюго, давно уже находившегося в изгнании, он был знаком в те годы со стариком Ламартином, молодым Теофилем Готье и многими другими, и он знать ничего не хочет о сегодняшнем пустом и надменном обществе.

Лурд кажется ему подходящим местом, чтобы прильнуть к груди матери-природы и вдалеке от уничижительных оценок парижских салонов и кафе посвятить себя созданию значительного, широкомасштабного творения. Гиацинт де Лафит вынашивает отчаянно смелый план: навсегда и бесповоротно примирить классицизм и романтическую школу, к которой он относит и себя.

---

[3] Notes: 3

«Эрнани» («Hernani, ou l'Honneur castillan», 1829) — романтическая драма Виктора Гюго, поставленная на сцене в феврале 1830 года, после упорных литературных боев между романтиками и классиками, окончившихся победой романтического театра.

Беспредельная фантазия и строгая форма — вот его идеал. Он работает над трагедией «Основание Тарба». Сюжет ему подсказал его друг, директор лицея Кларан, усердный собиратель и исследователь местных легенд, ведущий в городской газете колонку «Лорсданские древности». Героиней вышеназванного произведения должна быть эфиопская царица по имени Тарбис, которая воспылала любовью к одному из библейских героев, но была им отвергнута и бежала в далекий пиренейский край, чтобы развеять свою тоску. Она явилась сюда, порвав с мрачными божествами Востока, и впервые соприкоснулась с ясными, человечными богами Запада, коим удалось волшебным образом освободить ее душу от мук. Она становится их жрицей и строит Тарб.

Как явствует из рассказанного, сюжет неплохой, к тому же изобилующий символическими намеками. Лафит пишет чистым александрийским стихом, что является дерзким вызовом шекспировскому стилю Виктора Гюго. Как последователь Расина поэт полон также непреклонной решимости придерживаться единства времени и места. Достойно сожаления лишь то, что в результате более чем двухлетней работы он все еще не продвинулся далее сорокового двустишия. Зато

в сегодняшнем номере «Лаведана» напечатана его статья, где он излагает свои творческие принципы касательно литературного стиля. Редакция «Лаведана» долго противилась этой публикации, выдвигая в качестве аргумента: «Такие высокие материи не для наших невежд».

«Лаведан» лежит на столе перед Лафитом. Сегодня этот прогрессивный еженедельник доставили вовремя, что случается не так уж часто. Обычно он выходит на два-три дня позже обозначенного срока. Аббат Помьян привык говорить по этому поводу: «Что за странный прогресс, который всегда опаздывает!»

Другу-противнику Виктора Гюго не терпится, он жаждет, чтобы его статью поскорее прочли. Особенно ему важно, чтобы в нее углубился филолог и гуманист Кларан. В статье содержатся три положения о Расине, которые следовало бы хорошенько посмаковать. Но появившийся Кларан так захвачен собственной idée fixe[4], что не уделяет новому номеру «Лаведана» и его автору Лафиту никакого внимания. Ученый притащил с собой большой, величиной с тарелку, плоский камень и осторожно извлекает его из куска тка-

---

[4] Notes: 4
Здесь: навязчивой мыслью *(фр.)*.

ни, в которую тот был завернут. Он кладет его на стол перед де Лафитом и настойчиво сует ему в руки лупу.

— Посмотрите, мой друг, какую чудесную я сделал находку. Угадайте где! Ни за что не угадаете. На Трущобной горе, в одном из гротов: этот камень лежал посреди осыпи и как будто меня позвал. Рассмотрите его хорошенько! Через лупу! Вы узнаёте герб города Лурда, не правда ли? Но по стилю он существенно отличается от сегодняшнего. Могу дать голову на отсечение, что это начало шестнадцатого века. Над городскими башнями парит орел, несущий в клюве рыбу. Но сами башни иные, чем на теперешнем гербе, они носят явные признаки мавританской архитектуры. Мирьямбель — мне незачем вам напоминать, что таково средневековое имя нашего города. Мирьям — арабская форма имени Мария. Форель, которую орел несет в клюве, — не что иное, как ИХТИС[5], знак Христа, внесенный в герб города, недавно завоеванного во славу Марии. Вы видите, как во всем крае царит «марианский» принцип, то есть первенствует неразрывный культ Марии и ее сына…

---

[5] Notes: 5

ИХТИС — рыба *(греч.)*; записанная латинскими буквами древняя греческая монограмма слов: Иисус Христос Сын Божий Спаситель.

С досадой Лафит прерывает его из одного лишь чувства противоречия:

— Я совершенно с вами не согласен, мой друг. По моему убеждению, происхождение всех этих геральдических животных относится к временам дохристианским.

— Но вы же не станете отрицать, мой друг, — возражает ему старый Кларан, — что даже в названии реки Гава присутствует «Аве»?

Поэт это отрицает. Как все поэтические души, он неожиданно вступает на путь импровизации и говорит вещи, изумляющие его самого, чтобы только достичь цели, которая его занимает:

— Как филолог, мой друг, вы знаете лучше меня, что в некоторых языках буква «гамма» переходит в «йоту», и наоборот. Почему Гав не может быть связан с библейским «Ягве», имя которого моя царица Тарбис после несчастной страсти к еврею могла занести в этот дикий край? Если вы прочтете мою пьесу или хотя бы мою сегодняшнюю статью…

Он не продолжает. Беседа о высоких материях поневоле прерывается. Бьет одиннадцать. Наступил час аперитива. Сразу же один за другим появляются все, кто только может причислить себя к образованному и привилегированному

обществу Лурда. Конечно, со всеми этими адвокатами, офицерами, чиновниками, врачами разговоры, подобные только что состоявшемуся, невозможны. Их помыслы далеки от столь высокоученых и лишенных практической пользы тем. Первым в кафе входит городской врач Дозу, человек, весьма обремененный своими многочисленными обязанностями. Он всегда на бегу, всегда на пути от одного срочно в нем нуждающегося больного к другому. Но и он не склонен лишать себя удовольствия распить в этот час в кругу уважаемых господ рюмочку портвейна или мальвазии. В Лурде практикуют и другие врачи: доктор Перю, доктор Верже, доктор Лакрамп, доктор Баланси. Но доктор Дозу твердо убежден, что весь груз здешней медицинской науки покоится лишь на его сутулых плечах. В его душе еще не угасла страстная пытливость исследователя. Поэтому, наряду со своей напряженной лечебной нагрузкой, он занят тем, что ведет постоянную переписку с видными медиками, дабы не закоснеть в провинции и не отстать от передовых рубежей науки. Как, должно быть, пугается великий Шарко или знаменитый Вуазен, главный врач па-

рижской «Сальпетриер»[6], обнаруживая в своей почте пространное послание любознательного лурдского врача с перечнем вопросов, отвечать на которые потребуется не меньше часа.

— Я всего на три минутки, господа! — восклицает Дозу.

Это его обычное приветствие. Он присаживается на краешек кресла, не сняв ни плаща, ни шляпы, что, учитывая раскаленную печь Дюрана и правила профилактики, является грубой ошибкой. Тут он замечает «Лаведан», хватает его и, сдвинув очки на лоб, начинает спешно пробегать глазами. Как ни пристально наблюдает за ним Гиацинт де Лафит, мина доктора не сулит ему никакой надежды: тот, видимо, не заметил его статьи. Между тем к столу подходит Жан Батист Эстрад, налоговый инспектор города Лурда. Этот человек с темной острой бородкой и меланхолическим взглядом обладает, по мнению писателя, рядом достоинств. Он мало говорит, но умеет хорошо слушать. Познания и духовные истины, как кажется, не вполне ему чужды. Врач равнодушно сует ему в руки газету. Теперь ее рассеянно листает Эстрад. Но как раз тогда, когда

---

[6] Notes: 6

«Сальпетриер» — парижская больница и приют для престарелых.

он добирается до страницы, где красуется статья Лафита, он вынужден отложить «Лаведан», так как все присутствующие встают. Не каждый день дюрановское застолье удостаивает своим посещением господин мэр собственной персоной.

Внушительная фигура месье Лакаде показывается в дверях и медленно, раскланиваясь во все стороны, продвигается вперед. По облику мэра видно, что на протяжении большей части своей жизни он недаром звался не иначе как «красавчик Лакаде». Теперь, глядя на его объемистый живот, отвислые щеки и мешки под глазами, вряд ли кто-нибудь станет говорить о его красоте, скорее уж о достоинстве и осанке, о гибкой, тренированной грации, нередко свойственной таким одаренным в области политики толстякам. Хотя господин Лакаде — выходец из бедной крестьянской семьи провинции Бигорр, он блестяще вжился в свою общественную роль. Когда его впервые избрали мэром Лурда, а это случилось примерно в 1848 году, злые языки утверждали, что он завзятый якобинец. Сегодня он верный, испытанный сторонник императорского режима. Но кто не меняет своих взглядов с течением времени? Лакаде постоянно облачен в торжественный черный сюртук, словно в

любой момент готов приступить к исполнению общественных обязанностей. Свои слова он сопровождает широкими, почти величественными жестами. Голос его полон снисходительности. Он всегда говорит так, будто обращается к многочисленной аудитории. Два вошедших с ним господина, представляющих в Лурде власть государства, осенены аурой его покровительства. Один из этих господ — прокурор Виталь Дютур, который еще довольно молод, хотя уже обладает сверкающей лысиной; прокурор честолюбив, но на лице его постоянно написана смертельная скука. Другой представитель власти — комиссар полиции Жакоме — не так давно перешагнул сорокалетний рубеж, у него тяжелая рука и тот недоброжелательный взгляд, что отличает людей, постоянно имеющих дело с преступным миром.

Мэр пожимает руки налево и направо с присущей ему жизнерадостной и игривой любезностью. Владелец кафе Дюран опрометью мчится ему навстречу, принимает заказ и сразу же собственноручно приносит поднос, уставленный напитками.

— Ах, господа! — горестно восклицает владелец кафе. — Какая жалость, что парижские газеты се-

годня не пришли! Что за наказание наша почта!

— Ох уж эти парижские газеты! — насмешливо восклицает кто-то из посетителей. — В феврале политика столь же туманна, как и погода…

Коротышка Дюран тем не менее спешит заверить:

— Но господа могут, если пожелают, просмотреть вчерашний номер «Меморьяль де Пирене» или тарбский «Интере́ люблик»… кстати, вышел и «Лаведан», точно в срок, он лежит на столах… — Дюран чуть понижает голос, наклоняясь к уху Лакаде. — Сегодня там интересная статеечка, господин мэр, отличная, тонкая работа…

Лафит напрягает слух. Владелец кафе с наслаждением округляет губы:

— Эта статеечка не порадует здешних господ, облаченных в сутаны… Еще стаканчик мальвазии, господин мэр?

Лакаде поднимает провидческий взгляд и повышает голос:

— Могу вскоре обещать вам и всем нам хорошую почту, мой дорогой Дюран. Нашему бедному Лурду, господа, предстоят большие перемены. Мне постоянно сообщают, что в высокой инстанции рассматривается решение о проведении к нам железнодорожной ветки… Надеюсь, что все

присутствующие, подобно мне, патриоты нашего города. Не так ли, господин прокурор?

Ответ Виталя Дютура звучит вежливо, но сухо:

— Мы, судейские, подобны бродягам. Сегодня мы здесь, а завтра нас переводят куда-нибудь еще. Наш местный патриотизм не может быть поэтому столь горяч…

— Все равно, железная дорога будет! — пророчествует Лакаде.

Глаза Дюрана загораются. Ему приходит на ум одна из тех замечательных фраз, что он постоянно вычитывает в газетах. Поскольку он тратит на газеты так много денег, он считает себя обязанным читать их все от корки до корки. Тяжкий труд, особенно для непривычных глаз, но полезный для усвоения слов и оборотов, свойственных образованной публике.

— Средства сообщения и образование — вот два столпа, на которых зиждется развитие человечества! — провозглашает Дюран.

— Браво, Дюран! — одобрительно кивает Лакаде.

Особенно это верно относительно средств сообщения. Гляди-ка, этот трактирщик подсказал безупречную фразу, которая пригодится ему для праздничной речи. Он непременно должен ее

запомнить. Похвала мэра между тем окрыляет Дюрана. Он неловко поднимает и вытягивает вперед правую руку, как это делают дилетанты, играющие в трагедии.

— Когда расстояния между людьми уменьшатся, а их запас слов увеличится, тогда предрассудки, фанатизм, нетерпимость, война и тирания исчезнут сами собой, и уже следующее поколение, или хотя бы следующее столетие, увидит возвращение золотого века…

— Откуда вы взяли все это, мой друг? — удивленно и недоверчиво спрашивает Лакаде.

— Таково мое скромное суждение, господин мэр…

— Я не ценю ни средства сообщения, ни школьное образование так высоко, как наш друг Дюран, — вдруг вмешивается в разговор де Лафит, с трудом скрывая раздражение.

— Ну и ну! — смеется прокурор Дютур. — Неужели наш мэтр из Парижа реакционер?

— Я не реакционер и не революционер. Я независимый мыслитель. Как таковой, я не считаю просвещение широких масс смыслом развития человечества.

— Осторожнее, мой друг, осторожнее! — пытается успокоить его гуманист Кларан.

— А в чем тогда состоит этот смысл? — задумчиво, как бы обращаясь к самому себе, спрашивает Эстрад. Тут слово вновь берет Гиацинт де Лафит, и в сказанном им ощущается явная, хотя и непонятная горечь.

— Если развитие человечества вообще имеет хоть какой-то смысл, то лишь один: произвести на свет гения, выдающуюся личность. Таково мое глубокое убеждение. Массы вполне могут жить, страдать и умирать лишь для того, чтобы время от времени на земле появлялся Гомер, Рафаэль, Вольтер, Россини, Шатобриан и даже, если хотите, Виктор Гюго…

— Печально, — откликается Эстрад, — печально для всех нас, земных червей, что мы всего лишь страдальческие окольные пути, приводящие к столь блестящим результатам.

— Это философия поэта, — небрежно и снисходительно поясняет Лакаде. — Но раз уж в нашем городе завелся поэт, он должен что-то сделать для Лурда. Ах, господин де Лафит, опишите в парижской прессе все наши здешние красоты природы, все наши прекрасные виды: Пибест, Пик-де-Жер и всю грандиозную панораму Пиренеев! Напишите о городских учреждениях, о простой и уютной жизни, которой живут наши

пылкие и непритязательные земляки! Изобразите во всей красе это роскошное кафе! Пишите все, что хотите, но призовите Париж и весь мир к ответу: почему, господа, коли уж вы ездите на воды в Котре и Гаварни, вы обходите своим вниманием Лурд? Почему вы столь высокомерно от него отворачиваетесь? Мы тоже готовы достойно вас встретить, предоставить вам удобный кров и первоклассную кухню… Я давно уже спрашиваю себя, господа, почему таким захолустным местечкам, как Котре и Гаварни, так повезло? Минеральные воды? Горячие источники? Но если в нескольких милях от нас, в Гаварни и Котре, есть целебные источники, почему бы им не быть в Лурде? Задача решается просто. Нам требуется всего лишь открыть у себя такие источники. Выбить их из наших скал! Таково мое убеждение. Я уже отправил несколько рекомендаций барону Масси, префекту. Улучшить дороги, улучшить почту, увеличить ассигнования. Мы направим поток денег и цивилизации в Лурд…

Мэр произнес за аперитивом блестящую речь, это ясно и ему самому. Ее патетический жар укрепляет его в убеждении, что как отец города он не знает себе равных. Как осиротеет Лурд после его кончины! Он с наслаждением втягивает

губами последние капли мальвазии. После чего все присутствующие встают. Жены ждут их дома к обеду.

Закутанный в свою пелерину, Гиацинт де Лафит одиноко бредет по улице Басс. Он не пышет патетическим жаром. Снаружи и внутри он ощущает лишь пронизывающий февральский холод. Внезапно он останавливается и смотрит на грязные, замызганные дома, безотрадно предстающие его безотрадному взору. «Какого черта я здесь торчу? — думает он в отчаянии. — Мое место на Итальянском бульваре, на улице Сент-Оноре. Почему я застрял в этом мерзком захолустье?» Двинувшись дальше, он сам же отвечает на свой вопрос: «Я торчу в этом паршивом городишке, потому что сам я всего лишь паршивый пес, которому из жалости бросают кость, бедный родственник, коему следует испытывать вечную благодарность за милости надутого провинциального семейства. Я имею здесь теплую комнату, хорошее питание, и мне не требуется тратить более пяти су в день. Мое общество здесь — ограниченные людишки из кафе „Французское“, для которых я закрытая книга. Я не принадлежу ни Богу, ни людям. Воистину высокий дух в этом мире — просто приживал и

бедный родственник».

Глава пятая
Кончился хворост

Еще прежде, чем Бернадетта и Мария вернулись из школы, в предвкушении обеда в кашо заявляются оба малыша. При этом старший из братьев, Жан Мари, корчит отчаянно хитрую гримасу, как будто он только что победоносно выпутался из рискованной авантюры. Так оно и есть. После одиннадцатичасовой мессы, которую служит сам декан Перамаль, церковь обычно безлюдна. В это время семилетний Жан Мари прокрался в маленькую боковую нишу, где стоит статуя Мадонны, особенно почитаемая женщинами Лурда. Там на железной решетке всегда горит множество свечей, зажженных в честь Богоматери. Жан Мари слепил из оплывших огарков несколько восковых комочков и доверчиво выкладывает их перед матерью.

— Мамочка, сделай из них свечки… Или, может быть, из них можно сварить суп… я их жевал…

— Praoubo de jou! — восклицает Луиза Субиру. — Несчастная я женщина!

(Заметим, что в Лурде люди редко говорят меж-

ду собой по-французски, обычно они употребляют местный диалект, имеющий некоторое сходство с языком басков.)

— Несчастная я женщина! Мой сын обокрал Пресвятую Деву…

Она вырывает из рук малыша восковые комочки. Сегодня же она пойдет к свечному мастеру Газалю и попросит сделать из них толстую свечу для Мадонны. Мадам Субиру в таком ужасе от святотатства, которое совершил ее сын, что даже не замечает шестилетнего Жюстена, чьи маленькие ручки также протягивают ей подарок. Это узкая, связанная из шерсти полоска вроде шарфика.

— Мамочка, посмотри, что я тебе принес…

— О боже, несчастные дети, вы, верно, просили милостыню…

— Мы не просили милостыню, мамочка, — возмущенно протестует старший. — Жюстен получил это от барышни.

— Силы Небесные, от какой еще барышни?

— От барышни, которая ходит с корзинкой, а в ней полно таких вещей. Мы ничего не говорили. Мы только стояли.

— Это, наверное, мадемуазель Жакоме, дочь комиссара полиции…

— И она сказала, — лепечет Жюстен, — «Ты

должен взять этот шарфик, потому что ты самый бедный ребенок, которого я знаю…»

— Смотрите в оба, — сердится мать, — чтобы ее отец, месье Жакоме, не сцапал вас во время ваших прогулок. Он живо упрячет вас в каталажку.

— Мамочка, я правда самый бедный ребенок, которого она знает? — спрашивает Жюстен с живым любопытством непосвященного.

— Ох вы дурачки, — шепчет мать и тащит мальчишек к корыту, где моет им руки, предварительно оттерев их речным песком. При этом она читает им целую проповедь. — Бедный малютка Бугугорт куда несчастнее вас. Он парализован от рождения и не может двигаться. А вы весь день бегаете по улице и можете говорить и делать все, что вам заблагорассудится. Кроме того, вы вовсе не бедные дети. Вы сыновья бывшего владельца мельницы и не должны вести себя как пришлый сброд. И мать у вас из очень хорошей семьи: Кастеро всегда были почтенные люди, взгляните хотя бы на вашу тетю Бернарду, а дядя моего отца был священником в Три, а другой дядя служил в войсках в Тулузе. Вы их всех позорите. Ваш отец подыскивает новую мельницу, и тогда все у нас опять будет по-прежнему. Хорошо, что отец спит и не знает, что вы обокрали Пресвятую Деву и

приставали к добрым людям…

После этой головомойки Луиза Субиру бросает долгий взгляд на супруга, который, раскинувшись на спине и звонко похрапывая, спит сном праведника, хотя праведники большей частью не имеют привычки спать посреди дня между завтраком и обедом. Как все люди, вынужденные делить помещение для спанья с другими, отец семейства путем долгой тренировки выработал в себе умение моментально и крепко засыпать при любых обстоятельствах. Ни громкие голоса, ни шум ему не помеха. Тем не менее Луиза невольно понижает голос:

— Он надрывается ради вас, наш добрый папочка, и ежедневно приносит в дом деньги. Вы не такие уж бедные дети, ведь у вас есть родители. А завтра день стирки у мадам Милле. Я наверняка получу там для вас кусок пирога…

— А пирог будет с фруктами? — допытывается недоверчивый Жюстен тоном знатока.

Мать не успевает ответить, так как в кашо входят обе дочери, Бернадетта и Мария, а с ними еще и третья девочка, Жанна Абади, та, что считается первой ученицей на уроках катехизиса. Эта тринадцатилетняя особа с бойкими черными глазами и поджатыми губами всячески демон-

стрирует свое светское воспитание. Она делает вежливый книксен.

— Я совсем не голодна, мадам, я только посижу и посмотрю…

Субиру тем временем поставила на стол кастрюлю с луковым супом. На его поверхности плавают поджаренные ломтики хлеба. Она вздыхает:

— Бери тарелку, Жанна! Одним человеком больше, одним меньше — какая разница. На всех хватит.

Мария торопится объяснить причину прихода Жанны Абади:

— Жанна пришла к нам, мама, чтобы мы после обеда вместе позанимались. Возу сегодня обозлилась на Бернадетту. Целый урок продержала ее перед классом…

Бернадетта смотрит на мать отсутствующим взглядом.

— Я действительно ничего не знала о Святой Троице, — честно признается она.

— Ты так же мало знаешь и обо всем остальном, — беспощадно констатирует первая ученица. Ибо человек, приоткрывающий собственные слабости, всегда остается внакладе. — Ты даже запутаешься и не прочтешь до конца «Ave

Maria»...[7]

— Может, мне прочесть? — с готовностью предлагает Жюстен.

Мария приходит сестре на помощь:

— Бернадетта столько лет жила в Бартресе... В деревне ведь не учатся, как в городе...

Мать ставит перед Бернадеттой стакан красного вина. Это привилегия больной, принимаемая без возражений. В стакан Луиза украдкой бросила три кусочка сахара.

— Бернадетта, — спрашивает она, — ты не хотела бы опять некоторое время пожить в Бартресе у мадам Лагес?.. С отцом я об этом уже говорила...

Глаза Бернадетты вспыхивают, как всегда, когда в ней зарождаются яркие образы.

— О да, я бы очень хотела поехать в Бартрес...

Мария качает головой, она злится на сестру.

— Не пойму я тебя, Бернадетта. В деревне ведь такая тоска. Что за охота вечно глядеть на овец, щиплющих траву...

— Я их люблю, — кратко отвечает Бернадетта.

— Да, если она их любит? — поддерживает Бер-

---

[7] Notes: 7

Так называется у католиков молитва к Богородице: «Богородице, Дево, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою». Она читается по малым шарикам четок, называемым поэтому также «Ave Maria», тогда как большие шарики посвящены «Отче наш».

надетту мать.

— Лентяйка! — в сердцах бранится Мария. — Тебе бы лишь забиться в угол и уставиться неизвестно куда. Беда, да и только…

— Оставь ее, детка, — говорит Луиза. — Она не такая сильная, как ты.

Но это утверждение вызывает обиженный протест Бернадетты:

— Это неправда, мамочка, у меня столько же сил, сколько у Марии. Спроси Лагесов! Если надо, я могу даже работать в поле…

В разговор неожиданно вмешивается Жанна Абади. Она кладет ложку и говорит твердым наставительным тоном:

— Но это невозможно, мадам! Бернадетта — самая старшая в классе. Ей необходимо принять святое причастие и вкусить от Тела Господня. Иначе она останется язычницей и грешницей и не попадет не только в Царствие Небесное, но, быть может, даже в чистилище…

— Помилуй Боже! — испуганно восклицает мать и всплескивает руками.

В этот миг просыпается Франсуа Субиру. С кряхтеньем и оханьем он садится на край кровати и, сонно мигая, оглядывает комнату.

— Да здесь целое народное собрание, — бор-

мочет он и начинает бешено размахивать руками. — Проклятая холодина! — Субиру вялой походкой тащится к очагу и подбрасывает в поникший огонь несколько сучьев. От кучи хвороста и веток почти ничего не осталось. Отец семейства мрачнеет и повышает голос, в котором звучат укор и негодование. — Что это значит? Кончился хворост? И все спокойно на это смотрят! Что же, прикажете мне идти за сушняком? Никто ни от чего не хочет меня освободить?..

— Ура, мы идем за хворостом! Ура! — Радостные детские голоса сливаются в единый хор. Особенно ликуют Жан Мари и Жюстен.

— Вы оба останетесь дома! — выносит свой вердикт Луиза. — Ваших прогулок мне на сегодня достаточно. За дровами могут пойти Мария и Жанна…

— А я? — обиженно спрашивает Бернадетта. Она краснеет, на ее обычно таком спокойном лице впервые заметен налет печали. Мать пытается воззвать к ее разуму:

— Рассуди сама, детка! Ты ведь старшая. Мария и Жанна — здоровые, закаленные девочки. А ты непременно подхватишь простуду — насморк и кашель. Простуда сразу же обострит твою астму. Вспомни, сколько тебе придется страдать…

— Но, мама, я не менее закалена, чем Жанна и Мария. В Бартресе мне приходилось целый день быть на воздухе: и в снег, и в дождь, и в грозу. И там я была здоровее всего… — Она обращается за поддержкой к отцу, пытаясь привлечь его заманчивой перспективой. — Ведь трое смогут принести гораздо больше, чем двое, разве не так?

— Мать решит, идти тебе или остаться, — строго говорит Субиру, придерживающийся в вопросах воспитания удобной тактики: вмешиваться только в редчайших случаях и не брать на себя никаких решений.

В это время раздается стук в дверь. Это мадам Бугугорт, соседка, еще молодая, но необычайно изможденная.

Проскользнув в комнату, она никак не может отдышаться. Она совершенно без сил.

— Милая Субиру, добрая моя соседка! — восклицает она в полном отчаянии.

Луиза, собравшаяся было мыть посуду, бросает все и взволнованно спрашивает:

— Боже, что у вас там опять стряслось, Круазин?

— Горе мне, малыш, мой бедный малыш… Опять судороги, как три недели назад… Он зака-

тывает глазки, стискивает кулачки, я не знаю, что делать! Христа ради, пойдемте со мной, помогите…

— Это пройдет, милая Бугугорт, ведь так было уже не раз, вам надо успокоиться. Я сейчас же пойду с вами. Взгляните, я сама не знаю, на каком я свете, у меня голова идет кругом от моей собственной публики…

Мальчики, попавшие под домашний арест, подняли воинственный рев. Луизе Субиру приходится проявить строгость, чтобы заставить их замолчать. При этом на глазах у нее слезы от сочувствия к Круазин Бугугорт.

— Я сейчас пойду с вами, соседка… А вы, девочки, немедленно отправляйтесь за хворостом.

— Мне тоже можно пойти, мамочка, ты разрешаешь? — ликует Бернадетта.

Луиза Субиру в растерянности хватается за голову:

— Несчастная я женщина! Как мне справиться со всеми вашими глупостями? Бернадетта, тебе лучше бы посидеть дома… — Она идет к шкафу, достает несколько теплых вещей. — Вот, надень шерстяные чулки! Возьми теплый платок и закутай горло! И капюле, обязательно надень капюле, никаких возражений!

Капюле — это женская накидка с капюшоном, которая надевается на голову и плечи и закутывает женщину до самых колен. Простые женщины в Лурде охотно носят такие накидки. Еще чаще их увидишь на молодых крестьянках из Бартреса, из Оме, из долины Батсюгер, повсюду в обширной провинции Бигорр. Капюле бывают ярко-красные и белые. У Бернадетты капюле белый. Под остроконечным капюшоном ее личико исчезает в голубоватой тени.

Глава шестая
Яростный и горестный рев Гава

Пока девочки добирались до цели, у них было несколько встреч. У Старого моста, между первой наземной опорой и рыбацкой будкой, есть пологий, вымощенный камнями откос. Здесь женщины обычно стирают белье. Если погода солнечная, жительницы Лурда длинными рядами располагаются у берега и полощут белье в водах Гава, которые славятся тем, что прекрасно все очищают и отбеливают. Тогда к шуму вечно жалующейся на что-то реки примешивается многоголосый гомон женщин и равномерные удары их вальков. Но сегодня на берегу никого нет, кроме одной-единственной женщины, которую не напугала дурная погода. Это Пигюно, что по-местному означает Голубка. Почему ей дали такое прозвище, не знает никто. Если хотели намекнуть на известное сходство старой женщины с означенной птицей, то это был чистой воды эвфемизм, такой же, к какому прибегали древние, называя особенно коварное море «Благосклонным Понтом», так как не желали его прогневить

более верным обозначением его сущности. Нет, то была вовсе не голубка, скорее побитая всеми ветрами и непогодами старая ворона, тощая скрюченная старушонка с изборожденным морщинами лицом, средоточие любопытства и проницательности. Главным ее свойством было всё обо всех знать. Собственно, звали ее Мария Самаран, и она состояла в дальнем родстве с семьей Субиру. Но Субиру смотрели на нее свысока. Ибо никто не стоит на общественной лестнице так низко, чтобы нельзя было найти кого-то, кто пал еще ниже.

— Эй, девочки Субиру! — пронзительно окликает Пигюно идущих по мосту. — Куда это вы, куда вы, девочки Субиру?

— Нас родители послали, тетушка Пигюно! — кричит Мария, приставив ладони рупором ко рту, так как разобрать слова в шуме реки довольно трудно. Пигюно возмущенно всплескивает покрасневшими от ледяной воды руками.

— Что за бесчеловечные родители, клянусь Пресвятой Девой! В такую стужу хороший хозяин собаку из дома не выгонит!

На это после короткого размышления отвечает Бернадетта.

— Но, тетушка Пигюно! — кричит она. — Поче-

му бы нам не пойти за хворостом, раз вы сами не побоялись идти стирать в такой холод?

Это одно из тех замечаний Бернадетты, какое сестра Возу, без сомнения, отнесла бы к числу дерзких. Пигюно, которая за словом в карман не лезет, тут же подходит поближе к девочкам.

— Догадываюсь, что у вас нечем топить. Ваш отец никак не научится по одежке протягивать ножки. А мать? Нет, не скажу о ней ничего худого, ведь вы дети и, следовательно, ни в чем не виноваты. Но вашим родителям можете передать, что Пигюно дала вам хороший совет… — И, понизив голос, она сообщает: — Управляющий месье де Лафита велел срубить несколько тополей на острове Шале, у самой ограды парка. Там дров столько, что их хватит на дюжину семей…

— Сердечно благодарим вас, мадам, за вашу доброту, — говорит Жанна Абади и делает книксен.

И три девочки идут дальше, повторяя путь, который утром проделал Франсуа Субиру со своей зловонной тележкой. Они спускаются по тропинке, ведущей к мельнице Сави на левом берегу ручья. Там по мельничным мосткам они смогут перейти ручей и попасть на остров Шале. Бернадетта думает медленно. Когда она представляет себе, как они перелезут через ограду, чтобы

красть дрова, она ощущает беспокойство. Одновременно ей не хочется оказаться «трусихой» и «мокрой курицей» в глазах более закаленных и практичных спутниц, и она не высказывает своих опасений вслух. Девочки уже прошли более половины пути, прежде чем Бернадетта решается на первое возражение:

— Тополиные ветки зеленые и плохо горят. А после дождей они совсем отсырели и будут только чадить…

— Ветки есть ветки и всегда горят, — рассудительно говорит Абади. — Мы не можем перебирать, как покупатели в лавке.

— Но у нас даже нет ножа, чтобы их отрезать, — делает новую попытку Бернадетта.

— Я взяла папин складной нож, — с торжеством объявляет Мария, вытаскивая грубое изделие из кармана передника.

Разговор прерван появлением Лериса и его хрюкающего стада. Добрый свинопас ухмыляется во весь рот и сдергивает шапку перед Бернадеттой. Девочка улыбается ему в ответ.

— Лерис влюблен в Бернадетту, — язвит Мария, которая иногда не прочь подольститься к высокомерной Жанне, отпустив шпильку по адресу Бернадетты. — Ведь они как-никак коллеги…

— Я не пасла свиней, — объясняет Бернадетта без всякой обиды, — я пасла только коз и овец… Ах, если бы вы знали, какая прелесть маленькие ягнята, особенно новорожденные; возьмешь на колени такой славный комочек…

Мария вновь досадует на сестру: как горожанка, она ощущает себя много выше деревенских жителей с их скотиной и вечным ковыряньем в земле.

— Иди ты, дуреха, со своим славным комочком знаешь куда… Как завидит что-нибудь маленькое и пушистенькое, так сразу тает от умиления…

— Я люблю свинину больше, чем баранину, — заявляет Жанна тоном знатока-гастронома, хотя в ее семье достаточно редко употребляют и то и другое.

Шлюз лесопилки закрыт, чтобы водоем мог наполниться водой. Когда шлюз закрывают, уровень воды в ручье настолько понижается, что колеса мельницы Сави перестают вращаться. Молодой мельник Антуан Николо использует этот вынужденный простой, чтобы подлатать прохудившиеся кое-где лопасти. Матушка Николо стоит на пороге дома, ибо, хотя стужа стала еще злее, все же погода немного прояснилась. Порывы ветра не смогли прорвать облачную

пелену, но влажный свет зимнего солнца уже проникает сквозь нее и заливает остров Шале, так что все очертания вокруг становятся дрожащими и нечеткими.

— Это же дети Субиру, — говорит мельничиха, обращаясь к сыну. — А третью девочку я не знаю.

— Сдается мне, ее зовут Абади, и она большая задавака, — откликается Антуан, откладывая инструменты в сторону и выпрямляясь. Антуан — рослый красивый парень с добрыми глазами и лихо закрученными усами, которыми он немало гордится. Девочки издали здороваются с матушкой Николо.

— Как поживают ваши родители? — кричит им в ответ мельничиха. — Передайте им сердечный привет с мельницы Сави!

Хотя Франсуа Субиру давно уже не владелец мельницы, а всего лишь безработный поденщик, матушка Николо относится к нему со сдержанным теплом, как к бывшему собрату по ремеслу.

— А со мной кто-нибудь поздоровается? — обиженно басит Антуан.

Бернадетта подходит к нему и протягивает руку:

— Извините нас, месье Николо!

— И куда же направляются милые дамы?

— Мы просто гуляем, — осторожно отвечает Мария, — может быть, соберем по пути немного хвороста…

— А нам можно воспользоваться мельничными мостками? — спрашивает Жанна Абади с привычной вежливостью. Антуан делает галантный жест:

— Для дам все мосты открыты!

Мостки сбиты из трех узких досок, между которыми тоже зияют щели. Мария и Жанна, балансируя, переходят на другую сторону, а Бернадетта останавливается посередине и низко наклоняется, чтобы посмотреть на бурлящие под досками воды ручья. Бернадетта больше всего любит смотреть на воду. Она уже не слышит голосов мельника и его матери.

— Как быстро люди скатываются вниз, если не прилагают стараний, — говорит между тем мельничиха. — Вот уж и Субиру посылают своих детей воровать в парке дрова…

— Почему бы и нет, — великодушно говорит Антуан. — Впрочем, возможно, девочки и не собираются красть дрова у Лафита, а всего лишь пособирают хворост в роще Сайе.

Матушка Николо в сомнении морщит лоб:

— Кому дело до хвороста? Но ведь папаша Субиру уже имел неприятности из-за срубленного дерева…

Антуан берет молоток и начинает прибивать новую доску к замшелой лопасти мельничного колеса. Удары молотка долго еще сопровождают девочек на их пути. Вот они уже подходят к воротам парка, через которые можно пройти прямо к господскому дому. Широкая аллея, обсаженная платанами, позволяет разглядеть его фасад. По аллее прогуливается одинокий господин в долгополом пальто, он широкими шагами доходит до конца аллеи и тут же поворачивает назад. Он кажется очень расстроенным и сердитым и не отвечает на приветствие девочек, но, размахивая руками в такт ходьбе, говорит сам с собой. Время от времени он останавливается и что-то записывает в свою записную книжечку.

— Это месье де Лафит, кузен из Парижа, — почтительно шепчет всезнающая Жанна Абади.

— Боже милостивый! — пугается Мария. — Тогда уж лучше не следовать совету тетушки Пигюно…

— Конечно, теперь это невозможно, — восклицает Бернадетта с невероятным облегчением.

— Какие вы, Субиру, трусихи! — презрительно

заявляет Жанна Абади, но быстро, как и остальные, убегает, чтобы скрыться из глаз господина, который, по их предположениям, занят подсчетом деревьев в парке. Такова четвертая встреча на пути девочек.

Они шагают теперь напрямик, без дороги, по сырой, поросшей кустарником пустоши. Бернадетта начинает отламывать от кустов тонкие прутики. Ее практичные спутницы заливаются смехом:

— Такими дровишками даже пальцы не обожжешь!

— Тогда лучше пойдем дальше! — предлагает Бернадетта. — Там внизу мы что-нибудь непременно найдем…

Великий знаток географии Жанна Абади простирает руку на запад:

— Если мы будем идти все дальше и дальше, то дойдем до Бетарана, но так ничего и не найдем…

Она ошибается, потому что путь девочкам вскоре преграждает естественное препятствие: место, где мельничный ручей сливается с водами Гава. Они оказываются на узкой песчаной косе, усыпанной галькой, отсюда можно увидеть черное кострище, где утром их отец за двадцать пять су совершил аутодафе, предав огню бренные остан-

ки людских страданий. Слева от них вздымается низкий лесистый гребень Трущобной горы, и медленно плывущие облака то высвечивают, то затеняют вход в пещеру Массабьель.

— Ура! — кричит Жанна Абади. — Взгляните только на эти кости! — И она указывает пальцем на кучку добела отмытых рекой бараньих или коровьих костей, прибитых волнами прямо к подножию скалы, в которой находится грот. Белые кости отчетливо выделяются на серой гальке.

— Если отнести их старьевщику Грамону, — мгновенно соображает Мария, — можно получить уж не меньше трех су! А за это Мезонгрос даст большую булку или даже леденец…

— Чур делим пополам, иначе я не согласна! — горячится Жанна. — Я первая заметила. Собственно говоря, они мои…

Одним махом Жанна перебрасывает свои деревянные башмаки на другой берег ручья, его ширина здесь не более семи шагов. И вот она уже решительно шагает по воде, которая в самом глубоком месте едва доходит ей до колен. Это сейчас, а утром, когда Лерис переходил ручей в этом же месте, вода доходила ему до самых бедер, а он этого как будто даже не замечал.

— Ой-ой-ой! — визжит Жанна. — Вода просто

ледяная. Как ножом режет…

Мария боится упустить выгодное дело. Она поспешно берет в руки башмаки, высоко задирает подол и вслед за Жанной входит в ледяной ручей. При этом она непрерывно испускает пронзительные крики. Бернадетту охватывает странное, незнакомое доселе чувство — отвращение. Ей неприятен вид обнаженных, сверкающих ляжек сестры, с которой она по ночам делит постель. Это зрелище кажется ей сейчас таким безобразным, что она отворачивается. Девочки, которые тем временем дошли до противоположного берега, садятся на песок и, громко стуча зубами, начинают бешено растирать ноги.

— А мне что делать? — кричит им Бернадетта.

— Если хочешь, тоже переходи сюда. — Жанна дрожит от холода и с трудом выговаривает слова.

— Ни в коем случае! — вмешивается встревоженная сестра. — Она сейчас же подхватит насморк, разгуляется ее астма, и всю ночь нельзя будет сомкнуть глаз…

— Да, я обязательно подхвачу насморк и кашель, мама будет ужасно сердиться и побьет меня…

Мария вскакивает в припадке великодушия:

— Подожди! Я сейчас перейду к тебе и перенесу тебя на закорках…

— Нет, Мария, для этого ты слишком мала и слаба… Мы обе только шлепнемся в воду… Может быть, вы отыщете несколько больших камней, и я буду перепрыгивать с одного на другой…

— Несколько больших камней! — передразнивает ее Жанна. — Отыщи сначала нескольких сильных мужчин…

— Но ты, Жанна, могла бы меня перенести, ты из нас самая сильная и высокая…

Жанна Абади, первая ученица и образец вежливости, задыхается от гнева и орет как вульгарная торговка:

— Нет уж, милочка, спасибо за любезное предложение! Снова лезть в этот ледяной компот? Ни за какие коврижки! Не надо мне и трех кило леденцов! Если уж ты такая неженка и так боишься своей мамочки, сиди, где сидишь, несчастная курица, и пусть тебя черт заберет!

Бернадетта обладает детской способностью тотчас представлять себе все сказанное в образах. Для нее не существует пустых, незначащих фраз. Самая избитая фраза обретает буквальный смысл и вмиг оживает. Черт уже незримо стоит у нее за спиной, чтобы забрать ее, потому что Жанна

Абади этого хочет.

— Вот чего ты мне желаешь? — кричит она через ручей. — Если ты мне этого желаешь, то ты мне не подруга, и я не хочу тебя больше знать!

Она возмущенно поворачивается спиной к гроту и слышит голос Марии:

— Эй, там наверху много хвороста… Жди нас, Бернадетта, ты нам не нужна…

Бернадетта медленно успокаивается. Она еще видит фигурки девочек, снующих туда и сюда между скалой и лесом, они постоянно наклоняются, собирая хворост. Однако Бернадетта ощущает себя сейчас в полном одиночестве. Каждый раз, когда ей удается остаться в одиночестве, ее охватывает блаженное чувство отрешенности и отдохновения, как бы возвращения к спокойному, свободному и естественному существованию, которое делается для нее невозможным, едва она оказывается среди людей. И сейчас вокруг нее царит полный и совершенный покой, не нарушаемый ни малейшим дуновением ветерка. Пронизанная светом облачная пелена неподвижна. Бернадетта оглядывается вокруг. Маленькие сверкающие волны ручья Сави сливаются с бурными, пенистыми водоворотами Гава. Грот Массабьель до краев залит спокойным розовым

светом солнца, которое спрятано за облаками. Почти все тени исчезли. Единственное темное пятно образует овальная ниша, находящаяся с правой стороны грота и ведущая вглубь скалы. Под нишей протянулась ветвь от растущего на скалистой стене куста дикой розы. Бернадетта прислушивается. Ни звука, кроме удаляющихся голосов девочек и привычного строптивого рокота Гава, такого знакомого, как шум в собственных ушах, когда она просыпается ночью от страшного сна.

«Ты нам не нужна…» Сейчас она думает об этой фразе без всякой горечи. Одновременно в ней пробуждается чувство долга. «Я ведь самая старшая, — думает она, — не пристало мне отлынивать от работы. Нельзя подавать плохой пример. Хоть у меня и астма, я не мокрая курица, и немного холодной воды не обязательно сразу же вызовет насморк. Как глупо, что мама заставила меня надеть теплые чулки…» Бернадетта садится на тот же камень, на котором за несколько часов до этого свинопас и ее отец делили хлеб и сало. Девочка скидывает башмаки и начинает стягивать с правой ноги белый шерстяной чулок. Она еще не дошла до лодыжки, когда внезапно почувствовала, что произошла

какая-то перемена. Бернадетта смотрит вокруг зоркими детскими глазами. Нет, пожалуй, все как было. Никто не появился. Только облака вновь стали непроницаемыми, и свет сделался каким-то свинцовым. Проходит некоторое время, прежде чем медлительная Бернадетта осознает, что перемена произошла не перед ее глазами, а в ее ушах. Изменился привычный шум Гава.

Будто Гав уже не река, а большая проезжая дорога, вроде дороги из Тарба в Лурд в рыночный день, да еще в самое оживленное время года, на Пасху. Сотни груженых повозок, крестьянских телег, почтовых карет, разнообразных экипажей с грохотом катят по этой изъезженной дороге. В придачу ко всему по ней явно марширует эскадрон лурдских драгун. К стуку копыт, шуму вращающихся колес, щелканью бичей и ржанию лошадей примешивается протяжное страдальческое «иа-иа» вьючных ослов. И все это — дикое паническое бегство, безумная, окутанная облаком пыли скачка — с невероятной быстротой приближается к Бернадетте, хоть и движется против течения. Еще миг, и это ее настигнет — и промчится над ней. Ей кажется, что в сокрушительном гуле враждебных, спорящих голосов, из которого вырываются отчаянные, горестные

вопли женщин, она различает отдельные выкрики, отдельные возгласы и фразы вроде: «Отвали!», «Прочь с дороги!», «Спасайся!», «Пусть черт тебя заберет!»

Да, снова и снова звучит проклятие Жанны! Весь этот грохот непрерывно надвигается и в то же время непрерывно стоит на месте. Бернадетта стискивает зубы. «Это все уже однажды со мной было, я все это слышала, но где, но когда?» Она не может вспомнить. И затем все проходит, как будто ничего не было: ни криков, ни стенаний, ни яростного и горестного рева Гава. Гав вновь шумит и рокочет на свой привычный манер.

Бернадетта встряхивается, чтобы поскорее все позабыть. Правый чулок она уже держит в руке. Затем она еще раз внимательно оглядывается вокруг, на сей раз с непонятной робостью. Ее взгляд останавливается на гроте. Ветка дикой розы под нишей дрожит и гнется, словно от бури, и это при полном безветрии.

Глава седьмая
Дама

Бернадетта переводит взгляд на ближайший тополь, чтобы узнать, есть ли там, в вышине, ветер, который мог бы добраться до куста в гроте Массабьель. Но трепетная листва тополя замерла, пышная крона недвижна. Бернадетта вновь поворачивается лицом к гроту, который от нее не более чем в десяти шагах. Куст дикой розы на стене грота уже не колеблется. Наверное, ей просто привиделось.

Нет, не привиделось. Бернадетта трет глаза, закрывает их, открывает, и так до десяти раз, но ничего не помогает. Дневной свет вокруг по-прежнему свинцово-серый. Только в овальной нише внутри грота дрожит насыщенный густой блеск цвета старого золота, словно там сохраняются еще последние лучи золотого заката. И в этом волнующемся золотом сиянии кто-то стоит, будто только что вышел из глубин мироздания на свет дня после долгого, хотя и нетрудного, не требовавшего особых усилий пути. И этот кто-то не расплывчатый призрак, не прозрачный фан-

том, не изменчивое видение, но очень юная и благородная с виду дама, весьма изящная, явно из плоти и крови, скорее миниатюрная, чем высокая, ибо она спокойно стоит, не касаясь каменных стен и вполне помещаясь в узком овале ниши. Одета юная дама не вполне обычно, но при этом ее туалет не совсем чужд современной моде. Хотя на ней явно нет ни тесного корсета, ни парижского кринолина, свободный покрой ее белоснежного платья красиво подчеркивает тонкую нежную талию. Бернадетта недавно присутствовала в церкви на бракосочетании младшей дочери де Лафита. Так вот, наряд дамы, скорее всего, можно сравнить с нарядом знатной невесты. И на той и на другой поверх платья наброшена легкая фата из дорогой ткани, покрывающая голову и доходящая до лодыжек. Но волосы похожей на невесту дамы не подверглись никакой завивке и не уложены в высокую прическу с черепаховым гребнем, как принято в высшем свете, нет, даже несколько дерзких золотистых локонов самым очаровательным образом выбились из-под накидки. Широкий голубой пояс свободно завязан под самой грудью, и концы его свисают почти до колен. Но какая несравненная, пронзительно приятная голубизна! А что касается белоснеж-

ного платья, то, наверное, даже мадемуазель Пере, портниха, обшивавшая самых богатых дам Лурда, не смогла бы определить, из какой ткани оно изготовлено. Иногда эта ткань блестит наподобие атласа, иногда кажется матовой, словно неизвестный тончайший белый бархат, а иногда это какой-то невесомый батист, отвечающий на каждое колебание тела причудливой игрой складок.

Но самое необычное Бернадетта замечает лишь в последнюю очередь. На молодой даме нет обуви, ее ноги босы. Узкие изящные ступни белы, как слоновая кость или даже как алебастр. К их белизне не примешивается ни малейшего оттенка красного или розового. Это какие-то первозданные ножки, словно никогда не ходившие по земле. Они странным образом контрастируют с живой телесностью очаровательной девушки. Но, пожалуй, еще удивительнее золотые розы на обеих стопах, неведомо как прикрепленные у основания больших пальцев. Трудно сказать, какого рода эти розы: то ли это искусно выполненная бижутерия, то ли они просто нарисованы яркой золотой краской.

Сначала Бернадетта испытывает короткий, сотрясающий ее ужас, затем менее панический,

но более продолжительный страх. Однако не тот, который ей знаком, не тот, который заставляет человека вскочить и спасаться бегством. Она ощущает лишь, как что-то мягко сдавливает ей лоб и грудь, но при этом она страстно желает, чтобы это никогда не кончилось. Затем страх превращается в нечто такое, что девочка Бернадетта не смогла бы определить. Скорее всего, это можно было бы назвать утешением или усладой. До той поры Бернадетта даже не подозревала, что нуждается в утешении. Она ведь не сознает, как ужасна ее жизнь в полутемной норе кашо, которую она делит с пятью другими членами своего семейства, не сознает, что ей приходится постоянно голодать, не думает о том, что ночи напролет ей приходится бороться с мучительными приступами астмы, во время которых ей так трудно, почти невозможно дышать. Так было, сколько она себя помнит, и, вероятно, будет всегда. Тут уж ничего не поделаешь. Но теперь ее все больше и больше окутывает это утешение, которое она не может назвать, заливает горячая волна жалости и сочувствия. Жалеет ли она саму себя? Да. Но внутреннее существо девочки сейчас так распахнуто и так объемлет весь мир, что сладость сострадания буквально пронизывает все ее

содрогающееся тельце до кончиков маленьких юных грудок.

В то время как волны любовного утешения наполняют ее сердце покоем, свободный и твердый взгляд Бернадетты неотрывно прикован к лицу молодой дамы. Дама неподвижно стоит в нише, но чем больше впивается в нее взгляд Бернадетты, тем она оказывается ближе. Девочка могла бы сейчас сосчитать все взмахи ее ресниц, которыми она время от времени прикрывает бездонную лазурь своих глаз. Цвет лица, при всей его безупречности, столь живой и естественный, что даже легкий румянец на щеках воспринимается как свидетельство свежести морозного зимнего дня. Губы дамы не чопорно сжаты, а слегка приоткрыты, как бы невзначай, и между ними мерцают чудесные белые зубки. Но Бернадетта не замечает частностей, она глядит и не может наглядеться на весь этот прекрасный образ.

Ей даже не приходит в голову мысль, что перед ней небесное создание. Ведь Бернадетта не стоит на коленях в сумраке церкви. Она сидит на камне поблизости от того места, где ручей Сави сливается с Гавом, вокруг ясный студеный мир февральского дня, а в опущенной руке она держит белый шерстяной чулок. Бернадетте ясна

лишь несказанная красота представшего перед ней женского существа, которая ее опьяняет и которую она впивает в себя ненасытным взглядом. Красота дамы и есть та главная сила, которая покорила девочку Бернадетту Субиру.

В своем восторженном оцепенении Бернадетта внезапно осознает, что ее поведение неприлично. Она сидит, а дама стоит. Кроме того, ей стыдно, что одна нога у нее голая, а другая в чулке. Как ей поступить? Она виновато встает. Дама удовлетворенно улыбается. Эта улыбка еще усиливает ее очарование. Бернадетта неловко кланяется, как это принято у лурдских школьниц, когда они встречают на улице одну из сестер-наставниц, или аббата Помьяна, или даже самого декана Перамаля. Дама торопится ответить на ее приветствие, не снисходительно, как вышеназванные авторитеты, но по-дружески и совершенно непринужденно. Она несколько раз кивает Бернадетте, и улыбка ее становится еще теплее. Обмен приветствиями создает совершенно новое положение. Между Бернадеттой и дамой, между Осчастливленной и Дарующей Счастье, устанавливается связь. Возникает мощный поток, соединяющий Бернадетту и даму, он стремится в обе стороны и несет в себе волны радостной

симпатии, взаимной близости и даже какого-то нежного сообщничества. «Иисус Мария, — думает Бернадетта, — она стоит, и я стою». Чтобы обозначить почтительное различие между собой и дамой, Бернадетта становится на колени прямо на береговую гальку, лицом к нише.

Словно желая показать, что она поняла намерение девочки, дама делает своими алебастровыми ножками с золотыми розами маленький шажок из ниши к краю скалы. Идти дальше она не может или не хочет. Затем она немного раскидывает руки, как бы желая что-то обнять или приподнять. Руки у нее такие же тонкие и белые, как и ноги. На ее ладонях тоже не заметно ни малейшего оттенка красного или розового.

Некоторое время ничего не происходит. Видимо, дама вынуждена, — а вернее сказать, желает — предоставить всю инициативу Бернадетте. А девочке довольно долго ничего не приходит на ум, она лишь стоит на коленях и смотрит, смотрит и стоит на коленях. Из-за этого обеих охватывает легкое смущение, и это немного огорчает девочку, которая хоть и чувствует, сколь она недостойна дамы, все-таки жаждет ей услужить и всеми силами облегчить встречу.

Одновременно в очарованном мозгу Берна-

детты просыпается настороженность, первые сомнения, первое осознание странности происходящего. Откуда пришла дама? Из толщи земли? Но разве что-нибудь благое может появиться из-под земли? Благое, Небесное обычно нисходит с высоты. Оно может опуститься на облаке или сойти вниз по солнечному лучу, как на картинках в церкви. Но кто бы ни была эта юная дама, откуда бы она ни пришла своими босыми ногами, естественным или неестественным путем, одно остается непонятным: почему она выбрала для своего появления именно Массабьель, грязную, замусоренную дыру, постоянно заливаемую полыми водами, которые сносят туда камни, кости и всякий хлам, плывущий по реке. Массабьель, где находят приют свиньи и змеи, короче, место, которого все стараются избегать.

Недоверие Бернадетты, однако, не слишком серьезно. Все ее существо ликует, очарованное необыкновенной красотой дамы. Ведь всякая красота таит в себе нечто сверхъестественное. От каждого лица, которое мы называет красивым, исходит некое сияние, хоть и обусловленное физическими формами, но по сути своей духовное. Красота дамы кажется еще менее связанной с физической природой, чем любая другая красота.

Она и есть само духовное сияние, имя которому «красота». Потрясенная этим сиянием, а отчасти и затем, чтобы удостовериться в происхождении дамы, Бернадетта решает перекреститься.

Крестное знамение — испытанное средство против множества страхов и душевных смут, с малых лет преследующих Бернадетту. Ее мучают не только ночные кошмары. Даже средь бела дня ее глаза обладают даром видеть в обыкновенных вещах нечто особенное, некие образы, заключенные в них, как в раму. На стенах кашо множество сырых подтеков и пятен. Если пристально смотреть на них из угла комнаты или утром из кровати, когда никак не удается заснуть, то эти пятна принимают самые различные очертания и формы. Все они в основном порождения царства демонов, череда нелепейших уродств и немыслимых сочетаний. Не последнюю роль среди них играет Орфид, огромный бородатый козел матушки Лагес из Бартреса. Когда-то этот злобный зверь, свирепо выставив рога, гнался по лугу за маленькой испуганной пастушкой. (О, почему именно она, которая так любит все красивое, приветливое, доброе, столь часто оказывается во власти этих злобных фантомов?)

Бернадетта, не отрывая глаз от бескровных

ступней дамы, хочет поднять руку и осенить себя крестным знамением. Но ей это не удается. Рука не поднимается, словно чужая. Бернадетта даже не в силах пошевелить пальцами. Такое состояние, когда руки и ноги будто отнялись, тоже ей знакомо по страшным снам. Ей часто снится, что ее преследуют адские силы, гонятся за ней, а мышцы и голос ей отказывают, и она не может позвать на помощь Спасителя. Но на сей раз ее бессилие имеет, как видно, особую причину. Возможно, дама угадала ее сомнения и хочет ее за это наказать. Но возможно, что сама Бернадетта, желая перекреститься, нарушила каким-то образом правила хорошего тона и совершила непростительный faux pas[8]. Ибо что касается крестного знамения, то несомненно первенство тут должно принадлежать даме.

И в самом деле, дама в нише медленно, очень медленно, как бы обучая, поднимает правую руку с тонкими пальцами и так широко, так радостно осеняет себя крестным знамением, что Бернадетта приходит в восторг, ибо ничего подобного еще в жизни не видала. Сияющий крест словно не исчезает, а продолжает парить в воздухе. При этом

---

[8] Notes: 8
Ложный шаг *(фр.).*

лицо дамы делается необыкновенно серьезным, и от этой серьезности исходит новая волна очарования, которому невозможно противостоять. До сих пор Бернадетта, как и большинство людей, крестилась довольно небрежно и неточно, едва касаясь в спешке лба и груди. Теперь же она чувствует, как ее рукой завладевает какая-то мягкая сила. Как водят руку ребенка, уча его письму, так мягкая сила приподнимает застывшую руку девочки и касается ею середины лба. В результате у Бернадетты получается такой же широкий и невыразимо прекрасный крест, как только что у дамы. И дама вновь кивает и улыбается, будто им удалось достичь чего-то важного и ценного.

После этого возникает новая пауза, заполненная восторженным созерцанием и любовью. Бернадетте хотелось бы что-то сказать, как-то выразить свои чувства, если не словами, то хотя бы запинающимися, смущенными, нежными звуками. Но разве можно осмелиться заговорить прежде, чем заговорит дама? Девочка сует руку в свою матерчатую сумку и вынимает оттуда четки. Это и есть самое лучшее, что она может сделать…

Все без исключения женщины Лурда постоянно носят с собой четки, важный и необходимый

инструмент их благочестия. Руки бедных, тяжко работающих женщин просто не могут пребывать в покое. Молитва с пустыми руками для них как бы и не молитва. Молитва с усердным перебиранием четок — совсем другое дело, своего рода небесное рукоделие: невидимое шитье, вязание или вышивание; из пятидесяти «Ave Maria» возникает прилежно нанизанная жемчужная нить. Кому в течение года или дня удается прочесть положенное число определенных молитв, следующих в строгом порядке, или, как говорят, «розариев», тот соткет себе добротное покрывало, которым великое милосердие когда-нибудь частично прикроет его вину. Пусть губы механически бормочут слова, которыми ангел приветствует Деву, душа в это время все равно блаженствует на лугу святости. И пусть мысли при этом частенько отвлекаются от произносимых слов и вздох, вырывающийся из груди, относится исключительно к неразумной цене на яйца, пусть даже голова поникнет на минуту-другую во время произнесения очередного «Ave» — не беда, ибо в этот миг человек защищен надежнее, чем когда-либо. Матушка Субиру относится к четкам и к чтению молитв точно так же, как все женщины Лурда. А Бернадетта, еще

такая юная Бернадетта, которую никто бы не назвал святошей, которую учительница Мария Тереза Возу считает дремучей язычницей и которая в самом деле имеет лишь смутное понятие о таинствах веры, Бернадетта с гордостью носит с собой четки как знак того, что уже принята в клан взрослых женщин.

Теперь она с готовностью предъявляет даме свои небогатые четки, суровую нить с нанизанными на нее простыми черными шариками. Дама как будто давно этого ожидала. Она вновь улыбается и кивает и, кажется, очень довольна похвальной сообразительностью девочки. В ее чуть приподнятой правой руке тоже появляются четки, но не грошовое рыночное изделие, которым пользуется дочка поденщика, а свисающая чуть ли не до земли нить крупных переливающихся жемчужин, какую не увидишь ни у одной из королев. На конце нити в волнах струящегося света блестит золотое распятие.

Бернадетта рада услышать наконец свой голос, хотя он кажется ей сейчас совсем незнакомым. «Богородице, Дево, радуйся…» — начинает она первый десяток молитв. При этом она зорко следит за дамой: молится ли та вместе с ней. Но губы дамы остаются неподвижными. Видимо, не ее де-

ло произносить слова Ангельского Приветствия. Но она с ласковым вниманием контролирует бормотание девочки. Каждый раз, когда молитва прочитана, дама пропускает между пальцами очередную жемчужину и дает ей соскользнуть вниз. При этом она непременно ждет, чтобы сначала девочка передвинула свой черный шарик. Когда же после первых десяти «Богородиц» звучит наконец восклицание: «Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу!» — из груди дамы как будто вырывается вздох и ее губы беззвучно произносят эти слова вместе с Бернадеттой. Никогда еще Бернадетта не читала «розарий» так медленно. Ведь это верное средство подольше удержать даму. А важнее этого сейчас ничего нет. Бернадетта так боится, что та, которую она уже возлюбила превыше всего, от лица которой она не в силах отвести глаз, устанет, что ей надоест из-за девочки Субиру торчать в неуютной и грязной каменной дыре на самом краю обрыва, откуда так легко свалиться. Конечно, истинная мука стоять таким образом, когда в тебя непрерывно впиваются глазами, да еще в такую погоду. «О Господи, скоро она уйдет и оставит меня одну…» Но после тридцати прочитанных молитв эти мысли куда-то уходят и сомнения рассеиваются. Глаза Бернадет-

ты не устают все пристальнее глядеть на даму. Остальные чувства замирают. Она не ощущает острых камней под коленями. Не ощущает ледяной стужи вокруг себя. Она погружается в теплое блаженное забытье.

«Как мне сейчас хорошо, о, как мне хорошо…»

Глава восьмая
Чуждость мира

Лишь через добрых двадцать минут Мария и Жанна возвращаются на берег ручья. В низине между гротом Массабьель и общинным лесом они насобирали огромное количество хвороста. Девочки еле его тащат. Они вспотели и задыхаются, они и не смотрят на Бернадетту. Первой пугается Мария. Она вдруг замечает, что сестра стоит на том берегу ручья коленями прямо на камнях в какой-то странной оцепенелой позе. Большим и указательным пальцем правой руки она держит четки. Белый чулок валяется возле нее на земле. Лицо ее смертельно бледно. Даже губы, обычно такие свежие, сделались бесцветными. Неподвижные глаза прикованы к гроту, но это глаза слепой, на них не видно зрачков. На окаменевшем личике, которое как бы и не дышит, застыла блаженная улыбка отрешенности и превосходства, подобная той, какую Мария недавно видела на лице лежащей в гробу соседки.

— Бернадетта, эй, Бернадетта! — кричит сестра.

Никакого ответа. Коленопреклоненная Бернадетта не слышит. Теперь ее окликает Жанна:

— Эй, ты, прекрати свои глупые шутки!

Никакого ответа. Коленопреклоненная не слышит. Марию охватывает ужас. Губы у нее кривятся, голос дрожит:

— Ой, наверное, она умерла… Астма ее убила. О Пресвятая Дева!

— Чепуха! — возражает более опытная Жанна. — Если бы она умерла, то лежала бы, а не стояла на коленях. Ты когда-нибудь видела мертвеца, который стоял бы на коленях?

Младшая сестра продолжает всхлипывать:

— Иисус Мария, а если она все-таки умерла…

— Мы ее сейчас разбудим. Она наверняка просто нас дурачит. Идем…

Жанна подбирает с земли несколько камешков и начинает кидать их в Бернадетту. Наконец один из них попадает ей в грудь. Девочка приподнимает голову, недоуменно оглядывается. Ее щеки медленно розовеют. Она глубоко вздыхает и спрашивает:

— Что происходит?

Между ударом камешка в грудь и этим вопросом прошло всего несколько секунд, но эти секунды вместили в себя долгий, долгий путь,

который даже невозможно обозначить категориями времени. Когда камешек попал Бернадетте в грудь, дамы уже не было. Каким образом она исчезла, девочка не смогла бы объяснить. Она не растворилась в воздухе. Не растаяла в колеблющемся луче света. Да и как это могло бы быть, ведь дама, несомненно, была живым существом из плоти и крови, и одежда на ней была из самой дорогой ткани? В то же время девочка не сумела уловить момент, когда дама просто ушла или отступила и скрылась в темной нише. Скорее всего, это следовало объяснить так: Несравненная по доброте своего сердца не захотела огорчать девочку и, прежде чем уйти, погрузила ее в легкое беспамятство. Кроме того, прекрасное самочувствие было для Бернадетты столь новым и столь блаженным ощущением, что она даже не заметила, как дама с ней распрощалась.

Но за прекрасное самочувствие ей приходится расплачиваться теперь, когда сознание к ней вернулось. Прежде всего, ее неприятно удивляет, даже внушает отвращение то, что она видит вокруг и что лишь постепенно доходит до ее сознания. Она не могла бы выразить это словами. Чуждость окружающего мира вызывает у нее едва ли не тошноту. Этот камень, он и вправду

камень? И что такое вообще камень? А нога, неужели это ее нога, ее собственная стопа, далекая и бесчувственная, как бревно? Бернадетте приходится с трудом пробиваться к осознанию полной естественности окружающего, прежде чем она в состоянии задать вопрос:

— Что происходит?

— Что происходит? Это мы у тебя должны спросить, — взрывается Жанна. — Ты что, совсем рехнулась? Молиться перед гротом Массабьель, где жрут и пачкают свиньи? В церкви ты менее усердна…

Бернадетта уже полностью пришла в себя, теперь она снова школьница, которой необходимо осадить подружку.

— Это не твое дело, это касается только меня…

— Господи, Бернадетта, как ты меня напугала! — жалобно причитает Мария. — Я уж думала, ты померла от астмы…

Бернадетту пронзает жалость к сестре.

— Иду к тебе! — кричит она и быстро стягивает чулок с левой ноги. Когда она встает, ей кажется, что после встречи с дамой она изменилась: стала чуть ли не на полголовы выше, сильнее, энергичнее и даже красивее. Удивление и отвращение перед чуждым миром уступают место живому

интересу выздоравливающей, которая чувствует себя как бы заново рожденной на свет. Бернадетта обматывает чулки вокруг шеи, берет в руки башмаки и легкой уверенной походкой входит в ручей. Посередине, там, где вода ей по колено, она останавливается и удивленно восклицает:

— Какие же вы обе обманщицы! Водичка просто тепленькая, как в лохани…

Мария сердито качает головой:

— Жанна права, у тебя не все дома. У меня до сих пор еще ноги сводит от этой тепленькой водички… Лучше вылезай и помоги нам!

Бернадетта присоединяется к девочкам, не заботясь о том, что ноги у нее мокрые. Они делят кости на три равные доли. Затем длинными гибкими прутьями увязывают собранные дрова и хворост в три большие вязанки. Это нелегкая работа. Бернадетта на сей раз оказывается самой быстрой и ловкой. Подготавливая свою вязанку, она вдруг спрашивает девочек:

— Вы ничего не видели?

На местном диалекте ее вопрос звучит так:

— Aouet bis a rè?

Мария искоса смотрит на сестру. Ей тоже кажется, что Бернадетта в чем-то изменилась: она такая уверенная, целеустремленная и выглядит

старше, чем полчаса назад. В ее круглом детском лице появилось даже что-то властное.

— Ты сама что-нибудь здесь видела? — спрашивает младшая сестра.

Жадные глаза Абади загораются любопытством.

— Был кто-нибудь в гроте?

— Labets, a rè, — обрывает разговор Бернадетта. Это означает: «Нет, никого не было».

Бернадетта усаживается на землю и быстро натягивает чулки. Затем одним рывком вскидывает себе на голову самую большую вязанку: именно так здешние женщины привыкли носить поклажу. Две другие девочки поднимают свои вязанки с величайшим трудом.

— Обратно пойдем через гору, это самый короткий путь! — решительно говорит Бернадетта.

Жанна Абади соглашается:

— Ни за что на свете не полезу больше в ледяную воду!

— Там очень крутой подъем и спуск, — опасливо замечает Мария.

Но Бернадетта не обращает внимания на ее слова. Большими шагами она уже спешит вверх по каменистой осыпи, не оглядываясь ни на грот, ни на нишу. В нескольких метрах от грота

Массабьель начинается еле заметная тропа, карабкающаяся вверх на самый гребень Трущобной горы и спускающаяся неподалеку от Старого моста. Бернадетта идет впереди. За ней на некотором расстоянии следует Жанна. Мария тащится последней. Девочки не разговаривают, так как груз у каждой тяжел, а тропинка не только круто забирает вверх, но порой приближается к самому краю обрыва. Особенно опасен обрывистый участок пути перед вершиной. Здесь надо преодолеть вертикальную расщелину, а под ногами голая скала, вымытая дождями. Деревянные башмаки отчаянно скользят, они не самая удобная обувь для хождения по горам.

— О господи, дальше я не пойду! — задыхаясь говорит Мария перед последним подъемом.

Бернадетта, которая уже взобралась на гору, сбрасывает свою вязанку и спускается на помощь сестре. Не говоря ни слова, она перекладывает на себя ее ношу и упругим шагом вновь взбегает на вершину.

— Эй, что это значит? — удивленно восклицает Мария. — Я же сильнее тебя…

Жанна Абади хохочет, сгибаясь под своей вязанкой:

— Она вдруг превратилась в дюжего капрала из

Немурской казармы, а до этого боялась замочить ножки в холодной водичке…

— Куда ты так мчишься, ослица? — сердито осаживает Мария сестру. — Потом будешь задыхаться всю ночь…

Бернадетта не отвечает. Она и думать забыла о своей «атме». Она борется с собой. Ее душа жаждет говорить о даме. Она подобна влюбленной, которая изнывает, потому что обстоятельства вынуждают ее молчать о своей любви. В глубине сердца она знает, что, если только поддастся искушению и откроет рот, это будет иметь непредсказуемые последствия. «Я ничего не скажу, я ничего не скажу», — шепотом убеждает она саму себя.

— Что ты там бормочешь себе под нос? — спрашивает Абади.

Бернадетта внезапно останавливается и, не дыша, замирает.

— Я хочу вам что-то рассказать, — произносит она затем. — Но вы должны поклясться, что не выдадите меня… Мама уж точно не должна об этом знать, она меня просто побьет… Мария, поклянись, что не скажешь дома ни словечка!

— Клянусь! Ты ведь знаешь, я умею держать язык за зубами.

— А Жанна сегодня пожелала, чтобы меня забрал черт. Жанна, ты правда этого хочешь?

— Дуреха, это же просто так говорится, никто всерьез об этом не думает. Ну давай, выкладывай!

— Нет, сперва поклянись, что ничего не скажешь ни у нас дома, ни у себя дома, ни в школе…

— Даю честное слово. Но клясться, нет, клясться я не буду. Клясться ни с того ни с сего — это грех. Ты хочешь ввести меня во грех именно сейчас, за несколько месяцев до первого причастия? Ладно! Рассказывай, что было в гроте?

— Я видела даму во всем белом, с голубым поясом, и на каждой ноге золотая роза…

Она восторженно вслушивается в собственные слова, которые, при всей их бедности, должны вместить непостижимое. А сердце у нее колотится и прямо выпрыгивает из груди. Мария приходит от ее слов в ярость. Она швыряет свою вязанку на землю:

— Эй, ты, я тебя хорошо знаю! Ты хочешь нас напугать, сейчас, когда уже темнеет, а мы все еще в лесу. Но меня ты своей дурацкой дамой в белом не напугаешь…

Выдернув из вязанки ореховый прут, она несколько раз ударяет Бернадетту по рукам. Но

та как будто ничего не чувствует.

— Почему ты ее бьешь? — задумчиво говорит Жанна Абади. — Может, там и в самом деле была дама…

— Да, была, и я хотела перекреститься, но не смогла, а потом у меня получился такой же крест, как у дамы…

Бернадетта вдруг обрывает себя и быстро уходит вперед. Ни на один из настырных вопросов Жанны Абади она больше не отвечает. Спустившись по восточному склону Трущобной горы к тому месту, откуда видна большая лесопилка Лафита, Бернадетта бросается на траву.

— Я так ужасно устала… — говорит она подошедшим Марии и Жанне. — Отдохнем!

Она прижимается лицом к холодной сырой земле. Пусть наконец она подхватит эту проклятую простуду, пусть будет насморк, кашель, боль в горле, удушье! Ей все равно. Она почти желает заболеть. Обе девочки садятся рядом с ней на землю и удивленно смотрят на ее пылающее возбужденное лицо. После небольшой паузы она выкрикивает:

— Держите меня крепче! Мне так хочется назад, в Массабьель…

— Ты, верно, думаешь, что твоя дама ждет тебя

там не дождется, — подмигивает Жанна.

— Я это знаю, — отвечает Бернадетта.

Глава девятая
Мадам Субиру выходит из себя

Этот день, одиннадцатое февраля, выдался нелегким для Луизы Субиру. Более часа ей пришлось пробыть у соседки, Круазин Бугугорт. Снова все то же. Непонятно, как только Небеса не сжалятся над несчастным ребенком! Что ни делай, не жилец он на этом свете. Конечно, этот двухлетний крошка — единственный сын Круазин Бугугорт, и она, как все несчастные матери, панически боится его смерти, вместо того чтобы спокойно принять ее, покорившись Господней воле. Ведь маленький Бугугорт никогда не встанет на ножки. Ножки у него не толще большого пальца мужчины и к тому же кривые. Каждые три-четыре недели у него бывают такие ужасные судороги, как сегодня. Причина в головном мозге, от него и судороги. Несчастный малютка задирает коленки чуть не до подбородка, глаза у него закатываются, и он теряет сознание.

Луиза Субиру, как все сестры Кастеро (более всех старшая, премудрая Бернарда), имеет репутацию опытной целительницы. Не только мадам

Бугугорт, но и другие женщины с улицы Пти-Фоссе в случае нужды призывают ее на помощь. Неопытная и болезненная Круазин вообще не может без нее обойтись. Когда на малыша нападают судороги, она сразу теряет голову. Матушка Субиру и на этот раз с величайшим усердием применила свои испытанные приемы. Как она ни бедна, она не пожалела бальзама собственного изготовления и натерла им все тельце ребенка. Затем укутала его в теплые одеяльца и с величайшим трудом влила ему в рот несколько капель особого отвара из лечебных трав. После чего, взяв ребенка на руки, еще полчаса кружилась с ним по комнате, встряхивая его изо всех сил, чтобы восстановить кровообращение. Вследствие этого лечения бедняжку Жюста вырвало, и он обмарал ей все платье. Но судороги тут же прекратились.

Луиза Субиру, вспотевшая и задыхающаяся, спешит обратно в кашо. К своей величайшей досаде, она обнаруживает, что все ее птички разлетелись. Жан Мари и Жюстен, эти уличные мальчишки, невзирая на строгий приказ сидеть дома, давно уже куда-то удрали. Еще больше огорчает ее, что и Франсуа не дождался ее возвращения. Почти наверняка решил «на минутку» заглянуть к папаше Бабу, несмотря на торже-

ственную клятву этого не делать, данную ей на Рождество. Луиза устало опускается на стул и бессознательно заводит свою обычную песню, которую повторяет по многу раз на дню:

— Praoubo de jou… Бедная я женщина…

Но вот она вскакивает и накидывает на голову платок. Она вспоминает, что мадам Милле нередко отменяет или переносит день стирки. Стирка у мадам Милле — священная процедура, которая осуществляется под личным наблюдением строгой и благочестивой вдовы. Но бывает, что в конце недели мадам едет в Аржелес, чтобы нанести визит тамошним родственникам. Несколько месяцев назад умерла ее горячо любимая приемная дочь Элиза Латапи, принадлежавшая к одной из ветвей этого многочисленного семейства. Если мадам Милле едет в Аржелес, то стирка отменяется. Луиза Субиру теряет на этом тридцать су, горячий обед, вечерний чай и гостинцы, которые хозяйка или ее кухарка обычно суют ей для детей. Луиза Субиру предчувствует, что сегодня — день неудач, все идет вкривь и вкось, и, скорее всего, ей сообщат, что в пятницу стирки не будет.

Она с силой захлопывает за собой дверь кашо. Дядюшка Сажу, каменотес и домовладелец, сидит на верхней ступеньке и с наслаждением курит

свой вонючий табак. Мадам Сажу не терпит, когда он дымит «в салоне». В отличие от Субиру, которым лишь из милости разрешено поселиться в бывшей тюрьме, супруги Сажу называют три небольшие комнаты своей собственностью, из них одну, обставленную полученной в наследство мебелью, особенно берегут и почитают, это и есть «салон», то есть святая святых буржуазности.

— Дорогой Андре, — говорит Луиза замученным голосом, — я всего на три минутки забегу к мадам Милле… И очень скоро вернусь…

Андре Сажу вяло загибает левый указательный палец в знак того, что он понял. Ремесло каменотеса вообще не располагает к разговорчивости, ведь гранит и мрамор, идущие главным образом на надгробные памятники, сами по себе символы молчания. В отношении Субиру молчание дядюшки Сажу особенно нарочито, ибо хотя он им и родня — в Лурде все более или менее друг другу родственники, — но их невезучесть требует бдительности, как заразная болезнь. Выполнять христианский долг следует, но держаться от них надо подальше, чтобы не завязнуть в их бесконечных бедах.

Дом мадам Милле расположен на углу улицы Бартерес. Это одно из самых солидных и внуши-

тельных зданий в Лурде. Когда епископ Тарбский монсеньор Бертран Север Лоранс посещает Лурд, он обычно останавливается не в доме декана Перамаля и не в обители Неверских сестер, а в доме богачки вдовы Милле, где его всегда ждут личные апартаменты. Госпожа Милле вполне заслужила эту честь, ибо она не только благочестивая, но и воинствующая католичка. Правда, монсеньор, человек остроумный и практичный, находит покои госпожи Милле с их обилием гардин, занавесок, чехлов и кружевных салфеток несколько затхлыми. Кровати там подобны торжественным катафалкам. Они просто вопиют, чтобы лежащий на них поскорее испустил дух. Даже толстая свеча на ночном столике — типичная церковная свеча. Кроме того, добрая Милле, по мнению епископа, проявляет слишком уж настойчивое, хотя и поверхностное любопытство к потусторонним предметам. После смерти племянницы Элизы Латапи, которую она удочерила, ее тяготение к миру духов перешло все допустимые границы. С другой стороны — и это является для монсеньора решающим, — множество полезных организаций существуют исключительно на пожертвования этой очень богатой женщины. Взять хотя бы «Союз детей Марии», который не только устраивает

пышные ежегодные празднества, но и широко занимается благотворительностью. И это лишь один из семи таких союзов.

Луиза Субиру робко стучит в дверь дома старомодным дверным молотком. Дверь собственноручно открывает почтенный Филипп, слуга госпожи Милле. Уже один вид этого мрачного Филиппа, обстановка огромной темной прихожей, запах нафталина и смерти, веющий вокруг, — все это каждый раз наполняет сердце Луизы почтением и страхом. Как и во всех комнатах мадам Милле, здесь также царит horror nudi — «страх наготы». Поэтому все стены завешены темными картинами и все предметы накрыты бесчисленными пожелтевшими кружевными салфетками, которые хорошо знакомы Луизе, потому что она их постоянно отстирывает. Несмотря на это, они становятся все желтее.

— Моя добрая Субиру, — начинает Филипп тоном высокопоставленного, но снисходящего к собеседнице прелата, — очень разумно, что вы пришли, вы избавили меня от необходимости идти к вам. Мы переносим стирку на следующую неделю. Завтра мы проведем день у родственников в Аржелесе. Со времени кончины нашей благочестивой мадемуазель Элизы мы постоянно

ездим туда, чтобы присутствовать на панихиде. Когда потребуется, мы вас известим…

При упоминании умершей госпожа Субиру придает своему лицу, как предписывают приличия, вытянутое и кислое выражение соболезнования. Но страх колотится у нее в ушах. То, чего она так боялась, случилось. Денег на субботу и воскресенье у нее нет. Она просто не знает, как ей теперь быть. На обратном пути она забегает в продуктовую лавку Лаказа и пытается выпросить в долг хотя бы шматок сала, кусок мыла и пригоршню риса. (Двенадцать су, которые у нее еще остались, она выложить не решается, так как их тотчас же заберут в уплату старых долгов.) Лаказ категорически отказывает. Слишком уж много за ней записано в его тетрадке. У кашо ее встречает скрипучий голос Андре Сажу.

— Дорогая кузина, — брюзжит он, — долг матери обязывает вас следить, чтобы ваши отпрыски не причиняли беспокойства соседям. Взгляните на своих сыночков! Мало того что во дворе они лезут во все дыры, как отпетые взломщики. А теперь их еще угораздило свалиться в кучу навоза. В следующий раз это добром не кончится…

— Я только хотел поймать кошку, мамочка, — плаксиво тянет младший, Жюстен.

— А я только помогал Жюстену выбраться из навозной кучи, — защищается Жан Мари, не прибегая к слезам.

Матушка Субиру молча загоняет вывалявшихся в навозе грешников в комнату. Она так подавлена и огорчена, что у нее даже нет сил задать им сейчас трепку. Ее гложет одна мысль: во что их переодеть, у них ведь больше ничего нет. Она срывает с них почти всю одежду. К счастью, в котле еще осталась теплая вода. Она выливает ее в лохань и начинает так неистово стирать и полоскать одежки мальчиков, как будто хочет вытрясти свою бедную душу. Полуголые Жан Мари и Жюстен пользуются случаем и скачут по всей комнате, несмотря на холод.

Такую вот картину застает вернувшийся домой Франсуа Субиру. Овеянный парами алкоголя, он величественно застывает в дверях. Сыновей он даже не удостаивает взглядом.

— Я не потерплю, чтобы ты так надрывалась! — восклицает он нетвердым голосом. — Ты ведь урожденная Кастеро, а я как-никак — Субиру! Кто такие в сравнении с нами Николо? Ты не должна терять веру в меня…

Не прекращая стирки, Луиза бросает испытующий взгляд на мужа. Он подходит ближе и

становится за ее спиной.

— Я был у Мезонгроса, я был у Казенава, я был у Кабизо…

— И у папаши Бабу ты тоже был, — твердо говорит Луиза.

— Я болен, — стонет Субиру, — я очень болен… Да пошлет мне Господь скорую кончину! Ах вы, бедняги…

Луиза вешает мокрую одежду, от которой все еще пронзительно несет навозом, на веревку, протянутую между очагом и окном. Слова Субиру «я очень болен» не оставляют ее совсем равнодушной. В самом деле, муж выглядит на удивление плохо. Кто признает в нем молодцеватого парня, мельничного подмастерья Субиру далеких тридцатых годов? Уже несколько дней у него в желудке не было приличной еды. Как он чувствует себя виноватым перед ней за ее жребий, так и она ощущает свою вину перед ним. Если даже он и пропустил стаканчик-другой у папаши Бабу, на дармовщину или в долг, кто может его упрекнуть при таком питании? Бедняга просто не в состоянии больше все это выносить. Луиза, закаленная жизнью Луиза — преданная жена, она готова защищать мужа против всех на свете и даже против самой себя. Только бы он и

вправду не заболел! Этого им еще не хватало!

— Лучше всего тебе снова лечь в постель, Субиру, — говорит она.

— Да, ты права, это будет лучше всего, — отвечает Субиру так обрадованно, словно ее предложение решает все его жизненные проблемы. И вот он уже снова забирается в постель: отпущение грехов, данное женой, облегчило его душу и освободило от раскаяния. Луиза тем временем вынимает из пакетика сушеный липовый цвет и ставит кипятить воду. Через некоторое время она подносит к губам своего больного испытанное снадобье: она по опыту знает, что горький липовый отвар — лучшее средство против той хвори, которой сейчас мучается Субиру. Он сопротивляется, ему тошно, и он не желает выздоравливать, но она с беспощадной строгостью заставляет его выпить горячий отвар. Субиру лежит с видом страдальца. Слабого мужчину нужно постоянно подбадривать, это Луиза тоже давно усвоила.

— У Милле в пятницу не будет стирки, — сообщает она. — Но завтра я как-то выкручусь, а там что-нибудь обязательно подвернется. Может, будет работа у жены мирового судьи Рива.

— Завтра… — сиплым голосом откликается Субиру, и в его сипении звучит горькая на-

смешка, — завтра даже Казенав не пошлет меня вывозить вонючий мусор… Рад служить, господин капитан! — передразнивает он сам себя.

Она поправляет ему одеяло. Сидит рядом, пока он не засыпает. Засыпать он большой мастер, так что ждать ей приходится недолго. Но женщина еще медлит, сложив руки на коленях. Она вспоминает, что таким же он был, когда неожиданно досрочно вернулся из тюрьмы, не отсидев предварительного заключения. Тогда он сумел блестяще опровергнуть подлый оговор. Не он украл дубовую балку с лесопилки Лафита. Черт побери, на что ему сдалась эта огромная балка? Но, несмотря на то что он доказал свою невиновность комиссару полиции Жакоме, судье Риву, имперскому прокурору Дютуру, он вернулся совершенно сломленным, обвисшим, как мокрый чулок на веревке, и целыми днями беспробудно спал. Удивительно, как раскисают мужчины, когда им не везет, куда деваются их ум и упорство? Зато когда у них все хорошо, когда в кармане позвякивают монетки в двадцать су, как они тогда хвастают, как привирают, как строят из себя невесть кого! Как охотно всех угощают! Но если хлеб и почет исчезают, то и сами охотно напиваются за чужой счет, затем валятся в постель и спят. А бедная же-

на еще должна беспокоиться, не заболел ли он.

— Потише вы, грязнули! — шипит Луиза на мальчишек. — Не смейте мешать отцу, он болен и лег поспать!

Она бросает в огонь последний чурбачок, чтобы спящий не замерз. Затем хватает ведра и отправляется за водой. До ближайшего колодца надо пройти вверх по улице пять домов, колодец находится во дворе питейного заведения папаши Бабу. Если мужчины собираются внутри кабачка, то женщины сходятся у колодца. (Это не значит, что у них не припасено дома в шкафу бутылочки знаменитой «Чертовой травки», не говоря уже о вине, которое даже перед Господом не считается выпивкой.) Мадам Субиру узнает у колодца несколько свежих новостей, из тех, что не найдешь в «Лаведане». Оказывается, мадам Лакаде вместе с дочерью уже больше месяца пребывают в По. Когда молодая девушка отсутствует столь длительное время, это всегда предполагает весьма деликатную причину. Портниха Антуанетта Пере вытягивает из богачки Милле одну стофранковую купюру за другой. Вот уж истинная дочь судебного исполнителя! Толстуха-вдова заказала ей целых три черных шелковых платья. И последнее, самое интересное! Месье де Лафит,

загадочный кузен из Парижа, — говорят, он масон, если не сам дьявол, — недавно тащился по всей улице Басс за Катрин Манго, которой нет и четырнадцати, и имел наглость не только заговорить с ней, но даже ее погладить. «Катрин, для меня ты сладчайшая нимфа в этом поганом захолустье!» — вот что он ей сказал. Какова свинья! Впрочем, все мужчины одинаковы: жестоки и эгоистичны. Даже досточтимый декан Перамаль выставил вчера из дому свою кухарку Мадлен: столько лет ему служила, и пожалуйте — пинком в зад! Проповедует, что надо смирять страсти, а сам вспыхивает как порох! Нагруженная этими новостями и двумя полными ведрами, Субиру тащится домой. Она оставляет ведра у двери. Пусть девочки позже внесут их в комнату. Бьет три часа. Куда же подевались Бернадетта и Мария, они давно должны быть дома с хворостом! Луиза одновременно сердится и тревожится. Она вспоминает о Катрин Манго и парижском кузене. Погибель подстерегает повсюду. Ее девочки тоже красивы и глупы. Но эта мысль вытесняется еще более насущной и неприятной: из чего приготовить ужин?

Девочки так сильно задержались из-за того, что сдавали кости. Лавка Грамона расположена

на другом конце Лурда. С тяжелыми вязанками хвороста на голове они тащились туда бесконечно долго. Старьевщик выплатил каждой по два су. Бернадетта и Мария, в отличие от Жанны, решают купить на них не леденцы, а хлеб. Этот хлеб и большое количество хвороста непременно смягчат сердце матушки Субиру, когда они наконец доберутся до дома и сбросят у двери тяжелые вязанки.

— Где вы так долго пропадали? — кричит мать, как только сестры входят в комнату. — Сваливаете все на меня одну, взрослые лентяйки! Пора наконец усвоить: кто беден, тому гулять некогда. Скорее несите ведра!

Бернадетта и Мария послушно вносят тяжелые ведра с водой. Послушно чистят репу и картофель, за которые матушка Субиру заплатила часть из тех двадцати су, что дал ей сегодня муж. Отец лежит в кровати и укоризненно храпит. «Он болен», — говорит Луиза девочкам. Это не обсуждается, все молчат. Время от времени Бернадетта бросает пытливый взгляд на сестру. Мария в ответ опускает глаза и судорожно сжимает губы. Ее гримаса показывает, как тяжко ей бороться с собой. Луиза Субиру стремится использовать последние остатки дневного света, проникающие

в кашо со двора.

— Подойдите к окну! — командует она. — Я хочу расчесать вам волосы. Мария, ты первая!

Эта процедура повторяется каждый вечер. Луиза Субиру, насколько это возможно в мрачном тюремном помещении, ревностно борется за чистоту. Она ведь урожденная Кастеро. Жюстена и Жана Мари она ежедневно перед сном оттирает жесткой щеткой. А волосы дочерей тщательно расчесывает густым гребнем. На улице Пти-Фоссе нередки вши, они переходят из дома в дом. Чистота — последнее достояние человека, когда все утрачено. Это помогает сохранить остатки самоуважения. Мариину шевелюру расчесать особенно трудно. Волосы у нее густые, жесткие, не поддающиеся гребню — настоящий колтун. Бернадетта, напротив, унаследовала мягкие темные волосы отца. Луиза нещадно дерет спутанные космы Марии, а Бернадетту посылает за мальчиками, которые давно улизнули в коридор. Мария стоит на коленях, спиной к матери. От энергичных движений гребня ее густые волосы потрескивают.

— Гым… гым… — Мария испускает странные горловые звуки.

— Не так жалобно, если можно, — насмешливо

бросает мать.

Через минуту звуки повторяются: «Гым… гым… гым…»

— У тебя что, горло болит? — спрашивает Луиза.

— Нет, мама, горло у меня не болит…

Когда все те же непонятные, зловещие звуки раздаются в третий раз, Луиза настораживается, в ней просыпается подозрение.

— Что ты все жужжишь, как муха на стекле? Что ходишь вокруг да около?

— Мне нужно тебе кое-что рассказать, мама… Это касается Бернадетты…

— Что опять натворила Бернадетта? — встревоженно спрашивает мать.

— Ах, мама, она видела в гроте Массабьель молодую даму, всю в белом, с поясом небесно-голубого цвета… И дама была босая, а на каждой стопе у нее по золотой розе…

— Praoubo de jou! — привычно восклицает Луиза. — Что ты мелешь, несчастная?

— Бернадетта сначала хотела перекреститься, но не смогла, а потом, когда дама ей позволила, смогла…

Мария вздыхает, как будто она не только не нарушила данного слова, но, напротив, выполнила

тяжкую обязанность. В комнату возвращается Бернадетта. Мать накидывается на нее:

— Что ты там видела, ненормальная?

— Ты разболтала… Зачем ты разболтала? — спрашивает Бернадетта и долго, пристально глядит на сестру. В голосе ее, однако, не слышно упрека, скорее в нем звучит облегчение. Она делает два шажка к матери и растопыривает пальцы, как будто греет руки над огнем. Сердце у нее тает от радости, что теперь она может говорить о своей тайне.

— Да, мамочка, я видела красивую-раскрасивую даму в гроте Массабьель…

Эти восторженные слова — последняя капля, переполняющая чашу терпения до предела измученной женщины. После целого дня безнадежных усилий и разочарований она еще должна выслушивать этот бред от ни на что не годных бездельниц, которые столько времени проваландались невесть где. Больше всего ее возмущает яркий румянец на щеках Бернадетты. Это взволнованное лицо любящей, которая готова принести любые жертвы на алтарь своей любви, готова проявить строптивость и упрямство. Голос Луизы звучит так пронзительно, что к нему невольно прислушиваются в соседней квартире

супруги Сажу.

— Что ты видела? Ничего ты не видела! Ты видела не красивую-раскрасивую даму, а обыкновенный белый камень… Вы видите красивых-раскрасивых дам, а я тут за вас надрываюсь, и никто не думает мне помочь. О Пресвятая Дева, какие же у меня негодные дети! Воруют свечи в церкви, сваливаются в дерьмо, ничего, ну ровно ничего не знают из катехизиса, а теперь еще видят красивых-раскрасивых дам… Ну, я вам покажу!

Она хватает гибкую палку, которой обычно выбивает подушки. Первый удар обрушивается на плечи Бернадетты. Мария пытается убежать и спрятаться. Это еще сильнее разъяряет мать. Луиза преследует младшую, пока не удается огреть и ее. Мальчики также получают свою порцию, нельзя сказать, что совсем незаслуженно.

— Вот видишь! Теперь мама бьет меня по твоей милости! — вопит Мария.

Луиза бросает палку. Она забылась и потеряла над собой контроль. Устроила адский шум. Не подумала о том, что рядом спит больной муж. Но Франсуа проснулся еще до этого и давно уже встал с постели.

— Я все слышал, — говорит он.

Субиру — стройный высокий брюнет. Неудачи

и душевная слабость лишили его всего, но только не благородства внешнего облика, не присущего ему скромного достоинства. Свой авторитет в глазах детей он сохраняет главным образом потому, что все карательные меры, все наказания и искупление грехов являются прерогативой более энергичной Луизы. Она использует мужа как последнюю высокую инстанцию, чьи решения сама тайно подсказывает и сама же осуществляет. Но на этот раз Субиру тяжелым шагом подходит к дочери и крепко хватает ее за воротник. Короткий сон помог ему погрузиться на самое дно мучительной унылой трезвости.

— Я все слышал, — повторяет он. — Ты опять принимаешься за давние глупости. Тебе уже четырнадцать лет, пойми! В таком возрасте другие не только зарабатывают себе на жизнь, но и помогают родителям. Ты видишь, каково наше положение. Я не могу вас прокормить баснями. А ты опять за свое, потчуешь нас всякими выдумками. Мне это знакомо. Это желание поважничать, и ничего больше! Сочиняешь истории, хвастаешься своими невероятными приключениями, рассказываешь о босых дамах с золотыми розами на ногах. Доченька, куда это тебя заведет? Мы с твоей матерью приличные люди, прежде вла-

дели мельницей, но, Господу ведомо, мы всегда были скромны, всегда! Господу ведомо, что я берусь ради вас за самую тяжелую грязную работу. А кто видит в пещере прекрасных дам и рассказывает небылицы, тот не может принадлежать к приличным людям, его место среди ярмарочных паяцев, канатоходцев, испанских цыган и прочего сброда. Вот так, дочурка, и, если ты такая же, как они, убирайся отсюда к своим фокусникам и цыганам!

Субиру говорит внешне спокойно, его голос глубок и звучен. Это самая пространная воспитательная речь, которую Бернадетта когда-либо слышала от своего отца. Она смотрит на него с недоумением. Чего он от нее хочет? Ее взгляд тверд и одновременно апатичен. Она прижимает руки к груди.

— Но, папа, — говорит она, — я ведь ее действительно видела, эту даму…

Глава десятая
Бернадетте не дозволено видеть даму во сне

За этой бурной домашней сценой вскоре последовали кой-какие скромные события, благодаря которым в судьбе семейства Субиру как будто бы наметился просвет. Дело в том, что тетушка Сажу была добродушным существом. Пронзительный голос Луизы Субиру незадолго перед тем сильно ее испугал. Обычно они все такие тихие, эти Субиру, конечно, не считая мальчишек. Если уж урожденная Луиза Кастеро, которая так гордится своим происхождением, позволяет себе до такой степени распускаться, значит дело плохо. У мадам Сажу есть шкаф, в котором много чего припасено. Она открывает его со вздохом, не в силах противостоять собственной доброте. Но Господь велел быть милосердным! Она отрезает горбушку от огромного каравая хлеба и добавляет добрый кусок сала. Поскольку наслаждение можно испытывать не только от совершения добрых дел, но и от преодоления скупости, матушка Сажу кладет на тарелку еще шесть кружков сочной

деревенской колбасы, по одному на каждого члена семейства. Прихватив эти щедрые дары, она стучится в тяжелую дверь кашо.

Матушка Субиру, стоящая у очага, роняет от изумления поварешку, и та падает в кипящую кастрюлю жидкой похлебки.

— О, дорогая кузина, — восклицает она, — вас поистине послала Пресвятая Дева, к которой я сегодня так усердно взывала…

Поскольку хворост сгорает слишком быстро, мадам Сажу, растроганная собственной добротой, вызывает на лестницу мужа и велит ему принести охапку сухих поленьев. Прежде чем послушный муж, столь неразговорчивый, что не дает себе труда противоречить своей старухе, короче, прежде чем дядюшка Сажу успевает выполнить этот приказ, на семейство Субиру сваливается новый сюрприз. Круазин Бугугорт посетила ее тетка, старая крестьянка из деревни Виже. Она ежегодно навещает в эту пору племянницу и привозит какой-нибудь подарок на масленицу. На сей раз два десятка яиц. Едва за гостьей закрылась дверь, как мадам Бугугорт с корзиной яиц уже мчится прямо к Субиру. Она, как всегда, задыхается от спешки и не может перевести дух.

— Милая соседка, — говорит она, — вы доставите мне огромную радость, если примете эти яйца. Сегодня вы спасли моего сыночка от смерти…

Луизе Субиру не пристало долго ломаться. Ведь она и сама убеждена, что, если бы не ее растирания и встряхивания, малыш Бугугорт непременно отдал бы богу душу. Она вытирает руки и со словами благодарности берет корзинку, уже обдумывая про себя, какой она соорудит роскошный омлет из десяти яиц, да еще с кусочками сала. При этой мысли у нее пробуждается такой дикий аппетит, что на глазах выступают слезы. Наконец-то их желудки получат настоящую пищу. Кто знает, может быть, ее дети сочиняют нелепые сказки про прекрасных дам лишь потому, что уже столько дней ходят голодными. Но закон совпадений говорит, что радость, как и беды, не приходит в одиночку, и после двух единовременных даров судьба посылает семейству Субиру гораздо более долговременную милость. На этот раз она является к ним в облике Луи Бурьета.

Бурьет — тоже поденщик, подобно Франсуа Субиру. Он был прежде каменотесом, как дядюшка Сажу, но не сумел достичь такого успеха и такого благополучия. Свою неудачу он связывает с тем,

что однажды осколок камня повредил ему роговицу правого глаза, так что он им теперь ничего не видит. Бурьет — полный самоуважения инвалид. «Я слепой, — повторяет он по двадцать раз на дню, — а что можно требовать от слепого?» Бурьет тоже получает время от времени работу у Казенава, тот использует его в качестве посыльного или разносчика писем. Казенав-то и прислал Бурьета к Субиру. А случилось вот что. От удара копытом сильно пострадал кучер Каскард, тот, что ездит с почтовой каретой в Тарб. Его должен заменить конюх Дутрелу. А на место этого конюха и запасного кучера почтмейстер решает нанять Субиру. Он имел случай убедиться, что бывший мельник хорошо управляется с лошадьми. За эту работу почтмейстер предлагает ему постоянное жалованье — два франка в день — и бесплатный обед. И если Субиру согласен, пусть заступит уже завтра в пять утра. Луиза молитвенно складывает руки. Франсуа, исполненный сдержанного достоинства, стоит как бы в раздумье, словно взвешивая все за и против этого неожиданного предложения.

— Между мною и Казенавом было договорено, — заявляет он наконец с чувством собственной гордости, — что он возьмет меня, как только

у него освободится место. В конце концов, мы оба — старые вояки. Конечно, как хозяин мельницы я привык к совсем другой работе. Но если у тебя столько детей, то в наши дни выбирать не приходится. Завтра утром я буду на месте…

И он стирает пот со лба, который все же выступил, несмотря на его завидное самообладание. После чего подмигивает присутствующим. Его черты выражают хитрую удовлетворенность. В нем просыпается уроженец Южной Франции, типичный южанин с его благородными широкими жестами и хвастовством.

— Всех родственников и друзей, посетивших нас и засыпавших нас подарками, покорнейше просим оказать нам честь разделить с нами наш скромный ужин. Насколько я знаю свою женушку, будет грандиозный сочный омлет…

Все дружно протестуют. Луиза охотнее всего присоединилась бы к этим протестам. Ее легкомысленный супруг готов за один вечер потратить все яйца, которые семья могла бы растянуть на три дня. Но Луиза Субиру, как всегда, снисходительна к слабостям супруга. Как часто она идет у него на поводу, несмотря на предостережения собственного рассудка. Если бы не его широкие жесты и нерасчетливость, им не пришлось

бы потерять ни мельницу в Боли, ни мельницу в Эскобе, ни последнюю — в Бандо. Сколько раз, чтобы продемонстрировать широту своей натуры, он выставлял вино и закуску самым скаредным клиентам. В результате все эти мужики и пекари, которые тридцать раз покрутят, прежде чем истратят монетку в одно су, почувствовали недоверие к расточительному мельнику. С легкомысленными транжирами дела не делают, их сторонятся. К сожалению, Луиза не только снисходительна к слабостям своего супруга, но и сама склонна ко многим из этих слабостей. Когда при малейшем намеке на удачу он мгновенно стряхивает с себя все несчастья и беды, как собака — капли дождя, когда он стоит, вот как сейчас, с видом победителя и, словно большой барин, приглашает всех к столу, что скрывать, ей нравится, несмотря ни на что, этот лихой парень, бывший мельничный подмастерье Франсуа, и она звонко хохочет даже после такого дня. (От кого, интересно, унаследовала Бернадетта пристрастие к рассказыванию сказок?) Отбросив всякие колебания, Луиза повторяет приглашение мужа в любезных и тактичных словах, ибо она, как известно, хорошо воспитана:

— Надеюсь, вы не обидите меня и не откаже-

тесь от моего омлета. По крайней мере надо его попробовать. Нам, беднякам, тоже ведь иногда хочется хоть небольшого праздника…

Слово «попробовать» решает дело. Кто пробует, тот не стремится насытиться за чужой счет. Андре Сажу предлагает жене присоединить их ужин к ужину Субиру. Каменотес, чьи взрослые дети давно разлетелись из родительского гнезда, рад провести вечерок в компании, даже если это всего лишь обитатели кашо. Он приносит и ставит на стол большой кувшин вина. Между тем Луизин омлет начинает благоухать. Переворачивая его на сковороде, Луиза произносит про себя благодарственную молитву Пресвятой Деве, так как голод в ближайшие недели им уже не грозит. Бурьет, счастливый вестник, хочет уйти, но Субиру удерживает его обеими руками. Взрослые — в тесноте, да не в обиде — рассаживаются вокруг стола. Изголодавшиеся дети теснятся на узкой скамейке в нише между окном и камином: Бернадетта рядом с Жюстеном, Мария рядом с Жаном Мари. Мать не может отказать себе в желании сначала дать еду детям: каждому его долю омлета, миску супа и кусок хлеба с колбасой. Тетушка Сажу раздает им стаканчики с темно-красным вином. Сегодня у них и вправду

настоящая масленица.

Сидящие за столом не слишком разговорчивы. Провинция Бигорр и пиренейские долины — бедные края. Здесь едят молча, сосредоточенно наслаждаясь самим процессом еды. Крестьяне из горных деревушек и городские бедняки боятся ослабить удовольствие и снизить питательную ценность ниспосланных им Божьих даров, если зададут слишком большую дополнительную работу языку. Поэтому беседа ограничивается обильными похвалами вкушаемой пище.

После еды они еще часок проводят вместе. Мужчины с наслаждением курят самокрутки из листового табака, удушливый дым которых, смешиваясь с дымом от очага, заполняет всю комнату. Но к этому здесь привыкли. Только Бернадетте приходится раза два выбегать наружу, чтобы глотнуть свежего воздуха. Разговор о политике не поднимается выше мелких, хотя и ожесточенных нападок на власти предержащие, вернее, на двух представителей этих властей в Лурде: мэра Лакаде и комиссара полиции Жакоме. Последний недавно известил жителей через полицейского Калле, что отныне дрова из общинного леса можно брать, лишь получив письменное разрешение мэрии. Самовольный

сбор дров будет рассматриваться как воровство и караться согласно параграфу такому-то уголовного кодекса. Так из года в год петля на шее бедного человека затягивается все туже. Куда ушли прежние хорошие времена, когда все было свободно, доступно, дешево, а ручей Лапака еще не обмелел и исправно крутил мельничное колесо?

Луиза Субиру думает о том, что мужу завтра вставать в половине пятого. Она хочет, чтобы гости поскорее разошлись. В Пиренеях женщины после вечерней трапезы обычно еще молятся по четкам, чтобы достойным и благочестивым образом отметить завершение дня. Одна из женщин громко произносит слова молитвы, а другие вторят ей невнятным бормотаньем. Луиза сама не знает, почему сегодня она поручает громкое чтение молитв Бернадетте. Бернадетта стоит на некотором расстоянии от других, у самой двери. Она послушно вынимает четки, те самые, что держала сегодня в протянутой руке и показывала прекрасной-распрекрасной даме. Бернадетта начинает монотонно читать первое «Ave». Ее слова сопровождает глухое бормотание женщин. Огонь в очаге вспыхивает ярче. Кроме очага, комнату освещает лишь сосновая лучина, которую принесла тетушка Сажу. Молитва следует за мо-

литвой. После того как чтение молитв закончено, Луиза Субиру еще шепчет, как бы в заключение: «О Непорочная Мария, моли за нас Господа, ибо на Тебя уповаем».

При словах «Непорочная Мария» Бернадетту начинает пошатывать, и она вынуждена опереться на дверь, чтобы не упасть. Лицо ее вдруг делается таким же смертельно бледным, каким его видели сегодня Жанна Абади и Мария на берегу ручья.

— Бернадетта сейчас упадет в обморок, — испуганно восклицает Круазин Бугугорт.

Взгляды всех присутствующих обращаются к девочке.

— Тебе плохо, Бернадетта? — спрашивает тетушка Сажу. — Быстренько выпей еще вина…

Бернадетта отрицательно качает головой. Запинаясь, она бормочет:

— Нет, вовсе нет… Мне не плохо… это ничего…

И тут получается, что испуганная мать как бы против воли выбалтывает то, за что некоторое время назад побила дочерей.

— Ох уж эта Бернадетта… — вздыхает она. — И все потому, что сегодня она видела какую-то распрекрасную даму, всю в белом, и где бы вы думали — в гроте Массабьель…

— Замолчи! — раздраженно прерывает ее

Франсуа Субиру. — Это же чистый бред… Просто у Бернадетты неважно с сердцем, мы ведь ее показывали доктору Дозу, к тому же она плохо переносит дым, а здесь полно дыма днем и ночью. Нам нужна новая вытяжная труба для камина, дорогой Андре…

Час спустя супруги Сажу, она — повязав голову платком, он — нахлобучив колпак с кисточкой, лежат, готовые ко сну, на своей широкой супружеской кровати.

— Что там рассказывала Субиру о Бернадетте и молодой даме? — сонно спрашивает муж.

— Бернадетта видела какую-то распрекрасную молодую даму, всю в белом, в гроте Массабьель, — отвечает жена, которая все точно запомнила.

— Кто бы это мог быть? — размышляет Сажу. — Какие у нас вообще есть распрекрасные дамы? Дочери Лафита сейчас не в Лурде… Разве кто-нибудь из Сенаков или Лакрампов… Вероятнее всего, это шутка, кто-то надел карнавальное платье…

На этот раз хранит молчание мадам Сажу. Она не отвечает, возможно, она уже спит. Дядюшка Сажу зевает и заканчивает свои размышления следующим мрачным пророчеством:

— Помяни мое слово, Бернадетта долго не

протянет. Я уже вижу, как ее выносят из кашо в гробу…

Госпожа Сажу, однако, решает завтра же обсудить со своими приятельницами, какую это даму могла видеть Бернадетта в гроте Массабьель. Такие же мысли бродят в голове Круазин Бугугорт, в то время как она испуганно склоняется над спящим сынишкой.

Итак, круг этого дня — одиннадцатого февраля — замкнулся. В дымной атмосфере кашо слышится дружное посапывание всех Субиру под энергичным предводительством отца семейства. Огонь в очаге получил сегодня обильную пищу, отбрасываемые им блики и тени без устали пляшут на стенах. Бернадетта не спит и пристально смотрит на эти пустые стены. Но сегодня она не видит, как обычно, в этих бликах ни лиц, ни фигур. Как будто встреча с дамой парализовала ее пугливое воображение. Она все больше сжимается в комочек на узком пространстве кровати, чтобы только не прикоснуться к телу сестры. То отвращение к телесному, что впервые возникло в ней перед встречей с обожаемой дамой и не вполне прошло после того, как дама исчезла, заставляет ее каждый раз содрогаться, когда ее рука или нога случайно касается Марии, которая

жарко дышит во сне, горячая, как молодой зверек. Еще удивительнее, что собственное худое тело также внушает ей ужас. Она существует как бы отдельно от своего тела. Оно словно бы лежит рядом с ней, как нечто чужое, принадлежащее ей не больше, чем тело Марии.

Что же с ней произошло? Она не знает. Но то, что с ней случилось нечто очень важное, чреватое серьезными последствиями, она знает. И это давит на нее сверху и со всех сторон, как неотвратимое чувство долга, от которого нельзя уклониться, который превышает ее слабые силы, долга, которого она не искала, но от выполнения которого ей не уйти. Чтобы не ощущать этого мучительного давления, Бернадетта напрягает всю силу своего воображения, устремляя его на даму. Она плотно сжимает веки, стараясь оживить внутри себя ее безмерное очарование и восстановить ее облик во всех мельчайших подробностях. Вновь увидеть белизну платья, пронзительную голубизну пояса, матовое свечение шеи, своевольные локоны, выбивающиеся из-под драгоценной фаты. Ясную дружескую улыбку, исполненную столь беспредельного понимания. Бескровный восковой блеск белых ножек с золотыми розами…

Но всякий раз, когда Бернадетте кажется, что образ дамы к ней приближается, что сейчас она сумеет его удержать, черный водоворот подхватывает ее и низвергает в пустоту. Но, может, ей будет дозволено увидеть даму во сне. Она прилагает невероятные усилия, пытаясь заснуть. Старается думать совсем о других вещах. Вспоминает деревню Бартрес. Вызывает в памяти все предметы крестьянского быта в доме, где она так долго жила: деревянную кровать, на которой рождались все Лагесы, детскую колыбельку, прялку. Мысленно пересчитывает оловянную посуду на полке, называет животных, прикорнувших у очага, теми кличками, которые сама им дала. Окликает собаку, которую она так любила и которая давно уже сдохла. Бернадетта вспоминает ивы на берегу ручья и дальние холмы Оренкля под снегом, под дождем, в солнечном свете. Она собирает все воспоминания, живущие в ее маленькой головке. Иногда ее одолевает сон, но не более чем на несколько минут. Затем она пробуждается и осознает, что ей ничего не снилось. Дама не приходит в ее сны. Она словно хочет доказать (чтобы ее ни с кем и ни с чем не спутали), что ее природа совершенно иная, чем природа снов. Время уже близится к одиннадцати, когда Мария

вдруг просыпается оттого, что ее рука касается мокрого места на подушке. Она поворачивается к сестре и сразу понимает причину.

— Мамочка… мамочка… — шепчет она боязливо и призывно, стараясь привлечь внимание спящей.

У Луизы Субиру чуткий сон матери. Она поднимает голову:

— Что такое?.. Кто меня зовет?..

— Мамочка, Бернадетта плачет…

— Что ты говоришь?.. Бернадетта плачет?..

Громкий шепот Марии растягивает слова:

— Ах, мамочка, она та-ак плачет… Вся подушка мокрая…

Луиза осторожно выскальзывает из-под одеяла и встает на пол. Она спешит к кровати девочек и ощупывает лицо Бернадетты.

— Маленькая моя, тебе трудно дышать?..

Бернадетта прижимает кулаки к глазам и трясет головой. Мать пытается ее успокоить:

— Ничего, маленькая, иди ко мне, мы немного поболтаем…

Она подбрасывает в гаснущий очаг хворост и две толстые ветки. Придвигает стул поближе к огню. Бернадетта стоит перед ней на коленях, уткнувши лицо в материнский подол. Она явно

ищет помощи. Луиза долго, без слов, гладит ее волосы. Затем наклоняется к лицу дочери.

— Тебе страшно, малышка?

Бернадетта несколько раз энергично кивает.

— Ты боишься той дамы из грота Массабьель?

Бернадетта так же энергично качает головой.

— Теперь ты видишь, что все это пустые грезы…

Бернадетта поднимает залитое слезами лицо, испуганно смотрит на мать и еще сильнее качает головой.

Сердце Луизы Субиру сжимается от тревоги за дочь.

— Бедная моя дочурка, мне все это знакомо, я тоже была девочкой… Девочки в твоем возрасте часто видят вещи, которых нет… Забудь об этом, и все пройдет! Жизнь слишком тяжела, малышка, чтобы придавать значение таким историям. Ты уже большая, скоро станешь женщиной, через год или два, быть может, найдешь себе мужа и у тебя самой будут дети, как у меня… Все в жизни так быстро проходит, ты и представить себе не можешь, как быстро все проходит!

Бернадетта еще глубже зарывается лицом в подол матери и не отвечает. Луиза Субиру, несмотря на свои разумные успокоительные слова, твердо

решает завтра на исповеди рассказать историю о даме в гроте Массабьель аббату Помьяну, аббату Пену или отцу Санпе и выслушать их суждение.

Часть вторая
Будьте так добры

Глава одиннадцатая
Камень летит вниз

В школе, состоящей под покровительством монахинь из Невера, имеется компания из семи-восьми девочек, группирующаяся вокруг умной и энергичной Жанны Абади и почти всецело находящаяся под ее влиянием. К этой компании принадлежат рыжеволосая Аннет, дочь секретаря мэрии Куррежа, затем Катрин Манго, та самая, которую Гиацинт де Лафит назвал «нимфой этого поганого захолустья», и, наконец, Мадлен Илло, бледненькая, веснушчатая, длинноногая и длиннорукая девчушка, обладающая тоненьким, но очень красивым голосом, вследствие чего ее привлекают для исполнения сольных партий на всевозможных светских и церковных торжествах. Сегодня Абади явилась в класс самой первой. Когда вокруг нее постепенно собралась ее свита, она подмигивает девчонкам с хитрым заговорщицким видом:

— Если бы вы только знали, мои милые, что было вчера, вы бы посходили с ума… Но я не должна вам рассказывать…

— Зачем ты тогда разжигаешь наше любопытство? — спрашивает рассудительная Катрин. — Может быть, с тобой кто-то заговорил на улице?

— Речь вовсе не обо мне, а о Бернадетте Субиру…

— Что могло приключиться с Бернадеттой, с этой недотепой? — пожимает плечами Катрин.

Жанна Абади подвергает подруг утонченной пытке:

— Я дала Бернадетте слово ничего не говорить. Правда, я не поклялась. Настолько-то у меня ума хватило…

— Раз ты не поклялась… — приходит ей на помощь Аннет Курреж.

— Да, раз ты все же не поклялась… — подхватывает хор девочек, усиливая выразительность мелодии.

— Да, раз ты не поклялась, — выносит вердикт Мадлен Илло, — то не будет никакого греха…

Абади понижает голос до пронзительного шепота:

— Ладно, тогда подойдите поближе, чтобы никто не услышал… Бернадетта видела вчера в гроте Массабьель красивую молодую даму, всю в белом, с голубым поясом. И дама была босая, а на ногах у нее были золотые розы… Мы собирали

хворост, Мария Субиру и я, а когда вернулись, Бернадетта стояла возле ручья на коленях, не слышала, как мы ее звали, и выглядела очень странно…

— А вы сами дамы не видели? — спрашивают, перебивая друг друга, девочки.

— Мы с Марией даже не знали, что она там, когда собирали хворост…

— Золотые розы на ногах… подумать только!.. А кто она может быть, эта молодая дама?

— Пресвятая Дева, если бы я знала! Я полночи ломала над этим голову…

— Может, Бернадетта тебя разыграла, — задумчиво предполагает Катрин Манго. Но рыжеволосая дочка секретаря мэрии презрительно отмахивается:

— Что ты, для этого Бернадетта слишком глупа.

— Нет, Бернадетта не лгала, — размышляет Жанна Абади, — и мы должны поточнее узнать, что все это значит.

Жадные до сенсаций девочки горячо приветствуют предложение Жанны. Решено: они все вместе отправятся в Массабьель, чтобы поискать там загадочную босую даму.

— Но будет ли она еще там, когда мы при-

дем? — спрашивает Туанет Газала, дочь свечного мастера.

— Если Бернадетта что-то видела, то и мы увидим, — рассуждает Катрин Манго. — Глаза у нас не хуже, чем у нее…

Жанна Абади молча о чем-то размышляет и затем выносит решение.

— Она должна пойти с нами, — заявляет Абади, — без нее дама может не появиться.

Когда Бернадетта и Мария, на этот раз необычно поздно, входят в класс, девочки из компании Жанны окружают их и засыпают вопросами:

— Так что там было с этой дамой?.. Расскажи, опиши ее поподробней… Где она стояла?.. Как ты ее заметила?.. Она тебя позвала?.. Она двигалась?..

Бернадетта заглядывает в глаза Жанны Абади:

— Жанна, зачем ты все рассказала?

Но в ее голосе, как и вчера, звучит скорее облегчение, чем упрек. Теперь уже довольно много людей знают о даме, которая, собственно, принадлежит ей одной: Мария, Жанна, родители, дядюшка и тетушка Сажу, мадам Бугугорт, дядюшка Бурьет, а сейчас еще и эта свора девчонок, которые болтают о даме с таким любопытством, как будто во всем этом нет ничего особенно-

го и дама — самая обыкновенная дама в мире. Бернадетту с самого начала одолевают противоречивые чувства. С одной стороны, ей хотелось бы, чтобы дама была только ее, теперь и всегда, до последнего ее вздоха, и чтобы ей, Бернадетте, ни с кем не нужно было делиться этой прекрасной ошеломительной тайной. С другой стороны, ей хотелось бы громко кричать о своей тайне всем, кого она знает, чтобы все люди смогли узреть этот пленительный лик и испытать при этом такое же наслаждение, как и она сама. И это ее второе желание было, возможно, даже сильнее первого.

— Я все рассказала, — оправдывается Жанна Абади, — потому что я вчера не поклялась и потому что все это очень важно. Мы все хотим пойти завтра к гроту Массабьель и посмотреть на даму…

— Как ты думаешь, мы ее увидим? — спрашивает Мадлен Илло.

— Возможно, увидите, — говорит Бернадетта. — Но точно я не знаю.

Абади пристально смотрит на Бернадетту:

— Ты ведь пойдешь с нами к Массабьелю?

Бернадетта опускает голову и молчит.

— Дама что-нибудь тебе говорила? — допытывается Катрин Манго.

Бернадетта отвечает, не поднимая глаз:

— Нет, ни слова не говорила… Но она была такая красивая, что красивее не бывает…

— Если она такая красивая, — с сомнением произносит Мадлен Илло, веснушчатая солистка, — то, возможно, она послана к нам не силами Добра…

— Вот об этом я и думала всю ночь, — заявляет осмотрительная Жанна. — Вполне вероятно, что дама представляет силы Зла. Я подумала, что в воскресенье после службы надо взять из церкви бутылочку со святой водой. И если дама на месте, Бернадетта должна опрыскать ее святой водой и сказать: «Если вас послал Бог, мадам, подойдите ближе. А если вы посланы сатаной, мадам, убирайтесь прочь!..» Так всегда говорят… Думаю, это разумное предложение, так мы узнаем правду.

— Ой, прямо мороз по коже дерет, — говорит Аннет Курреж. — А может, дама не послана ни Богом, ни сатаной, а просто настоящая дама…

— О да, она совершенно настоящая! — страстно заверяет Бернадетта.

— Ну вот, весь утиный садок в сборе, — раздается голос незаметно вошедшей учительницы. — И все внимают мудрым высказываниям нашей высокоученой Бернадетты…

Воскресенье. Глухие колокола маленького городка уже разнесли над крышами и холмами весть о пресуществлении хлеба и вина в тело и кровь Спасителя. Литургия близится к концу. Бернадетта и Мария Субиру вместе со всем классом под предводительством Возу присутствуют в церкви. Франсуа Субиру до полудня трудится в конюшнях Казенава. Жан Мари и Жюстен вымолили разрешение побегать по улицам, а Луиза Субиру сидит одна в кашо и наконец-то отдыхает — просто сидит и вяжет чулок. Она отстояла мессу в семь утра. Не любит она присутствовать на литургии, куда приходит «чистая публика» — люди хорошо одетые и хорошо отдохнувшие. Самой ей нечего надеть в церковь, поэтому она принадлежит к самым низам общества и вынуждена ходить в полутемную утреннюю церковь, где служит тихую мессу один из капелланов: Помьян, Пен или Санпе. Отказ от литургии — акт самоотречения со стороны Луизы Субиру, так как торжественная литургия не просто богослужение, но и праздничное действо, необходимая разрядка после изматывающего однообразия будней. Мощные звуки органа согревают душу лучше любого камина. Люди встречаются, здороваются, приветствуют друг друга кивками и

улыбками. Декан Перамаль — превосходный пастырь, и, когда после чтения Евангелия он обращается к прихожанам с проповедью, его звучный бас проникает в самое сердце. Но главная причина, почему Луиза Субиру отказывается от торжественной литургии, состоит в том, что ей не хочется встречаться в церкви со своими состоятельными сестрами. Бернарда Кастеро, вдовствующая Тарбе, считающаяся семейным оракулом, и Люсиль, несчастная старая дева, — обе имеют возможность прилично одеться в церковь. Луиза слишком горда, чтобы выступать на их фоне в роли заблудшей овцы и позора собственного семейства, быть «урожденной Кастеро», которая, к своему стыду, вытянула столь несчастливый жребий. Она питает к Бернарде, своей старшей сестре, почтительное уважение, но в то же время мадам Тарбе постоянно ее раздражает.

Однако сегодня, в это благословенное утро, Луиза ощущает истинное наслаждение от полного одиночества и покоя, оттого, что не докучают сыновья и не дергают дочери, что не надо беспокоиться о муже, который не сидит сейчас ни у папаши Бабу, ни в другом подобном заведении, но занят честным трудом «служащего почтового ведомства», как он сам себя называет. Казенав

выдал им десять франков в качестве аванса. Самые срочные долги уплачены. После долгих недель воздержания в доме наконец появился добрый кусок говядины. «Мясо в горшочке» с хорошими овощами и маленькими луковками уже начинает распространять по комнате свой упоительный, щекочущий ноздри аромат.

Душа Луизы Субиру со вчерашнего дня также пребывает в блаженном покое. Вчера на исповеди она обратилась за советом к отцу Санпе. Честно говоря, она была сильно встревожена этой историей с Бернадеттой и таинственной дамой. Как следует относиться к таким странным вещам? Но отец Санпе, человек большого ума, даже не зная Бернадетты, сказал ей с добродушной улыбкой: «Дочь моя, это лишь безобидные детские выдумки, и взрослый человек не должен принимать их всерьез». Тем не менее она вновь пугается, когда через полчаса в кашо вваливаются ее дочери с целой ватагой девчонок и просят, чтобы она разрешила Бернадетте отвести их всех к Массабьелю поглядеть на распрекрасную даму.

— Вы что, совсем рехнулись? — злобно взрывается Луиза. — Бернадетта никуда не пойдет…

— Но, мадам, — приседает в вежливом книксене Жанна Абади, воплощенная рассудительность, —

мы только хотим выяснить, существует ли эта пресловутая дама на самом деле…

При этих словах Луизу Субиру осеняет мысль, кажущаяся ей удачной. Все это дело, по мнению священника, детская выдумка, которую взрослый человек не должен принимать всерьез. В гроте эти желторотые девчонки, естественно, ничего не увидят и хорошенько высмеют Бернадетту. Бернадетте станет стыдно, и она поневоле излечится от своих фантазий. Но мать не желает отменять запрет слишком быстро и дает девочкам возможность еще некоторое время поклянчить. После чего применяет испытанный метод воспитания, обращаясь к незыблемому авторитету отца:

— Ладно, если у вас нет на воскресенье лучшего развлечения, то, по мне, можете тащиться к Массабьелю, если разрешит отец. Бернадетта должна спросить у него. Я только мать. Решающее слово за ним…

Чтобы не терять времени, вся компания бегом бросается на почтовую станцию. По-воскресному чинно прогуливающиеся супружеские пары удивленно глядят вслед бегущим девчонкам, явно задумавшим какую-то развеселую шалость. На большом дворе почтовой станции несколько мужчин стоят возле кобылы, печально

понурившей голову. Это Казенав — как всегда, в кавалерийских сапогах и военной фуражке, — бывший конюх Дутрелу, ныне возведенный в ранг кучера почтовой кареты, затем кузнец и, наконец, Субиру, только что приведший лошадь из конюшни. Кузнец, он же конский лекарь, внимательно осматривает спину клячи, находит потертость от хомута и уже готов извлечь из своей сумки склянку с мазью, когда во двор вбегают запыхавшиеся девчонки. Вместе с сестрами Субиру их девять. Вперед выходит Жанна Абади и в ясных, толковых словах излагает их общую просьбу к Субиру, тем самым ставя в известность об этом странном, требующем расследования происшествии ничего не знавших о нем Казенава, Дутрелу и кузнеца. Субиру охотно зажал бы Жанне рот. Он ощущает неловкость и гнев, не знает, куда деваться от стыда. Он чувствует себя опозоренным в глазах Казенава и других мужчин этой нелепой историей с Бернадеттиной дамой. Теперь, когда он получил должность и твердый заработок, когда взошел, так сказать, на первую ступень буржуазного благополучия, именно теперь является его собственная дочь и своими двусмысленными, вздорными, раздражающими глупостями губит его только что приобретен-

ную репутацию почтенного обывателя. Субиру хмурит лоб и, не обращая внимания на присутствующих девочек, сердито кричит на дочерей:

— Нечего вам там делать! Немедленно возвращайтесь домой! И чтобы я об этом больше не слышал!

— Ну-ну, старина, зачем так сурово! — смеется Казенав. — Почему ты хочешь испортить воскресное удовольствие этим милым крошкам? Что здесь плохого? Дети есть дети: пусть ищут свою даму, где хотят…

Жанна и ее подруги хором возобновляют просьбу. Молчит одна Бернадетта.

— Что твоя дама держала в руках? — спрашивает Казенав Бернадетту. — Если я не ослышался, четки?

— Да, сударь, очень длинные четки из больших белых жемчужин…

— Вот видишь, Субиру, — продолжает развлекаться почтмейстер. — Если дама носит при себе четки, как все порядочные лурдские дамы, ты можешь спокойно отпустить к ней свою дочурку…

Вмешательство хозяина заставляет Субиру сдаться. Тут уж ничего не поделаешь.

— Но чтобы через полчаса вернулись назад! — приказывает он.

— Это невозможно, месье Субиру, — резонно замечает Жанна Абади. — Слишком длинная дорога…

Добитый и вынужденный отступить отец семейства хмуро ворчит:

— С обедом никого ждать не будут…

Девочки срываются с места и пропадают из глаз, как стая куропаток. Кузнец смазывает больное место на спине кобылы целебной черной мазью. Через несколько минут Субиру уводит заболевшую лошадь обратно в конюшню. Подстилая ей свежей соломы, он, к своему удивлению, замечает, что на глазах у него слезы. Он сам не знает, что вызвало эти слезы: то ли его поражение как отца, то ли глухое предчувствие надвигающейся беды.

На Старом мосту между девочками завязывается спор. Жанна Абади предлагает более короткий путь через остров Шале, чтобы затем перейти на другой берег ручья по мосткам у мельницы Николо.

— Но уже два дня непрерывно идет то снег, то дождь, — замечает Бернадетта. — Шлюз, наверно, открыт, а мостки залиты водой. Лучше уже через гору…

— Ого, — насмехается Абади. — Яйцо учит курицу… Я думаю, на меня ты можешь положиться…

Но Бернадетта стоит на своем. В результате образуются две партии. Большинство, естественно, поддерживает Жанну Абади, свою командиршу. На стороне Бернадетты остаются только Мария, Мадлен Илло и Туанет Газала. За мостом пути девочек расходятся.

— Посмотрим, кто придет раньше! — кричит честолюбивая, самоуверенная Жанна враждебной четверке, удаляющейся в сторону горы.

Бернадетта идет впереди, она просто летит, не чуя под собой ног, так что ее спутницы едва могут за ней угнаться. Как будто какой-то вихрь подхватил ее и несет к Массабьелю. Обычно быстрая ходьба сразу же вызывает у нее одышку. Но сегодня она и думать забыла о своей астме. Мария пытается ее удержать. Но Бернадетта ничего не слышит. Она нисколько не сомневается, что дама ее ждет, что она все так же стоит босиком на скале у самого края ниши. Быть может, она уже теряет терпение из-за того, что Бернадетта так долго не приходит. Быть может, она страдает от холода и сырости. Клубы густого тумана заполняют долины. Бернадетта беспокоится о физическом и душевном самочувствии дамы. В то же время ей все равно, допустит ли Бесконечно Любимая, чтобы ее увидели другие девочки, или не допу-

стит. У Бернадетты нет ни малейшего желания убеждать кого-либо в реальном существовании своей дамы. Для нее не существует большей реальности. Девочки пыхтят и перекликаются за ее спиной. Она же ощущает себя бесконечно одинокой, как человек, переполненный всепоглощающей любовью. Вот она уже спешит по обрывистой тропке Трущобной горы. Вот самое опасное место, когда тропа проходит у верхнего края грота. Полуприкрыв глаза, девочка прыгает с камня на камень и чуть ли не парит в воздухе. Последний отчаянный прыжок — и она внизу. На каменной осыпи у подножия грота она на минуту застывает, делает глубокий вздох, прижимает руку к сердцу и собирается с силами. Затем поднимает глаза к нише…

Три девочки, с трудом одолевающие последний крутой спуск, слышат ее крик:

— Она здесь!.. Она взаправду здесь!..

Они находят Бернадетту с закинутой назад головой и широко раскрытыми глазами, неотступно глядящими в пустой овал ниши, в то время как губы ее непрерывно шепчут:

— Она здесь… Она здесь… Она здесь…

Девочки подходят к ней вплотную, у них перехватывает дыхание, они тоже шепчут:

— Где она?.. Где ты ее видишь?..

— Там, наверху… Она пришла… Разве вы не видите, что она с нами здоровается?

Бернадетта, как и подобает школьнице, несколько раз усердно и робко кланяется в сторону ниши.

— Я вижу там только черную дыру, — говорит Туанет Газала. — За дырой сплошной камень. Оттуда никто не может выйти…

— А я вообще ничего не вижу, — говорит Мария, напрягая глаза и часто моргая.

— Она вас видит, она вас видит, — шепчет Бернадетта. — Она кивнула, она вас приветствует. Вы должны ей ответить…

— Может, подойдем поближе? — шепотом спрашивает Мария.

Бернадетта в ужасе всплескивает руками:

— Нет, нет, ни в коем случае! Бога ради, не подходите ни на шаг!

Осчастливленная чувствует, что она и так чрезмерно приблизилась к Дарующей Счастье, ибо сегодня все выглядит совершенно иначе, чем в первый раз. Тогда между ней и дамой было солидное расстояние, их разделяла вся ширина ручья. Но временами это расстояние сокращалось, дама как бы приближалась и преподносила, дарила

Избраннице свой прекрасный лик. Сегодня дама так близко, что до нее почти можно дотронуться. Бернадетте достаточно было бы взобраться на один из больших камней у стены грота и протянуть руку, и она бы коснулась босых ног дамы и золотых роз. Но она не двигается с места, она боится, что ее неловкое, назойливое присутствие может быть даме в тягость. К величайшему удовольствию девочки, дама не поменяла своего наряда, хотя у такой знатной особы, несомненно, должен быть неистощимый гардероб. Нездешний белоснежный бархат мягкими складками облегает стройный стан дамы. Прозрачная фата ниспадает с ее плеч. Радостно видеть, как легкий ветерок колышет эту фату. Дама выглядит как вечная невеста, все еще стоящая перед алтарем, так как она не снимает фаты. Но как странно, что представшая в полном блеске дама не выказывает ни малейшего неудовольствия оттого, что Бернадетта пришла к ней не одна, а в сопровождении глупо шушукающихся девчонок. Складывается впечатление, что дама находит даже похвальным, что Бернадетта не держала рот на замке. Во всяком случае, общество, в котором она оказалась, нисколько ее не смущает, и она время от времени бросает Марии, Мадлен и Туа-

нет ласковые, ободряющие взгляды. Бернадетта слышит позади себя шепот Мадлен:

— Теперь возьми бутылочку со святой водой, окропи ее и скажи всё, как условились…

И в руке у Бернадетты появляется бутылочка со святой водой, которую Мадлен Илло наполнила из церковной чаши. Скорее из-за неспособности противостоять девочкам, чем по собственному желанию, она делает все, что сказано. Взмахивает откупоренной бутылочкой, так что брызги летят куда-то вверх, в направлении ниши, и робко, без всякого выражения бубнит:

— Если вас послал Бог, мадам, то, пожалуйста, подойдите ближе…

Но, сказав это, Бернадетта испуганно замолкает. Она ни за что на свете не смогла бы заставить себя произнести вторую половину фразы с упоминанием сатаны и с ужасной концовкой: «Убирайтесь прочь!» Но дама, как видно, совсем на нее не рассердилась. Кажется, формула заклятия ее даже позабавила, так как ее улыбка почти переходит в искренний задушевный смех. И — о чудо! — она повинуется заклятию. Во всяком случае, дама выходит из овала ниши, делая своими первозданными ножками шаг вперед. Кто-нибудь более тяжелый обязательно потерял бы при

этом равновесие. Но дама стоит, широко раскинув руки, как для объятия. Бернадетта чувствует, что опять погружается в это сладостное блаженное состояние, что ей хорошо, безгранично хорошо, ее охватывает непобедимая сонливость, пробуждение от которой будет пробуждением в неприятном, чуждом ей мире. Она заранее страшится этого пробуждения и безвольно падает на колени.

В этот миг на опасной тропе у верхнего края грота появляется наконец Жанна Абади со своими пятью спутницами. Цепляясь за куст, Жанна нагибается и смотрит вниз, пытаясь разглядеть, что делают девочки из другой группы. На этот раз Жанна проиграла. Как и предсказывала Бернадетта, мельничные мостки были залиты водой, и пройти по ним было невозможно. Девочкам пришлось вернуться и пойти по следам своих более удачливых соперниц. Жанна в ярости оттого, что Бернадетта оказалась права. Хоть Жанна и слывет подругой сестер Субиру, она согласна дружить с ними лишь при условии, что может смотреть на них сверху вниз, как умная на дурочек, как ловкая и сметливая на беспомощных и невезучих простушек; короче, Жанна согласна дружить с ними только из жалости. С четверга

эти отношения совершенно переменились. Бернадетта ускользнула, вышла из-под ее власти. Честолюбивая воля Жанны ей больше не указ. А теперь еще снизу доносится сладкий голосок Мадлен Илло, распевающий одно «Ave» за другим, не иначе как по велению Бернадетты. Жанной овладевает такая жажда мести, такое отчаяние, каких она прежде не знала. Она полностью теряет контроль над собой, не сознает, что делает.

— Ну вы у меня сейчас испугаетесь! — визжит она и, схватив круглый камень, величиной и формой напоминающий человеческий череп, швыряет его вниз. Камень обрушивается на осыпь в опасной близости от стоящей на коленях Бернадетты, лишь чудом не задев ее головы. Девочки внизу испуганно вскрикивают. Только Бернадетта по-прежнему стоит неподвижно, будто и не заметив упавшего камня.

— Тебя не задело, ты цела? — вопит Мария и изо всех сил трясет Бернадетту, но ответа не получает. Только сейчас, когда девочки вскочили на ноги и посмотрели на коленопреклоненную спереди, они заметили, что лицо Бернадетты странным образом изменилось, что это уже не лицо Бернадетты Субиру. Оно сохранило прежнюю округлую форму, гладкий лоб, мягкий,

полуоткрытый рот, однако кто-то чужой, не сестра Марии Субиру, глядит из этих ненасытных глаз, неотрывно глядит на нишу. Чтобы ни на кратчайший миг не потерять того, что видят, эти глаза утратили способность мигать. Зрачки сильно расширились и стали еще темнее прежнего, а белизна глазного яблока, напротив, кажется ослепительной. Кожа на лице сильно натянута, так что резко выступают скулы и височные кости. Это уже не лицо ребенка и даже не лицо молодой женщины, скорее это лик блаженной страдалицы, на котором в ее смертный час запечатлелись все скорби мира. При этом выражение лица вовсе не страдальческое, а скорее вдохновенное и отмеченное печатью избранности. Но особенно пугает Марию, что лицо сестры вновь стало мертвенно-бледным, без кровинки, зато обрело новую пугающую красоту.

— Камень убил мою сестру! — пронзительно кричит Мария Жанне Абади, которая наконец спустилась к гроту вместе со своими спутницами. Девочки, горестно причитая, окружают Бернадетту, но держатся поодаль от бесчувственной, никто не осмеливается подойти вплотную и коснуться ее.

— Ничего страшного, — выдавливает из себя

побледневшая Жанна. — Во всем виновата дама. Принесите водички, она сразу придет в себя…

Но, несмотря на то что Бернадетту энергично обрызгивают водой из ручья Сави, странное состояние отрешенности у нее не проходит. Девочки совсем потеряли голову. Они мечутся и кричат, как безумные. «Мама, мамочка!» — рыдает Мария и бросается бежать, чтобы поскорее известить мать. Жанна Абади и Катрин Манго мчатся за помощью на мельницу Николо. Другие пытаются разговорить Бернадетту, не рискуя, однако, подходить слишком близко. Ее вид, ее состояние внушают им страх. Мимо проходят две тяжело нагруженные крестьянки из Аспен-лез-Англь, останавливаются возле девочек и, качая головой, смотрят на Бернадетту; из отрывистых реплик и восклицаний они узнают историю про Бернадетту и даму. Господи, откуда же могла взяться эта дама? Они недоуменно переглядываются, их большие глаза серьезны и печальны.

Наконец, наконец-то приходят матушка Николо и мельник Антуан. Старая Николо, прослышав про обморочное состояние девочки, принесла с собой нарезанный лук и сует его Бернадетте под нос. Бернадетта чуть отворачивает голову, не изменив направления взгляда. Антуан в свою

очередь наклоняется над коленопреклоненной, ему кажется, что она погружена в молитву.

— Вставай, Бернадетта! — ласково уговаривает он девочку. — Хватит, пора домой!

Не получив ответа, он пытается прикрыть своей большой ладонью глаза девочки. Но его грубая рабочая ладонь скорее закроет свет лампы, чем помешает глядеть этим чистым ясным глазам. Тогда Антуан решительно подхватывает Бернадетту на руки и несет к своему дому. На протяжении всего пути на ее лице сохраняется застывшая улыбка, которая сквозь добродушное лицо мельника все еще обращена к даме. Антуан с Бернадеттой на руках, следующие за ним взволнованные девочки, крестьянки со своей ношей и семенящая позади всех старая мельничиха — эта странная процессия привлекает внимание многих людей, совершающих поблизости воскресную прогулку. И прежде, чем эта процессия успевает достичь мельницы, к ней присоединяется порядочная толпа. Люди задают вопросы, выслушивают ответы, удивляются, спорят. Некоторые смеются. Быстро возникает приговор: малышка Субиру лишилась рассудка. Антуан вносит Бернадетту в комнату и сажает в большое кресло, придвинутое к самому огню.

Комната наполняется чужими людьми. Матушка Николо приносит деревянную чашку с молоком, чтобы подкрепить Бернадетту — предполагается, что девочка упала в обморок от упадка сил. Но на самом деле состояние Бернадетты не имеет ничего общего с обмороком. Ее сознание не угасло, оно лишь с такой нечеловеческой силой сосредоточилось на красоте дамы, что все остальное отступило и воспринимается ею как отдаленный и совершенно безразличный ей шум.

Она приходит в себя не постепенно, а сразу, в один миг. Как будто возвышенный женский лик, на котором отпечатались все скорби мира, пожирается внезапным невидимым огнем и вместо него появляется всем знакомое детское лицо Бернадетты, наивное, немного туповатое, с апатичным взглядом.

— Большое спасибо, мадам, — спокойно говорит она матушке Николо, отклоняя чашку с молоком. — Мне ничего не нужно…

Теперь ее засыпают вопросами:

— Что с тобой было?.. Что произошло?.. Что ты видела?..

— Да ничего, — довольно равнодушно отвечает она. — Только дама сегодня долго была здесь…

Это «да ничего» в сочетании с «только» отра-

жает развитие отношений между Бернадеттой и дамой. Отношения стали достаточно близкими и уже не новыми. Первый порыв восторга, охвативший все существо девочки, сменили прочные узы преданности и любви, постоянная готовность к самопожертвованию. Отныне дама для Бернадетты не просто чудо, возникшее на миг, чтобы тут же исчезнуть, но нечто вполне реальное и принадлежащее только ей. Бернадетта смотрит на людей, слышит их разговоры, их вопросы, но сама почти не открывает рта. Антуан, который не отводит глаз от ее лица, приходит на помощь:

— Разве вы не видите, как она устала? Оставьте ее наконец в покое!

Но Бернадетта вовсе не устала. Причина ее молчания — нарастающее чувство вины. Она ощущает свою вину перед родителями. Разве она их не предает, если любит даму больше, чем отца и мать? И что скажет мама о ее поведении?

Матушка Субиру и Мария бегут что есть духу всю дорогу от кашо до грота Массабьель. Но уже у лесопилки им встречается тетушка Пигюно. Она, как всегда, все знает. Бернадетта на мельнице Сави, она здорова и невредима. Подумать только, что за девчонка! После того как она в грязной дыре молилась какой-то прекрасной невидимой

даме, она позволяет Антуану — а он, право, тоже красивый парень — унести себя на руках, даже не пикнув.

— Успокойся, дорогая кузина, — заканчивает Пигюно свое радостное сообщение. — Ты за нее не в ответе…

Луиза вконец растеряна. Из путаных речей Марии она поняла, что Бернадетта то ли умерла, то ли находится при смерти. А теперь она слышит о неподобающем поведении своей старшей дочери. В довершение всего она оставила на огне «мясо в горшочке», а ведь это их первый настоящий обед за долгое-долгое время. Ее бедный муж, вернувшись после тяжелой работы, должен будет не только пережить испуг за дочь, но и удовольствоваться куском хлеба.

— Ну погоди, я тебе покажу! — стонет она и ускоряет шаг.

Когда она видит множество людей возле мельницы, ее щеки покрываются краской стыда. А когда, войдя в комнату, видит Бернадетту, восседающую в кресле, как на троне, и все суетятся вокруг нее, как вокруг принцессы, и добиваются ее благосклонности, — Луиза уже не может сдержаться и, задыхаясь от негодования, кричит:

— Ты способна весь город поставить на ноги,

идиотка!

— Я никого не просила идти за нами, — оправдывается Бернадетта, и слова ее ни в чем не грешат против истины, но это как раз один из тех ее ответов, которые способны лишить самообладания как учительницу, так и мать.

— Ты делаешь нас посмешищем всего города! — истерически кричит Луиза и собирается дать дочери крепкую оплеуху, но матушка Николо перехватывает ее руку.

— За что, Христа ради, вы хотите побить ребенка? — восклицает она. — Взгляните на нее, это же истинный ангел Божий…

— Да уж, ангел, тот еще ангел, — шипит Субиру, не помня себя от злости.

— Вы бы видели ее чуть раньше, — вмешивается Антуан. — Она была такой, такой… — И поскольку его неповоротливый ум не находит подходящего сравнения для красоты отрешенности Бернадетты, он выпаливает нечто непонятное, отчего все внезапно замолкают: — Она была совсем как мертвая…

Эти слова пронзают в самое сердце Луизу Субиру, душу которой постоянно раздирают противоположные чувства. Ведь она прибежала сюда не для того, чтобы наказывать свою дочь,

а от страха за ее жизнь. Этот страх одолевает ее вновь. Она мешком оседает на скамью и плачет:

— Боже милостивый, оставь мне мое дитя…

Бернадетта встает, спокойно подходит к матери и касается ее плеча.

— Идем, мама… Может, мы еще успеем домой до возвращения отца…

Но теперь Луизе Субиру даже ее супруг и ее замечательный обед безразличны.

— Не тронусь с места, — говорит она плаксиво-упрямым тоном, — пока Бернадетта не пообещает мне при всех никогда больше не ходить к Массабьелю… Слышишь, никогда!

— Обещай матери, — уговаривает ее матушка Николо. — Такие волнения очень вредны, ты из-за них обязательно заболеешь…

Бернадетта судорожно сплетает все еще ледяные пальцы.

— Обещаю тебе, мама, — говорит она. — Никогда больше не ходить к Массабьелю… — Но отчаянная хитрость любящей подсказывает ей оговорить свое обещание одним условием: — Если только ты мне сама не разрешишь…

Вскоре Антуан и его мать остаются одни. Антуан раскуривает свою воскресную сигару.

— Что ты думаешь об этом, мама? — спраши-

вает он.

— Состояние малышки мне очень не нравится, — вздыхает матушка Николо. — Такие вещи не предвещают ничего доброго… Подумать только, родители такие простые и здоровые люди…

Антуан встает и нервно ходит по комнате, без всякой надобности подбрасывает в огонь новое полено.

— Матушка, я никогда в жизни не видал ничего красивее, — тихо говорит он, — чем лицо этой стоящей на коленях девчушки. Никогда не видел и, верно, уже не увижу… — Он почти пугается, вспомнив, что нес Бернадетту на руках. — К такому созданию и прикоснуться страшно.

Глава двенадцатая
Первые слова

Итак, решено: история с Бернадеттиной дамой окончена, и ничего подобного больше не повторится. В кашо с видимым усилием заставляют себя об этом не говорить. Хотя в городе из уст в уста передаются расцвеченные подробностями рассказы девочек, папаша Субиру упорно делает вид, что принадлежит к тем, кто даже слыхом не слыхал об этом волнующем событии. Хотя речь идет о его родной дочери. И пусть заботы о пропитании семьи заметно уменьшились, настроение у Франсуа Субиру скверное. Он приходит и уходит, ни с кем не здороваясь и не прощаясь. За ужином сидит, мрачно опершись локтями о стол, и молчит. И даже когда погружается в сон, что, как известно, нередко случается с ним и днем, сам храп его звучит обиженно и сердито. Все эти огорчительные особенности его поведения направлены на то, чтобы подавить в Бернадетте всякое желание приняться за прежние глупости. Субиру производит впечатление благонамеренного отца семейства, который гневается на

судьбу, подкинувшую необычайное кукушечье яйцо в его обычное гнездо.

Матушка Субиру, в отличие от мужа, проявляет к Бернадетте необыкновенное внимание и нежность, вопреки своей вспыльчивой и резкой натуре. Она постоянно делает ей маленькие подарки. Всячески старается ее утешить, ни словом не касаясь ее открытой раны. Она чувствует, какую жертву Бернадетта приносит семье, и даже освобождает ее на эту неделю от посещения школы. Нежностью и лаской она надеется успокоить растревоженную душу своего ребенка и добиться, чтобы Бернадетта постепенно забыла даму.

Сама Бернадетта, похоже, не замечает ни особенной нежности матери, ни обиженной замкнутости отца и уж точно не замечает, с каким настороженным любопытством глядят на нее младшие братишки. Она со всеми ровна и приветлива и старается взваливать на себя больше домашней работы, чем обычно. При этом упорно избегает всякого общения с соседями. Говорит она чрезвычайно мало. Когда Мария однажды неосторожно намекает на даму, Бернадетта не только отмалчивается, но даже выходит из комнаты. При этом сердце Бернадетты днем и ночью обливается кровью, и происходит это не из-за

того, что она лишена возможности видеть пленительную даму, но оттого, что она постоянно представляет себе, как дама, босая и легко одетая, стоит и понапрасну ждет ее целыми часами на пронизывающем февральском ветру. В сущности, Бернадетта переживает все муки страстно любящей души, муки влюбленной, которой не зависящие от нее обстоятельства не позволяют прийти на долгожданное свидание. Ей остается лишь надеяться, что существо столь благородное и прозорливое, как дама, поймет ее подневольное положение. Более того, ее истерзанная душа в отчаянии цепляется за убийственную для нее надежду, что дама не будет слишком долго хранить ей верность, что она устанет впустую расточать свою милость и окончательно позабудет маленькую Бернадетту Субиру.

Но о том, чтобы эта печальная цель не была достигнута, позаботились мадам Милле и мадемуазель Антуанетта Пере. Мадам Милле, вернувшаяся из Аржелеса в воскресенье вечером, сразу же по прибытии узнает от Филиппа и кухарки новость о необыкновенном происшествии в гроте. Маленькой Субиру, дочери ее приходящей прачки, явилась там молодая девушка, к тому же босая. Созерцание этой девушки

погрузило маленькую ясновидицу в состояние такой отрешенности, какую часто изображают на религиозных картинах. Прошел чуть ли не час, прежде чем Бернадетту удалось пробудить от ее экстаза и вернуть к жизни.

Удивительная новость, можно сказать, льет воду на метафизическую мельницу госпожи Милле, вообще-то строгой католички, но тем не менее проявляющей непозволительный интерес к миру духов, что постоянно возбуждает неудовольствие высшего и низшего духовенства. Время от времени вдове Милле является ее покойная племянница Элиза Латапи, бедное кроткое дитя, жившее в ее доме на правах дочери и покинувшее сей мир в цветущем возрасте двадцати восьми лет. О, как осиротел после ее кончины просторный дом, который построил около сорока лет назад блаженной памяти господин Милле, питая надежды на многочисленное потомство, коим — увы! — не суждено было сбыться. Мадам Милле сотворила из памяти Элизы настоящий культ. Комната покойной содержится в таком образцовом порядке, что бывшая хозяйка может явиться и занять ее в любой момент. Каждая вещь, каждая мелочь на своем месте: книги, куклы, которыми Элиза играла в детстве, корзиночка с рукоделием,

пяльцы для вышивания, две коробки с окаменевшими конфетами и, прежде всего, Элизин шкаф, набитый бельем, платьями и обувью. В эту ночь, страдая от бессонницы, мадам Милле, закутав тучное тело в теплую шубу, проводит целый час в нетопленой комнате Элизы. Она надеется на какое-нибудь благое послание, которое, во-первых, известит ее о благополучном пребывании ее приемной дочери на том свете и, во-вторых, предречет непременное, хотя и не слишком скорое, воссоединение. Вдове в самом деле удается представить себе Элизу Латапи так ясно, как никогда прежде, причем в том самом платье, какое она надевала в торжественных случаях, как председательница Союза так называемых «детей Марии». Это платье из белого атласа с витым голубым поясом. Его изготовила портниха Антуанетта Пере по последней парижской выкройке, взяв с сестры по «Союзу детей Марии» всего сорок франков, то есть почти столько, сколько истратила сама. К утру госпоже Милле становится ясно, что юная дама, представшая взору маленькой ясновидицы Субиру, — не кто иная, как ее любимая племянница и приемная дочь, облаченная в праздничное платье председательницы «детей Марии».

Поразительно, что та же мысль в течение по-

недельника приходит и в голову Антуанетты Пере. Пере — еще довольно молодая особа, весьма некрасивая и к тому же кособокая. На ее продолговатом лице выделяются живые, непрестанно бегающие глаза. Дочь судебного исполнителя, она хорошо знает людей и неприглядную изнанку их жизни. Благодаря своей живости и сообразительности она тотчас делает выводы из той мысли, которая осенила и мадам Милле. На что указывают босые ноги привидевшейся юной дамы? Ясно как день: они указывают на то, что чистая душа Элизы, «дочери Марии», проходит в настоящее время, как все души после смерти, стадию покаяния. Кающиеся всегда ходят босыми. В чистилище, вероятно, вообще нет никакой обуви. Племянница богатой Милле, эта бедная душа, возможно, нуждается в усердных молитвах всех родных и близких, чтобы сократить свое пребывание в скорбной обители. Именно по этой причине она и явилась Бернадетте, и как раз в том месте, которое вполне может быть входом в чистилище. Кто знает, может, Элиза хочет еще и передать доброй тете и находящейся неизмеримо ниже скромной подруге тети какие-нибудь чисто личные пожелания или известия. Мадам Милле и мадемуазель Пере тотчас же уединя-

ются в комнате покойной, чтобы со всех сторон обсудить эту теорию, а также вытекающие из нее практические шаги. Слуга Филипп, привыкший за десятилетие к величавой недоступности госпожи, в высшей степени удивлен этим тайным совещанием.

В среду около четырех часов пополудни — к счастью, дома только Луиза и Бернадетта — в кашо появляются высокие гости. Первым входит Филипп, который ставит на стол весьма аппетитного вида корзинку с двумя жареными курицами и двумя бутылками сладкого вина. Он почтительно кланяется Луизе, чего раньше не бывало, и возвещает о приходе мадам, которая следует за ним по пятам. Луиза испуганно смотрит на подарок и на слугу. Через две минуты в помещение, которое было бы для нее слишком тесным даже в качестве тюрьмы, выпятив пышную грудь и шурша юбками, вплывает сама богачка Милле, за ней проскальзывает кособокая Пере. Милле явно поражена открывшимся ей зрелищем столь отчаянной бедности.

— Моя дорогая, — начинает она, — я давно хотела к вам заглянуть. Не стоит, право, благодарить за эти мелочи. Кроме того, я намерена просить вас приходить к нам каждую среду и субботу,

у меня найдется для вас работа, независимо от стирки. Мой дом, к сожалению, так велик…

Субиру понятия не имеет, как ей реагировать на такую расточительную господскую милость. Мадам Милле не слишком мелочна, но счет деньгам знает, а что касается работы, то какая особая работа может найтись в доме, где все надежно защищено чехлами и покрывалами от любой пылинки? Помогать по дому два раза в неделю… что потянет, пожалуй, на четыре франка, а в месяц на шестнадцать… — это же целое состояние! И такое предложение делается сразу, с порога. Что за этим скрывается? Луиза раболепно-недоверчиво вытирает тряпкой два стула и молча подвигает их ближе к гостям. Бернадетта стоит у маленького окна. Ее лицо в тени, но темные волосы отливают червонным золотом, так как зимнее солнце перед закатом вышло из-за облаков и заливает светом двор кашо.

— У вас очень милая девочка, моя дорогая, — вздыхает Милле, — совсем особенный ребенок, сразу заметно… Вы должны быть так счастливы…

— Поздоровайся с господами, Бернадетта! — кивает Субиру дочери.

Бернадетта молча подает обеим руку и вновь

отходит на свой наблюдательный пункт возле окна. Мадам Милле вынимает кружевной платочек и вытирает глаза.

— У меня тоже было дитя, неродное, но дороже, чем родное, вы ведь знаете… Моя Элиза, мужественная страдалица, умерла праведной смертью, декан Перамаль собственноручно написал об этом письмо его преосвященству епископу Тарбскому, где описал ее кончину, с которой нужно брать пример…

— Как раз поэтому мы и пришли сюда, мадам Субиру, — прерывает плачущую вдову более деловая Пере.

— Да, говорите вы, милая Пере! — милостиво кивает страдающая от одышки Милле. — Говорите вы! Мне трудно…

Дочь судебного исполнителя со свойственной ей четкостью излагает свою версию истории Бернадеттиной дамы. Она не допускает ни малейших сомнений. Босые ноги и белое платье с голубым поясом, то самое, что она сшила собственными руками, доказывают, что дама не может быть никем иным, кроме как недавно скончавшейся Элизой Латапи, проходящей мучительное испытание в чистилище. Элиза избрала девочку Бернадетту Субиру в качестве своей по-

сланницы, так сказать, связующего звена между тем и этим светом, чтобы передать любящей тете и приемной матери важные сообщения и свои пожелания. Таков очевидный смысл Бернадеттиных видений. Мадам Субиру должна поэтому разрешить дочери выполнить ее миссию до конца и поточнее установить, что именно требуется Элизе, чтобы ее бедная душа обрела наконец покой.

Луиза сидит как пригвожденная и не смеет поднять головы.

— Но ведь это все… может свести с ума, — удрученно лепечет она.

— От этого действительно можно сойти с ума! — громко всхлипывая, заявляет мадам Милле.

Тут следует сказать, что еще до прихода важных гостей происходили удивительные вещи между матерью и дочерью, которые не обменялись при этом ни единым словом. Мать, у которой горло перехватывало от молчаливой подавленности дочери, была близка к тому, чтобы самой предложить ей тайком от всех отправиться в воскресенье к гроту. Бернадетта тоже была близка к тому, чтобы броситься к ногам матери и взмолиться: «Пусти меня, пусти меня, о, пусти меня!» Но теперь в сердце матери вновь просыпаются

страх и отчаяние.

— Это, естественно, должно произойти как можно скорее, — требовательно говорит портниха.

Луиза думает о шестнадцати франках в месяц. С другой стороны, она думает о смертельной опасности, в которой, как она полагает, окажется ее дочь, если вновь впадет в это ужасное состояние отрешенности.

— До следующего воскресенья это невозможно…

— Будем считать это вашим согласием, — мгновенно ловит ее на слове Милле.

— Нет, нет, мой муж никогда этого не допустит…

— Это история не для мужчин. Мужчины ничего не понимают в таких вещах, — говорит вдова, опираясь на свой богатый опыт.

— Зачем нужно все сразу же выкладывать мужу? — смеется Пере.

— Мадам, я действительно не могу этого допустить, поймите, я же мать… Вы хотите, чтобы Бернадетта заболела или стала всеобщим посмешищем?.. Я не могу этого разрешить, я мать…

Толстуха Милле величественно поднимается:

— Я тоже мать, моя дражайшая, даже больше чем мать. У меня тоже есть дитя моего сердца, и

мое дитя страдает. Как подумаю, сколько усилий потребовалось моему ребенку, чтобы отыскать этот далекий путь сюда, у меня все внутри леденеет… Я вас ни к чему не принуждаю, мадам Субиру. Но если вы сейчас выставите меня за дверь, вся ответственность за последствия ляжет на вас…

— Моя голова… О, моя голова лопнет от всего этого! — стонет Субиру.

— А что скажет наша милая Бернадетта? — искушает девочку портниха.

Бернадетта все еще стоит у окна, на фоне закатного света, от которого ярко вспыхивают ее волосы. Она до крайности напряжена, будто стоит на цыпочках. Она похожа на прыгуна в тот миг, когда он отталкивается от земли. Что ей за дело до толстухи Милле, до безобразной назойливой портнихи? Что за глупая болтовня о бедной душе, которая томится в чистилище? Она знает одно: ее обожаемая дама желает ее видеть. Ее прекрасная дама вполне способна применить хитрость, чтобы сделать возможной их новую встречу. Иначе зачем бы она прислала сюда этих женщин? Звонким и уверенным в успехе голосом Бернадетта отвечает:

— Решать должна мама…

Встреча в этот четверг проходит иначе, чем два

предыдущих раза. Во-первых, Бернадетта не свободна, как прежде, мадам Милле дала ей нелегкое задание. У Бернадетты сегодня нет возможности всецело отдаться созерцанию несказанной красоты дамы. Даже в самом начале этой великой любви мир со своими помехами пытается вторгнуться и стать между любящими, которым хотелось бы исключить из своих отношений все постороннее. Бернадетта вновь застает даму уже в гроте, хотя, когда они выходили из города, пробило всего шесть утра. (Это было непременным условием госпожи Субиру: отправиться в путь на рассвете, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания.) Как мило и любезно со стороны Дарующей Счастье, что она каждый раз приходит первой и ждет ту, которую осчастливит, тогда как на всех других встречах мира бывает как раз наоборот. Бернадетта тотчас становится на колени, на этот раз не на гальку, а на плоский белый камень, но не столько для того, чтобы поклоняться и возносить молитвы, сколько для того, чтобы исповедаться. Слова бурно исторгаются из ее сердца, хотя уста остаются немы.

«Извините, пожалуйста, что я так долго не приходила. Но я обещала маме на мельнице Сави никогда больше не ходить к гроту. Для меня так

ужасно, мадам, что вы ждали в такую плохую погоду…»

Дама делает успокаивающе-отстраняющий жест, словно хочет сказать:

«Ничего страшного, дитя мое, я привыкла ждать своих людей в любую погоду».

«Я и сегодня пришла не одна, мадам, извините меня за это, — изливается беззвучный поток слов из Бернадетты. — Дело в том, что мама разрешила мне прийти к вам только ради мадам Милле. Мама рассчитывает, что Милле будет платить ей за работу четыре франка в неделю. И так как папа с прошлой пятницы тоже работает на почтовой станции, мы сможем теперь жить гораздо лучше. Я бежала, чтобы быстрее все вам сказать. Милле старая и толстая, о, мадам, вы, конечно же, сами знаете. Она не могла за мной поспеть. К сожалению, они уже подходят, я их слышу. Они выдумали какую-то чепуху, пожалуйста, простите! Я знаю наверное, что вы не Элиза Латапи и что вы не из чистилища…»

Дама кивает и ободряюще улыбается, как бы говоря:

«Не беспокойся, мы справимся и с мадам, и с мадемуазель. Главное, им удалось получить у мамы разрешение».

Сзади доносится голос Пере:

— Осторожно, моя дорогая! Держитесь крепче за мою руку! Еще шаг, еще один, ступайте сюда и затем сюда! Вот так! Мы пришли…

Бернадетта слышит за спиной свистящее дыхание толстухи Милле.

— Там наверху стоит дама, — быстро шепчет она вдове, не отрывая глаз от ниши. — Сейчас она вас приветствует…

— Ах, моя бедная, моя милая Элиза! — задыхаясь, лепечет Милле. — Я тебя не вижу! Почему я тебя не вижу? Как у тебя там, на том свете?

Негнущимися пальцами она зажигает освященную в церкви свечку, которую принесла с собой, и это первая свеча, зажженная перед гротом Массабьель. Как ей ни трудно, мадам Милле с помощью портнихи опускается на колени, простирает молитвенно сложенные руки и молит дрожащим голосом:

— Поговори со мной, Элиза, поговори! Одно слово, одно только слово…

Антуанетта Пере настораживается. Ей рассказывали, что в присутствии дамы лицо маленькой Субиру неузнаваемо меняется, начинает поражать неземной красотой. Ничего подобного не происходит. Лицо Бернадетты — земное, обычное,

как всегда. Портниха стучит по спине коленопреклоненной девочки острыми костяшками пальцев.

— Только не лги, слышишь! Говори чистую правду! Иначе тебя постигнет кара!

Бернадетта, не оборачиваясь:

— Я не сказала ни слова неправды…

— Молчи, — шепчет Пере, — читай молитвы по четкам.

Бернадетта послушно вытаскивает четки и начинает в смятении бубнить молитвы. Уже после первых «Богородице, Дево…» дочь судебного исполнителя достает из кармана маленькую чернильницу, перо и листок канцелярской бумаги. Завидная предусмотрительность! Она хотела бы иметь документ, где все будет обозначено, черным по белому.

— Так, а теперь иди к даме, — шепотом командует она, — и попроси ее написать ясно и понятно все ее желания и жалобы, и пусть точно сообщит, сколько раз надо отстоять мессу. Добрая тетя Милле сделает все, что в ее силах…

Бернадетта послушно берет перо, бумагу, чернила и подходит к самой скале, на которой стоит дама. Она взбирается на стоящий внизу большой камень и протягивает письменные принадлеж-

ности к нише. В этой позе она застывает. Поза ее так естественна, так выразительна, что обе женщины пугаются, чувствуя, что удостоились созерцать нечто, никем еще не виданное. Милле буквально помешана на чудесах и потусторонних явлениях. Но теперь, когда чудо совершается у нее на глазах, ее сердце готово остановиться, а на спине выступает холодный пот. Вместе с Пере она поспешно выходит из грота и на довольно далеком расстоянии от предполагаемого чуда, на берегу ручья, бухается на колени. Сквозь слезы она бормочет в пустоту:

— Напиши мне все, Элиза… Я не поскуплюсь…

Через некоторое время Бернадетта выходит из грота с просветленным лицом и без лишних слов отдает Пере чернила, перо и бумагу.

— Но тут ничего не написано, — говорит портниха тоном полицейского комиссара, обнаружившего, что его провели.

— А что сказала дама? — огорченно и в то же время с некоторым облегчением спрашивает Милле.

— Она покачала головой и засмеялась, — отвечает Бернадетта.

— Дама смеялась?

— Да, немножко смеялась…

— Очень интересно, — язвительно говорит Пере. — Значит, твоя дама смеялась. Не думаю, что души, томящиеся в чистилище, могут смеяться… А теперь иди к ней и спроси ее имя!

Бернадетта послушно, как всегда, возвращается в грот. Она крайне смущена, что приходится приставать к даме со всякими глупостями. Но терпение дамы кажется поистине безграничным, так как она все еще стоит, залитая собственным светом, несмотря на хмурую февральскую погоду. Только золотые розы на ее ногах порой совершенно тускнеют. Бернадетта смело подходит к скале:

— Извините, пожалуйста, мадам… Но обе женщины хотели бы знать ваше имя…

Лицо дамы принимает задумчиво-рассеянное выражение, какое бывает у высокой персоны, по отношению к которой допустили явную бестактность. Бернадетта становится на колени и вновь вынимает четки. После чтения молитв на прекрасное лицо дамы возвращается прежняя улыбка. И впервые до слуха Бернадетты доносится ее голос. Это глубокий грудной голос, и, учитывая юный возраст дамы, он звучит, пожалуй, чересчур по-матерински.

— Будьте так добры, — говорит дама своим грудным голосом, — приходите сюда следующие

пятнадцать дней кряду.

Она произносит это не на литературном французском языке, а на диалекте провинции Беарн и Бигорр, столь привычном для Бернадетты и ее окружения. Если переводить точно, то она говорит не «будьте так добры» (от слова «boutentat» — «доброта»), но употребляет сходное по смыслу выражение «окажите мне милость» (от «grazia» — «милость»). После чего следует продолжительное молчание, затем дама гораздо тише, чем раньше, произносит еще одну фразу:

— Я не могу обещать, что сделаю вас счастливой на этом свете, только на том.

Когда Бернадетта после этих заключительных слов вновь выходит из грота, она видит, что вокруг стоящей на коленях Милле с ее свечкой собралась кучка людей. Здесь мать и сын Николо, Мария, Жанна Абади, Мадлен Илло, а также несколько крестьян и крестьянок из долины Батсюгер, где слух о явлениях дамы в гроте Массабьель широко распространился, вызвав немалое возбуждение. К этим людям присоединяются все новые, так как сегодня четверг и народ отовсюду идет со своим товаром в Лурд.

— Она назвала свое имя? — кричит Пере навстречу Бернадетте.

— Нет, не назвала…

— А ты ее действительно спрашивала?

— Я спрашивала, как вы просили, мадемуазель…

— Ты не сочиняешь, Бернадетта? Я за тобой следила. Ты даже не раскрывала рта…

Бернадетта с удивлением смотрит на портниху.

— Когда я говорю с дамой, — объясняет она, — я говорю *вот здесь*…

При слове «здесь» она тычет пальцем себе в грудь, в то место, где у нее сердце.

— Вот как, — усмехается инквизиторша. — И дама тоже говорит с тобой *здесь*?

— Нет, сегодня дама говорила со мной по-настоящему.

— У дамы есть голос?

— О да, у нее точно такой же голос, какова она сама…

И Бернадетта повторяет все, что ей сказала дама. Антуанетта Пере полна уверенности, что наконец ее поймала.

— Ты хочешь уверить разумных людей, — взрывается она, — что дама, душа из потустороннего мира или, возможно, даже ангел, обращалась к тебе, глупой девчонке, на «вы» и говорила: «Будь-

те так добры»!

Лицо Бернадетты сияет от удивления и восторга.

— Да, это и впрямь странно… Дама говорила мне «вы».

Этот допрос, которому Пере подвергла Бернадетту, имеет неожиданные последствия. Сначала у портнихи не было особых сомнений в искренности девочки. Вера в потусторонний мир, любопытство, угодничество, жажда приобщиться к необычайному — все это вместе побудило портниху уговорить свою покровительницу Милле отважиться на странное приключение. Только здесь, в гроте, свободное поведение маленькой Субиру вызывает в ней подозрение. Естественные и простые ответы девочки в такой непростой ситуации покоряют сердца присутствующих и настраивают их против злобной Пере. Бернадетта говорит о своем видении с такой ясностью и точностью, с какими не каждый способен говорить о самых реальных вещах. Тот, кто ее слушает, поневоле начинает верить в нечто сверхъестественное.

— На тебе благословение Господне, — говорит одна из крестьянок. — Небу ведомо, кто к тебе приходит.

Мадам Милле уже почти не надеется, что дама окажется ее собственной племянницей. Слова, которые передала Бернадетта, никак этого не подтверждают. Но вдова не разочарована, она обнимает девочку.

— Какое же ты замечательное дитя, маленькая ясновидица. Благодарю тебя от всей души. Я старая больная женщина. Но все следующие пятнадцать дней я буду ежедневно ходить с тобой к гроту… Я думаю, вы тоже не пропустите ни единого дня, моя добрая Пере…

— Ни за что не пропущу, мадам, — подтверждает портниха, которая столь же быстро, сколь и вынужденно меняет тактику. — Мы еще многое узнаем от Бернадетты…

Безмерно утомленная вдова едва слышно шепчет:

— У меня на душе так возвышенно и спокойно. В следующий раз обязательно возьму с собой Филиппа. Это пойдет ему на пользу.

Тут уж и Жанне Абади не остается ничего другого, как признать превосходство и главенство Бернадетты, хотя она, Жанна, первая ученица в классе, а Бернадетта — самая последняя.

— Я тоже, естественно, буду приходить каждый день, — говорит она, — в конце концов, я первая

узнала о даме…

— Почему это ты первая? — возмущается Мария. — Самая первая я, ведь я ее сестра…

Антуан Николо гладит свои усы, как делает всегда, когда испытывает смущение.

— А что, если нам, матушка, — говорит он как бы между прочим, — пригласить мадемуазель Бернадетту пожить у нас следующие пятнадцать дней. Верхняя светелка у нас, конечно, не очень теплая, но ей было бы намного ближе ходить к Массабьелю…

— Я была бы очень рада Бернадетте, — осторожно говорит матушка Николо, — но я не хочу вмешиваться. Пусть ее родители сами решат, как все теперь будет…

— На право пригласить к себе Бернадетту претендую я! — величественно заявляет мадам Милле.

Бернадетта не понимает, что с ней происходит. Все эти люди вдруг заговорили так неестественно, так высокопарно, как будто не своим языком. Чего они, собственно, хотят? Она не может понять, что благосклонность, которую оказывает ей дама, в один миг переменила ее положение среди людей.

— Нам пора домой, — говорит она.

Старый мост заполнен едущими и идущими на рынок торговцами, кое-кто из них присоединяется к странной процессии, которая, во главе с Бернадеттой и мадам Милле, все еще держащей в руке горящую свечку, движется к кашо. Из уст в уста распространяется новость:

— Девочка опять ходила к гроту… Сегодня это уже в третий раз… Надо же, именно малышка Субиру… Говорят, она немного не в себе… Родители сидят на мели… Не позволяйте бедной дурочке морочить вам голову… Бог ты мой, и богачка Милле тоже с ними… Да, если у тебя денег куры не клюют, то нет других забот…

Чем дальше они идут по городу, тем обильнее и язвительнее становятся насмешки. Тем не менее, когда они сворачивают на улицу Пти-Фоссе, процессия насчитывает человек на сто больше. Полицейский Калле, который в этот момент выходит из заведения папаши Бабу, с удивлением взирает на эту «демонстрацию» и размышляет, не является ли его прямым долгом «навести порядок». Но ведь режим императора Наполеона III, который сам пришел к власти на волне путча, питает поистине безграничное почтение к народным сборищам. Поэтому Калле не вмешивается, а мчится во весь опор сначала к мэру Лакаде, а

затем к полицейскому комиссару Жакоме, чтобы доложить обстановку. Ведь эти двое возглавляют светскую власть, а он, бывший полевой сторож, олицетворяет ее карательные функции. Из кашо навстречу процессии выскакивает Луиза Субиру, насмерть перепуганная и растрепанная.

— Боже мой, что опять стряслось?

Мария жестами успокаивает мать.

— Бернадетта сегодня совершенно здорова, мамочка. Дама говорила ей «вы» и еще сказала: «Будьте так добры, приходите сюда пятнадцать дней кряду»…

— Все это меня доконает, — жалобно стонет Луиза. — Я потеряю ребенка…

Люди протискиваются к входной двери. Мадам Милле, мадемуазель Пере, мать и сын Николо и все девочки заходят в темную прихожую.

— Дорогая мадам Субиру, — обращается к Луизе богачка Милле, но не свысока, как прежде, а как равная к равной. — Я благодарю Небо, что оно послало нам Бернадетту. Я намерена пятнадцать дней кряду совершать вместе с ней паломничество к Массабьелю. Для моих отекших ног это будет суровое испытание и искупление грехов. А вас, моя дорогая, я очень прошу позволить девочке пожить это время у меня. Надеюсь, вы не

будете против…

Нет, Луиза Субиру не будет против. Ее слабая болезненная Бернадетта будет спать в мягкой постельке и есть не менее пяти раз в день, и уж по меньшей мере два раза — жареное куриное крылышко. Луиза чешет в затылке рукояткой поварешки и не знает, что ответить.

— Дайте мне опомниться, мадам Милле, это такая неожиданность…

А госпожу Милле уже захлестнули эмоции.

— Бернадетта будет жить в прекрасной комнате моей покойной Элизы. Вы же знаете, эта комната у нас в доме святая святых. Хоть я и не уверена, что дама из Массабьеля — моя бедная Элиза, но в ее постели должна спать Бернадетта, и никто другой…

Тут уже не в силах сдержаться портниха Пере, ей не терпится блеснуть перед своей покровительницей собственным великодушием.

— Ах, милая Бернадетта, — восклицает она, — какое на тебе смешное, нелепое платьице! От меня ты получишь роскошное белое платье, чтобы даме приятно было на тебя посмотреть…

— У Бернадетты и впрямь больше везенья, чем ума, — шепчет Жанна Абади Мадлен Илло, тыча локтем ей под ребра.

— Дорогие дамы, — растерянно молит Луиза, — позвольте мне только сначала посоветоваться с господином Субиру и моей сестрой Бернардой. Я не могу взять на себя ответственность за эти пятнадцать дней. Взгляните только, какая толпа! Пресвятая Дева, чем все это кончится?

— Посоветуйтесь со своей родней, — величественно разрешает вдова Милле. — Но Бернадетта может сразу же пойти с нами… Мы переделаем на нее платье «детей Марии», которое носила Элиза, не так ли, милая Пере? Элиза была не намного выше ростом…

Бернадетта, как всегда, безучастно стоит в стороне. Под этим обрушившимся на нее потоком милостей она думает о словах дамы: «Я не могу вам обещать, что сделаю вас счастливой на этом свете». Она не может обещать, но, кажется, она это уже делает — нынче!

В четыре часа пополудни в кашо является премудрая Бернарда, признанный семейный оракул и крестная Бернадетты. Ее почтительно встречают супруги Субиру. Она приходит в сопровождении своей младшей сестры, старой девы Люсиль, которая из-за своей пассивности и безволия кажется при ней всего лишь служанкой. Как семейный оракул Бернарда привыкла

не торопясь рассматривать каждый предложенный ей случай: обдумывать его несколько часов, разбирать на части и вновь складывать в единое целое, принимать во внимание ту или другую сторону, прежде чем она вынесет свой мудрый приговор, ни малейшего сомнения в котором она, естественно, не допускает. У Бернарды Кастеро на крепких крестьянских плечах сидит неглупая голова, в отличие от ее младших сестриц, которых она считает бестолковыми и недалекими. Лишь благодаря своим отлично работающим мозгам она не только не пустила на ветер состояние покойного мужа, но, напротив, значительно его приумножила выгодными перепродажами. Она стоит на собственных ногах, и стоит твердо. Несколько лет назад она без колебаний отклонила предложение руки и сердца. Слишком хорошо она знает неверный характер мужчин, их легкомыслие и непрактичность.

Бернарда неодобрительно осматривается в кашо. Луиза, в юности самая хорошенькая из сестер Кастеро, заслуживает, по ее мнению, лучшей участи. А все оттого, что девушки самонадеянно стремятся выйти замуж по любви, забывая о том, что замужество — дело серьезное и ответственное. Если мужчины в большинстве своем

бездельники и тунеядцы, то уж красивые мужчины — все без исключения негодяи. Беглый взгляд на супружескую кровать убеждает Бернарду, что, судя по тому, как она небрежно и наспех застелена, Луиза выгнала своего красавчика из теплой постели лишь за несколько минут до их прихода.

— Где Бернадетта? — спрашивает крестная.

— Ее пригласила к себе пожить мадам Милле, — боязливо отвечает Луиза. — Она пробудет там пятнадцать дней.

— Ошибка! — изрекает разгневанная Бернарда.

— Почему ошибка, сестра?

— Потому что ты не видишь дальше своего носа…

Франсуа Субиру начинает раздраженно сновать по комнате. Желая показать свою супружескую самостоятельность в присутствии Бернарды, он всегда принимает ее сторону против жены.

— Именно так, ошибка! Я сразу сказал ей, что это ошибка. Но она, видите ли, действует по собственному разумению. Со мной не советуется. Отдать ребенка из дому — непростительная ошибка! Что скажут люди?

— Могу тебе заранее сообщить, зятек, что скажут люди, — язвительно усмехается Бернар-

да. — Они скажут, что Субиру ловко обделывают свои делишки, используя Бернадетту и ее даму.

— Да, именно это они и скажут, именно это! Я уже слышу их голоса, — ярится Субиру.

— Они скажут больше! Скажут, что Бернадетта все это выдумала, лишь бы втереться в дом к Милле и стать ее наследницей.

— Конечно, они и это скажут! — Субиру бросает свирепый взгляд на жену. — Какой позор! В каком мы окажемся дерьме!

Бернарда безжалостно окатывает сердитого зятя холодным душем:

— Вы и сейчас там — невелика честь жить в этом кашо.

— Но я всю свою жизнь был честен, — бьет себя в грудь Субиру, — и всегда больше давал, чем получал. С этим ты не можешь не согласиться, свояченица. Но теперь я сыт этой историей по горло. Не желаю больше об этом слышать! Кончено! Бернадетта отправится в Бартрес…

— Типичный безголовый мужчина, — кивает Бернарда. — Знакомая картина. У меня не так много времени, зятек, выслушай меня! Сядь наконец и успокойся! И вы все садитесь и дайте мне сказать! Сами просили меня прийти. Я не желаю, чтобы меня перебивали…

Все послушно садятся. Одна Бернарда остается неуклюже стоять посреди комнаты. Она даже не сняла головного платка и черного плаща.

— Бернадетта, — начинает она свое резюме, — милое дитя и совсем не плутовка; мозгов у нее не слишком много, что вовсе не удивительно. Я часто на нее смотрела и думала, что же в ней такое таится. Но могу голову дать на отсечение, что про даму она не лжет, хотя бы потому, что у нее ума бы не хватило на такую сумасшедшую и дерзкую выдумку. Она видит даму. Другие люди дамы не видят. Когда мы были детьми, бабушка нам рассказывала, что знала девочку, которой однажды в темных сенях явился Спаситель, явился во плоти, так что его можно было потрогать рукой. В прежние времена такие случаи бывали часто. Значит, вполне может быть, что дама нисходит с Небес. Но дама может приходить и из ада, хотя на это ничто не указывает, кроме скверного места ее появления. История действительно жуткая. Чем все это кончится, я не знаю, хотя думала об этом целых пять часов. Ради вас я надеюсь, что все постепенно затихнет и забудется. Но Бернадетте придется пятнадцать дней кряду ходить к гроту. Она должна это делать. Дама этого пожелала, а дама ведь могла явиться и с Небес. Никто не смеет

мешать малышке исполнить желание дамы. Вот моя точка зрения. А совет мой при этом таков: мать должна быть на стороне дочери. Мать не должна, как страус, прятать голову в песок и делать вид, что дочь занимается безобидными шалостями, а ее это не касается. Ты очень глупо вела себя до сих пор, сестра. Теперь ты каждый день должна ходить вместе с Бернадеттой в Массабьель и стоять с ней рядом. Все это достаточно серьезно. Подумай только, как много это значит для Бернадетты. Если ты будешь ее поддерживать, то и люди перестанут над ней смеяться. И не только ты, все женщины нашей семьи обязаны стоять за Бернадетту. И я, и Люсиль — мы обе после утренней мессы будем ежедневно ходить с ней к гроту. Таково мое твердое решение. А вы поступайте, как хотите…

Итак, «оракул» сказал свое мудрое слово. Супруги Субиру растерянно молчат. Луиза винит себя в том, что лишь сестра напомнила ей о ее материнском долге. Франсуа не вполне убежден логикой свояченицы, но не находит сил противостоять судьбе. Для себя лично недовольный отец избирает такую линию поведения: держаться от этих вещей подальше, сколько будет возможно.

Глава тринадцатая
Посланцы науки

— В конце концов, мы живем во второй половине девятнадцатого века, — вздыхает владелец кафе Дюран, подавая директору лицея Кларану его черный кофе, Эстраду, главе налоговой инспекции, — чашку шоколада, литератору де Лафиту — рюмку горькой настойки, а простуженному прокурору — дымящийся глинтвейн. Кафе «Французское» понемногу начинает наполняться. — Господа, читали сегодняшний номер тарбского «Интере́ люблик»? — возбужденно вопрошает Дюран. — Там напечатана заметочка, озаглавленная буквально так: «Пресвятая Дева является школьнице из Лурда». И такое осмеливается печатать газетчик во второй половине девятнадцатого века…

— Не переоценивайте наш век и его зрелость, Дюран, — улыбается старый Кларан. — Нашему земному шарику очень много миллионов лет. Мы же считаем несчастные девятнадцать столетий за огромный пройденный путь. Я всегда говорю своим мальчикам на уроках истории: «Не следует

важничать. Человечество пока еще в детских башмачках».

Хозяин кафе, заслуженно именуемого также кафе «Прогресс», — не тот человек, который даст себя поколебать подобными глубокомысленными сентенциями. В его памяти вертятся передовицы множества газет, за чьи прогрессивные взгляды он выкладывает ежемесячно немало денег.

— Разве мы напрасно страдали? — декламирует он, воздев правую руку, как трагик, играющий на любительской сцене. — Для того ли были порваны оковы державшей нас в плену догмы, чтобы реакция снова пичкала нас отвратительными россказнями о религии?

Гиацинт де Лафит задумчиво смотрит на свою рюмку.

— Я лично нахожу, что это очень красивая сказка, — замечает он. — Вы правы, друг Кларан. Мы живем еще в самых ранних предрассветных сумерках древности. Почему, черт возьми, глазам бедного ребенка, дочери пастуха или ремесленника, не может явиться в заброшенном гроте какое-нибудь небесное божество — к примеру, Диана, или Пресвятая Дева, или хотя бы нимфа ближайшего источника? Это в духе Гомера, мой

друг. За такую сказку я отдам семь сотен сцен из современных романов, в которых рыжекудрые жены банкиров изменяют своим мужьям с камердинерами или же бальзаковские и стендалевские выходцы из низов пытаются изменить социальный строй, обрюхатив какую-нибудь наивную аристократку…

Эстрад, глава налоговой инспекции, удивленно смотрит на поэта:

— Я правильно вас понял, Лафит? Вы верующий?

— Верующий? Я единственный истинно неверующий среди всех, кого я знаю, почтеннейший! Я не обожествляю ни четки, ни математические или химические формулы. Для меня религия всего лишь народный прообраз поэзии. Не смотрите на меня так неодобрительно, добрый Кларан, это вполне обоснованное определение. Искусство — это религия, вышедшая из-под влияния церкви. Поэтому религия девятнадцатого века — это искусство.

Налоговый инспектор испуганно отодвигает от себя чашечку с шоколадом:

— То, что вы говорите, возможно, годится для Парижа, но не для нас, простых сельских жителей. Как добрый католик, а я таков, я открыто

заявляю, что нахожу всю эту историю с видениями в гроте Массабьель досадной и достойной сожаления…

— В этом я ничуть не сомневаюсь, — спешит ответить Лафит. — Ведь все, что сегодня называют религией, — не более чем механическое повторение, пустая условность и политический ход. Если некое человеческое создание, выделяющееся среди себе подобных, действительно верит в своих богов и видит невидимых во плоти, как это часто бывало в прежние, истинно религиозные времена, то такой человек вызывает неудовольствие всех, кто лишь соблюдает обычай и бездумно повторяет молитвы. Ибо ничто так не противопоказано эпохе, которая сама есть бледная копия, но никак не оригинал.

— Господа, господа, — умоляюще взывает Дюран, который переводит взгляд с одного на другого, не в силах понять, о чем они спорят. — Господа, о чем тут рассуждать? Ведь это же чистой воды надувательство. Вы же знаете, в нашей местности сейчас дает представления цирковая труппа из По. Могу себе представить, что какая-нибудь хорошенькая циркачка решила подшутить над недалеким ребенком…

— Это уже что-то похожее на гипотезу, — сме-

ется литератор Лафит. — Интересно было бы услышать гипотезы других господ. Какова ваша гипотеза, господин главный сборщик налогов?

— Гипотезы — дело прокурора, — отвечает господин Эстрад с вежливым поклоном в сторону Виталя Дютура, сверкающего рано облысевшей макушкой.

— Это заблуждение, господа, — звучит гнусавый голос простуженного прокурора. — Государственная власть действует не на основании гипотез… Что касается первичного дознания, то это прерогатива полиции. — И прокурор протягивает руку полицейскому комиссару Жакоме, который только что подошел к его столику. — Есть новости, милейший Жакоме?

Полицейский комиссар отирает пот со лба, так как громадная печь Дюрана пышет жаром.

— Чистое безумие, — говорит комиссар, покачивая головой. — Я получил несколько донесений. Калле сообщает о демонстрации перед кашо. Моя дочь рассказывает, что завтра полгорода собирается отправиться вместе с малышкой Субиру к гроту Массабьель. А бригадир жандармов д'Англа сообщает о большом волнении в деревнях Оме, Вигес, Лезиньян и многих других.

— И все это в середине девятнадцатого века! —

вновь горестно восклицает владелец кафе. — Лурд приобретет в глазах всей просвещенной Франции дурную репутацию. Что напишут о нас передовые газеты: «Сьекль», «Журналь де деба» и особенно «Пти репюблик»?

— Ничего не напишут, — успокаивает его Лафит. — Не переоценивайте нашу значимость. Писать о нас будет разве что «Лаведан», который сегодня опять не вышел.

— Демонстраций я, однако, терпеть не намерен, — размышляет вслух полицейский комиссар. — А что думает об этом господин прокурор?

Виталь Дютур с трудом подавляет приступ кашля.

— Для нас, судей, — объясняет он, — первостепенное значение всегда имеет ключевой вопрос: cui bono? — то есть: кому выгодно? В данном случае: кто извлечет пользу с политической точки зрения? Ибо следует себе уяснить, что любой взмах ресниц имеет в наше время отношение к политике. И если Пресвятая Дева является сегодня дочери поденщика, то она делает это с вполне определенной политической целью: стремится оказать поддержку церкви и, как следствие этого, упрочить власть духовенства, а тем самым усилить влияние роялистской партии, которая

и есть партия церкви, хотя в настоящее время по соображениям тактики клерикалы внешне поддерживают либеральный режим. Таким образом, явления в гроте Массабьель служат делу реставрации Бурбонов, осуществить которую стремится французское духовенство. Как представитель императорского правительства я должен рассматривать эти явления и в особенности их возможные последствия как изменнические происки, которые в последнее время опасно усилились. Руководствуясь принципом «кому выгодно?», можно сделать логический вывод: за этой историей стоят какие-то священники, которые стремятся разжечь среди недовольного суеверного населения огонь фанатизма, чтобы добиться ослабления императорского режима. Вот каков, господа, мой основанный на размышлениях и отнюдь не гипотетический взгляд на вещи. Принесите мне, пожалуйста, еще один глинтвейн, любезный Дюран. Проклятый здешний климат вреден мне во всех отношениях…

— Вы склонны стрелять из пушек по воробьям, господин прокурор, — улыбается директор лицея.

— Нет, все очень ясно и убедительно, — одобряет речь прокурора полицейский комиссар.

Однако Эстрада эта точка зрения неприятно задевает.

— Фантазия ребенка — еще не религия, — возражает он. — Религия — не то же самое, что церковь. Церковь — это не то же, что клерикалы. И клерикалы в большинстве своем — не роялисты. Я знаю священников, которые придерживаются даже республиканских взглядов.

Гиацинт де Лафит удовлетворенно потирает руки:

— Довольно, господа, не будем отвлекаться от сути дела. Итак, мы выслушали две криминалистические теории. Наш друг Дюран верит в красавицу-циркачку, которая ежедневно появляется перед девочкой в обличье мадонны. Господин прокурор, в свою очередь, верит, что какой-то священник, предположим наш великан отец Перамаль, инсценирует эти явления в костюме Девы…

— Ваш юмор, месье, не кажется мне слишком забавным, — парирует Дютур с кислой миной. — Я не утверждал, что это явление — замаскированный священник, я лишь говорил, что священник стоит *за* ним.

— Итак, господа не сходятся во мнении, не так ли? — говорит только что вошедший доктор Дозу,

услышавший лишь последние слова. С его редингота, который он в спешке не снимает, летят во все стороны дождевые брызги. Он присаживается к столику, как всегда, лишь на пять минут.

— Только пять минут, господа, у меня всего пять минут, вот несчастье… Если я не ошибаюсь, в этом просвещенном кругу говорят о том же, о чем говорят все на свете…

— Именно так, — кивает ему литератор. — И мы ждем не дождемся, когда наука объяснит эти чудеса.

— Я знаю, месье де Лафит, — отвечает доктор Дозу, — по отношению к науке вы убежденный атеист. Вы в нее не верите, недавно вы сами мне в этом признались между площадью Маркадаль и Старым мостом. Но в данном случае, возможно, наука будет как раз кстати: понятно, я имею в виду беспристрастную, критическую науку, которая готова признать любой феномен, даже самый невероятный, прежде чем сунуть его под микроскоп… Лично я еще не имел случая наблюдать подлинные галлюцинации. Я намерен послать об этом сообщение Вуазену в Сальпетриер.

— И вы действительно решитесь, милый доктор, стоять у грота вместе с толпой простонародья? — удивленно спрашивает Эстрад.

— Не делайте этого, — предостерегает его Дюран, принесший напитки. — Это недостойно городского врача.

— В конце концов, я не только лекарь, — возражает Дозу. Меланхолическая тень сомнения пробегает по его бледному, все еще моложавому лицу. — У меня есть кое-какие, хоть и скромные, авторские работы, и только этой осенью университет в Монпелье предложил мне должность профессора кафедры неврологии, а это не мелочь в медицинском мире, уверяю вас. Я отклонил предложение, потому что врос корнями в землю Лурда. Но я еще не настолько закоснел, чтобы не испытывать интереса к столь редкому патологическому случаю…

— Так, по-вашему, речь идет о душевной болезни? — напряженно спрашивает Дютур.

— У меня нет права ставить диагноз, — осторожно отвечает врач. — Хотя во всех заведениях для душевнобольных полно параноиков, которых одолевают видения, но, вспоминая эту малышку, которую я лечу от астмы, я не склонен так легко согласиться с подобным приговором…

— Значит, каталепсия, месмеризм, истерия? — упорно допытывается Дютур.

— Это лишь термины, обозначающие весьма

несхожие явления, дорогой прокурор. Сначала следует внимательно понаблюдать за пациенткой во время приступа… Как я слышал, походы к Массабьелю будут продолжаться две недели…

Прокурор делает пометку в своей записной книжке.

— Я был бы вам очень признателен, уважаемый доктор, если бы мог познакомиться с вашим отчетом о проделанном исследовании.

— Почему бы и нет, — бросает доктор, уже поднявшись с места и торопясь покинуть зал, — я ведь заскакиваю сюда ежедневно и, конечно, не стану скрывать от вас мою точку зрения.

Гиацинт де Лафит долго молчит, уставившись в пространство, залитое светом новомодных керосиновых ламп.

— Я полагаю, — внезапно говорит он, — что господа проглядели в этой истории главное. Я полагаю, что истинной проблемой является не юная ясновидица, а следующая за ней толпа…

Уже к четырем часам пополудни портниха Пере приносит переделанное на Бернадетту платье Элизы Латапи — роскошное белое платье «детей Марии». И вот девочка Субиру впервые в жизни стоит перед большим зеркалом в дверце шкафа, которое отражает ее в полный рост. Пере

опускается перед ней на колени, чтобы получше расправить складки.

— Я и не представляла себе, что ты можешь выглядеть такой хорошенькой, — говорит она, смиренно преодолевая себя.

Добрая Милле не скрывает восторга от этого превращения бедного нищего ребенка в настоящее «дитя Марии», превращения, заслуга которого принадлежит ей, и никому больше.

— Ну просто картинка! — восклицает она. — Наша маленькая ясновидица — настоящая картинка. Впору заказать литографию…

Бернадетта, лицо которой все больше заливается краской, смотрит на свое отражение как на мираж. Девочка так сильно взволнована потому, что до этого часа даже не представляла, как она выглядит во весь рост. В кашо есть только маленький четырехугольный осколок зеркального стекла, но никогда не было настоящего зеркала. Поэтому Бернадетта знает лицо, фигуру, одежду дамы куда точнее и подробнее, чем саму себя. Можно даже сказать, что Очаровательная в гроте для нее гораздо более реальна и гораздо меньше «видение», чем ее собственное отражение в зеркале. Проникнувшись сознанием неведомого прежде достоинства, она стоит и не может унять

сердцебиение. Ее обуревает испуганный восторг и блаженное чувство праздника. Впервые она сможет отправиться завтра на встречу с обожаемым существом в достойном виде. Заметит ли дама праздничное платье, накидку из тюля, голубой поясок, поймет ли, что это подражание в ее честь, знак того, как безмерно преклоняется перед ней Бернадетта? Конечно, дама все заметит и поймет. Но понравится ли ей это? Будь ее воля, Бернадетта сейчас же побежала бы к Массабьелю, чтобы показаться даме. Она делает несколько маленьких шагов и поворачивается перед зеркалом, испытывая наслаждение удовлетворенного девичьего тщеславия. Никогда больше она не наденет старое уродливое платье и застиранный капюле. Прежняя одежда внушает ей сейчас отвращение. А что скажут завтра мама, Мария, Жанна Абади, матушка Николо, когда перед ними предстанет новая, преображенная Бернадетта?

Мадам Милле нашла в одной из своих бесчисленных, заботливо хранимых шкатулок искусственную белую розу и золотой булавкой приколола на грудь девочки. У Бернадетты вырывается сдавленный крик восторга, так прекрасно и необычно это выглядит. Она не в силах оторваться от зеркала. Лишь надвинувшиеся

сумерки кладут конец радостям примерки. После этого Бернадетта сидит (также впервые в жизни) в настоящей столовой за накрытым белой скатертью столом, на который подают настоящий обед. Филипп в перчатках разливает по тарелкам превосходный суп, затем следует отварная форель, политая растопленным маслом, и, наконец, восхитительный десерт, нечто взбитое и сладкое — ничего вкуснее Бернадетта еще никогда не пробовала. Все это они запивают белым бургундским вином, приятно щекочущим язык. Госпожа Милле очень ценит хорошую кухню, как многие души, чьи более сокровенные желания радостей жизни удовлетворялись весьма неполно. Антуанетта Пере, которая благодаря своей способности без устали болтать также сумела оказаться за этим столом, зорко следит за поведением девочки. Она ожидала, что не получившая хорошего воспитания дочка поденщика будет сидеть развалясь и, уж конечно, не сумеет правильно пользоваться ножом и вилкой. Но, к удивлению Пере, Бернадетта ведет себя безупречно. Она без стеснения наблюдает за движениями хозяйки дома и, подражая ей, как отмечает изумленный Филипп, ест ловко и красиво, как придворная дама. В портнихе вновь пробуждается подозрение,

что эта девчонка — отчаянная и бессовестная лгунья, что она задумала ловкую аферу, а ее вялость и апатичность — всего лишь маска, помогающая скрыть незаурядный преступный талант. Ведь самой Антуанетте Пере, как-никак дочери судебного исполнителя, понадобилось не менее двух лет, чтобы научиться непринужденно вести себя в богатых домах Лафита, Милле, Сенака и других представителей лурдского высшего общества, а эта противная девчонка все усвоила в одну минуту.

— Откуда у тебя такие хорошие манеры, Бернадетта? — коварно допытывается портниха, делая вид, что дрожит от испуга перед неминуемым разоблачением девочки, при этом левое плечо подскакивает у нее чуть ли не до уха.

— Господь дает возлюбленному Своему сон, — цитирует Писание хозяйка дома, — ему не надо рано вставать и поздно просиживать…

После этих слов портниха решает держать свое недоверие и свою враждебность при себе. Милле, эта праздная, по-детски восторженная старуха, просто без ума от продувной девчонки. Антуанетта Пере достаточно хорошо знает свою покровительницу и понимает, что сохранить ее расположение можно, лишь потакая всем ее глу-

постям и экзальтированным затеям. К счастью, мадам непостоянна и забывчива.

Наконец Бернадетте разрешают выйти из-за стола. Мадам Милле сама ведет ее в комнату своей обожаемой племянницы, щедрой рукой зажигает там множество свечей, все показывает и объясняет, как будто она в музее, кладет на стол коробку с конфетами и на прощание обнимает девочку со слезами на глазах. И вот Бернадетта одна, одна также впервые в жизни, если иметь в виду замкнутое пространство. Одиночество кажется ей самым счастливым плодом богатства. Она чувствует себя так, словно с ее плеч сняли очень тяжелую ношу, и сразу же бросается к зеркальному шкафу Элизы Латапи, чтобы досыта наглядеться на себя в нарядном «Мариином» платье. Это удовольствие длится долго, очень долго. Затем она берет белый холщовый мешочек, который всегда носит при себе и содержимое которого придирчиво проверяет каждый вечер. В нем хранится ее вязанье — неоконченный чулок, две книжечки — азбука и катехизис, несколько пестрых шелковых лоскутков, которые ей когда-то подарила Мадлен Илло, побуревший кусочек леденца, сухая хлебная корка, три стеклянных шарика и крошечная фигурка из гуттаперчи,

изображающая маленького мельничного ослика, нагруженного мешками с мукой. Ведь все ее первые воспоминания связаны с жизнью на мельнице Боли. Это ее сокровища, которые она хранит пуще глаза. Все на месте, ничего не пропало. Она растерянно оглядывает комнату, которая гораздо просторнее, чем их кашо, где живут шесть человек. Какая утомительная комната! Здесь нет причудливых сырых пятен на стенах, только шелковые обои с бесконечными веночками и гирляндами. Эти веночки — сами готовые картинки, им не надобно ее воображение, чтобы превращаться в картинки. Даже на потолке изображены фигуры ангелочков. Здесь, что ни день, придется лежать в кровати до десяти утра, чтобы хорошенько рассмотреть стены и потолок. Пока Бернадетта гасит одну за другой толстенные свечи из запасов Милле и переносит последнюю свечу на ночной столик, она вдруг замечает за стеклянной дверцей шкафа целое собрание маленьких кукол, которых хранила там Элиза Латапи. У нее самой и у ее сестры Марии кукол не было, ни больших, ни маленьких, если не считать тряпичного паяца, которого отец, еще в бытность мельником, как-то привез с ярмарки в Сен-Пе. Но паяц был несимпатичный, у него

была огромная пасть щелкунчика и слишком яркие заплаты. Он был чем-то похож на злобного козла Орфида и явно происходил из царства демонов, обитатели которого часто преследовали Бернадетту. А куколки Элизы Латапи были родом из веселого царства фей. Бернадетта смотрит на них не дыша и не может наглядеться. Особенно нравится ей маленькая тиролька в национальном костюме: в плоской зеленой шапочке и ярко-красном корсаже. Бернадетте приходится изо всех сил держать себя в руках и все время помнить о запрете матери трогать чужие вещи. Больше всего ей хотелось бы сунуть нарядную тирольскую крестьяночку в свой мешочек. Но ей вспоминается отец, которого по одному только подозрению в краже дубовой балки полицейский Калле увел в тюрьму.

С величайшей осторожностью Бернадетта снимает накидку, роскошное белое платье, откалывает искусственную розу, сбрасывает башмаки и стягивает белые шелковые чулки. Понемногу она вновь начинает ощущать себя прежней Бернадеттой. Но эта Бернадетта кажется ей теперь гораздо грубее, чем раньше, кажется похожей чуть ли не на темного лесного зверька, испуганно и неловко лежащего в огромной, невероятно

мягкой и холодной постели. Ей теперь даже не хватает горячего тела спящей Марии, прикасаться к которому она избегала с прошлого четверга. Но ее усталость так велика, что она все же быстро засыпает в этой огромной жутковатой кровати с балдахином.

Когда в шесть утра в комнату входят хозяйка дома, Антуанетта Пере и Филипп, чтобы разбудить Бернадетту, девочка уже полностью одета. К их величайшему изумлению, на ней ее прежнее старенькое платье, капюле и деревянные башмаки.

— Что это значит? — вскрикивает Пере. — Почему ты не надела нарядное платье?

— Я его надевала, уверяю вас. Но потом снова сняла…

— И почему ты его сняла?

— Не знаю, мадемуазель…

— Что это за ответ: не знаю?

— Я должна была его снять…

— Тебе кто-нибудь велел? Может быть, дама?

— Нет, мне никто не велел. Дама же не здесь, она в гроте Массабьель…

— Тебя, однако, не поймешь…

— Я понимаю нашу маленькую ясновидицу, — просияв, восклицает вдова Милле. — Платье председательницы «Союза детей Марии» кажется

тебе недостаточно скромным, чтобы предстать в нем перед дамой. Ведь так, дитя мое?

Бернадетта мучается, пытаясь дать убедительное объяснение:

— Не могу точно сказать, мадам. Я просто почувствовала…

— Черствость и упрямство, обычные черствость и упрямство, — бормочет портниха, вновь забывая о своих добрых намерениях.

Перед домом на улице Бартерес уже собралась толпа в несколько сотен человек. Среди них немало мужчин. Дядюшка Сажу, Бурьет, Антуан Николо, пришедший с мельницы Сави, чтобы отправиться в путь вместе со всеми, и много других. Мадам Милле пристально вглядывается в толпу, пытаясь обнаружить присутствие каких-либо духовных лиц из города или окрестностей: ведь удивительный случай, собравший этих людей, несомненно относится к сфере церковных интересов. Но ни одной сутаны в толпе не видно. Матушка Субиру робко подходит к дочери, как будто ее дитя уже ей не принадлежит. Лишь присутствие сестры, Бернарды Кастеро, внушает ей некоторую уверенность, способную противостоять даже блеску богачки Милле. Бернарда и Люсиль, как и многие другие женщины, держат в

руках свечи. Бернадетте тоже суют в руки свечу.

— Вперед, не будем терять времени! — командует старшая Кастеро и вместе с сестрами следует по пятам за Бернадеттой. По пути присоединяются соседки с улицы Пти-Фоссе, невнятный возбужденный говор становится все громче. Бернадетта между тем не произносит ни слова, ни с кем не здоровается, ни на что не обращает внимания. Она все убыстряет шаг, как будто за ней никто не идет и вся эта толпа взрослых, солидных людей — лишь второстепенное, скорее докучливое явление. И вновь Антуанетту Пере возмущает независимое поведение девочки, которая считает возможным ни на кого не оглядываться, ни с кем не считаться. И Жанна Абади, которую вместе с другими школьницами изгнали из первых рядов, злобно шипит на ухо Катрин Манго: «Всегда и везде она хочет быть первой!»

Бернадетта в самом деле стремится первой прийти к гроту. Как ни безразличны ей идущие за ней люди, но если она появится в гуще толпы, это может расстроить даму. Врожденное чувство такта подсказывает ей, что общение с Очаровательной — дело весьма деликатное и может происходить лишь при соблюдении определенных правил, ощущаемых в глубине души,

и, если вести себя не по правилам, это приведет к мучительным угрызениям совести. Подобно тому как Бернадетта постоянно дрожит за даму и беспокоится о ее самочувствии, не меньше страшится она и вызвать неудовольствие дамы. И вот девочка уже прыгает с камня на камень и, значительно опережая остальных, спускается по отвесной тропе к гроту. Милле останавливается, с трудом переводя дух. «Она летит, словно ласточка, — задыхаясь шепчет вдова, — словно листок, подхваченный ветром…»

Когда толпа с горящими свечами, распространяя на всю округу запах тающего воска, наконец спускается с горы и заполняет пространство перед гротом, Бернадетта давно уже стоит на коленях в состоянии отрешенности. Благосклонность к ней дамы проявилась сегодня сильнее, чем обычно. Это была не просто благосклонность, но искренняя сердечная радость, от которой как будто ярче засияло лицо дамы, ослепительней стали цвета ее одежды и даже чуть порозовели обычно белые руки и ноги. Дарующая Счастье сегодня впервые сама казалась Осчастливленной. Дающая казалась Берущей — возможно, потому, что благодаря исполнению ее желания начал осуществляться какой-то важный, далеко идущий план. Дама

приблизилась к Бернадетте больше, чем когда-либо прежде, она ступила на самый край скалы и наклонилась так низко, что ее длинные нежные пальцы чуть ли не касались девочки. И сознание Бернадетты, которое, несмотря на безмерное наслаждение, обычно испуганно противилось состоянию полной отрешенности, на сей раз покорилось ему мгновенно.

— Она умирает, помогите, она умирает! — Это тихое восклицание срывается с уст Бернарды Кастеро, премудрой Бернарды, те же самые слова, что в прошлое воскресенье вырвались из глоток глупеньких школьниц. Луиза Субиру не кричит, она с ужасом смотрит на это распростертое существо, вышедшее некогда из ее чрева, на свою дочь, так похожую сейчас на умирающую, готовую принять блаженную кончину, преодолев все скорби мира, или даже на покойницу с заострившимся носом, на губах которой застыла непостижимая улыбка, улыбка освобождения от долгого и мучительного земного пути. Луиза Субиру беспрестанно качает головой, а губы ее беззвучно шепчут:

— Это не она… Это не Бернадетта… Я не узнаю свою дочь…

И вся толпа, стоящая сейчас на коленях вдоль

берега ручья и вдоль берега Гава, испытывает глубокое потрясение. Каждое людское сборище составляет вместе некую общую личность, нервы которой в известном отношении тоньше и восприимчивее нервов отдельных людей. И эти общие нервы ощущают сейчас в пустой нише чье-то неопределенное, но весьма характерное присутствие. Как человеческая голова оставляет вмятину на подушке, некую полую форму, подобную гипсовому слепку, так и это характерное присутствие кого-то делается зримым в позе отрешенной девочки, которая уже не неподвижна, а, подобно зеркальному отражению, повторяет то, что видит: кивки, улыбки, приветственные жесты, то, как дама складывает руки и как она разводит их в стороны. Бернадетта становится как бы точным отпечатком Невидимой, которая благодаря этому оказывается для толпы на грани видимости. Среди собравшихся немало душ, склонных к вере, но есть и некоторое число скептиков, а также множество людей, пришедших сюда просто из любопытства. Но сейчас все они, затаив дыхание, переводят глаза от ниши к посреднице и обратно. Они уже не томятся от ожидания. Неожиданное свершается, оно здесь. Но вызывает оно не чувство небесного блажен-

ства, а скорее некую вибрацию диафрагмы, смешанную с покорностью неведомой силе. Причем в груди насмешников эта вибрация ощутимее всего. В каждом человеческом существе живет врожденная тяга к сверхчувственному. Там, где эта тяга таится глубже всего, она проявляется как недомогание и душевный разлад. Внезапно одна из женщин затягивает «Ave Maria». Тотчас же к ней присоединяется мощный хор голосов, как бы стараясь сделать Невидимое Зримым.

Бернадетта будто ничего не слышит. Другой шум вторгается в ее уши. Снова бунтует Гав. Снова он охвачен безумной паникой, снова чудится ей дикая скачка лошадей и грохот мчащихся повозок, звучат пронзительные крики: «Спасайся… прочь с дороги!» Бернадетта испуганно тянет руки к даме. Лицо дамы впервые делается строгим и горделивым, словно ее собственный жизненный путь еще не закончен и ей все еще приходится бороться и побеждать. Она морщит лоб и внимательно смотрит на бушующую реку, как бы укрощая ее взглядом лучистых голубых глаз. Это ей мгновенно удается. Пронзительные голоса стихают. Гав, как усмиренный волк, привычно рокочет и пенится, припадая к ногам дамы.

Внезапно Бернадетта поднимается с колен и

принимает свой обычный вид. Она замечает отчаявшееся лицо матери, подходит к ней и обнимает ее за шею. Многие из присутствующих плачут…

* * *

В воскресенье на аперитив в кафе «Французское» сходятся уже в десять утра. Кафе переполнено, как никогда. Заранее договорено, что доктор Дозу огласит сегодня результаты своего исследования. Прокурор Виталь Дютур и комиссар полиции Жакоме нетерпеливо поглядывают на часы. Оба господина к одиннадцати часам приглашены в мэрию на секретное совещание. В последние три дня события у грота Массабьель приняли такие масштабы, что властям более не пристало отмалчиваться и пассивно наблюдать. Например, сегодня в самую рань в городе собралась толпа, в которой было не менее двух тысяч человек, они приблизились к гроту и стали широким полукругом, уже по обоим берегам реки и ручья Сави. Большими группами со всех сторон туда же подходили деревенские жители. Настало время выработать тактику и принять действенные меры. С точки зрения официальной власти, эта проклятая история — случай весьма

затруднительный и неясный. Закон предусматривает достаточное количество карательных мер за всякого рода нарушения общественного порядка. Но можно ли считать нарушением общественного порядка предполагаемое явление Пресвятой Девы, в которое не только верит значительная часть городского и сельского населения, но которое оно, собираясь в толпы, страстно приветствует? Дютур и Жакоме сильно нервничают, особенно прокурор, подхвативший инфлюэнцу, его сотрясает озноб, и ему впору бы лежать в теплой постели, а не сидеть за столиком кафе. Но оба надеются, что сообщение городского врача прояснит ситуацию и подскажет им план действий. А Дозу именно сегодня заставляет себя ждать. Тем временем прибывает другой посланец науки, историк Кларан; вчера после полудня он посетил грот Массабьель и исследовал его с геологической и археологической точки зрения. Кларан рассказывает, что известняковая скала в гроте особым образом запотевает, это сразу бросилось ему в глаза.

— Особенно с правой стороны, — уточняет он, — под нишей, под кустом дикой розы, там на камне будто выступают крупные капли пота.

Гиацинт де Лафит протестует против такой

формулировки:

— Почему вы говорите «капли пота»? Почему не слезы? Вы тоже подверглись влиянию писак из реалистической школы…

— Если вам больше нравятся слезы, мой друг, пусть будут слезы… Saxa loquuntur. Камни говорят. Поистине так! Камни в наше время имеют основание не только говорить, но и плакать…

— Это все несущественно, господа, — прерывает их спор Виталь Дютур, который всегда мрачнеет, когда Лафит и Кларан демонстрируют друг перед другом свою образованность и тонкий вкус. — Больше вы ничего не обнаружили?

Исследуя грот, Кларан, по его мнению, сделал не такое уж пустяковое открытие. Он убежден, что в древние времена здесь отправляли языческий культ и совершали жертвоприношения. Белая каменная глыба под порталом ниши, вероятно, была жертвенником, на нее клали злаки и фрукты, приносимые в дар какому-то примитивному божеству. Кларан давно уже понял в результате своих исследований, что Трущобная гора — не простое место, здесь находилось древнее святилище. Эта теория легко объясняет нынешнюю дурную славу грота. Душа народа, принявшего христианство, хранит неясные воспоминания

о прежних святых местах и испытывает перед ними страх. Ибо старые боги, вытесненные новыми, обычно переходят в разряд демонов. Поэтому церковь издавна стремилась уничтожать все языческие святыни и ставить на их место свои храмы.

Гиацинт де Лафит ликует:

— Этой теорией, мой друг, вы подтверждаете то, что я всегда говорил, а именно что провинция Бигорр по сути своей земля дохристианская. Здесь дочери пастуха или поденщика вполне может явиться богиня Диана или же нимфа местного источника. Между крестьянской девочкой первого века до Рождества Христова и такой же девочкой в тысяча восемьсот пятьдесят восьмом году нет такой уж большой разницы ни в душевном, ни в умственном развитии.

— Эти интересные выводы, господа, ни на шаг не продвигают нас к нашей цели, — страдальчески морщится Виталь Дютур. — Вы не отдаете себе отчета, какие неприятные последствия может иметь это безумие…

— Если это будет продолжаться, — вторит ему полицейский комиссар, глядя на свои грозные, но в данном случае бесполезные кулаки, — если все это будет продолжаться, придется вызвать

армию и применить против демонстрантов военную силу. Никакое государство не может терпеть ежедневных сборищ такого масштаба. Я уже жду нагоняя от префектуры, за этим дело не станет. Барон Масси шутить не любит…

— Прямо-таки вопиющий скандал, — жалуется хозяин кафе. — Вчера даже «Меморьяль де Пирене» поместил об этом статью в два столбца под заголовком «Лурдские явления». А в последнем «Лаведане», кстати, имеется престранная испуганная статейка. Ходит слух, что ее сочинил и поместил под чужим именем аббат Пен по приказу Перамаля, дабы предотвратить худшее.

Виталь Дютур оглядывает присутствующих и понижает простуженный голос до хриплого шепота:

— Эти явления направлены лично против особы императора…

— Как так против особы императора? — недоуменно спрашивает кто-то. — Ведь императрица Евгения сама чрезвычайно религиозна…

— Как прокурор, я, вероятно, лучше знаю наш народ, господа. Император правит, опираясь на стоящую выше закона тайную полицию. А мы, французы, все без исключения, в душе анархисты. И если уж мы хотим подорвать авторитет пра-

вящей персоны, то для нас хороши все средства. Социализм, республиканизм — все это скучно, господа, все это приелось. Почему бы нам не воспользоваться мистицизмом?.. Но вот и доктор. Где вы пропадаете, Дозу?

Сегодня врач снимает свой редингот и задумчиво вешает на крючок. После чего присаживается к столу, уже не на бегу и не на пять минут. Настроен он, как кажется, отнюдь не лучшим образом. Дютур тотчас берет его в оборот:

— Ну, доктор, вы провели свое исследование?

— Насколько это было возможно, — лаконично отвечает Дозу.

— И каков результат?

— Результат, увы, не слишком значительный.

— Можно ли это назвать душевным заболеванием в медицинском смысле?

— Я считаю, что эта девочка не более сумасшедшая, чем вы или я, месье.

— Значит, она обманщица?

— У меня нет ни малейших оснований для подобного вывода.

— Тогда я могу предположить, любезный доктор, что вы принадлежите к тем, кто верит в чудо?

— О Пресвятая Дева! — в ужасе восклицает

Дюран, молитвенно складывая руки. А Дозу кланяется прокурору, как бы представляясь:

— Мое имя — Дозу, я сотрудник «Курьер медикаль» и состою в переписке с известными учеными и общественными деятелями. Имею честь принадлежать к последовательным естествоиспытателям…

Виталь Дютур начинает терять самообладание:

— Но поскольку вы не подтверждаете ни душевной болезни, ни обмана, то вы должны считать эти видения подлинными.

— Видения могут быть подлинными в субъективном смысле, не существуя как объективная реальность.

— Кто видит объективно несуществующее, тот и есть сумасшедший…

— Тогда к сумасшедшим можно отнести Шекспира к Микеланджело, — резонно замечает Лафит.

Дозу вытаскивает из кармана три мелко исписанных листочка.

— Я набросал небольшую памятную записку о том, чему был свидетелем сегодня утром. Возможно, я пошлю ее в Париж Вуазену. Будет лучше, господа, если вместо бесполезных дискуссий

я зачитаю вам свои краткие заметки… — Врач снимает пенсне, подносит записи прямо к близоруким глазам и бесстрастным голосом начинает их расшифровывать, запинаясь и не глядя на своих слушателей. — «Двадцать первое февраля тысяча восемьсот пятьдесят восьмого года, семь часов десять минут утра. Вместе с большой толпой я подошел к гроту Массабьель. Мне сразу удалось протиснуться вперед и оказаться рядом с Бернадеттой Субиру, которая достигла грота раньше всех остальных. Позади девочки стояла на коленях вся ее родня с горящими свечами в руках. Сама Бернадетта тоже держала свечу. Она непрерывно кланялась, не сводя глаз с ниши в стене грота, причем делала это самым непринужденным и почтительным образом. Эти поклоны показались мне смешными и трогательными одновременно, ведь они предназначались пустой темной дыре. Бернадетта держала в руке четки, но казалось, что она не молится. Очень скоро на ее лице появились те изменения, о которых мне уже рассказывали. Они самым наглядным образом отражали то, что девочка видела внутри скалы…»

В этом месте Жакоме недоверчиво кашляет, но Дозу не дает себя сбить и продолжает монотонно

читать свой текст:

— «…Казалось, можно почти увидеть то, что видела девочка. Обмен приветствиями, радостные улыбки, восторженное вслушивание, осмысленные кивки в знак согласия — все это проделывалось так естественно и правдиво, как было бы не под силу самому величайшему актеру. Постепенно щеки девочки сделались белее мрамора, а кожа так натянулась, что на висках проступили кости черепа. Такое же изменение тургора, то есть натяжение кожного покрова, я наблюдал у чахоточных больных в последней стадии болезни. Казалось, наступило то месмерическое состояние, которое с недавних пор называют „трансом“. Я наклонился над пациенткой, чтобы провести исследование. Пульс у нее был хорошего наполнения, лишь немного учащенный, я насчитал восемьдесят шесть ударов в минуту. Насколько я мог определить, у нее не было ни повышения, ни понижения кровяного давления, какое обычно наблюдается при сильных мозговых спазмах. Следовательно, бледность щек и натянутость кожи на лице не были следствием нарушения кровообращения. Мне доводилось не раз наблюдать в Монпелье каталептиков во время приступа, и всегда я

констатировал общее расстройство нервной системы, резкое изменение пульса и кровяного давления. В случае Бернадетты Субиру едва ли можно говорить о заболевании, связанном с изменениями в нервной системе, то есть о каталепсии или истерии. Чтобы вполне в этом убедиться, я проверил также, насколько было возможно, глазные рефлексы. И тоже не заметил особых отклонений от нормы. Зрачки, правда, были немного расширены, радужная оболочка чуть стянута, а белки глаз казались блестящими и влажными. Но эти признаки можно наблюдать у любого человека, который пристально и с напряжением во что-то вглядывается. Для транса, в который впала Бернадетта, вообще было характерно не столько отключение сознания, сколько напряжение и огромная концентрация внимания. К примеру, девочка держала в руке горящую свечу. Погода была довольно ветреная. Иногда порыв ветра с Гава задувал пламя. Бернадетта каждый раз это замечала и, не поворачиваясь, протягивала свою свечку стоящим сзади, чтобы они вновь ее зажгли. Когда я осматривал пациентку, у меня создалось впечатление, что она знает, что именно с ней происходит…»

— У меня тоже такое впечатление, что она точ-

но знает, что происходит, — язвительно замечает Дютур, но Дозу, оставив его реплику без внимания, продолжает чтение:

— «…Только когда я закончил свой осмотр, она поднялась с колен и на несколько шагов приблизилась к нише. Поскольку я стоял к ней ближе всех, я расслышал, как из ее груди дважды вырвалось протяжное „да“. Когда она снова повернулась к нам, ее лицо совершенно изменилось. Раньше оно выражало застывшую радость, теперь превратилось в трагическую маску страдания и печали. Крупные слезы текли по ее щекам… Несколько минут спустя видение, вероятно, исчезло. Бернадетта, вновь порозовевшая, жестом дала это понять. „Почему ты перед тем плакала?“ — спросил я ее. Она тотчас, ничуть не смутившись, ответила: „Потому что дама больше на меня не смотрела, она глядела поверх голов на остров Шале и на город. И на лице у дамы вдруг возникла такая скорбь, и она мне сказала: «Молитесь за грешников»“. Поскольку я хотел проверить ее умственные способности, я тут же задал вопрос: „А ты знаешь, кто такой грешник?“ — „Знаю, месье, — быстро ответила она. — Грешник тот, кто любит дурное“. Хороший ответ. Мне понравилось, что она сказала „любит дурное“

вместо привычного „поступает дурно“. Ее слова убедили меня, что нет никаких оснований говорить о слабоумии. Взволнованная толпа между тем с напряженным вниманием следила за происходящим, словно присутствуя на необычайном богослужении. Когда все кончилось, толпа разразилась стихийной бурей аплодисментов, и это произвело на меня гнетущее впечатление, словно опасное явление природы. Бернадетта, однако, не обращала ни малейшего внимания на похвалы и благословения, которые сыпались на нее со всех сторон. Казалось, девочка даже не подозревает, что она значит для всех этих людей. Она явно торопила свою свиту побыстрее уйти, чтобы ускользнуть от обременительных знаков расположения». Это все, я кончил, — сказал доктор Дозу, который с величайшим трудом и многими паузами дочитал наконец свою довольно неразборчивую, но чуть ли не стенографическую запись. Все растерянно молчали. Даже владелец кафе, человек хоть и просвещенный, но простодушный, на этот раз не знал, что сказать. После продолжительной паузы слово взял прокурор.

— Если я правильно понял науку, — суммировал он услышанное, — то она в равной степени исключает как обман, так и душевное заболева-

ние или чудо. Но позвольте мне задать вопрос уважаемой науке: что же тогда остается?

— Да, что же тогда остается? — задумчиво повторил доктор Дозу.

Глава четырнадцатая
Секретное совещание, которое оказывается прерванным

Мэр Лакаде нервно расхаживает по своему кабинету на улице Бур. На нем привычный черный сюртук, ведь еще полчаса назад, украсив себя широкой трехцветной лентой, он проводил очередную праздничную церемонию. В петлице, как всегда, пылает розетка Почетного Легиона. Но физиономия мрачная, словно вокруг сгустились тучи. Гладко выбритые отвислые щеки, под которыми торчит остроконечная бородка с проседью, кажутся еще более сизыми, чем обычно. Причина его дурного настроения лежит тут же, на зеленом сукне стола, за которым сидит его помощник Курреж, отец рыжеволосой Аннет из свиты Жанны Абади. Причина эта — официальное письмо из Аржелеса, подписанное собственноручно господином Дюбоэ, супрефектом.

«Мэру Лурда вменяется в обязанность незамедлительно подать донесение о фактах нарушения общественного порядка в городе Лурде, а также о мерах, принятых для пресечения подобных

нарушений и несанкционированных народных сборищ».

— Что же мне теперь, засадить в кутузку Пресвятую Деву? — бушует Лакаде. — Но это не в моей компетенции. Такие полномочия имеет лишь прокурор. Только он может потребовать ее привода силами жандармерии. Государство — это одно, а местное самоуправление — совсем другое. Я представляю общину. Неужели почтенному супрефекту это не ясно?

— Но нам все же придется что-нибудь предпринять, господин мэр, — говорит Курреж.

— Увы, кто это знает лучше меня? — Лакаде в ярости вытаскивает из ящика и бросает на стол целую кипу газетных вырезок. — Вся местная пресса оттачивает на нас зубы, а уж Париж — так просто хохочет…

Курреж, который время от времени поглядывает на дверь, осторожно откашливается.

— Думаю, господин мэр, господа уже ждут…

Лакаде выпрямляется, вытаскивает из кармана расческу и начинает поспешно приводить в порядок свою строптивую бородку.

— Ну что же, Курреж, попросите их войти. Хоть совещание и секретное, но на всякий случай побудьте в приемной, вдруг мне понадобится

свидетель.

Мэр протягивает обе руки навстречу имперскому прокурору и комиссару полиции.

— Я нарушил ваш воскресный отдых, господа, — говорит он звучным голосом оратора. — Но как глава здешней общины я не могу больше обходиться без поддержки гражданских властей. Случай очень сложный. Я уже получил официальный запрос господина супрефекта. В нем, конечно, наши беспорядки сильно преувеличиваются. Этим, кстати, грешит вся либеральная пресса, для которой наш бедный Лурд стал лакомой поживой. Мы сделались средоточием огорчительного общественного интереса. Честно вам признаюсь, что для меня небольшой бунт лесорубов или рабочих сланцевых карьеров был бы легче, чем эта кошмарная история, к которой не знаешь, как подступиться. Уж позору-то точно было бы меньше. Я, который прилагает все силы, дабы приобщить наш бедный Лурд к цивилизации, предвижу сейчас полный крах своих планов. Разве после этой шумихи мы получим разрешение на постройку железнодорожной ветки к Лурду? Да мне сразу же дадут от ворот поворот. А новый водопровод? На этой идее можно просто поставить крест. А гости из Парижа? А открытие

целебных источников с помощью ученых? Все летит к черту! Какие парижане рискнут приехать в наше захолустье, где нет ни курзалов, ни лечебных заведений, зато есть грязные пещеры, где справляют свой шабаш средневековые призраки? Тут речь идет о куда более серьезных вещах, чем просто о болтовне маленькой лгуньи или идиотки…

— Предлагаю, — прерывает эти стенания прокурор, — для начала ознакомиться с возможностями, которые дает нам закон…

— Это уж ваша область, господа, — вздыхает мэр, откидываясь в кресле, прикрывая глаза и смиренно складывая руки на объемистом животе.

С любовью к эффектным выводам, которая не покидает хорошего юриста даже при остром гриппе, Виталь Дютур, приятно оживившись, приступает к делу:

— Итак, господа, состав преступления следующий. Четырнадцатилетняя девочка низкого происхождения и отнюдь не выдающихся умственных способностей утверждает, что периодически видит некое сверхъестественное существо. Пока в этих голых фактах, согласно нашему кодексу, еще нет ни проступка, ни пре-

ступления, которое могло бы быть основанием для вмешательства закона. Даже если девочка станет уверять, что к ней является не кто иной, как Пресвятая Дева, или Богоматерь, то и тогда лишь с величайшим трудом ее можно обвинить в нарушении религиозных правил. Но девочка Субиру, насколько мне известно, говорит только о «даме», о «молодой даме», о «необыкновенно красивой даме». Как ни досадны могут быть эти наивные, я бы сказал, наивно-бесстыдные выражения для истинно верующей души, но назвать их святотатством в чисто юридическом смысле нельзя, так как молодая красивая дама есть всего лишь молодая красивая дама. Следовательно, голые факты, с которыми мы имеем дело, не годятся для возбуждения судебного преследования…

— Если господин имперский прокурор позволит мне сделать замечание, — с подобающей скромностью вмешивается Жакоме, — то голых фактов было бы достаточно для задержания девчонки, если бы можно было бы доказать обман или сумасшествие…

— Но, любезный Жакоме, — с досадой останавливает его прокурор, — это все уже обсуждалось. Вы же слышали пятнадцать минут назад мнение нашего городского эскулапа, который категори-

чески отрицает и то и другое. Должен сказать, поведение этого представителя науки меня немного огорчило…

Мэр бросает на обоих собеседников утомленный взгляд:

— Господа считают голыми фактами только эти видения. Но видения как таковые не интересуют ни городские власти, ни государство. Конечно, было бы полезно некоторые видения запретить. Но даже самое суверенное правительство не располагает для этого необходимыми средствами. Я рассуждаю не как юрист, а как простой гражданин. Здравый рассудок подсказывает мне, что инкриминировать следует не сами видения, а вызванное ими непонятное народное движение…

— Если бы меня не перебивали, — досадливо говорит Дюран, — я бы сразу же перешел к пункту второму. К народному движению я отношусь, вероятно, куда серьезнее, чем господин мэр. Я вижу в нем вредоносную, подрывную тенденцию, направленную против государства. Что ж, рассмотрим факт наличия этих возмутительных сборищ с точки зрения закона! Что делают эти люди? Они встречают малышку Субиру у ее дома, совершают вместе с ней паломничество к Трущобной горе, стоят там на коленях, держа в

руках зажженные свечи, молятся по четкам, не скупятся на аплодисменты и под конец мирно расходятся по домам… Как это можно запретить?

— Это нужно запретить! — ожесточенно восклицает Лакаде.

— Но каким образом, уважаемый? Вы можете мне назвать параграф, налагающий запрет на такие действия?

— Боюсь, что такого параграфа нет, — нерешительно говорит мэр.

Прокурор делает ироническую паузу и затем сухо поясняет:

— Таких параграфов два, господин мэр, и первый вы должны были бы знать лучше меня. Он содержится в «Королевском указе о практике городского управления» от восемнадцатого июля тысяча восемьсот тридцать седьмого года.

— Тотчас же велю Куррежу разыскать этот указ…

— Нет надобности, — скромно говорит Дютур, — я помню его наизусть. Он предоставляет мэрии право закрывать для общественного движения все дороги, тропинки, мосты, перекрывать доступ в любую местность, если только здоровью и жизни жителей на этих дорогах или в этой местности грозит опасность.

— Черт возьми, превосходно, господин прокурор! — кивает мэр. — Сразу видно блестящего юриста! Где была моя собственная голова! Приказа о закрытии дороги, который я вправе отдать, вполне достаточно. Рискованная лесная тропа через гору действительно опасна для жизни. Сегодня же прикажу Калле объявить о том, что эта дорога закрыта…

Прежде чем вставить слово, прокурор ведет долгую утомительную борьбу со своим насморком.

— Этого в настоящее время я вам решительно не рекомендую.

— Но я понял, что вы сами советуете мне использовать этот параграф, и тогда…

Виталь Дютур обращает внимание на портрет Наполеона III, где в бледном зимнем свете можно различить лишь бело-голубую орденскую ленту на груди императора.

— Его я сделал своей путеводной звездой во всех политических вопросах, — объявляет прокурор. — «Власти не должны предпринимать шаги, цель которых достаточно прозрачна». Если закрыть доступ к Массабьелю, все верующие в чудо станут говорить, что мы боимся Пресвятой Девы. И неверующие скажут то же самое. Те и

другие будут над нами смеяться. Кроме того, когда вы закроете путь через гору, останутся еще три дороги, о которых никто не может сказать, что они опасны… Вторая возможность, о которой я говорил, кажется мне гораздо более серьезной. Вероятно, вы догадываетесь, что я имею в виду, любезный Жакоме?

— О господи, я всего лишь простой полицейский, господин прокурор…

Виталь Дютур снимает с пальца перстень с печаткой и стучит им по столу, требуя внимания.

— Господам, наверно, известно, — торжественно начинает он, — что правительство Франции заключило конкордат с папским престолом. Вчера я не поленился специально перечитать текст этого конкордата. Девятая статья в нем гласит, что церковная сторона обязуется не открывать новых мест для богослужений без предварительного согласия министерства по делам культов… Понимаете, господа, к чему я веду?

— И эту статью, по вашему мнению, можно применять? — осторожно спрашивает Лакаде, опасаясь снова попасть впросак.

— И да, и нет. Все зависит от позиции церкви.

— За всей этой аферой наверняка прячутся сутаны, — уверенно заявляет Жакоме.

— Надеюсь, что так, друг мой, — снисходительно говорит прокурор. — Но Перамаль далеко не дурак.

Адольфа Лакаде внезапно одолевает смех.

— Подумайте, кого только не переполошила эта маленькая идиотка! Император и папа лично подписали конкордат…

В эту минуту дверь приоткрывается, и в щель просовывается голова Куррежа.

— Вы назначили еще одну встречу, господин мэр?

— О чем вы, Курреж? Вы же знаете мое расписание не хуже меня…

— С вами желают поговорить, и весьма настойчиво…

— К чему эти обиняки? У меня нет тайн…

— К вам посетитель, — выпаливает наконец помощник мэра. — Декан Перамаль собственной персоной.

Лакаде поднимается и спешит в приемную со всей скоростью, какую допускают его комплекция, достоинство и возраст. Из приемной доносится его голос, в котором звучат самые теплые ноты.

Декану Перамалю сорок семь лет, это человек огромного роста и необыкновенно могучего те-

лосложения. У него страстное лицо, не по годам изборожденное морщинами. В шубе и меховой шапке он напоминает скорее отважного путешественника, исследователя дальних земель, чем лурдского викария. Между духовенством и светскими властями Южной Франции отношения почти всегда напряженные. Это результат испытанной тактики правительства, которое, не чувствуя себя в полной безопасности, не устает натравливать друг на друга враждебные силы, чтобы держать их всех в узде. Жители Южной Франции пропитаны духом строгого католицизма и мало затронуты новомодными нигилистическими веяниями. Вследствие этого на государственные должности здесь назначают преимущественно так называемых «вольтерьянцев». Лурдский декан — не тот человек, чтобы страшиться или хотя бы избегать «вольтерьянцев», ибо, в отличие от многих из них, занимающих важные посты, он читал Вольтера. Робость и страх вообще несвойственны этому отважному мужу. Время от времени он рискует даже показываться в кафе «Прогресс», в этой львиной пещере либерализма, когда, возвратившись из своих поездок по сельским церквам и промерзнув до костей, заходит туда пропустить

стаканчик кальвадоса. Забавно видеть, с какой поспешностью львы либерализма устремляются к этому Даниилу, чтобы приветствовать его и удостоиться рукопожатия. Перамаль подчеркнуто терпим, как все глубоко пристрастные и нетерпимые люди. Это лишний раз доказывает, что только колеблющиеся, способные отступиться от своей веры, склонны всегда и везде выставлять наружу яростную нетерпимость. Такую закаленную личность, как Перамаль, воззрения противника с толку не собьют. Он знает, что истина есть истина, и эту истину он не только принял за долгие годы своей духовной карьеры, но и привык добросовестно защищать. Он не из тех, кто всем сомнениям этого века подставлял непробиваемый медный лоб. Но теперь его борения давно позади. Львы не вгонят его более в жар, зато его гнев может обрушиться на иных агнцев из его паствы, которые боятся малейшего холодного дуновения. Вообще-то, Перамаль при известных обстоятельствах становится настоящей бочкой с порохом. Так бывает, когда кто-либо, пусть даже его начальник, осмеливается влезать в его церковные и благотворительные дела. Особенно последние являются предметом нападок высшего света, олицетворением которо-

го в Лурде является многочисленное семейство де Лафит. В этих кругах считают, что любовь декана к низшим классам не обязательно должна сопровождаться резкостью по отношению к верхам, тем более когда человек происходит из такой превосходной семьи ученых, как Перамаль. Декан не просит богачей о милостыне, он требует с них обязательную дань. Аббат Помьян, признанный сочинитель афоризмов, назвал его как-то «поджигателем на ниве милосердия».

— Вы простудитесь, ваше преподобие, — говорит Лакаде, уговаривая декана снять шубу. — Взгляните только на нашего бедного прокурора…

У декана звучный бас, металл которого приглушается легкой хрипотцой. Этот голос приводит в восторг всех женщин Лурда. Своими раскатами он заполняет кабинет мэра.

— То, что мне нужно сказать, я скажу быстро. Я знаю, господа пытаются разгрызть твердый орешек. И я пришел, чтобы вам помочь. Вы допустите огромную ошибку, если вообразите, что мои капелланы и я сам придаем хоть какое-нибудь религиозное значение так называемым явлениям в Массабьеле…

— Стало быть, вы отрицаете возможность сверхъестественного феномена, ваше преподо-

бие? — перебивает его Виталь Дютур.

— Стоп, сударь. Я никоим образом не отрицаю возможность появления сверхъестественных феноменов. Я лишь сомневаюсь, что Господь Бог решил ниспослать чудеса именно на нас. Важнейшая предпосылка сверхъестественного явления есть готовность душ к его восприятию. До этой готовности нам так же далеко, как до Небес. Я вообще не хотел бы употреблять в данных обстоятельствах высокое слово «чудо». Случай в Массабьеле, если это не чистое надувательство, чего я не исключаю, можно отнести скорее к области спиритизма, оккультизма, духовидения и тому подобного бабского колдовства, от которого церковь с возмущением отворачивается.

— Как интересно и как отрадно это слышать, — с одобрением кивает Лакаде. — Вы знаете девочку Субиру, господин кюре?

— Не знаю и не желаю знать.

— А не стоит ли вашему преподобию лично провести с ней беседу и хорошенько ее отчитать? — спрашивает прокурор.

— Это совершенно не входит в мои намерения, господа. Пощадите меня! Дело властей, и только властей, урезонить эту малолетнюю преступницу или психопатку.

— Но, господин декан, вы же хотели помочь властям, — напоминает Жакоме.

— Я уже сделал это, запретив всем священникам моего прихода ходить к гроту и уделять этой истории хоть малейшее внимание. В том же духе я отправил сообщение господину епископу. Далее, я настоятельно рекомендовал святым сестрам, преподающим в школе, и прежде всего классной наставнице девочки сестре Возу, употребить весь свой авторитет вплоть до самых строгих мер воздействия, чтобы положить конец этой безобразной истории. Это все, что я мог сделать.

— Ваша власть над здешними людьми безмерна, господин декан, — льстит ему Лакаде. — Вы апостол простых людей. Разве не пошло бы на пользу дела, если бы вы сами возвысили свой голос…

— Я не намерен лично раздувать значение этого фиглярства, — обрезает Перамаль и нахлобучивает на голову меховую шапку. — Засим желаю приятного воскресенья.

— Так можно ли нам применить статью девять из конкордата? — спрашивает прокурора мэр, проводив Перамаля до самой лестницы.

— В том-то и парадокс, — ворчит Дютур. — Выступив на нашей стороне, этот хитрец закрыл

нам лазейку. Борьба с церковными властями была бы решительно выгоднее, чем это его согласие. Теперь мы одни за все в ответе.

— Черт побери, — стонет Лакаде. — Нынче там было две тысячи человек, завтра их будет три, послезавтра — пять тысяч, а у нас — один Калле да несколько жандармов.

— Не разрешите ли вашему покорному слуге внести одно предложение? — внезапно вмешивается Жакоме. — Я не слишком-то разбираюсь в высокой политике, но наш брат постоянно имеет дело с преступным элементом: с грабителями, ворами, бродягами, пьяницами и всякого рода негодяями. Поневоле выучишься давить на людей и внушать им страх. Черт меня побери, если я не сумею так запугать девчонку Субиру, что она прекратит свои игры еще сегодня. А если девчонка не осмелится больше ходить к гроту, то вся бесовская канитель закончится уже завтра. Прошу имперского прокурора и господина мэра доверить это дело мне…

— С этим можно согласиться, любезный Жакоме, — отвечает Дютур после некоторого раздумья. — Кроме того, процедура вполне законная, ибо вы представитель власти низшей инстанции. Только мне хотелось бы составить о девочке

собственное мнение. Поэтому я тоже намерен ее допросить, еще прежде вас, но в непринужденной обстановке, у меня дома. Примите, пожалуйста, необходимые меры, чтобы ее доставить. Вы не возражаете, господин мэр?

Лакаде давно уже сидит как на иголках. Колокола звонят полдень, у него кисло во рту, Бернадетта лишила его привычного удовольствия выпить стаканчик мальвазии.

— Действуйте без промедления, господа! — призывает он, хватаясь за шляпу. — Ведь от вас зависит, получит ли Лурд железную дорогу…

Глава пятнадцатая
Объявление войны

Портниха Антуанетта Пере очень надеялась, что капризной вдове скоро надоест Бернадетта и она рано или поздно откажет ей от дома. Как многие выходцы из низов, она не может допустить, чтобы другой выходец из низов охотился в тех же угодьях, что и она, и, как нарочно, по ее собственной вине. Если бы она могла предвидеть, какие это возымеет последствия, она никогда в жизни не высказала бы свою догадку о бедной скорбящей душе, явившейся из чистилища. К несчастью, Милле просто втюрилась в «маленькую ясновидицу», как она ее называет, и когда произойдет перемена в ее настроении и девчонку выставят, не может предсказать никто, даже Пере, столь близко знающая свою покровительницу. Но к великому удивлению Пере, происходит обратное: не мадам Милле отказывает Бернадетте от дома, а Бернадетта отказывается от гостеприимства мадам Милле. И это случается, вернее, уже случилось, вчера, в субботу, перед самым обедом, на который Пере даже не пригла-

сили. Бернадетта, которая перед этим коротко совещалась с тетей Бернардой, сделала глубокий книксен перед мадам Милле и сказала:

— Тысячу раз благодарю вас за вашу доброту, мадам, но я думаю, будет лучше, если я вернусь к родителям…

Милле испугалась, ее двойной подбородок задрожал.

— Господи Всемогущий, что все это значит, дитя мое? Разве тебе у меня не хорошо?

— Да, мне здесь нехорошо, — свободно и непринужденно призналась Бернадетта и тут же добавила: — Но только по моей вине.

— Разве тебе у меня не нравится? Разве здесь не красиво?

— Слишком даже красиво, мадам, — признается Бернадетта.

Присутствующая при этой сцене портниха изумленно хлопает глазами. Она ожидала гневного словоизвержения, которое так часто обрушивалось на нее самое. Но вновь происходит обратное: богатая вдова начинает хлюпать носом.

— Ты благословенное дитя, Бернадетта. Я уважаю твое решение. Увидимся завтра утром у грота…

— Да, мадам, увидимся завтра утром у грота.

Милле крепко держит руки девочки в своих руках, как будто не может с ней расстаться.

— Но, надеюсь, на обед ты еще останешься, дитя мое. Будет рагу из зайца…

— Рагу из зайца, — мечтательно повторяет Пере, большая любительница гастрономических радостей.

— Большое спасибо, но я лучше сразу пойду домой, мадам, — просит Бернадетта. — Можно мне попрощаться с месье Филиппом…

После ухода девочки Милле отсылает и портниху:

— Лучше бы вам оставить меня сейчас одну, любезная Пере. Мне сегодня не требуется общество за столом…

По дороге домой тетя Бернарда говорит Бернадетте:

— Я охотно пригласила бы тебя к себе, и не только потому, что ты моя крестница. Ты могла бы спать наверху, вместе с тетей Люсиль. Но думаю, ты правильно поступишь, если вернешься к родителям, так как языки у людей очень злые. На тебя сейчас все смотрят. Постарайся, чтобы это не вскружило тебе голову…

Это предостережение совершенно излишне.

Непохоже, чтобы слава могла вскружить Бернадетте голову. Девочка ее просто не замечает. Гораздо больше ее тяготит, что отношения в кашо окончательно лишились былой естественности. Мать все еще держится скованно, молча возится по хозяйству, а когда встречается взглядом с дочерью, у нее сразу же текут слезы. У отца крайне удрученный вид, он молчит, как и мать, и его напускная болезнь сменилась вовсе не напускным смущением, от которого у Бернадетты сжимается сердце. Какой печальный симптом: Субиру стесняется перед дочерью своей излюбленной привычки — забраться днем в постель и сладко поспать. Ведь его дочь, возможно, ясновидящая, а возможно, и того почище, как болтают старые женщины. Господи, за что ему такое? У бывшего мельника это просто в голове не укладывается. Во всяком случае, ему легче забиться в уголок у папаши Бабу, чем постоянно иметь перед глазами такое необыкновенное существо, как Бернадетта.

Даже сестра Мария, самая близкая, держится до ужаса замкнуто и неестественно. В разговоре с Бернадеттой она все время перемежает привычный диалект французскими фразами, заученными в школе. И братья, Жан Мари и

Жюстен, стараются по возможности улизнуть от Бернадетты. Любимая прежде сестричка внушает им робость и страх. К тому же в кашо теперь постоянно толкутся посетители. Не говоря уже о ближайших соседях, таких как супруги Сажу или Бугугорты, к ним заглянул и сам почтмейстер, господин Казенав, за ним последовали булочник Мезонгрос, Жозефин Уру, Жермен Раваль и даже такая состоятельная дама, как Луиза Бо, притащившая с собой свою камеристку Розали на том основании, что у той тоже бывают видения. Постучался к ним в дверь и почтенный сапожных дел мастер Барренг, чьи руки уже трясутся от старости. Он принес Бернадетте в подарок кожаный пояс, изготовленный этими трясущимися руками. Роскошная фарфоровая пряжка на поясе украшена ликом Мадонны.

— Вот тебе твоя дама, — говорит Барренг, отдавая ей пояс.

— Но это вовсе не моя дама, — говорит Бернадетта, к досаде мастера.

При таких обстоятельствах семья рада-радешенька, когда матушка Сажу предлагает освободить для Бернадетты крохотную каморку под крышей. И Бернадетта тоже рада, что сможет в уединении непрерывно думать о том, что из

пятнадцати обещанных ей дней любви и счастья прошло только три. «Еще двенадцать, еще целых двенадцать раз!» — повторяет она про себя.

В это воскресенье Луиза Субиру превосходит самое себя. Она готовит к обеду бараний бок, который ей почти что даром навязал мясник Гозо. Луиза щедро сдобрила мясо кореньями и чесноком. И только семья садится за этот сказочный обед, как в дверь входит полицейский Калле, всегдашний вестник несчастья.

— Вашей малышке придется пойти со мной, — бормочет он, сдвигая трубку в угол рта.

— Я знал, — горестно стонет Франсуа Субиру, — я знал, что этим кончится… — Он видит перед собой того же посланца суда, который когда-то по подлому доносу посадил его в тюрьму.

— Не бойтесь, — смеется Калле, — на этот раз еще нет приказа об аресте. Господин имперский прокурор просто хочет посмотреть на вашу малышку…

— Но дайте ей по крайней мере закончить обед, месье Калле, — молит Луиза, для которой в данный момент важнее всего на свете, чтобы дочь не лишилась изысканного блюда.

— Дело терпит, — добродушно кивает блюститель порядка. — Ешьте спокойно и с удовольстви-

ем. Суд подождет.

Несмотря на свою добродушную снисходительность, Калле удивлен, что злоумышленница спокойно, почти лениво опустошает свою тарелку.

Виталь Дютур, которому все еще нездоровится, решил ограничиться на обед чашкой горячего бульона. Но как только ему докладывают о приходе Бернадетты, он тут же оставляет бульон и спешит в кабинет. Освещение в этой комнате скудное. Но в камине ярко пляшет огонь над четырьмя лиственничными поленьями — таких роскошных дров Бернадетта еще не видела. Государство снабжает своего слугу прекрасными дровами в качестве «прибавки к жалованью». С той поры как Дютур подхватил тяжелую простуду, он велел передвинуть свой стол поближе к камину. Сидя спиной к окну, он разглядывает злоумышленницу в лорнет и приказывает ей подойти к столу. Первое впечатление говорит: все в порядке. Обычный здешний бедняцкий ребенок, похожий на сотни других. Затем он замечает, как бедно она одета: ее детскую, не лишенную привлекательности фигурку прикрывает не платье, а какая-то нелепая роба. Это все тот же старенький капюле. Дютур, который живет в этой провинции недавно

и не очень разбирается в одеждах, принимает его за некое восточное покрывало или накидку, какие, к примеру, носят женщины Мадраса. Но эта накидка так застирана, так вылиняла, что узор на подоле уже невозможно разглядеть. Круглощекое лицо девочки под накидкой оказывается в глубокой тени, что придает ее чертам особую миловидность. Длинный подол свисает чуть ли не до щиколоток, из-под него торчат ножки в маленьких деревянных башмачках. Вся эта девичья фигура похожа на незаконченное творение скульптора, которое он начал, а затем посреди работы отставил. Каждая складка одежды, каждая светотень говорят о начале, о незрелости, о том, что это творение пока не завершено и многое в нем передано только намеком. Правда, глаза, огромные черные глаза под накидкой, не производят впечатления незрелости. Прокурор никак не может отделаться от мысли, что видит глаза любящей женщины. Сколько раз он видел такие женские глаза в судебных залах, они всегда глядят зорко, они настороже, ибо защищают главное сокровище своего сердца.

— Ты знаешь, кто я, дитя мое? — начинает разговор Дютур, сверкая лысиной и нервно одергивая крахмальные манжеты.

— Да, конечно знаю, — медленно, раздельно произносит Бернадетта. — Месье Калле сказал мне, что вы — господин имперский прокурор.

— А ты знаешь, кто такой имперский прокурор?

Бернадетта легонько касается стола и внимательно смотрит на Дютура:

— Нет, совсем точно я этого не знаю…

— Тогда я скажу тебе, дитя мое. Меня назначил сюда лично его величество император Франции, наш повелитель, и обязал меня следить за тем, чтобы всякое неправое дело было раскрыто и виновный понес наказание. А среди таких неправых дел можно назвать ложь, обман, от которого страдают другие люди… Теперь ты знаешь, кто я такой?

— Да, вы то же самое, что господин Жакоме.

— Нет, моя милая, я выше господина Жакоме, я его начальник. Он разыскивает преступников и обманщиков и передает их мне, чтобы я отдал их под суд, а затем отправил в тюрьму. Еще сегодня господин Жакоме вызовет тебя на допрос. Я же говорю с тобой не как начальник господина Жакоме, а потому, что мне тебя жаль, я хочу тебя предостеречь и помочь тебе. Если ты скажешь мне всю правду и будешь вести себя разумно,

я, пожалуй, сумею избавить тебя от допроса у господина Жакоме. Посмотрим, что можно будет для тебя сделать.

Глаза девочки, защищающие великую любовь, внимательно вглядываются в лицо мужчины, они по-прежнему настороже. Прокурор немного понижает голос:

— Вокруг твоей персоны, малышка, в городе очень много шума. Разве это тебя не пугает? Ответь мне, Бернадетта, я задам тебе сейчас очень серьезный вопрос: ты собираешься завтра утром снова идти к Массабьелю?

Обычно спокойные глаза Бернадетты загораются, девочка не может этого скрыть.

— Конечно, — быстро отвечает она. — Я должна еще двенадцать раз ходить к гроту. Дама так пожелала, а я дала ей слово…

— Вот мы добрались и до дамы, — говорит Дютур разочарованным тоном, показывая девочке, что он ожидал от нее лучшего ответа. — Ты должна согласиться со мной, малышка, что ты еще очень глупа и необразованна. В школе ты самая плохая ученица. Суду все известно! Ты признаешь, что все твои одноклассницы, даже те, кто младше тебя, обогнали тебя и в чтении, и в письме, и в счете, и в изучении религии?

— Это правда, сударь, я глупа.

— Следовательно, ты согласна, что все твои соученицы умнее тебя. А теперь подумай, дитя мое, как обстоит дело со взрослыми? Особенно с теми, кто много лет учился, кто узнал все, что можно было узнать. Я говорю о таких людях, как аббат Помьян или я сам. И эти ученые люди, которые все знают, скажут тебе, что дама, которую ты якобы видишь, — всего лишь детская фантазия, нелепый сон…

Бернадетта потерянно глядит на часы, которые усердно тикают на каминной полке.

— В первый раз, когда я увидела даму, — говорит она, — я тоже сначала подумала, что это сон…

— Вот видишь, девочка, тогда ты была не так уж глупа… А теперь ты не веришь тому, что говорят тебе взрослые и ученые люди?

Бернадетта улыбается своей умудренной женской улыбкой:

— Сон можно принять за действительность один раз, но не шесть раз подряд.

Виталь Дютур поражен. Какой меткий, убийственный ответ. Действительно, галлюцинации отличаются от снов. Поскольку господин прокурор не имеет опыта ни в том, ни в другом, он

вступает здесь в незнакомую область.

— Но сны иногда повторяются, — говорит он.

— Я видела это вовсе не во сне, — объясняет Бернадетта звонким уверенным голосом. — Еще сегодня я видела даму, как вижу всех остальных. И я говорила с ней, как говорю с другими людьми…

— Оставим это, — прерывает ее Дютур, чувствующий, что в области трансцендентного он значительно уступает своей собеседнице. — Расскажи мне лучше, как живет твоя семья. Я имею в виду, как у вас сейчас дома…

Бернадетта отвечает с откровенностью, свойственной простым людям, которым не знакомо буржуазное тщеславие. Она честно признается:

— Еще десять дней назад мы жили очень плохо, месье. Из еды у нас была только мучная похлебка. Но теперь мама три раза в неделю ходит работать к мадам Милле, и отец тоже работает на почтовой станции у месье Казенава…

Этим ответом прокурор как будто очень доволен.

— Ага, стало быть, знакомство с дамой имеет и свою практическую сторону… Что это за история с мадам Милле?

Бернадетта долго глядит на прокурора, прежде

чем ответить:

— Не знаю, что вы имеете в виду, месье…

— Ты очень хорошо знаешь, малышка. Вспомни, суду известно всё, абсолютно всё! Ты утаила от меня, что живешь в доме мадам Милле…

— Но это неправда. Я уже там не живу. Я ночевала там всего две ночи, в прошлый четверг и в пятницу.

— Этого вполне достаточно. Тебя пригласили в один из самых богатых и роскошных домов Лурда. Без своей дамы ты бы никогда туда не попала.

Бернадетта резко встряхивает головой, так что ее капюшон съезжает, открывая темноволосую, причесанную на пробор головку.

— Мадам Милле сама меня пригласила. Она просила маму, чтобы я у нее пожила. Я сделала это не для себя, а чтобы доставить радость мадам Милле. Мне это особой радости не доставило…

— А белое шелковое платье? — спрашивает прокурор инквизиторским тоном.

— Я его не носила. Оно висит в шкафу мадемуазель Латапи.

Отодвинув кресло, прокурор встает:

— Остерегись, Бернадетта! Ты ведь знаешь: суду известно всё! Суд знает и о подарках, которые многие люди приносят тебе и твоим родителям.

Если суд придет к выводу, что твоя дама — всего лишь ловкий и выгодный обман, ты погибла… Но я хочу протянуть тебе руку помощи, хочу тебя спасти. Хочу даже уберечь от допроса у господина Жакоме, ведь это первый шаг на пути в тюрьму. То, что я от тебя требую, выполнить легко. Ты не должна ни от чего отрекаться, не должна давать никаких объяснений. Пообещай мне только, что отныне ты будешь меня слушаться, ведь я и есть суд, который тебе грозит…

— Если я смогу, месье, я буду вас слушаться, — звучит невозмутимый ответ Бернадетты.

— Тогда дай мне руку и скажи, что не пойдешь больше к гроту.

Бернадетта отдергивает руку, как от огня:

— Этого я не могу вам обещать, сударь. Я должна выполнить желание дамы.

Прокурор сердито выпячивает нижнюю губу:

— Итак, ты отклоняешь руку, готовую тебе помочь. Подумай хорошенько! Предостерегаю тебя в последний раз!

Бернадетта опускает голову. Ее лицо розовеет.

— Я должна ходить к гроту еще двенадцать дней, — шепчет она.

Прокурор с удивлением констатирует, что ему трудно сохранять хладнокровие.

— Мы кончили! — говорит он, повысив голос. — Ты мне больше не нужна. Ты сама стремишься к своей погибели…

Оставшись один, прокурор чувствует смущение и стыд. Он так привык к своему превосходству, к легким победам в зале суда. Но там ему приходится иметь дело главным образом с людьми запуганными и сломленными, у которых все поджилки трясутся, которые молят о жалости и сострадании. «Я протягиваю вам руку помощи, чтобы спасти вас» — это его обычная фраза, которая почти никогда не подводит. Обвиняемые обычно проливают обильные лживые слезы. Удивительно, что девочка не пролила ни слезинки. Несмотря на испытанную сотни раз ядовитую смесь из угроз и предложений помощи, девочка осталась тверда. Хуже того, не он вселил в нее неуверенность, а она в него. Этот допрос оставил у него в душе неприятный осадок, имеющий отношение к его собственной жизни. На мгновение Дютуру становится ясно, что упрек в приспособленчестве, в притворстве, который он бросил этому изголодавшемуся созданию, в полной мере относится к нему самому. Разве его так называемая карьера — не ловкая спекуляция с целью извлечения выгоды, не беспринципная

сделка с теми силами, которые в данный момент находятся у власти? Странно, этой девочке было что защищать, пусть даже призрак, плод ее больного воображения. «Именно этот призрак и сделал ее сильнее меня, — думает прокурор. — То, что защищаю я, мне совершенно безразлично. Сегодня это Наполеон, вчера был Луи Филипп, завтра у руля может оказаться Бурбон или какой-нибудь ловкий адвокатишка. Государство, ха-ха, государство…»

Дютур испуганно застывает у зеркала. Какая ничтожная физиономия ухмыляется ему оттуда, какое недовольное бесцветное лицо с пылающим распухшим носом! И господин прокурор не может удержаться и не показать своему отражению язык. После чего мало-помалу успокаивается: ничего, Жакоме добьется того, чего не смог он, Жакоме более крепкий парень, и кожа у него более толстая.

С этой уверенностью в душе он глотает лекарство и ложится в постель.

Между тем Бернадетта после этой первой успешной схватки прокрадывается в церковь. Там, забившись в темный уголок, она чувствует себя в большей безопасности, чем дома. Она очень боится Жакоме, бывшего беспощадного

преследователя ее отца. Но комиссар Жакоме отлично знает, где находится девочка. Он лично следил за каждым ее шагом. Когда после вечерней службы Бернадетта старается незаметно выйти из церкви в толпе прихожан, Жакоме с приветливой улыбкой подходит к ней и по-отечески кладет руку ей на плечо.

— Вынужден просить тебя пойти со мной, малышка. Это не займет много времени.

Таким образом, это не арест, а всего лишь любезное приглашение. Однако эта пара сразу же привлекает внимание людей. Бернадетта кажется спокойной и невозмутимой. Она только просит тетю Люсиль, стоящую рядом, известить обо всем родителей. Но толпа, собравшаяся вокруг, явно настроена враждебно к комиссару. Слышатся насмешливые возгласы: «С детьми вы сильны воевать, но, когда они с голоду мрут, вам и дела нет». Чьи-то голоса шепчут: «Осторожнее, Бернадетта, держи язык за зубами! Кажется, они хотят упрятать тебя в кутузку…»

Кабинет, как и вся квартира полицейского комиссара Жакоме, расположен в первом этаже дома, принадлежащего семье Сенак, которые наряду с Лафитами, Милле, Лакрампами и Бо относятся к высшим кругам Лурда. В этом же доме

на площади Маркадаль, на втором этаже, проживает налоговый инспектор Эстрад вместе со своей сестрой, старой девой. Эстрад заранее попросил у соседа Жакоме разрешения присутствовать при допросе Бернадетты. Памятная записка Дозу и восторженный рассказ сестры, принимавшей участие в последнем походе к гроту, пробудили в нем немалый интерес, хоть и с примесью неприятия. Будучи образованным экономистом и большим любителем хорошей литературы, Эстрад терпеть не может бредовых увлечений оккультизмом и прочими экстравагантными суевериями. Когда Жакоме в сопровождении своей жертвы входит в кабинет, Эстрад уже сидит там в большом черном клеенчатом кресле для посетителей. Кабинет Жакоме — небольшое помещение с одним окном, где, кроме упомянутого кресла, имеется письменный стол с креслом поменьше, для самого комиссара, два шкафа, в которых хранятся уголовные дела, корзина для бумаг и плевательница. Мест для сидения всего два. Бернадетте, следовательно, придется стоять.

После того как Жакоме очинил карандаш и положил перед собой лист простой писчей бумаги, он приступает к привычному ритуалу допроса:

— Итак, твое имя?

— Вы же знаете, как меня зовут.

Бернадетта тотчас пугается своего ответа. Ей уже ведомо действие таких прямых заявлений, хотя и содержащих чистую правду. Поэтому она быстро добавляет:

— Мое имя — Субиру Бернадетта.

Полицейский комиссар кладет карандаш и добродушным отеческим голосом пускается в разъяснения:

— Милая Бернадетта, ты, верно, не совсем поняла, что здесь происходит. Видишь ли, этим самым карандашом на этом листе бумаги я буду записывать твои показания. Они составят документ, который называется протокол. Этот протокол станет частью твоего досье, на обложке которого будет стоять твое имя: «Бернадетта Субиру». Когда на человека заводят досье в полиции, поверь мне, малышка, это не очень приятно. На приличных людей, в особенности на молодых девушек, досье не заводят. Теперь слушай дальше! Твои показания я еще сегодня вечером пошлю в Тарб его превосходительству господину префекту. Его зовут барон Масси, и он очень важный и строгий господин, с которым лучше вообще не иметь дела… Надеюсь, теперь ты поняла, что происходит? Тогда продолжим! Сколько тебе лет?

— Мне четырнадцать, сударь.

Жакоме прекращает писать и смотрит на девочку:

— Не может быть! Я думаю, ты себе прибавила…

— Нет, не прибавила, мне уже пошел пятнадцатый.

— И ты все еще не разделалась со школой, — вздыхает комиссар. — Да, родителям с тобой нелегко. Тебе бы лучше подумать о том, чтобы поскорее начать им помогать. Что ты делаешь дома?

— О, ничего особенного. Мою посуду, чищу картошку, часто приходится присматривать за братишками…

Жакоме отодвигает кресло от стола и садится так, чтобы смотреть Бернадетте прямо в лицо.

— А теперь, дитя мое, расскажи мне подробно о том, что с тобой было в гроте Массабьель…

Бернадетта стоит, скрестив руки на животе, как стоят простые женщины во всем мире, когда рассказывают у городских ворот какую-нибудь захватывающую новость. Чуть склонив голову набок, она неотрывно смотрит на белый лист бумаги, который комиссар по мере ее рассказа быстро заполняет буковками. Удивительно, ка-

ким гладким, почти механическим сделался ее рассказ от неоднократных повторений.

— История действительно невероятная, — одобрительно кивает Жакоме, когда Бернадетта умолкает. — А эту даму ты знаешь?

Бернадетта удивленно смотрит на комиссара:

— Да нет же, конечно не знаю.

— Странная дама, не так ли? Такая элегантная и бродит в таких местах, где Лерис пасет свиней… Сколько ей примерно лет?

— Лет шестнадцать или семнадцать.

— И ты говоришь, что она очень красива?

При этом вопросе девочка горячо прижимает ладонь к сердцу.

— О да, на свете нет никого красивее!

— Скажи, Бернадетта, ты ведь помнишь мадемуазель Лафит, ту, что две недели назад венчалась в церкви. Дама красивее, чем мадемуазель Лафит?

— Нельзя даже сравнивать, месье! — смеется Бернадетта, которую развеселило такое нелепое сравнение.

— Но ведь твоя дама неподвижна, как церковная статуя.

— Это неправда, — обиженно возражает Бернадетта. — Дама живая, она двигается, подходит ближе, говорит со мной, приветствует всех при-

шедших и даже смеется. Да, она даже смеется…

Жакоме, не отрывая глаз от бумаги, рисует на своем протоколе звезду. Затем, немного помедлив, слегка меняет тональность:

— Некоторые люди говорят, что дама доверила тебе какие-то важные секреты? Это правда?

Бернадетта долго не отвечает. Затем говорит очень тихо:

— Да, она мне кое-что сказала, что предназначено только мне и что я никому не должна рассказывать…

— Не должна рассказывать даже мне или господину прокурору?

— Даже вам и господину прокурору.

— А если у тебя потребуют ответа сестра Возу и аббат Помьян?

— Я все равно не смогу им сказать…

— А если тебе прикажет сам папа римский?

— И тогда не смогу. Но папа римский мне этого не прикажет…

Полицейский комиссар подмигивает Эстраду, который молча сидит в стороне, держа на коленях цилиндр, а в руке трость.

— Ну и упрямое создание, что вы скажете?.. А теперь, малышка, еще один вопрос. Что говорят обо всем этом твои родители? Они в это верят?

Бернадетта мучительно долго обдумывает этот ответ, дольше, чем все предыдущие.

— Я думаю, мои родители в это не верят, — признается она, немного колеблясь.

— Вот видишь, — улыбается Жакоме, все еще не отказываясь от отеческого тона. — А я должен верить тому, во что не верят даже твои родители. Если твоя дама — настоящая, ее должны видеть и все остальные. Так любой может прийти и сказать что угодно: например, что он ежедневно, как стемнеет, видит в своей комнате таинственного трубочиста и тот шепотом дает ему всякие указания, о которых он никому не должен говорить. На глупых людей это произведет то же впечатление… Разве я не прав, Бернадетта? Скажи сама…

Хитроумие комиссара погружает Бернадетту в молчаливую апатию. Комиссар же решает перейти в наступление, пустив в ход испытанный набор уловок и трюков, на которые попадаются обычно мелкие жулики.

— Теперь будь повнимательнее, Бернадетта! — предупреждает ее Жакоме. — Сейчас я зачитаю тебе твои показания, чтобы ты подтвердила, что все записано верно. Затем сразу же отошлю протокол господину префекту. Ты готова?

Бернадетта подходит еще ближе к столу, чтобы

не упустить ни словечка. Комиссар начинает читать свои записи сухим, официальным тоном. Дело доходит до описания внешности дамы.

— «Бернадетта Субиру показывает, что на даме была голубая накидка и белый пояс…»

— Белая накидка и голубой пояс, — немедленно уточняет Бернадетта.

— Невозможно! — восклицает Жакоме. — Ты сама себе противоречишь. Признайся, что ты говорила о белом поясе.

— Вы, должно быть, неправильно записали, месье, — спокойно заявляет девочка.

Но у комиссара слишком большой опыт в расставлении подобных силков, чтобы так быстро сдаться. Он мчится дальше по камням и ухабам, чтение протокола все ускоряется. Подозреваемая вынуждена слушать с величайшим напряжением.

— «Бернадетта Субиру утверждает, что упомянутой даме около двадцати лет…»

— Я этого не утверждала! Даме не больше семнадцати.

— Не больше семнадцати? Откуда ты это знаешь? Кто тебе сказал?

— Кто мог мне это сказать? Ведь даму вижу я одна.

Жакоме бросает быстрый взгляд на Бернадетту. Затем, прочитав длинный пассаж совершенно точно, делает третью попытку сбить ее с толку:

— «Бернадетта Субиру утверждает, что дама выглядит точно так же, как статуя Пресвятой Девы в городской церкви».

Бернадетту охватывает такой гнев, что она даже топает ногой.

— Такого вздора я не говорила, месье! Это ложь. Дама совсем не похожа на Пресвятую Деву из церкви.

Тут уж Жакоме сердито вскакивает, чтобы перейти к допросу второй степени.

— Довольно! — ревет он. — Я сыт по горло! Не воображай, что можешь меня дурачить. Здесь, в ящике моего стола, лежит полная правда. Горе тебе, если ты будешь лгать! Только чистосердечное признание может тебя спасти. Назови имена всех людей, находящихся с тобой в сговоре. Я знаю их всех наизусть…

Бернадетта отступает от стола. Ее лицо становится белей бумаги. Никогда еще никто так на нее не кричал. В ее голосе звучит крайнее удивление, но он остается спокойным:

— Я не понимаю того, что вы мне сейчас сказали, месье…

Жакоме слегка умеряет наигранный гнев:

— Если ты не понимаешь, я тебе объясню. Некие люди, имена которых мне точно известны, подговорили тебя распространять эту отвратительную историю. С превеликим трудом они вдолбили ее в твою бедную голову, и ты повторяешь, как попугай, заученную басню. Думаешь, я не слышал собственными ушами, что это все заучено?..

Но Бернадетта уже вновь овладела собой.

— Месье, спросите Жанну Абади, подучил ли меня кто-нибудь, — просит она. — Жанна была со мной в тот, первый раз…

— Мне, в конце концов, безразлично, признаешься ты или отправишься в тюрьму, — говорит Жакоме, хватает девочку за руку и тащит ее к окну. — Ответь, что ты там видишь!

— Перед вашим домом стоит очень много людей, месье, — отвечает Бернадетта.

— И все эти люди ничуть тебе не помогут, моя милая. Ведь перед моим домом стоят еще и три жандарма. Ты их видишь? Это бригадир д'Англа и рядовые Белаш и Пеи. Они ждут только моего приказа, чтобы отвести тебя в тюрьму. Не будь сама себе врагом, Бернадетта! Сам прокурор, господин Дютур, приказал тебе больше не ходить к Массабьелю. Скажи мне сейчас перед этим свидетелем,

господином Эстрадом, что не ослушаешься.

— Но я должна сдержать свое обещание даме, — еле слышно шепчет Бернадетта.

Тут в первый и единственный раз за время допроса вмешивается Эстрад.

— Господин комиссар желает тебе добра, милое дитя, — увещевает он. — Послушайся и дай обещание ему.

Бернадетта быстро окидывает незнакомца взглядом. Она сразу видит, что он не имеет полномочий вмешиваться в ее тяжкую борьбу. Поэтому она даже не удостаивает его ответом. Эстрад ощущает внезапный стыд, как будто его справедливо поставили на место.

— Позвать жандармов? — спрашивает Жакоме.

Пальцы Бернадетты судорожно стискивают холщовый мешочек.

— Если жандармы уведут меня в тюрьму, я ничего не смогу сделать, — признает она.

— Это еще не все, — усиливает нажим комиссар. — Я прикажу засадить в тюрьму и твоих родителей. Мне нет дела, что твои младшие братья могут умереть с голоду. Твоего отца уже арестовывали по более мелкому подозрению, чем этот грандиозный обман…

Бернадетта так низко опускает голову, что ее

лица совсем не видно. Несколько долгих минут длится молчание. Жакоме применил пытку третьей степени. Чтобы она подействовала, требуется некоторое время. Но вместо ответа девочки раздается тихий стук в дверь, один раз, другой.

— Войдите, — хрипит комиссар, с трудом переводя дыхание. В дверном проеме появляется долговязая фигура Франсуа Субиру. Он держится неуверенно, отчаянно пытаясь сохранить достоинство, и нервно мнет в руках шапку. В его глазах поочередно вспыхивают то страх, то возмущение. Скорее всего, он выпил для храбрости, но немного.

— Черт побери, что вам здесь нужно, Субиру? — кричит на него комиссар.

Тяжело дыша, Франсуа Субиру протягивает руки к Бернадетте:

— Мне нужна моя дочь, мое бедное дитя…

Внезапно Жакоме вновь становится обходительным.

— Послушайте, Субиру, — настойчиво убеждает он. — Это свинство у грота должно кончиться. Я этого больше не потерплю. Завтра же все должно быть тихо! Понятно?

— Видит Бог, господин комиссар, я ничего дру-

гого и не желаю. Эта история доконает меня и мою бедную Луизу.

Жакоме собирает со стола бумаги.

— Девочка — несовершеннолетняя, — с угрозой в голосе говорит он. — Вы как отец несете за нее полную ответственность. Вам следует запретить ей куда-либо ходить, кроме школы. Если по-другому не получится, посадите ее под замок. Иначе я посажу вас, всю вашу семейку, клянусь! Оснований более чем достаточно. С этой минуты вы все будете находиться под строжайшим наблюдением. А теперь с богом, убирайтесь оба! Желаю никогда вас здесь больше не видеть.

Все еще низко опустив голову, Бернадетта вместе с отцом выходит из дома Сенаков. Она закусывает губу, чтобы не разрыдаться на улице и дотерпеть до своей каморки. Площадь перед домом черна от людей. Девочка пробивается сквозь невнятный говор множества голосов. Доносятся отдельные выкрики:

— Не сдавайся, Бернадетта!.. Ты здорово держалась… Они не могут тебе ничего сделать…

Но Бернадетта слышит только страдальческий голос отца, повторяющий снова и снова:

— Видишь, доченька, что из-за тебя вышло, какой скандал…

До улицы Пти-Фоссе с ними добираются самые верные и преданные. Во главе их шагает Антуан Николо. Он размахивает дубинкой.

— Я бы тебя отбил, Бернадетта, клянусь честью…

Но Бернадетта едва ли замечает своего верного рыцаря, у нее перехватывает дыхание, начинается удушье…

— Ну, сосед, что вы об этом думаете? — спрашивает комиссар Жакоме налогового инспектора.

Эстрад усердно трет лоб, как бы прогоняя головную боль.

— Девочка определенно не лгала, — наконец отвечает он.

Жакоме разражается раскатистым хохотом:

— Вот и видно, до чего легковерна наша публика. Среди всех закоренелых преступников, прошедших через мои руки, я не встречал более прожженного, умного и упорного, чем эта малышка. Вы не заметили, как она обдумывала каждый ответ и просчитывала его последствия? Она не попалась ни в одну из расставленных ловушек. Следует признать, она так до конца и не сдалась. Если бы не появился ее папаша, не знаю, как бы я выпутался…

Эстрад пожимает плечами:

— А какой ей смысл продолжать этот опасный обман?

— Успех, мой дорогой, аплодисменты, возможность играть роль, не говоря уже о подарках. Человеческая душа для нас, полицейских, не такая уж загадка… Кстати, как вы думаете, святые столь же изворотливы на допросе, как эта маленькая мошенница, спекулирующая на вере в Небеса?

— Но, любезный сосед, кто говорит о святых и о Небесах? Побойтесь Бога! Ведь не эта же малышка. Убежден, она даже не задумывается о непонятной природе своего видения. Она воспринимает его как данность. Она очарована и потому так легко очаровывает других. Вот что я чувствовал на протяжении этого часа…

Комиссар Жакоме снисходительно улыбается:

— Дорогой мой сосед, ваше дело — налоги, а мое — полицейский надзор. Вы глубоко проникли в механизм финансового управления. Я же немного разбираюсь в душах маленьких людишек. Когда речь заходит об их психологии, можете смело положиться на старика Жакоме.

Глава шестнадцатая
Дама и жандармы

Сестра Мария Тереза Возу стоит перед классом. Ее благородное лицо, от природы красивое, осунулось еще более обычного. Ввалившиеся глаза, плотно сжатые тонкие губы. Даже девочки замечают, как плохо выглядит сегодня их учительница. Причина в том, что сестра Мария Тереза бодрствовала всю ночь до утра.

Декан Перамаль дал некое поручение капеллану Помьяну, а преподаватель катехизиса, которому вдруг срочно понадобилось отбыть в Сен-Пе, в свою очередь возложил его на классную наставницу Возу. Задание, от которого так ловко увернулся Помьян, при всем желании нельзя назвать легким. Сестра Возу всю ночь прокорпела над труднейшими книгами, которые — увы! — ей не помогли. Задание Перамаля состоит в том, чтобы Бернадетте перед всем классом было надлежащим образом указано, каким бесстыдным высокомерием — и это в лучшем случае! — со стороны незрелой, даже еще не допущенной к первому причастию девочки является ее утверждение,

что она запросто общается и ведет разговоры с Пресвятой Девой. Перамаль особенно уповает на то, что на первый план будет выставлен весь комизм прискорбного помрачения юного ума. Ведь эта афера началась именно среди соучениц Бернадетты. Декан выразил надежду, что под их дружный смех все и закончится. Для таких возвышенных историй нет ничего губительнее смеха. Возложив поручение на доброго Помьяна, декан сделал правильный выбор, так как Помьян — неплохой юморист, хотя и в иной манере, чем сам Перамаль, чей юмор, пожалуй, более сочен и даже простонароден. Но вот сестра Мария Тереза не обладает ни малейшим чувством юмора, ведь она происходит из самых строгих и чопорных кругов Франции, где шуток не понимают. Ее отец — генерал, верный королевской династии, бывший преподаватель военной академии Сен-Сир, удостоенный императорской пенсии; мать ее — из семьи профессора государства и права, отъявленного консерватора, по сравнению с которым известный ретроград де Местр — просто бунтовщик и якобинец. Военная и профессорская добросовестность у нее в крови. Поэтому, готовясь сегодня ночью к выполнению ответственного задания, она погрузилась в неведомые ей глубины

и прочла много возвышенных и мудреных страниц о таких понятиях, как милость, свобода, грех, заслуги и тому подобное. Особенно трудным для постижения оказалось понятие милости. Поэтому сестра Возу в этот час сильно взвинчена и крайне утомлена, и в душе у нее нет ни мира, ни согласия. В глубине своего растревоженного сердца она чувствует то, с чем никогда не согласится ее ум: она подвергает сомнению свою великую жертву — жизнь, принесенную в дар Господу. Честолюбие сильной натуры побуждает ее стремиться к достижению самой высшей из возможных целей на выбранном ею пути. Достаточно ли строгой жизни, молитв, труда, отрешения от мирской суеты, умерщвления плоти, чтобы достичь этой высшей цели?

Учительница бросает взгляд на левое место за шестой партой в среднем ряду. Бернадетта Субиру — здесь, после целой пропущенной недели. Пока другие девочки, как обычно, перешептываются друг с дружкой, она сидит молча, опустив глаза на крышку парты. Должно быть, она сильно напугана, после того как вчера, в воскресенье, власти вмешались и положили конец ее проделкам.

— Субиру Бернадетта, — вызывает учительница, — подойди сюда и стань перед классом!

Бернадетта, сопровождаемая громким перешептыванием девочек, медленно выходит вперед и становится перед первой партой, в пустоте, где ей предстоит подвергнуться испытанию. Сестра Мария Тереза, однако, на нее не смотрит, а обращается к остальным:

— Дорогие дети! Сегодня мы поговорим о том, что не входит в программу и не относится к катехизису. Аббат Помьян не будет вас опрашивать по этой теме, и вам ничего не надо заучивать. Но болтать при этом все равно не стоит, вам следует внимательно слушать и напрячь свои головки, ибо то, что я скажу, действительно очень важно. Вы знаете, девочки, — ведь я вам сотни раз это говорила, — что все люди — грешники, все без исключения, одни больше, другие меньше. Если вы, как предписывает нам святая религия, каждый вечер, прежде чем прочесть молитву и лечь спать, станете строго вопрошать свою совесть, как вы думаете, что обнаружится? Уж непременно в течение дня вы не раз лгали родителям и другим людям и совершали этот грех почти каждый час. Возможно, вы желали неправедно нажитого добра. Безусловно, были недостаточно внимательны во время святой мессы, рассеянны при чтении молитв, допускали леность, неис-

кренность, дерзость, вас посещали дурные мысли и вы уступали какой-либо из мелких дурных привычек, которые всех вас одолевают. Например, Катрин Манго и сейчас грызет ногти. А теперь слушайте меня внимательно! Господь не сотворил всех людей одинаковыми. У одних на совести более тяжкие грехи и проступки, у других — более легкие. Вероятно, есть и в нашем городе люди, не совершавшие ошибок и менее грешные, чем остальные. Но я полагаю, что здесь, среди нас, таких нет. Ты меня поняла, Бернадетта Субиру?

— Да, я вас поняла, мадемуазель наставница, — отвечает Бернадетта.

— Может быть, ты думаешь, что среди нас есть кто-то, кто стоит гораздо большего, чем остальные?

— Нет, мадемуазель наставница, — механически отвечает Бернадетта.

— Благодарю тебя за твою скромность, Субиру, — кивает учительница, пожиная в награду смешки учениц. — Тихо! Пойдем дальше! За долгое время Господь по своей неизреченной доброте допускал немногие, совсем немногие исключения и посылал в мир особенные существа в образе человеческом. Это были люди, каких мы не знаем, люди, которые почти не совершают грехов и

дурных поступков, которые не лгут и не желают неправедно нажитого добра, не бывают рассеянными во время молитвы, а также неискренними, ленивыми, дерзкими и не скребут себе голову ногтями, как это делает сейчас Аннетт Курреж. Эти редкие исключения, эти почти безгрешные существа знакомы вам по житиям святых. Кто назовет хоть одного из таких святых? Субиру!

Бернадетта молчит и смотрит в пол. Но уже привычно взметнулась вверх рука Жанны Абади. Учительница благосклонно обращается к ней:

— Ну, Абади, кого ты можешь назвать?

— Святого Иосифа, — выпаливает Жанна.

— Почему ты выбрала именно этого святого? — удивляется монахиня. — Ну хорошо, оставим это и пойдем дальше. Даже и в более поздние времена в мире появлялись такие удивительные люди, им приходилось тяжелее, чем тем, кого мы знаем из Священной истории… Я говорю о святых заступниках, которых мы призываем в наших молитвах. Об этих избранных я хочу вам сейчас немного рассказать. То были в большинстве своем люди, посвятившие себя служению Господу: отшельники, затворники, монахи и монахини различных орденов. Они удалялись в скит, в пустыню, в безлюдные скалистые горы вроде

наших Пиренеев. Там они питались акридами, диким медом и выпивали за день не более глотка воды. Часто они подолгу постились и совсем ничего не ели. Ночи напролет они бодрствовали и читали все молитвы, какие только есть на свете. Многие из них сочиняли новые молитвы. Другие носили под грубой рясой тяжкие вериги с ржавыми остриями, которые впивались им в тело. Знаете, почему они все это делали? Они это делали, чтобы побороть в себе нечестивые помыслы и желания, хотя греховности в них было совсем чуть-чуть. Они делали это, чтобы прогнать дьявола, которого злило их благочестие и который постоянно их преследовал и искушал. Такой образ жизни святых людей называется аскезой. Запомните это слово! И после того как эти люди с величайшим трудом и муками достигали решающих побед в аскезе и преодолевали все уловки и козни дьявола, случалось, что иные из них обретали возможность видеть то, что не дано видеть нам, обычным людям. Они видели просветленные, озаренные сиянием фигуры: то были небесные ангелы, что окружают нас везде. У святых бывали и иные видения. Им являлся Спаситель в терновом венце, со стигмами и в сиянии лучей. Или Пречистая Дева, чье обнаженное

сердце было пронзено мечами, руки молитвенно сложены, а скорбный, но просветленный взор устремлен к Небу… Субиру, ты все поняла?

Бернадетта вздрагивает. Она ничего не слышала, ничего не поняла, она тревожилась о прекрасной даме, которая понапрасну ждет ее в гроте. Девочка с тупым безразличием смотрит на учительницу и не произносит ни слова. Возу качает головой:

— Она даже не старается понять!

Девочки насмешливо ерзают на партах. Сестра Мария Тереза подступает к Бернадетте и кричит:

— Значит, ты равняешь себя с этими святыми людьми?

— Нет, мадемуазель наставница.

— Может, ты заслужила видения тем, что исправно сосала леденцы?

— Нет, мадемуазель наставница.

При этом ответе класс разражается хохотом. Девочки, бывшие с Бернадеттой у грота, просто визжат от смеха, даже Мария не может удержаться от кисловатой ухмылки. Возу пережидает эту бурю.

— Видишь, Субиру, твое поведение вызывает смех даже у твоих подруг. Вместо того чтобы заняться серьезной работой, ты выдумываешь

чудовищную ложь, только чтобы как-нибудь выделиться. До сих пор я считала тебя глупой. Но это не глупость, это гораздо хуже. Многого я от тебя никогда не ждала. Но я и помыслить не могла, что ты посмеешь издеваться над самым святым и паясничать перед ограниченными и праздными людьми… Вот так, а теперь садись на место, и пусть тебе будет стыдно, что ты осквернила время святого поста бессовестным балаганом!

После обеда Бернадетта вновь пробирается к школе, стараясь остаться незамеченной. Ее плечи опустились под тяжестью навалившегося на нее горя. Она бредет одна. Никого не хочет видеть. Даже общество Марии для нее сегодня невыносимо. Но по дороге ей встречается Пере и некоторое время тащится рядом. Голова кособокой девицы трясется, она вся кипит от благородного гнева.

— А ты, оказывается, обманщица, Бернадетта! Ты подвела даму, подвела свою благодетельницу мадам Милле. Мы напрасно ждали тебя утром у Массабьеля: мадам Милле, я и множество других людей. «Я готова спорить на сто франков, — сказала мадам Милле, — что Бернадетта не нарушит слова, не обманет…»

— Но мне же запретили, — невольно вырывается из груди девочки.

Портниха, которая ради сенсации готова уцепиться за любой повод, продолжает ехидничать:

— Вот как, тебе запретили? Скажите пожалуйста! Кто может тебе запретить идти, куда ты захочешь? Не позволяй Жакоме себя дурачить. Просто он хотел тебя запугать. Сделать он тебе ничего не может. В чем, интересно, тебя обвиняют? И даже если тебя действительно посадят в тюрьму, что ж, тогда придется посидеть за решеткой, ибо долг превыше всего…

— Но они хотят посадить в тюрьму и моих родителей, тогда братишки умрут с голоду…

— Ну и что, ну и что? — горячится Пере. — Пусть сажают и родителей. Все равно ты не смеешь нарушить свое слово, долгом нельзя пренебрегать…

Не попрощавшись с Пере, Бернадетта пускается бежать, только чтобы отделаться от портнихи. Кроме того, она боится опоздать на занятия. Часы на больничной башне уже пробили два. Теперь девочку отделяет от школы только уличная эстакада. Едва Бернадетта хочет на нее ступить, как что-то ее останавливает, и она, тяжело дыша, не может сделать ни шагу. Что-то невидимое лежит на ее пути. Как будто ей не дает пройти огромная балка, через которую она никак не может

переступить. Одновременно какая-то сильная рука словно хватает ее за плечи и заставляет повернуть обратно. Медленно бредет она назад той же дорогой, какой пришла. Но, не дойдя до площади Маркадаль, слышит за собой гулкий топот подбитых железом сапог. Ее преследуют. Это жандармы Пеи и Белаш, которым поручено за ней следить. Дюжие мужчины в новенькой форме, с саблями на боку и в шляпах с плюмажем нагоняют девочку и идут с ней рядом.

— Что с тобой, солнышко? — спрашивает ее чернобородый Белаш. — Тебе же было приказано идти в школу, и никуда больше…

— Я и хотела идти в школу, — правдиво рассказывает Бернадетта, — а на мосту что-то лежит, похоже, огромная балка, прозрачная, как воздух, но пройти нельзя…

— Какая еще прозрачная балка? — ворчит сухопарый Пей, отец пяти дочерей. — Имей в виду, меня ты своими бреднями не проведешь…

— А теперь, солнышко, ты идешь домой, не так ли? — спрашивает более молодой и мягкий Белаш, известный в городе бабник и любитель слабого пола.

— Нет, не домой, — говорит Бернадетта, подумав. — Я иду к гроту…

— К гроту, мое сокровище? Тогда подожди минутку… Эй, Пеи, быстро приведи бригадира!

Через три минуты Пеи возвращается вместе с бравым бригадиром д'Англа, на бегу прицепляющим саблю и дожевывающим хлеб с колбасой; с набитым ртом бригадир повторяет как заведенный:

— Это еще что за новость? Прозрачная балка, прозрачная балка…

— Позвольте мне пойти к гроту, — просит девочка.

— Ты пойдешь туда, но на свой страх и риск, — решает бригадир, пощипывая свой светлый ус. — Кроме того, мы, все трое, пойдем с тобой.

Чтобы — не дай бог! — не остаться в стороне, чуть позже к вооруженной охране присоединяется Калле.

Итак, малышка Субиру в сопровождении четырех жандармов идет к гроту, эта необычная процессия будоражит и приводит в волнение весь город. Первой их увидела Пигюно. Со всех ног она мчится оповестить тетю Бернарду, а уж оттуда опрометью бежит в кашо. Повсюду распахиваются окна. Любопытные женщины выскакивают из ворот, наспех вытирая о передник мокрые руки. Уже на улице Басс за Бернадеттой и жандармами

поспешают человек восемьдесят — девяносто. Девочка сегодня не летит, как ласточка, не порхает, как лист на ветру. Она ступает тяжело, ноги у нее словно налиты свинцом.

Добравшись до грота, она как подкошенная падает на колени и с мольбой простирает руки к нише. Но ниша темна, ниша пуста, пустее не бывает. Торчащая из куста ветка дикой розы угрюмо дрожит под порывами ветра с Гава. Река шумит сегодня безучастно. Начинается дождь, и грот становится прозаическим укрытием для пришедших сюда людей.

Из груди Бернадетты вырывается возглас ужаса:

— Я ее не вижу… Сегодня… Я не могу ее увидеть…

Бернадетта вытаскивает четки и судорожно протягивает их к нише. Но каменный овал по-прежнему безнадежно пуст, его заполняют безобразные бурые сумерки, тусклые останки минувшего дня, двадцать второго февраля. Только каменная глыба за порталом мерцает, словно белая кость. Отверстие в скале сейчас не более чем грязная дыра, и то, что из этой дыры могла являться дама, кажется сейчас действительно невероятной ложью или порождением больной

фантазии. Бернадетту сотрясает бесконечное раскаяние, трагичнейшее отчаяние любящей, безвинно потерявшей свою любовь, потому что все земные силы помешали ей сдержать слово. Дама в ней горько разочаровалась. Дама возвратилась из грязного, неуютного грота туда, где обычно живет, в места, более ее достойные. Сердце Бернадетты беззвучно кричит в темную нишу:

«Разве вы не знали, что господин Жакоме пригрозил посадить в тюрьму меня, и отца, и маму, если я пойду к вам? И все же я к вам пришла. Разве вы не могли немножко меня подождать, прежде чем окончательно уйти?»

Но вдруг Бернадетте в голову приходит новая мысль, и она хватается за нее, как утопающий за соломинку.

— Конечно, я не могу видеть даму, — громко жалуется она. — Она прячется, потому что рядом со мной так много жандармов…

Это нелепое объяснение вызывает в толпе громкий смех. Раздаются реплики:

— Поймите же наконец, что у Бернадетты не все дома!.. Но вчера в полиции она отвечала очень хитро… Не обманывайтесь, она всего лишь несчастный ребенок…

Некий шутник берет в оборот чернобородого жандарма:

— Послушай, Белаш, ты слишком похож на черта. Потому дама и убежала.

Белаш поглаживает свою бандитскую бородку. Общаясь с острыми на язык каменщиками, дорожными рабочими, бродягами, трактирщиками и завсегдатаями трактиров, он приобрел завидную сноровку и за словом в карман не лезет.

— Конечно, я похож на черта, — парирует он. — Да я и есть черт. Но, к сожалению, я бедный черт, бедолага, я чертовски беден. Прекрасной Деве следовало бы помочь мне разжиться деньжатами, а не бежать от меня без оглядки…

Эта шутка в тот же день обходит весь город. Спустя час хозяин кафе Дюран встречает своих гостей вопросом:

— Вы уже знаете, что Пресвятая Дева не хочет иметь дела с жандармерией?

Среди гостей в кафе присутствуют Дютур и Жакоме. Хотя пренебрежение их запретом означает конфуз для властей, они все же не имеют оснований быть недовольными тем, как обернулось дело. Подействовало сильнейшее противоядие, столь уважаемое деканом Перамалем, — смех. Случилось самое лучшее: игру прекратила са-

ма дама. Прокурор велит Жакоме продолжать наблюдение за семейством Субиру, однако не препятствовать девочке, если она захочет снова пойти к гроту. После ее сегодняшнего провала, считает Дютур, люди сами пресытятся этим спектаклем.

В это время Бернадетта, ее мать, тетки Бернарда и Люсиль и некоторые другие люди находятся на мельнице Сави. Девочка вдруг почувствовала, что она не в силах идти. Ее уложили на кровать матушки Николо. Она лежит там с землисто-серым лицом, с закрытыми глазами и тяжело дышит. Выражение ее лица — полная противоположность тому, какое у нее бывает, когда она охвачена экстазом. Кожа на лице не натянута, наоборот, сделалась дряблой, губы отекли, рот приоткрыт и жадно глотает воздух. Антуан положил ей на лоб мокрый платок. Мадемуазель Эстрад, присутствовавшая при сцене у грота, обращается к бледной, глубоко удрученной женщине, стоящей у кровати:

— Вы, верно, близко знаете этого ребенка?

— Как не знать, — стонет Луиза Субиру. — Я ведь ее несчастная мать. Это продолжается уже целых одиннадцать дней, мадемуазель. Одни над нами смеются, другие жалеют. Можно с ума

сойти оттого, что в доме постоянно чужие люди. А полиция грозит нам тюрьмой. О Пресвятая Дева, за что мне такие страдания? Поглядите на девочку, мадемуазель! Ведь она тяжело больна… — И Луиза Субиру, потеряв власть над собой, с воплем припадает к кровати. — Скажи мне хоть что-нибудь, доченька, вымолви хоть словечко!

Поскольку отчаяние Бернадетты не проходит и она по-прежнему не говорит ни слова, Антуан бежит на почтовую станцию за Франсуа Субиру. Теперь и отец сидит у кровати дочери, слабый, растерянный человек, впервые ощутивший в полной мере тяжесть ее страданий. Грубыми руками он гладит ей колени, по его щекам непрерывно текут слезы.

— Ну что такого страшного случилось с дочуркой, — запинаясь бормочет он. — Ну не послушалась… Но дочурочку любят… Ее не дадут в обиду… Скажи, родименькая, что бы ты сейчас хотела…

Бернадетта не отвечает и не открывает глаз. Только когда Антуан Николо предлагает сходить за доктором Дозу, она чуть-чуть шевелится и еле слышно произносит:

— Если я ее больше не увижу, я умру…

Субиру берет Бернадетту на руки и нежно при-

жимает к груди:

— Ты увидишь ее, дочурочка, я обещаю. Никто не смеет тебе мешать. Даже если они посадят меня в тюрьму, а мне это не в новинку, все равно ты ее увидишь…

По дороге домой Франсуа уже и сам не понимает, как он мог в порыве сочувствия дать такое неосторожное обещание. Чтобы подавить мучительное недовольство собой, он, даже не заходя в кашо, прямиком отправляется к папаше Бабу.

Глава семнадцатая
Эстрад возвращается от грота

После этого трагичного понедельника уже на следующее утро Бернадетту ожидает великая радость свидания с дамой. И какого свидания! Ей кажется, что разлука с Обожаемой длилась не один день, а бесконечно долгое время, которое можно обозначить только мерой бед и страданий. Дама тоже как будто радостно взволнована встречей со своей избранницей. Хотя на ней тот же наряд, что и в прошлые разы, ее красота и очарование кажутся просто немыслимыми. Ее щеки свежее и румянее, чем когда-либо, светло-каштановые локоны свободнее выбиваются из-под накидки, а золотые розы просто горят на мраморно-белых ногах. Сила и прелесть ее голубых глаз таковы, что Бернадетта сегодня почти сразу впадает в транс, который длится не меньше часа.

Сегодня к гроту пришло не более двухсот человек — так сказать, ближайшее окружение. Среди них, разумеется, портниха и мадам Милле, веру которой не поколебало ни вчерашнее отсутствие дамы, ни насмешки жандармов. Жандармерия

также на посту, на сей раз в лице бригадира д'Англа, откомандированного начальством для наблюдения. Д'Англа горячо надеется, что сегодня сумеет отрапортовать комиссару Жакоме об окончательном провале нелепого театра перед гротом Массабьель. Но к его досаде, сегодняшнему спектаклю, как видно, провал не грозит. Как всегда, когда экстаз совершенно преображает черты Бернадетты, когда девочка начинает выполнять пред нишей свой наивный и немудреный ритуал, по телам коленопреклоненных женщин словно пробегает электрическая искра. Как ни подвержена колебаниям всякая свита, как ни готова разразиться насмешками при малейшей неудаче, но, когда в лице и жестах «маленькой ясновидицы» ощущается реальное присутствие дамы, ее чары действуют безотказно. Бригадир, один из друзей и постоянных посетителей Дюрана, чуть не лопается от злости, когда все это видит. «Итак, балаган начинается сначала, — думает он с досадой. — Дютур и Жакоме — слабаки, почему они не разрешили мне применить силу, как при разгоне политических демонстраций». Тут в д'Англа словно вселяется бес, и он совершает серьезную ошибку.

— Подумать только, — громко кричит он в тол-

пу, — чтобы в девятнадцатом веке было столько идиотов!

По толпе проходит волна гнева. Чей-то голос громко запевает в ответ одну из популярнейших песен, сложенных в честь Девы Марии. Мощный хор подхватывает песню, и вот она уже звучит над скалами, над островом Шале, над Гавом:

Мы Господа жаждем! Дева благая,
Мария Пречистая, слух к нам склони!
Заступница наша, дыханием Рая,
Небесным дыханием нас осени!

Дева Мария, нежная Мать,
Мы не устанем к тебе взывать…

Бернадетта совершенно безучастна к этим событиям. Она совершает свои поклоны, встает на колени, поднимается с колен, улыбается, слушает с открытым ртом, пугается, успокаивается, пугается снова, и ей представляется, что это любовное свидание происходит вне времени. Ее преданная, истинно женская любовь изводит себя постоянными попытками понять предмет своей любви, глубже проникнуть в его столь чуждую ей сущность: не из любопытства, а лишь для того, чтобы успешнее ему служить. Бернадетта уже открыла

для себя многие характерные особенности дамы. Она знает, что дама чрезвычайно скупа на слова и ничего не говорит без определенной цели. Она знает — и это ее боль! — что дама пришла не только для того, чтобы воспламенить ее душу, но ради выполнения хорошо обдуманного плана, который Бернадетте еще неизвестен и лично с ней не связан. Ей представляется далее, что даме не так уж легко совершать ежедневные путешествия в грот, это требует от нее большого самоотвержения и серьезных усилий. Бернадетта знает также в глубочайшем прозрении любви, что дама, несмотря на ее радостные приветствия, кивки и улыбки, что-то скрывает — возможно, легкое отвращение ко всему, что ей приходится здесь видеть. Бернадетта догадывается об этом на основании собственного опыта: каждый раз, когда ее любовное общение с дамой прерывается и она возвращается в свою жизнь, она вынуждена преодолевать подобное отвращение и мучительное ощущение чуждости окружающего ее мира. Вероятно, подозревает девочка, отвращение, которое дама испытывает лично к ней, в тысячу раз сильнее того неприятного, брезгливого чувства, какое она сама испытала однажды к сестре Марии. Этим можно объяснить некоторые

особенности в поведении дамы. Она не любит, например, когда к ней подходят слишком близко. Только в наиболее ответственные моменты она подзывает Бернадетту к самой скале, сама становится на край уступа и наклоняется к девочке. Поэтому нельзя быть навязчивой, дама этого не терпит. Она не любит также, когда ее поступки начинают считать предсказуемыми и само собой разумеющимися. Она свободна. Она не знает за собой никаких обязательств. Она приходит и уходит, когда сочтет нужным. Поэтому Бернадетта не высказала ей ни малейшего упрека за ее вчерашнее отсутствие. Дама не такая, как все. Она точно знает, чего стоит. Поэтому наиболее правильная поза в ее присутствии — преклонить колени и, если можно, держать в руке горящую свечу. Если топтаться перед гротом или повернуться к ней спиной, ее лицо вдруг мрачнеет, становится страдальческим и нервным. Если же начать делать что-то трудное и неприятное — Бернадетта это уже знает, — например, ползти к гроту на коленях по мелким и острым прибрежным камням, — лицо дамы сияет от радости. Должно быть, это связано с тем словом, которое дама уже не раз произносила шепотом: «Искупление». Хотя сестра Мария Тереза упоминала это слово на

уроке катехизиса, у Бернадетты нет ясного представления о том, что оно может значить. Лишь постоянное стремление угодить даме заставляет девочку смутно догадываться, что же это такое. Искупление — это все трудное, обременительное, болезненное, к чему прибегают, чтобы побороть собственную безмятежность и лень. Если от ползанья по камням на коленях остаются кровавые рубцы, значит искупление было особенно успешным. В этом случае дама часто делает странный жест: как будто она черпает в ладони воду (невидимую воду искупления), а потом поднимает и протягивает сложенные ладони, словно давая понять, что эту воду она черпала не для себя. Неустанное любовное старание девочки отгадать, чего хочет дама, помогло ей проникнуть еще глубже. Несомненно, слово «искупление» как-то связано с тем легким отвращением, которое временами появляется на прекрасном лице дамы. Несколько дней назад дама приказала ей: «Молись за грешников», — и почти неслышно, как бы для себя самой, добавила: «За больной мир». Казалось, произнося эти слова, она увидела перед собой вещи, настолько ее ужаснувшие, что это заставило ее внезапно побледнеть. Грех — это нечто злое, скверное, дурное. Это Бернадетта уже

хорошо усвоила.

Благодаря стремлению проникнуть в мысли любимой дамы Бернадетта постигает — и это соответствует ее собственным ощущениям, — что злое и скверное — не что иное, как безобразное, что и вызывает видимое отвращение на лице Прекраснейшей. Благодаря искуплению это отвращение уменьшается, возможно, уменьшается и причина, его вызвавшая.

Сегодня дама, как видно, хочет, чтобы Бернадетта призвала собравшихся к искуплению. Впавшая в транс девочка со слезами на глазах поворачивается к толпе и три раза подряд шепчет единственное слово: «Искупление». Это первое из событий, которыми отмечен этот вторник. Второе событие — злодейское нападение на даму, вызвавшее у Бернадетты страх и возмущение. Какой-то незнакомец входит в грот и начинает длинной палкой простукивать его стены. При этом он тихонько насвистывает. Бернадетта уже настолько освоилась с состоянием экстаза, что способна зорко следить за всем, что происходит, хотя чаще всего она этого не показывает. Свистун, исследующий стены грота, приближается к нише. Его палка уже терзает куст дикой розы. У девочки обрывается сердце, когда наглец ударяет

палкой по нежным ножкам дамы, которая сразу же отступает в глубь ниши.

— Уходите! — громким, срывающимся голосом кричит Бернадетта. — Вы причинили даме боль. Вы ее ранили…

Между тем Антуан и два других парня уже схватили злоумышленника за руки и вывели из грота.

— Если еще раз повторятся такие дела, — зычно оповещает присутствующих бригадир д'Англа, — я немедленно прикажу всем разойтись…

В ответ на угрозу толпа запевает новый гимн в честь Девы Марии:

О Мария, о Дева Благая,
Свою жизнь я тебе предлагаю.
Моя жизнь и мои стремленья —
Все отныне в твоем владенье.

Однако третье событие этого дня является для Бернадетты самым важным, причем оно страшит ее даже больше, чем новая встреча с Дютуром или Жакоме. Дело в том, что дама впервые дает ей практическое задание. Если прежде девочка страдала лишь от последствий выпавшего ей на долю счастья, то теперь она будет вынуждена совершить некое активное действие, отчего ее

заранее бросает в дрожь. После того как дама оправилась от атаки незнакомца с длинной палкой, она кивком подзывает Бернадетту к себе. Она внятно говорит Бернадетте, и ее голос звучит очень серьезно:

— Пойдите, пожалуйста, к вашим священнослужителям и скажите им, что здесь надо построить часовню. — Затем, не так разборчиво и гораздо тише, добавляет: — Пусть сюда приходят процессиями.

Налоговый инспектор Эстрад, поддавшись уговорам сестры, решил сегодня принять участие в походе к гроту, хотя и не без тяжких душевных колебаний. Уже в прошлое воскресенье, когда он присутствовал на допросе у Жакоме, он был очарован — по его собственным словам — очарованностью Бернадетты. В этом незрелом создании, почти ребенке, он обнаружил такую убежденность и непоколебимую уверенность в себе, что его холодный ум попросту не мог этому противостоять. Налоговый инспектор страшился собственной чувствительности, и именно по этой причине сестре так трудно было уговорить его взглянуть собственными глазами на спектакль, разыгрываемый перед гротом. Подобно Дютуру и Жакоме, в глубине души он надеялся на оконча-

тельное поражение Бернадетты.

Эстрад, несомненно, относится к тем людям, которых называют «умеренными католиками». Он принадлежит к католической церкви по убеждению и, как положено, выполняет все ее требования. Поскольку церковь была духовной родиной его родителей, его дедов и прадедов, Эстрад, как скромный человек и чиновник среднего уровня, не строит из себя невесть что и не считает нужным быть исключением из общего правила. Для него, как и для многих, приверженность к римской церкви есть своего рода патриотизм, то есть приятная своей определенностью привязанность в такой неопределенной жизненной сфере, как вечность. К этому следует добавить, что, будучи натурой уравновешенной и склонной к меланхолии, в политике Эстрад — заядлый консерватор, что также определяет его верность самой консервативной силе на земле — церкви. При этом Эстрад человек мыслящий и начитанный. А посему его молчаливый ум доступен воздействию критической исторической школы, подобно умам всех мыслящих и начитанных людей этой эпохи. Но Эстрад достаточно силен — или достаточно слаб, — чтобы решительно отстраняться от неприятных крайностей как

веры, так и сомнения и как добрый гражданин и католик оставаться в безопасном пространстве золотой середины.

Эстрад не может поверить в объективное существование Бернадеттиной дамы. Не может поверить и сейчас, после того как побывал у грота и стремительно бежал оттуда, даже не попрощавшись с сестрой. Он выбирает самую нехоженую дорогу вдоль мельничного ручья, чтобы не возвращаться в город вместе с толпой. Нельзя отрицать, что увиденное лишило его душевного равновесия. Он вспоминает свои юные годы, когда «божественное» — так он это тогда называл — порой пробуждало в его душе возвышенные, охватывающие весь мир чувства. Это «божественное» ушло из его жизни вместе с юностью, ибо оно вряд ли пристало зрелому мужчине. В юности, да, в юности «божественное» постоянно посещало его и постоянно уносилось прочь, то вдруг приближаясь, то удаляясь. Непонятная дрожь сотрясала тогда его душу, ощущение вечности выдавливало горячие слезы из глаз. Что это было такое? Эстрад хватается за лицо и с удивлением обнаруживает, что и сейчас его глаза полны горячих слез.

Куда подевалось его хваленое хладнокровие,

как мог так подействовать на него вид этой несчастной девочки, скованной каталепсией? Он еще мысленно видит, как Бернадетта несколько раз подряд осеняет себя крестом, широким, медленным крестом через все лицо. Если существует Царствие Небесное, думает Эстрад, и в нем прогуливаются и приветствуют друг друга души праведников, то они непременно должны осенять себя при встрече таким же медленным, благородным крестом. Эстрад не может постичь ту диковинную силу, с которой это невежественное дитя Пиренеев каждым своим взглядом, каждым шагом, каждым жестом подтверждает реальность того, чего быть не может. Как, например, Бернадетта вопросительно подняла глаза, якобы не поняв даму, с каким напряжением вслушивалась, а потом, наконец поняв, в порыве детской радости наклонилась и поцеловала землю. Весь этот наивный церемониал был проникнут такой близостью божественного, таким ощущением его присутствия, что по сравнению с ним даже торжественная месса вдруг представилась ему пустой и бессодержательной демонстрацией пышности.

Эстрад так погружен в свои беспокойные мысли, что долго не замечает пешехода, идущего

ему навстречу от лесопилки. Пешеход — не кто иной, как Гиацинт де Лафит, закутанный в свою широкую пелерину. Этот предмет одежды, столь модный в прежние времена, некоторые господа, среди них Лакаде, Дютур и даже Дозу, придирчиво критикуют и считают вызовом общественному мнению. Но дамам пелерина, напротив, очень нравится, и они томно вздыхают при виде закутанного в нее поэта. «Бедный Лафит, — говорят добросердечные дамы, — он, верно, был очень несчастен в любви». В печаль, проистекающую из чисто духовных источников, дамы не верят.

— Так рано и уже на ногах, друг мой? — приветствует Лафит налогового инспектора.

— Ваш вопрос я возвращаю вам, дорогой. Уж вы-то, как я полагал, наверняка должны быть в этот час еще в постели.

— На сей счет многие заблуждаются, а я никогда не ложусь ранее девяти часов.

— Как, вы ложитесь в девять вечера?

— Что вы — упаси боже! — не ранее девяти утра… Ночь — моя главная покровительница и подруга. Она удваивает мои духовные силы. Ночи я провожу за сочинительством и занятиями наукой. Сегодня, например, я написал несколько совсем недурных александрийских стихов. Но

ничто не сравнится со временем между пятью и семью утра после проведенной таким образом бессонной ночи. Только в эти часы ясность восприятия достигает возможного человеческого предела…

— Не могу сказать, что сегодня в эти часы я чувствовал себя так же хорошо, как вы. Дело в том, что я иду от грота…

— Все теперь ходят к гроту, — улыбается Лафит. — Сначала Дозу, теперь вы, следующий будет Кларан, а закончат это паломничество Лакаде и Дюран…

— Я даже не подозревал, что увижу там нечто незабываемое…

— Да, я знаю. Девочка-пастушка из древних времен, которая anno 1858 видит нимфу здешнего источника, проскучавшую в заточении две тысячи лет.

— Возможно, любезный друг, вы не стали бы так шутить, если б сами были свидетелем необыкновенного экстатического состояния этой девочки. Вы поэт. Ваш долг увидеть все собственными глазами…

— Довольно, Эстрад! — серьезно и горько говорит Лафит, крепко ухватив своего спутника за рукав. — Если не ошибаюсь, кажется, в Еван-

гелии от Иоанна есть такой стих: «Блаженны невидевшие и уверовавшие». Я применяю это к литературе. Те, кому непременно надо увидеть, чтобы изобразить, — жалкие дилетанты. Я с насмешкой отвергаю утверждение, что надо что-то испытать, чтобы понять…

— Но есть опыт, который не заменит никакая фантазия, — настаивает Эстрад.

Лафит останавливается и глубоко вдыхает чистый зимний воздух. Сегодня первое погожее утро после недель февральского ненастья. Сделав небольшую паузу, он говорит резко и категорично:

— Вы все никак не избавитесь от прежних религиозных иллюзий. Вот в чем дело! В наш век боги умирают. Надо много сил, чтобы пережить смерть богов и не впасть в грех идолопоклонства. История учит, что, когда боги умирают, наступают скверные времена. Взгляните на современную церковь, хотя бы на католическую, не говоря уж о прочих. Что она собой представляет? Она отпускает нам христианство по сниженным ценам, идет большая распродажа Бога. Иначе и быть не может, ибо основа всего, мифология, уничтожена. Всемогущий, всезнающий, вездесущий Бог Отец, по воле которого непорочная девственница,

свободная от первородного греха, родила сына, родила затем, чтобы Он спас несчастный мир, так неудачно сотворенный Отцом, — вы должны признать, что поверить в это так же трудно, как в Минерву, рожденную из головы Юпитера. Человек даже в своей мистике — раб привычки. Древним было так же тяжело расставаться со своей Минервой, как нам с Пресвятой Девой. Чтобы подпереть развалины веры, возводят шаткие леса деизма, но это не поможет, ибо все стоит на очень непрочном фундаменте. На этих лесах вы все и раскачиваетесь. Не считайте меня, пожалуйста, простаком эпохи Просвещения. Я точно знаю, что мистицизм есть одно из прекраснейших человеческих свойств и что он никогда не исчезнет полностью ни в каком столетии. Но если вы со своих лесов вдруг увидите что-то мистическое, у вас тут же закружится голова, ибо вы недостаточно сильны, чтобы смотреть в бездонную пустоту, не шатаясь и не теряя частицы своего разума…

— Это правда, Лафит, сегодня перед Массабьелем у меня закружилась голова. Я не знаю, почему это произошло. Не знаю даже, имеет ли то, что я там видел, какое-либо отношение к религии. Во всяком случае, Бернадетта вернула меня в мир чувств, которые я — слава господу! — еще не

совсем утратил…

Они молча доходят до Старого моста. Волны Гава яростно бросаются на мостовые опоры. Не в силах замаскировать свои чувства и скрыть теплоту, Эстрад спрашивает:

— Скажите, Лафит, у вас есть надежда когда-нибудь вернуться домой?

— Куда? — вопрошает Лафит, взмахнув на прощанье шляпой. — Желаю вам доброго утра, милый Эстрад, а я отправлюсь спать. Ибо мой единственный дом — сон и безнадежная пустота…

Глава восемнадцатая
Декан Перамаль требует чудесного пробуждения розы

День почти весенний. Еще две-три недели, и можно будет надеяться, что с зимой покончено. Большой сад при доме лурдского декана достоин всяческого внимания, ибо он пробуждается к жизни. Трепетно ждет, раскинувшись между каменными стенами. Он подобен квартире, которую спешно готовят к приезду новых жильцов. Бурый газон местами вскопан, красноватая земля на грядках разрыхлена лопатой, кусты ракитника и сирени подстрижены. Прошлогодняя листва сметена в кучи, свежий речной песок привезен и скоро будет скрипеть на дорожках не хуже гравия. Шпалеры розовых кустов, конечно, еще прикрыты от февральской стужи. Розы — любовь и гордость Мари Доминика Перамаля. Сейчас он пристально разглядывает каждый из этих кустов, закутанных в солому или, если речь идет об особенно ценных и нежных сортах, завернутых в мешковину. Правая рука Перамаля тщательно ощупывает защитное покрытие, словно хочет

ощутить спрятанную под ним дремлющую жизнь, удостовериться, что она уже готовится к пробуждению. При этом правая рука, видно, и вправду забыла, что делает левая. А левая в это время сжимает письмо. Очень важное письмо, так как написал его сам монсеньор Бертран Север Лоранс, епископ Тарбский.

Лишь закончив проверку намеченных для осмотра розовых кустов, Перамаль ломает епископскую печать. Письмо прибыло сегодня утренней почтой. Это ответ на его донесение и на просьбу об указаниях касательно последних событий в Лурде. Как Перамаль и ожидал, монсеньор остается на своей прежней позиции. Так называемые «видения в Массабьеле» пока еще не дают повода для заявлений, а тем более для действий церковных властей. Каноническое право требует вмешательства лишь в случаях «доказанной ереси, губительных суеверий и серьезной смуты среди верующих». Ни один из указанных случаев здесь не имеет места. Речь идет всего лишь об утверждении четырнадцатилетней девочки, что ей якобы является какая-то неизвестная, не называющая своего имени дама, и это заявление не поддается проверке. Поведение декана Лурда — с одобрением пишет его преосвященство

— полностью отвечает интересам епархии. Итак, позиция остается прежней — никакой реакции и никакого участия со стороны духовенства. Господину декану следует постоянно напоминать всем священнослужителям, что им строго запрещено появляться в толпе у грота. На вопросы, которые могут быть заданы во время исповеди, предлагается давать примерно такой ответ: «Во все времена возможно появление на земле посланцев Неба и совершение чуда. Но нет никаких свидетельств, что подобное происходит в гроте Массабьель». Епископ Тарбский, однако, вовсе не относится к этой истории слишком легко. Он напоминает о неприятном прецеденте: несколько лет назад некая Роза Тамизье из Авиньона разыгрывала подобную же комедию, притворяясь, что ей является Пресвятая Дева. Глава той епархии, наделенный более энтузиазмом, чем разумом, попался на крючок мошенницы, претендовавшей на святость, и оказался в ужасном тупике. В результате мошенничество раскрылось, был нанесен огромный урон авторитету церкви, в провинции произошло заметное усиление атеизма, а в политике триумфальную победу всюду одержали злейшие враги церкви. Вот почему следует соблюдать величайшую осторожность и

постоянно молиться о просветлении умов и об отвращении подобной напасти.

Перамаль складывает письмо. Хотя в нем и содержится похвала ему лично, оно привело декана в скверное настроение. Этим важным господам легко рассуждать об осторожности и о такте. Они, как генералы, сидят в штабах, куда пули не долетают. Грубая жизнь доходит до них только в виде писанины. А наш брат должен собственной задницей сидеть в дерьме.

У Перамаля, знатока человеческих душ, есть известное подозрение, что к этой отвратительной глупости, творящейся в гроте, причастны некоторые богатые дамы. Этот «поджигатель на ниве милосердия» хорошо знает своих благочестивых овечек, опору церкви, вроде мадам Бо или мадам Милле. Эти праздные дамочки рассматривают церковь как свой салон или клуб, где в волнах фимиама и блеске свечей они могут удовлетворять свои властные притязания, страсть к сплетням и жажду сенсаций. Когда требуется исполнить завет Господа о любви к ближнему и хоть немного облегчить безысходную физическую и духовную нужду народа Пиренеев, эти дамы хором вопят, как много денег они уже пожертвовали на праздник в честь святой Анны или на украшение

алтаря. Зато они всегда готовы раскошелиться там, где речь идет о сверхъестественном, и даже могут сотворить в свою честь небольшое чудо. Декану уже доложили о странных отношениях между Бернадеттой и мадам Милле. Епископ прав, напоминая о случае с обманщицей Розой Тамизье…

Перамаль вновь обращает взгляд к особенно нежному сорту роз — «Ла Франс»: он опасается, что они не выдержали суровую зиму, и уже хочет сделать ножом надрез на стебле, чтобы проверить, зелен ли он внутри, как вдруг до него доносится глухой шум шагов. Этот шум приближается к садовым воротам. Декан вдруг понимает: это Бернадетта Субиру! И оказывается, бесстрашный декан не в силах подавить в себе волнение по поводу прихода этого бедного комичного ребенка. Его пальцы, словно пойманные за дурным делом, поспешно лезут в карман за молитвенником. Священник не должен быть застигнут с праздными глазами и пустыми руками. Перамаль злится на себя из-за того, что так поспешно вытащил молитвенник. Однако, по виду погруженный в чтение, он начинает прогуливаться по аллее, обсаженной акациями и ведущей к воротам.

Догадка принадлежала тете Бернарде, именно она решила, что в словах дамы «пойдите к священнослужителям» речь, без сомнения, идет о декане Перамале. Дама явно не могла иметь в виду обходительных священников Помьяна, Пена и Санпе, ведь они всего лишь простые капелланы, помощники Перамаля. Из-за лаконичной манеры выражаться слова дамы, к несчастью, оказываются слишком неопределенными и общими. Она, например, ни разу не назвала ни одного имени, ни своего, ни чужого. Обращаясь к Бернадетте, ни разу не сказала ей «Бернадетта», но прибегала лишь к вежливому и некатегоричному: «Я вас прошу» или «Мне бы хотелось». Может быть, даме просто трудно удержать в голове непривычные для нее имена здешних людей. Но этому противоречит тот факт, что дама безупречно владеет диалектом провинции Бигорр и говорит на нем так свободно, как редко удается чужестранцу или аристократу. Возможно, ей запрещено называть имена, так как называемые могли бы слишком возгордиться таким отличием.

Во всяком случае, Бернадетте было бы куда легче, если бы тетя Бернарда посчитала, что слово «священнослужитель» можно отнести к трем капелланам, а не обязательно к декану Перамалю.

В облике декана Перамаля для нее воплотились все страхи ее детства. Бернадетта видела декана лишь изредка на улице и на церковной кафедре. Но когда она вместе с другими школьницами слушала его проповеди и он возвышал свой хриплый громовой голос до крика, девочку сотрясала дрожь. Даже сама его величественная фигура, изборожденное морщинами лицо, стремительная размашистая походка — все это внушало девочке почтительный страх. Одним словом, бравый Перамаль был слишком велик для маленькой Бернадетты. Он был для нее «черным человеком», которым пугают детей. И перед ним она должна сейчас предстать посланницей дамы. Сердце готово выпрыгнуть у нее из груди. Охотнее всего она бы повернула назад. Но энергичная Бернарда Кастеро, взяв дело в свои руки, не отступится. А она ведь и вправду взяла дело с дамой в свои руки, поверив Бернадетте больше, чем родная мать. Безжалостным тычком в спину она подталкивает племянницу вперед, так что Бернадетта, споткнувшись на выщербленном каменном пороге, влетает в сад.

Там в конце аллеи во всей своей мощи стоит великан Перамаль, читает молитвенник. К Бернадетте святой отец обращен спиной. «Ох, хоть бы

он никогда не оборачивался!» — молит про себя девочка, в горле у нее першит, во рту пересохло. Маленькими шажками она продвигается вперед, навстречу опасности. Ей представляется, что она идет не по садовой дорожке, а пересекает ледяное течение Гава. Она стремится не производить ни малейшего шума. Ох уж эти деревянные башмаки! Лучше бы ей идти босиком. На некотором расстоянии от Перамаля она останавливается, сердце ее бешено колотится.

Священник резко поворачивается. Его глаза мечут молнии. Этого Бернадетта и ожидала. Он выпрямляется и становится еще выше, как будто и так не был достаточно высок для маленькой Бернадетты.

— Что тебе здесь нужно? Кто ты такая? — напускается он на девочку.

— Я Бернадетта Субиру, — заикаясь от страха, лепечет она.

— Ах, какая честь! — насмехается Перамаль. — Новая знаменитость пожаловала ко мне в гости… Ты всегда приводишь с собой свиту?

Бернадетта молча глядит себе под ноги. Священник между тем повышает голос:

— Если кто-нибудь из пришедших осмелится войти в мой сад, я позову жандармов. Ротозеям

здесь не место!

Не оборачиваясь и не приглашая свою знаменитую гостью следовать за собой, Перамаль гигантскими шагами идет в дом. Бледная и потерянная Бернадетта поспешает за ним. Приемная декана — просторная холодная комната, хотя в камине пылает жаркое пламя. Полнокровному декану холод, видимо, нипочем. Его лицо побагровело от гнева, полные губы приоткрылись. Он возвышается над девочкой, как будто хочет раздавить ее.

— Значит, ты и есть та самая бессовестная девчонка, — бурчит он, — та лгунья, которая распространяет все эти занятные истории? Ведь так? — Поскольку Бернадетта не отвечает, его голос опять начинает сотрясать стены. — Говори! Раскрой же наконец рот! Чего ты от меня хочешь?

— Дама мне сказала… — начинает девочка, давясь слезами.

Священник сразу же обрывает ее:

— Что это значит? Какая дама?

— Дама из грота Массабьель…

— Мне она неизвестна.

— Та красивая дама, что всегда ко мне приходит…

— Эта дама из Лурда? Ты ее знаешь?

— Нет, дама не из Лурда. Я ее совсем не знаю.

— Ты спрашивала, как ее зовут?

— О да, я спрашивала даму, как ее зовут. Но она не ответила…

— Может быть, дама глухонемая?

— Нет, не глухонемая. Она со мной говорит.

— И о чем она с тобой говорит?

Бернадетта пользуется удобным поворотом разговора и быстро выпаливает:

— Сегодня дама сказала: «Пойдите, пожалуйста, к вашим священнослужителям и скажите им, что здесь надо построить часовню…»

Бернадетта облегченно вздыхает. Слава Всевышнему, слова произнесены. Поручение выполнено.

Перамаль придвигает стул и удобно усаживается перед запуганной девочкой, испепеляя ее своим горящим взором.

— Священнослужители? Что это значит? Твоя дама, как видно, закоренелая язычница. Священнослужители могут быть и у каннибалов. У нас, у католиков, есть духовенство, и каждое духовное лицо имеет свой сан…

— Но дама сказала «священнослужители», — настаивает Бернадетта, у которой чуть полегчало

на душе, после того как она передала декану послание дамы.

— Ты обратилась не по адресу, — вновь мечет громы и молнии Перамаль. — Кстати, у тебя есть деньги на строительство часовни?

— О нет, у меня нет денег.

— Тогда передай своей даме, пусть она сначала раздобудет деньги для часовни. Сделаешь?

— Конечно, месье кюре, я передам, — быстро и вполне серьезно заявляет Бернадетта.

Перамаль недоверчиво смотрит на нее, удивляясь наивности этого создания.

— Что за вздор! — кричит он и вскакивает со стула. — Передай своей даме следующее: лурдский декан не привык получать задания от незнакомых дам, которые к тому же не называют своего имени. Далее, лурдский декан находит не очень-то приличным, что босые дамы лазают по скалам и посылают с поручениями несовершеннолетних. И под конец, лурдский декан покорнейше просит даму раз и навсегда оставить его в покое. Это все. Ты поняла?

— О да, я все передам, — с готовностью кивает Бернадетта, для которой важна лишь сама дама, а не отношения дамы с миром. Девочка едва ли не в полуобморочном состоянии от волнения и

страха и совершенно не сознает, какой оскорбительный отказ получает Очаровательная от декана Перамаля. А тот в заключение указывает пальцем на большую метлу, которую забыла в углу его экономка.

— Видишь эту метлу, малышка? — снова грохочет он, доводя грозу до апогея. — Этой метлой я тебя собственноручно вымету из храма, если ты еще раз осмелишься мне докучать!

Но такие громы Бернадетте уже не по силам. Разрыдавшись, она пускается бежать.

У декана Перамаля сегодня выдался плохой день. При ближайшем рассмотрении оказалось, что шесть самых старых розовых кустов погибли. Поистине невосполнимая потеря! Сколько лет заботы и ухода требует жалкий черенок, прежде чем из него разовьется гибкий и пышный куст, который с апреля по ноябрь будет непрерывно выбрасывать бутоны и покрываться изумительными благоуханными цветами. Но не только эти шесть розовых кустов, годных теперь разве что на растопку, огорчают декана. Не меньше угнетает его собственное поведение в присутствии Бернадетты Субиру. Хорошо, пусть она маленькая лгунья или, вернее сказать, пассивный инструмент в руках Милле и других честолюбивых

дам. Это еще не причина, чтобы лурдский декан изображал из себя перед этим слабым запуганным ребенком заправского людоеда или черта из театра марионеток. Когда малышка с рыданиями бросилась бежать, он бы охотно вернул ее, погладил бы по голове, подарил бы картинку с изображением святого, ведь Бернадетта принадлежит к беднейшим из бедных. О господи, мягкость, конечно, не лучший способ обращения с этим народом. Он знает, он усвоил это до самых глубин своей скрытной души.

Но есть и другие мысли, которые не дают ему покоя. После визита этой уличной девчонки его уверенность в собственной правоте несколько поколебалась. Благодаря посредничеству Бернадетты даме удалось угнездиться в его мозгу. Он невольно думает о многочисленных явлениях Девы в прошлые времена. Чем, например, Англез из Сагазана, эта гасконская пастушка, которую Царица Небесная много раз удостаивала своими посещениями, — чем она так уж отличается от Бернадетты Субиру? А Катерина Лабурде из Сен-Северена? А Мелани, девчушка из Ла-Салет, хуторка, затерянного высоко в Альпах в провинции Дофине? Церковь признала достоверность явлений в Ла-Салет и оценила их целительное

воздействие на веру. И самое поразительное, что эти явления случились не так уже давно. Всего двадцать один или двадцать два года назад. Таким образом, имеется не только прецедент Розы Тамизье, но и вызывающий куда большее беспокойство прецедент Мелани из Ла-Салет? Епископ требует соблюдать величайшую осторожность. Мари Доминик Перамаль решает дополнить завтрашнюю утреннюю мессу особой молитвой: «О раскрытии истины в гроте Массабьель», а в душе он злится на маленькую колдунью, которая действует такими бесхитростными методами и несколькими словами сумела заставить его, несгибаемого, отойти от первоначально твердых позиций.

Между тем Бернадетта чувствует себя намного хуже, чем декан Перамаль. Едва она, все еще всхлипывая, успела в сопровождении тети Бернарды и тети Люсиль отойти на сто шагов, как в ужасе поняла, что допустила чудовищную ошибку. Ведь она передала не все послание дамы, она позабыла о его второй части: «Пусть сюда приходят процессиями».

«Семейный оракул», Бернарда Кастеро, придерживается мнения, что передавать эту вторую часть не так уж обязательно, поскольку господин

декан с насмешками и бранью отклонил необходимую предпосылку этих процессий, то есть строительство часовни. Но Бернадетта не так резонерски умна, как ее тетя. Столь скупая на слова дама знает, чего хочет. Она требует процессий. Поэтому желание дамы следует незамедлительно передать, чтобы можно было предстать перед ней завтра утром с чистым сердцем. Образ действий дамы трудно предугадать. Если она почувствует разочарование из-за оплошности Бернадетты, может произойти несчастье, дама исчезнет на несколько дней или, страшно даже подумать, навсегда.

Вновь пойти к декану, да еще через несколько часов после того, как ее выгнали, для Бернадетты не легче, чем пойти на казнь. Великан, без сомнения, впадет в ярость и, как обещал, изгонит ее из храма метлой. А может, еще и хорошенько отлупит ее той же метлой. Но что она может поделать, ей остается только сжать зубы и приготовиться к худшему. Бернадетта молит добродушную тетю Люсиль смело войти в сад и на некотором расстоянии переждать грозу. Поход на казнь решено совершить часа в четыре, ближе к вечеру, ибо к этому часу, как они рассчитывают, декан устанет и потеряет охоту впадать в ярость.

В выбранный ими час Перамаль снова стоит перед своими розовыми кустами и угрюмо разглядывает, какой урон им нанесла зима. На этот раз Бернадетта застает его врасплох; она появляется перед ним — сплошной комочек страха — и с видом жертвенного агнца пытливо глядит на него своими темными глазами. Тетя Люсиль, переступив через порог и сделав несколько шагов, дальше идти не решилась.

— Должен сказать, ты обладаешь недюжинной храбростью, малышка, — грохочет знакомый хриплый голос.

— Месье кюре, мне необходимо вас побеспокоить, — говорит Бернадетта, дрожа от страха. — Это моя вина. Я кое-что позабыла…

Декан в кожаных рукавицах, а в руках он держит большой садовый нож, отчего кажется девочке еще страшнее. Словно гонимая фуриями, она выпаливает вторую часть своего послания:

— Дама сказала: пусть сюда приходят процессиями.

— Процессиями? — Перамаль не может удержаться от громкого смеха. — Это лучшее из того, что ты мне сказала! Процессиями? Значит, даме нужны еще и процессии? Но ты же приводишь их ежедневно. Мы дадим тебе смоляной факел,

и ты будешь собирать и водить свои процессии, когда и куда захочешь. Зачем тебе священнослужители, жалкая жрица? Как я слышал, ты сама себе епископ и папа, и ты устраиваешь перед Массабьелем такие дикие церемонии, что люди смеются и плачут! — Вопреки своим добрым намерениям Перамаль снова поддается гневу. Затем вновь переходит к насмешкам. — Дама, возможно, хочет увидеть свои процессии уже завтра?

Бернадетта кивает с величайшим простодушием:

— Думаю, да. — Сделав несколько книксенов, она начинает осторожно отходить к воротам. — Еще раз прошу прощения, — лепечет она. — Теперь я передала все…

— Эй, постой! — окликает ее декан. — Здесь я решаю, когда тебе уходить! Ты еще помнишь, что нужно передать от меня даме?

— Да, помню…

— Это не всё. Есть еще одно поручение, — глухо говорит Перамаль, глядя на закутанные соломой кусты роз. — Дама действительно ни разу не намекнула, кто она такая?

— Нет, ни разу не намекнула.

— Но если она та, за кого ее принимают люди, она должна разбираться в розах, не так ли?

Бернадетта тупо смотрит на Перамаля, не понимая, к чему он клонит. А Перамаль, то ли с мрачной серьезностью, то ли с мрачной насмешкой, вдруг задает вопрос о месте, где появляется дама:

— Мне рассказывали, что в гроте на скале растет куст дикой розы. Это правда?

— Да, правда, — заверяет Бернадетта, обрадованная, что опасность грозы, кажется, миновала, — Прямо под нишей, где всегда стоит дама, тянется длинный побег дикой розы…

— Все сходится, — кивает декан, явно обрадованный этим сообщением. — Навостри свои ушки, девочка, ты должна передать даме следующее: «Милая дама, лурдский декан настоятельно просит вас совершить небольшое чудо: сделать так, чтобы куст дикой розы расцвел сейчас, в конце зимы. Вам, должно быть, совсем нетрудно исполнить это скромное желание декана»… Ты поняла, девочка?

— О да, я все поняла.

— Тогда повтори то, что я сказал.

И Бернадетта с облегчением и без единого пропуска повторяет поручение Перамаля к даме.

Глава девятнадцатая
Вместо чуда – позор

Весь город говорит о просьбе декана к даме. Мари Доминик Перамаль оказался достойным своего высокого поста и показал пример, как следует вести себя в трудных ситуациях. Вольнодумцы и антиклерикалы видят в его просьбе лишь смачную шутку, они смеются и в то же время смущены, потому что теперь не так-то легко утверждать, что церковь покровительствует видениям в Массабьеле, если даже не сама их сотворила. С другой стороны, известие об этом вызове приводит в волнение широкий круг верующих. В самом деле, если дама из Массабьеля — Пресвятая Дева, то она сама есть Небесная Роза и Царица Роз, недаром молитвы, которые читают по четкам, составляют «розарий». Упустит ли дама случай совершить это скромное «чудо розы», тем более что на пороге уже март и все почти в пределах возможного. Ведь требуется не так уж много, чтобы Небеса смогли оказать хоть небольшую поддержку своим приверженцам и укрепили их шаткое положение в безбожном

мире. Да, лурдский декан — большой хитрец, это следует признать.

Хозяин кафе Дюран встречает своих гостей веселым подмигиванием.

— Держу пари, — говорит он, — скоро мы с вами станем очевидцами славненького чуда. Почему бы и нет, господа, погода прекрасная, солнышко пригревает, особенно в полдень, а через четыре дня — март. Все, что еще требуется, обеспечат некоторые дамы. Например, поставят под нишу таз с горячими углями или запрячут в куст пару грелок! Казенав делает все это в своей оранжерее и получает к Рождеству прекрасные фиалки и гладиолусы. Держу любое пари!

Этими словами добрый дух кафе «Прогресс» призывает к осторожности.

Но другим чудом является всеобщий вопль, всеобщее моление о чуде, которое звучит во всех областях Пиренеев, когда их с быстротой молнии облетает весть о разговоре декана с Бернадеттой. Об этом становится известно в самых отдаленных горных деревушках. Все эти крестьяне с натруженными руками, пастухи, батраки, дорожные рабочие, лесорубы, горняки словно вдруг пробудились от спячки и пришли к ужасному осознанию кратковременности человеческой

жизни и своей отверженности на этой земле. На короткое время они перестали равнодушно принимать проклятие Господа, осудившего их на страдания и муки. Подобно потерпевшим кораблекрушение, они возжаждали узреть в бесконечном тумане земной жизни знамение Небес, которое сулит им спасение: случится чудо, дикая роза зацветет в конце февраля.

Меньше всего беспокоится о чуде сама Бернадетта. Уже на следующее утро, едва придя к гроту, девочка поспешно выпаливает даме все, что велел ей передать декан. На этот раз ей не дано погрузиться в состояние экстаза и только созерцать, только слушать. Мирская суета тревожно вторгается в ее общение с дамой. Она бубнит слова декана глухо, без остановок, потому что многие из них она едва осмеливается произнести, настолько грубыми, высокомерными и властными кажутся ей требования Перамаля. Разве можно таким образом обходиться с дамой? «Лурдский декан сказал, чтобы вы сами раздобыли деньги для вашей часовни». «Лурдский декан сказал, что он не принимает заданий от незнакомых дам». «Лурдский декан желает, чтобы вы впредь оставили его в покое». «Лурдский декан настоятельно просит вас сделать так, чтобы

куст дикой розы под вашими ногами расцвел». Дама спокойно выслушивает все эти грубости. Ее лицо ни на миг не омрачается, не бледнеет, как бывало прежде, когда происходило или говорилось нечто неподобающее. Время от времени торопливое сообщение Бернадетты вызывает на ее лице беглую рассеянную улыбку. Только быстрый взгляд на куст розы доказывает, что она приняла к сведению требование Перамаля. Дама сегодня рассеянна. Она не наклоняется к своей избраннице. Ее кристально ясные глаза страдальчески устремлены вдаль. Кажется, словно перед дамой, о которой говорят, что она всего лишь видение, проносятся ее собственные видения, исполненные ужаса и муки, ибо ее уста непрерывно произносят одно только слово: «Искупление». Дама испытывает сейчас сильное отвращение, догадывается Бернадетта и пытается с помощью искупления, как она его понимает, облегчить Обожаемой пребывание в этом отвратительном мире. Бернадетта непрерывно целует землю, до крови стирает себе коленки, ползая по камням. Она не успокаивается, пока ее ладони не покрываются ранами. Она хочет собственным примером побудить толпу к такому же искуплению, в надежде, что это облегчит муки дамы. Но

она достигает немногого, так как только единицы понимают ее намерения, да и вообще люди пришли сюда смотреть на чудо, а не причинять себе ради дамы всякие неудобства. Несмотря на хорошую погоду, дама явно мерзнет. Розы на ее ножках постепенно теряют блеск. Уже через двадцать минут она исчезает. Люди рассказывают, что сегодня лицо Бернадетты не претерпело никаких изменений.

Верующие заранее определили четверг двадцать пятого февраля как день совершения «чуда розы». Начиная с одиннадцатого февраля, когда дама впервые предстала перед Бернадеттой, это третий по счету четверг. Волнение жаждущих чуда, которые так смело предсказывают поведение дамы, вполне понятно. Не только крестьянки долины Батсюгер, но и мадам Милле, тетя Бернарда, Бугугорты, тетушка Николо, Сажу и многие другие убеждены, что нечто великое произойдет сегодня или никогда.

Между мэром и прокурором с одной стороны и комиссаром полиции с другой дело доходит до бурных объяснений. Каждый перекладывает на другого ответственность за неприятное положение, в котором оказались власти. Прежде всего пришла в неистовство вся парижская пресса.

Политический инстинкт Дютура его не обманул. Крупные газеты используют эту огорчительную, но, в сущности, безобидную историю, чтобы лицемерно, из-за угла, атаковать абсолютистский режим императора, который сам обязан своим приходом к власти путчу. «Подобно сверкающей молнии, — пишет „Журналь де деба“, — эти печальные события в Лурде высветили всю материальную и духовную отсталость, в которой вынуждено прозябать население наших южных провинций. Что сделано больше чем за десятилетие для того, чтобы одаренный пиренейский народ смог приблизиться к современности? Ничего, меньше чем ничего! И так поступают намеренно, руководствуясь холодным расчетом. Народ, чье школьное образование отдано в руки монахов и монахинь, никогда не достигнет вершин свободомыслия, что означало бы конец любой тирании. Возбуждение религиозного фанатизма — вернейший способ отвратить человечество от его высочайших целей, то есть от организации разумной жизни на земле. Министру культуры и просвещения месье Руллану следовало бы принять эти строки близко к сердцу».

Месье Руллан принимает эти строки так близко к сердцу, что в ужасе молит премьера своего

кабинета: «Помогите мне избавиться от этих сумасшедших видений!» При этом он, конечно, допускает серьезную ошибку, не подсказывая, как это сделать. Премьер-министр обращается в министерство внутренних дел и к министру юстиции Деланглю. Министерство внутренних дел сочиняет язвительные запросы, которые ложатся на стол барона Масси, префекта в Тарбе. Министр Деланглъ, в свою очередь, отдает приказ главному имперскому прокурору в По немедленно разобраться и навести порядок. Рассерженный префект посылает все более строгие запросы супрефекту Дюбоэ в Аржелес и комиссару полиции в Лурд. Одновременно главный имперский прокурор Фальконе требует от имперского прокурора Дютура отчета о том, как идет расследование и кто привлечен к ответственности. Одним словом, служебные запросы и служебные ответы ползут вверх и вниз по бюрократической лестнице, подобной лестнице Иакова, соединяющей Землю и Небо, а до решений, не говоря уж о принятии мер, дело не доходит. И поскольку даже высшая инстанция, министерство по делам культов, не осмеливается перейти к решительным действиям, низшие власти чувствуют себя все менее уверенно. Ведь против видений с того света,

посещающих этот свет, трудно применить какой-то параграф. Желая сохранить лицо, власти сходятся на том, что будут продолжать осуществлять «строгий надзор» за семейством Субиру, за девочкой Бернадеттой и фиксировать все связанные с означенной девочкой чрезвычайные происшествия. Но так как в общественной, равно как и в государственной, жизни всегда страдает крайний, все беды обрушиваются на невинную голову мелкого полицейского чиновника Жакоме. Бедняга видит, что из-за упрямства дамы ему грозит увольнение со службы. Если все так и будет продолжаться, его отправят на нищенскую пенсию. Жакоме переживает тяжелые дни. Он крайне обозлен и одновременно напуган. Спасти его может только величайшая решительность, которой нет у его начальства. В этот четверг он намерен показать пример. Для этой цели он решает использовать не только все местные полицейские силы, то есть семерых жандармов и Калле, но запрашивает еще и подкрепление из Аржелеса. Тамошняя бригада посылает трех жандармов. Поэтому уже в шесть утра перед гротом Массабьель выстраивается внушительный отряд из одиннадцати вооруженных людей, готовых призвать к порядку даму, Бернадетту и всех ее

почитателей.

Жакоме, однако, не предусмотрел, что в этот день, день предполагаемого чуда, здесь соберется примерно пять тысяч человек. Они идут к гроту по всем проселочным дорогам, пересекают гору, проходят общинный лес Сайе и остров Шале. Жакоме приказывает жандармам установить кордон и перекрыть доступ к гроту. Через кордон пропускают только Бернадетту и ее ближайшее окружение, а также доктора Дозу, брата и сестру Эстрад и некоторых других именитых людей Лурда. Мельнику Антуану Николо, постоянному посетителю Массабьеля, начавшему ходить сюда одним из первых, Жакоме грубо преграждает путь. В ответ на это Антуан становится на колени перед бригадиром д'Англа и упрямо запевает одну из песен в честь Марии. Большая часть толпы тут же следует его примеру. Комиссар полиции своими распоряжениями не только не ущемил интересы дамы, но даже оказал ей услугу. Портал грота сравним по размерам с театральной сценой. Сегодня толпа вынужденно не рвется вперед, а располагается перед сценой широким полукругом, причем передние ряды опускаются на колени, а задние стоят, так что всем всё видно гораздо лучше, чем обычно. Жакоме невольно

установил перед ненавистной ему сценой строгий порядок.

Сегодня Бернадетта опять видит перед собой совершенно новую даму. (О, никогда ее трепетная любовь не познает Возлюбленную до конца!) Сегодня дама определенно явилась не для того, чтобы осчастливить свою избранницу. Поэтому Бернадетта опять не впадает в состояние экстаза, которое дает толпе возможность узреть Незримое. При этом дама никогда еще не была такой торжественной, как в этот четверг. Вернее сказать, она впервые кажется торжественной. Ее неотразимое очарование получает сегодня оттенок строгости и решительности. Даже ее улыбки и приветственные кивки, эти сердечные знаки, отмечающие каждую новую встречу, кажутся сегодня более скупыми, официальными и в то же время едва заметными, лишь намеками на улыбку или приветствие. Складки ее платья сегодня неподвижнее, чем всегда, края накидки не трепещут от ветра, а локоны, прежде всегда выбивавшиеся на лоб, тщательно спрятаны.

Бернадетта сразу чувствует, что сегодня ей придется делать нечто иное, чем обычно. Многие ночи подряд она уже прикидывала, как в случае нужды подобраться к нише. У скалы валяется

много каменных глыб, по которым можно легко подняться, по крайней мере до побега дикой розы, растрепанной бородкой окаймляющего нишу снизу. Дама осеняет себя первым крестом, Бернадетта в точности его повторяет. Затем дама указательным пальцем манит к себе Бернадетту. И вот уже Бернадетта наяву карабкается по камням, без труда забирается все выше и наконец оказывается на уровне куста. Без ясно выраженного желания дамы она никогда не осмелилась бы так приблизиться. Ведь ее макушка всего в нескольких сантиметрах от бескровных ножек дамы, на которых пылают золотые розы. В приступе страстной преданности, выражающей и нетерпеливую готовность к искуплению, Бернадетта погружает лицо в колючий куст и пылко его целует. К счастью, щеки ее не очень исцарапались, на них выступают лишь две или три капельки крови. Гул тысячеголосой толпы за ее спиной становится громче. Уже стремительная грация, с какой девочка в линялом капюле вскарабкалась по камням и подобралась к нише, вызывает восхищение. Что же касается бесстрашного соприкосновения с кустом дикой розы, то здесь уже содержится указание на чудо, которое произойдет, как ожидают зрители, в течение

ближайших минут. Волнение толпы опережает события. Особо впечатлительные уже видят, как куст, политый кровью маленькой ясновидицы, окрашивается в ярко-алый цвет от множества лопающихся на нем бутонов. Это величайший до сей поры миг в «диких церемониях» Бернадетты, как назвал их Перамаль.

Но дама, похоже, не обращает особого внимания на ее импровизацию. У нее другие планы. Четко и ясно произнося каждый слог — таким тоном отдают важные распоряжения детям, — дама говорит на чисто пиренейском диалекте, который звучит в ее устах необычно благородно:

— Annat héoué en a houn b'y-laoua!

Эти слова означают:

— Подойдите к источнику, напейтесь и омойте лицо и руки!

Бернадетта в один миг оказывается внизу, не отрывая глаз от дамы. «Источник? — думает она. — Где здесь источник?» Сначала она в растерянности замирает. Затем ей приходит на ум, что дама, возможно, не вполне освоила диалект и путает понятия «источник» и «ручей». Бернадетта быстро опускается на колени и начинает ползти — в этом ползанье она уже достигла немалого совершенства — по направлению к ручью

Сави. Одолев некоторое расстояние, она вновь поворачивается к нише. Дама качает головой и проявляет явное недовольство. «Ага, — думает девочка, — она хочет, чтобы я пила воду не из Сави, а из Гава». Бернадетта быстро меняет направление и начинает ползти к реке, берег которой примерно в тридцати шагах. Но голос дамы зовет ее назад:

— Пожалуйста, не к Гаву!

В этих четырех словах, в их предостерегающей интонации звучит даже известное осуждение Гава, который не пригоден для целей дамы. Хотя строптивый горный поток, бурно проносящийся мимо, и заключает в себе, по мнению Кларана, вечное «Ave», воды его порой становятся, очевидно, местом сосредоточения враждебных сил. «Куда же теперь?» — недоумевает Бернадетта и, открыв рот, глядит в нишу. Дама еще раз повторяет ей фразу об источнике и, как бы для того, чтобы помочь, добавляет:

— Annat minguia aquero hierbo que troubéret aquiou!

Это означает:

— Идите в грот и ешьте растения, которые вы там найдете!

Бернадетта долго осматривается в гроте, преж-

де чем обнаруживает в углу, в самой глубине, местечко, где нет песка и гальки, зато есть немного травы и несколько жалких растений, в том числе скромный цветочек, называемый в народе камнеломка, за то упорство, с каким он пробивается сквозь камни к свету. Бернадетта быстро ползет туда. Она начинает со второй части приказа: сорвав несколько травинок и стебельков растений, она запихивает их в рот и с трудом проглатывает. При этом в ней оживает одно детское воспоминание. Однажды родители навестили ее в Бартресе. Она как раз вывела овечек на лужайку, и отец, тогда еще бравый самоуверенный мельник, прилег возле нее на траву. У некоторых овечек были на спине зеленоватые пятна. «Взгляни, Бернадетта, — в шутку сказал тогда Субиру с нарочито кислой миной, — взгляни на этих бедных тварей. Они так налопались этой отвратительной травы, что она уже лезет у них сквозь шкуру». Бернадетте, которая не понимает шуток и верит всему, что ей говорят, становится жалко своих овечек, и она заливается слезами. Сейчас ей вспоминаются эти зеленоватые овечьи спины и собственные слезы, потому что, по желанию дамы, ей самой приходится глотать эту отвратительную траву.

Но ей предстоит нечто еще худшее, так как она должна выполнить и первую, самую важную часть приказа: «Пойдите к источнику, напейтесь и омойте лицо и руки». Раз дама говорит об источнике, значит где-то должен быть источник, это Бернадетте ясно. Если источника не видно, значит он течет под землей. Девочка внимательно вглядывается в клочок земли, с которого она только что рвала и ела горькую траву. Затем она начинает обеими руками копать и выбрасывать землю, как крот. В глубине грота прислонены к стене лопаты и заступы дорожных рабочих. Но Бернадетте в голову не приходит взять одну из лопат и облегчить себе работу. С яростным усердием она продолжает руками раскапывать землю, все время страшась, что дама потеряет терпение, глядя, как медленно она продвигается к цели. Даже сейчас, выполняя непонятное ей задание, пытаясь найти источник, которого нет, она ни на секунду не задумывается о намерениях дамы. Насколько чутко она пытается проникнуть в отношения, связывающие ее одинокое «я» с одиноким «ты» дамы, настолько же мало ее волнуют сокровенные цели дамы. Девочка повинуется слепо и бездумно, поскольку любовь ее безгранична. И в этом она типичная женщина,

которой, в сущности, безразличны планы любимого, лишь бы они давали ей возможность снова и снова доказывать свою преданность.

Когда размеры вырытой ямки чуть превосходят объем миски для молока, девочка натыкается на влажную почву. Следующие комья земли она вытаскивает гораздо легче. Она переводит дыхание и делает небольшой перерыв, так как работа ее утомила. На дне ямки образуется маленькая грязная лужица, воды в ней не наберется и на полрюмки. Но этой влаги хватит, чтобы смочить губы и увлажнить лоб и щеки. Без сомнения, дама, приказывая Бернадетте «напиться и омыть лицо и руки», как раз и имела в виду подобное, чисто символическое действие. Но даме, конечно, легче иметь дело с символами, чем девочке Бернадетте Субиру. В том возвышенном мире, откуда она пришла, к символам, очевидно, вполне привыкли. Но в мире Субиру всё понимают практически и буквально. Девочка сочла бы выполнение приказа чистейшим обманом, если бы не сумела взаправду напиться и омыть лицо и руки.

Поэтому она еще немного углубляет ямку, в результате чего лужица воды, вероятно просочившаяся в почву во время последнего наводнения, исчезает, смешавшись с грязью. Что остается

Бернадетте — только взять в руки влажный комок грязи и размазать его по всему лицу, а другой комок запихнуть в рот и постараться проглотить. Последнее удается ей только после многих безуспешных попыток, отчего с чудовищно измазанного лица девочки не сходит гримаса отвращения и одновременно страшного напряжения воли. Но едва отвратительный комок после многих глотательных движений удается протолкнуть в пищевод, как против этой пищи мертвых начинает бунтовать пустой желудок. Приступ рвоты сотрясает Бернадетту. Ее рвет на глазах пяти тысяч зрителей, жаждавших увидеть чудо. Рвет долго, снова и снова, пока весь комок земли не извергается наружу.

Мать, тетя Бернарда и тетя Люсиль бросаются к Бернадетте. Кто-то приносит бутылку воды из мельничного ручья. Девочке оттирают лицо и руки, застирывают платье. Всем за нее стыдно. Только сама Бернадетта, смертельно измученная, положившая голову на колени матери, не ощущает стыда, у нее нет для этого сил. Она даже не замечает, что дама ее покинула.

Но что видят люди, которым неведом приказ дамы, которые понятия не имеют, что Бернадетте велено «напиться, омыть лицо и руки, есть

траву»? Сначала они видят, как Бернадетта, не убоявшись шипов, окунает лицо в колючий куст. Этот аскетический жест очаровывает толпу. Все воспринимают его как преддверие чуда. Но затем происходит беспрецедентная перемена тональности. Бернадетта растерянно ползет на коленках прямо к толпе, хотя до сих пор она, подобно священнику во время богослужения, большей частью была обращена к людям спиной и только изредка оборачивалась, как тот же священник, чтобы возвестить слово Невидимой. А теперь она явно не знает, куда ползти. То направляется туда, то сюда, причем ее взгляды, обращенные к нише, полны сомнения и нерешительности. Ее лицо не преобразилось, это обычное лицо девочки Субиру. После чего она бродит по гроту, находит в углу траву, срывает ее и ест, начинает ногтями рыть землю, мажет себе лоб и щеки грязью и, в довершение всего, проглатывает комок земли, который затем с невероятной мукой извергает. К ней подбегают мать и тетки, чтобы мокрыми тряпками кое-как оттереть замарашку и привести в человеческий вид.

Вот и всё, что видят и понимают люди. Их глазам представляется не что иное, как картина отталкивающего душевного расстройства, по-

добную которой нечасто можно наблюдать и в сумасшедшем доме. И это чудо сегодняшнего четверга? Не только восторг или ярость огромной толпы, но и ее разочарование подобно буйству стихии. Если до того мгновения, как к измученной девочке подбежали мать и тетки, стояла мертвая тишина, то теперь толпа разражается долгим, мучительным, не приносящим облегчения смехом. Толпа смеется не столько над Бернадеттой, сколько над собой, над собственными легковерием и глупостью. Тысячи людей, поддавшись непонятному дурману, надеялись, что здесь, в Лурде, произойдет нечто, что придаст смысл их бессмысленному существованию, докажет их недоказуемую веру. Теперь их снова окружают будни, гнусная повседневность; «чудо розы» не прорвало пелену реальности. Бернадетта — всего лишь несчастная безумица, а дама — «блуждающий огонек», порождение ее больного мозга. Декан и комиссар полиции, напротив, трезвые и умные головы, на них можно положиться.

— Явно спятила! — говорят теперь наиболее рьяные защитники Бернадетты. — Кто бы мог подумать?

Жакоме дождался своего часа. Теперь или никогда он должен пресечь это безобразие в корне,

затоптать его, как тлеющий костерок. Чего не смогли добиться министерства, префектура, супрефектура, имперская прокуратура и мэр, сумеет сделать он один, простой полицейский комиссар. Его будет хвалить начальство, его узнает вся просвещенная Франция, он снимет тяжкий груз с духовенства, а в газетах, которые выписывает месье Дюран, прочтет о себе: «Простой комиссар полиции отрубает голову гидре суеверия!» Жакоме в сопровождении своего вооруженного отряда находит некое возвышение, использует его как ораторскую трибуну, и вот уже его пронзительный, натренированный на допросах голос оглашает окрестность:

— Эх вы, люди! Не смогли раскумекать, что вас дурачат и водят за нос? Несколько мошенников, которых мы еще обнаружим, смеются над вами и производят смятение в умах. Наконец-то вы своими глазами увидели, что малышка Субиру — несчастная помешанная, которую в ближайшие дни поместят в закрытое заведение. А с Пресвятой Девой, земляки, все было надувательство и подлый обман. Что ей, делать больше нечего, Пресвятой Деве, как отрывать вас всех от работы в обычный четверг, да еще в конце февраля, когда дел полным-полно? Пресвятая Дева желает

вам добра и не хочет, чтобы вы теряли время и терпели убытки. Она вполне довольна, когда вы исправно молитесь по четкам. Так же думает и духовенство. Пресвятая Дева не хочет, чтобы у полиции были лишние затруднения и расходы. Взгляните-ка на этих жандармов! Из-за ваших дурацких выдумок нам пришлось затребовать еще троих из Аржелеса. У жандармов и так служба тяжелая, день и ночь на посту, а вы еще добавляете им трудности. Те деньги, которые мы пустили на ветер из-за вас, можно было бы потратить с большим толком. Поэтому образумьтесь наконец, добрые люди! Подумайте: возможно ли чудо в будний день? Да разве такое бывает? Чуда и в воскресенье-то не дождешься! Господь Бог не терпит непорядка в природе, как его величество император не терпит непорядка в государстве. Надеюсь, вы меня поняли, и завтра в нашей местности опять воцарятся спокойствие и порядок…

После этой яркой, сдобренной народным юмором речи присмиревшая и растерянная толпа начинает расходиться. Большинство и так знало, что все это обман и безумие. Некоторые угрюмо молчат, так как им трудно примириться с разочарованием и позором. Между гротом и ручьем сидит на раскладном стульчике тучная мадам

Милле — последнее время она всегда носит его с собой. Ее окружили мадам Бо, мадемуазель Эстрад, портниха Пере и еще одна дама, принадлежащая к высшему обществу Лурда. Последнюю зовут Эльфрида Лакрамп, она племянница доктора, пользующегося авторитетом в этом кругу. Милле не сдерживает слез.

— У меня на душе так тяжко, будто я потеряла любимое дитя… — всхлипывает она.

— Моей вины тут нет, дорогая мадам Милле… Я всегда советовала вам не доверять девчонке, — внушает ей кривобокая Пере. А мадам Лакрамп обращает свой блеклый взор к Небесам.

— Вы не должны были уговаривать меня пойти с вами, дорогая мадам Милле, — вздыхает она. — Вы же знаете, как хрупка моя вера. Из-за этой аферы она, к сожалению, пошатнулась.

Доктор Дозу и налоговый инспектор Эстрад вместе возвращаются в город. Они не разговаривают. Только у лесопилки Эстрад произносит:

— Удивительно, что даже люди нашего круга так поддаются массовому гипнозу…

Глава двадцатая
Зарница

Поведение Бернадетты после этого позора многим вновь представляется загадочным. Когда в прошлый понедельник дама не появилась, она готова была умереть от отчаяния, хотя ее неудача в тот день не отвратила от нее сердца приверженцев. Но сегодня, после такого провала, после того как ее вырвало в присутствии стольких свидетелей ее возвышения, она совершенно спокойна, невозмутима и даже — надо признать — полна какой-то радостной уверенности.

Люди не понимают Бернадетту, потому что все они, стоящие высоко или низко, одинаково привыкли измерять свою жизнь успехом. Девочка Субиру, благодаря невероятному соединению сказки с давно подавленными, оттесненными в глубину чаяниями простого люда, стала средоточием жизни города и округа, предметом разговоров и споров во всех, без исключения, домах. Она стала «звездой», как становится «звездой» всякий властитель, завоеватель, герой, первооткрыватель, художник, попавший под

лучи прожекторов успеха. Успех автоматически делает человека актером, разыгрывающим собственную жизненную роль, что и соответствует профессиональному термину «звезда». Кто не потеряет своей неосознанной естественности, когда на него устремлены сотни тысяч глаз?

Так вот, Бернадетта естественности не теряет. Ее невинность во всем, что касается успеха, настолько непостижимо велика, что сохранение естественности даже не является особой заслугой. Если люди ее не понимают, то и Бернадетта не понимает людей. Зачем надо было всем этим тысячам подсматривать за ее встречами с дамой? Что это им дает? Если бы никто не приходил, было бы гораздо лучше! Тогда, может быть, декан, прокурор и комиссар полиции оставили бы ее в покое. Вся эта навязчивая свита приносит ей одну досаду и муку. Важна любовь! Важна Единственная, Бесконечно Любимая! И никто больше. В глубине души у Бернадетты нет ни малейшей потребности убеждать кого-то, что дама действительно существует, а не является плодом ее фантазии. Лишь по принуждению, а не по доброй воле ей приходится спорить на эту тему. Что же ей делать, если священник и чиновник устраивают ей перекрестный допрос? Люди

все время говорят о Пресвятой Деве. Но кто бы ни была дама, для Бернадетты она просто дама, и в этом слове для нее в тысячу раз больше личного и значительного, чем в самом святом имени. Бернадетта хорошо понимает, что причиной всеобщего смятения явились далеко идущие тайные планы дамы, ее послания и приказы. Если бы Дарующая Счастье пеклась лишь о ней, Бернадетте, ей было бы куда легче. Но Бернадетта, испытавшая такую бездну блаженства в часы экстаза, достаточно скромна, чтобы не роптать на побочные цели дамы, хотя сегодня из-за источника действительно попала в дурацкое положение. Но делать нечего. Приказы дамы должны исполняться в точности, что бы люди ни говорили.

Кашо весь день полон посетителей. Не успеет тяжелая входная дверь захлопнуться за одним, ее тут же открывает следующий. Люди сидят на кроватях, на столе, даже на полу, который госпожа Субиру ежедневно моет. Но здесь не царит, как прежде, восторженное настроение, здесь уже не курят фимиам супругам Субиру вопросами: «Как вы должны быть счастливы, мадам, имея такого ребенка!» или «Кто мог предположить, что в кашо родится такой ангел?» Сегодня взгляды посетителей полны грустного укора, будто в кашо

родился не ангел, а возмутительный урод и семья не может не чувствовать за собой вины. Плохой знак, что тетя Бернарда вместе с послушной тетей Люсиль распрощалась так рано. Тетушка Сажу грустно качает головой:

— Нет, этого не должно было случиться… Только не это!

Кума Пигюно, напротив, отводит Луизу Субиру в сторонку:

— Знаешь, моя милая, что сказала мадам Лакрамп? А у нее большой опыт, ведь ее собственная слабоумная дочь в сумасшедшем доме. Она сказала: «Это состояние продлится еще месяца два, затем появится дрожание глазного яблока, наступит прогрессирующий паралич, откажет речь. Да-да, моя милая, это огромное несчастье, но вы должны заранее похлопотать о месте в сумасшедшем доме в Тарбе. Нужно перенести это стойко, да-да, уж я-то знаю…»

— Praoubo de jou! — несколько раз восклицает Луиза голосом, полным рыданий. Между тем в кашо появляется портниха Пере и перед всей публикой берет в оборот Бернадетту.

— У бедной мадам Милле, — сообщает она, — такая чудовищная мигрень, какой не было уже полгода. Она велела позвать сразу двух врачей:

доктора Перю и доктора Дозу… Дитя мое, как можно было так неприлично себя вести? Лопать траву, лопать грязь, да еще и допустить, чтобы тебя вырвало?

Бернадетта как ни в чем не бывало объясняет:

— Но дама потребовала, чтобы я пошла к источнику, напилась воды, омыла лицо и руки. А там не было источника. Тогда я стала копать и нашла немного воды. Но воду можно было проглотить только вместе с землей…

Портниха дергается, словно укушенная гадюкой:

— Так ты утверждаешь, что это Святая Дева превратила тебя в скотину! Нет, вы только послушайте! Эта ненормальная хочет нас уверить, что Богоматерь вела себя как дьяволица и велела ей жрать землю и траву! Это уже слишком! О таком святотатстве следовало бы сообщить господину кюре…

— Вы говорите неправду, мадемуазель, — совершенно спокойно объясняет Бернадетта и повторяет, наверное, в сотый раз: — Я не знаю, кто эта дама.

— Зато я знаю, что ты хитра не по годам, — парирует Пере, подмигнув присутствующим.

Пигюно бросает сокрушенный взгляд на Луизу:

— Хитра? Это бедная больная девчушка хитра?..

Бернадетта деловым тоном продолжает защищать даму:

— К тому же она не говорила мне, что я должна есть землю, она только сказала, что надо напиться из источника…

Дядюшка Сажу закуривает трубку, чего, из уважения к обитателям этого жилища, давно уже здесь не делал. Откашлявшись, он заключает хриплым голосом каменотеса:

— Но поскольку источника нет, значит дама солгала!

— В самом деле, солгала, — вторят ему другие голоса.

Глаза Бернадетты загораются гневом.

— Дама не лжет!

У сапожника Барренга, которого скандал у грота очень взволновал, трясутся не только руки, но и голова.

— В горах источники текут всегда сверху вниз, а не снизу вверх, — уверяет он. — Это вам скажет любой ребенок. Внизу только грунтовые воды…

Своими ответами Бернадетта все же достигает того, что ее нелепое поведение этим утром уже не кажется присутствующим таким абсурдным.

Как всегда, побеждает непосредственность, с какой девочка изображает даму как человеческое существо, странные желания и приказы которого надо выполнять беспрекословно, даже если они неудобны и неприятны. Ее логика, опирающаяся на убедительную силу любви, в сотни раз превосходит критические способности этих простых людей. Они сами не замечают, как девочка вновь навязывает им предпосылку, что Прекраснейшая существует, что она в высшей степени разумна и не может иметь в голове ничего коварного или противного разуму. История с источником, которого не было, ни в малейшей степени не тревожит девочку. Лицо ее кажется сегодня необыкновенно свежим, свежее, чем четырнадцать дней назад. Щеки, оцарапанные поцелуем тернового куста, покрывает нежный розовый румянец. Заплаканная Луиза Субиру не сводит с дочери испуганных глаз. Нет, не может быть правдой то, что говорит Пигюно: что через месяц-другой Бернадетту разобьет паралич и она утратит речь. Подлая ведьма эта Пигюно, и поразительно, что в этот час величайшего разочарования мать начинает верить, что Бернадетте в самом деле является Пресвятая Дева в образе очаровательной и своенравной дамы.

Только один человек еще не произнес в это утро ни слова. Это Франсуа Субиру, отец семейства. Но тут происходит нечто, чего едва ли можно было ожидать от этого нерешительного, зависимого от чужих мнений человека. Он выставляет всех собравшихся за дверь. Делает он это, конечно, со всем присущим ему достоинством и тактом, раскланиваясь во все стороны и прижимая руку к сердцу.

— Я бедный человек, — говорит он, — и как будто мало мне было обрушившихся на меня несчастий. Бог послал мне под конец еще и это испытание. Я не могу проникнуть в душу своего ребенка. Я не знаю, действительно ли Бернадетта не в себе. Одно я знаю твердо: она нас не обманывает. Но что мне делать? Надо жить дальше. Однако в такой обстановке мы жить не можем. В этой комнате, дорогие соседи и родственники, очень мало воздуха, а нас здесь шестеро. Поэтому я прошу вас, не обижайтесь, но сейчас уходите и больше не приходите…

Эти слова порождены такой душевной болью, что непрошеные гости тут же спешат исчезнуть, не затаив зла, кроме Пере и Пигюно, которые тотчас отправляются разносить дурные новости. Последним из кашо выбирается одноглазый Луи

Бурьет, тот, кто выполняет отдельные поручения хозяина почтовой станции Казенава. Субиру просит его сообщить хозяину, что он болен. Затем, впервые за долгое время, вновь привычно укладывается в постель, хотя в два окошка кашо еще заглядывает бледное солнце.

Мария, которой хочется утешить сестру, садится рядом с ней за стол и открывает катехизис. Девочки начинают вслух учить урок, как будто ничего не случилось. Жан Мари и Жюстен, которые благодаря даме переживают время упоительной, ничем не ограниченной свободы, отправляются в одну из своих исследовательских экспедиций…

Нередко великие мысли, чтобы родиться на свет, выбирают отнюдь не великие головы.

Бурьет, бывший каменотес, не совсем слеп на правый глаз. Если бы этот глаз ничего не видел, он не так бы ему досаждал, или, говоря словами Евангелия, не так бы его «соблазнял». Но правый глаз мучает Бурьета непрестанно, он чешется, горит, он почти всегда воспален. Кроме того, мутное темно-серое пятно, от которого правый глаз не может освободиться, нарушает ясность восприятия левым глазом. Бурьет сделал свой недуг центром собственной жизни. С одной стороны,

этот недуг привлекает к нему сочувствие людей, с другой — позволяет постоянно жалеть себя и испытывать от этого приятное чувство успокоения. «Что можно требовать от слепого?» — любимая присказка этого инвалида. Бурьет действительно не слишком много от себя требует, в расцвете сил он отказался от тяжелой мужской работы, чтобы перебиваться случайными заработками посыльного. Это легче, а перед семьей и миром у него есть надежное оправдание — его увечье.

Хотя исцеление вроде бы не сулит Бурьету никакой практической выгоды, но по дороге от Субиру к Казенаву ему приходит в голову неожиданная мысль. Подобно всем больным, страдающим от постоянного недомогания, Бурьет считает, что если лекарство не вредит, то оно уже полезно. Он поворачивает обратно и возвращается на улицу Пти-Фоссе, где проживает он сам и его семья. У двери ему попадается на глаза его шестилетняя дочурка.

— Послушай-ка, детка, — спрашивает ее Бурьет, — ты знаешь грот Массабьель, где Бернадетте Субиру является ее дама?

— Конечно знаю, папочка, — обиженно заверяет малышка тоном завсегдатая, которого ошибочно приняли за новичка. — Я была там уже

целых три раза…

— Послушай, деточка, — говорит отец. — Беги к маме! Попроси у нее большой кусок мешковины. Потом сбегай в грот и набери мне сырой земли, той, что там накопана в правом углу, в глубине. Не ошибись: в правом углу, в глубине! Затем принеси мне ее на почтовую станцию! Поняла?

Через полчаса, завернув в платок немного земли — теперь уже довольно мокрой кашеобразной грязи, — Бурьет забирается в самую темную часть конюшни Казенава. Там он находит пустое стойло, садится на солому и прислоняется спиной к кирпичной стене. Затем плотно прижимает платок с сырой землей к правому глазу. Вода из узелка сочится у него по лицу. Считая, что лекарство подействует не скоро, Бурьет сидит в своем темном укрытии, пока часы на башне Святого Петра не бьют два. За часы, проведенные в конюшне, земля в платке все еще не высохла.

Когда Луи Бурьет выходит из ворот конюшни, он в испуге отшатывается, так много света льется ему в глаза. Он торопливо закрывает здоровый левый глаз. Неподвижное темно-серое пятно в правом глазу стало молочно-белым и начало рассасываться. Плотный туман превратился в тонкую, прозрачную гряду облаков, в которой

мелькают огненные зарницы. Сквозь эти перистые облака Бурьет может отчетливо различать очертания людей и предметов. Он приходит в необыкновенное волнение, не столько от состояния своего глаза, сколько от своего открытия, и опрометью бежит через площадь Маркадаль к доктору Дозу.

В это время Дозу проводит свой ежедневный прием. Сегодня у него полно пациентов. Но Бурьета невозможно удержать. Он без стука врывается в святая святых врача, в его кабинет.

— Что вы себе позволяете, Бурьет? — напускается на него Дозу. — Будьте добры выйти за дверь и дождаться своей очереди!

— Но я не могу ждать! — выпаливает Бурьет в полной растерянности. — Мой правый глаз прозрел! Я прикладывал к нему сырую землю из грота и теперь вижу, доктор! Это чудо…

— Вам всем не терпится дождаться чуда, — ворчит Дозу. Затем плотно занавешивает окна, зажигает керосиновую лампу с сильным отражателем и принимается исследовать глаз Бурьета.

— Четыре больших рубца на роговице. Значительное отслоение сетчатки. Тем не менее вы им немножко видите, разве не так? Иногда лучше, иногда хуже…

— Да, иногда лучше, иногда хуже, — соглашается Бурьет, которого, как любого человека, страдающего глазами, легко поколебать в оценке его зрения.

— И сегодня вы видите им лучше, не так ли?

— Да, доктор, гораздо лучше, будто вспыхивает зарница и в ее свете я все вижу.

— Зарница, мой дорогой, — еще не настоящее зрение. Просто вы несколько часов нажимали на глазное яблоко и сильно раздражили нерв. — Дозу поворачивает лампу так, чтобы она ярко осветила таблицу на противоположной стене. Затем указывает на первую букву в верхнем ряду:

— Можете прочесть мне эту букву правым глазом, Бурьет?

— Нет, доктор, не могу.

— А левым глазом можете?

— Нет, доктор, не могу.

— Черт возьми! И левым не можете? А двумя глазами?

— И двумя глазами не могу, доктор, потому что я совсем не умею читать.

Дозу отдергивает занавески.

— Приходите завтра, Бурьет, когда вы будете спокойнее.

Выходя из комнаты, инвалид упрямо бормо-

чет:

— И все-таки это чудо.

Но доктор Дозу не знает, относить ли данный случай к офтальмологии или к психиатрии.

Часть третья
Источник

Глава двадцать первая
День после позора

Луиза Субиру твердо решила отныне быть на стороне дочери. Она решила так не ради дамы. К даме она относится не слишком благосклонно. Дама сманила ее любимое дитя, похитила Бернадетту. Кто может отрицать, что с одиннадцатого февраля ее девочка уже не прежняя Бернадетта. Если сейчас в кашо живется несколько беззаботнее, чем раньше, то это ничтожная плата за все волнения, опасности, оскорбления, выпавшие им на долю. Но особенно сердится Луиза на даму за ту зловещую фразу, что она сказала Бернадетте во время третьего явления: «Не могу обещать вам, что сделаю вас счастливой на этом свете, только на том».

Нельзя сказать, что Луиза Субиру была плохой христианкой и недооценивала важность счастья на том свете, нельзя хотя бы потому, что пребывание там несомненно продолжительнее пребывания здесь. Но здоровый девиз Луизы: немножко счастья на этом свете и немножко на том, не слишком много и не слишком мало,

серединка на половинку! Главное, не надо чересчур резких переходов между «здесь» и «там». Нет уж, увольте! Зачем малышке Бернадетте мучиться здесь от нужды и астмы, терпеть судебное преследование, насмешки и подозрения ради того, чтобы там, наверху, вести изысканную жизнь, к которой она не привыкла и к которой не стремится? Такое обращение с Бернадеттой матушка Субиру считает несправедливым. Они с мужем всю жизнь бьются за то, чтобы обрести право на обычную, заурядную жизнь. Не надо им есть фазанов и пить бургундское, только бы не голодать! Предел их мечтаний — вновь приобрести небольшую мельничку, вроде той, что была у них в Боли.

Но с тех пор как в кашо вошла слава, скромный диапазон чувств госпожи Субиру несколько расширился: к прежним добавилось новое — тщеславие! Луиза стала чем-то похожа на мать одаренного ребенка, какой-нибудь маленькой музыкантши, которая ежедневно дает концерты. Пока Бернадетта всецело отдается встречам с дамой, ничуть не тревожась об одобрении общества, Луиза недоверчиво наблюдает за публикой, ревниво отмечая рост или падение общественного интереса, бурные или жидкие аплодисменты.

Провал в четверг был для нее настоящим ударом. Как все матери вундеркиндов, она особенно нетерпима к самым приближенным из их свиты. Они для нее как бы на ролях апостолов, и это обязывает их к неизменному безусловному восхищению. Сегодня она особенно зла на Круазин Бугугорт. Эта никчемная особа, которая даже не умеет обихаживать своего полуживого уродца и по любому поводу обращается к Луизе, не жалеющей для нее ни времени, ни сил, так вот, эта особа осмелилась состроить отвратительную гримасу, когда Бернадетте пришлось есть землю. Ничего, Луиза ей покажет! Пусть только позовет ее еще раз на помощь! А высокомерная толстуха Милле с ее вечной мигренью! А Бернарда Кастеро, родная сестра! Поведение Бернарды Кастеро мучит ее так сильно, что она вручает поварешку Марии, накидывает платок и мчится к сестре. С непривычной резкостью набрасывается она на «семейного оракула»:

— Ну что, ты тоже предала мою Бернадетту?

— Не ори, идиотка! — высокомерно обрезает ее Бернарда.

Луиза совсем выходит из себя:

— Я скажу тебе: ничто, ничто не заставит меня отступиться от моего ребенка! Вы все можете

сидеть по домам, а я завтра пойду с ней к гроту!

Урожденная Кастеро, носящая фамилию покойного мужа, Тарбе, презрительно смеется:

— Как была дурой, так дурой и осталась! Ты родная мать, а я всего лишь крестная. Но кто был рядом с твоим ребенком, когда ты от страха пряталась под одеяло и боялась пикнуть?

Это чистая правда. Луиза быстро сникает перед всегдашним превосходством сестры. Массивная Бернарда с бельевым вальком в руках угрожающе надвигается на Луизу:

— Само собой разумеется, мы все пойдем к гроту, глупая курица! Еще девять раз! Так хочет дама. И надеюсь, весь этот птичник останется дома и лазанье по горам прекратится. Тебе, конечно, это придется не по вкусу…

В пятницу надежда Кастеро сбывается. Большинство зрителей остаются дома. Среди пришедших, число которых едва превышает сотню, много недоброжелателей, завистников, сомневающихся, которые пришли поглазеть на продолжение вчерашнего позора. Не обходится без Пере и Пигюно, маячит также группа школьниц под предводительством Жанны Абади. Из приверженцев Бернадетты присутствуют только мать и сын Николо. Бернадетта рада, что зрите-

лей собралось мало. Так ей гораздо свободнее, взгляды сотен и тысяч не жгут спину.

Она становится на колени перед нишей и вынимает четки, хотя дамы не видно. Бернадетта сразу понимает, что сегодня дама не придет. Пропуск свидания для Бернадетты уже не такой удар, как в прошлый понедельник. Девочка сделала большие успехи в познании дамы. Бернадетта знает теперь, что дама не так своенравна, как она предположила вначале. У дамы, безусловно, есть и другие обязательства, договоренности и дела. Вероятно, она тоже соблюдает какой-то определенный порядок и подчиняется правилам, которые не хочет нарушать. Просто она не всегда может прийти на свидание. Иногда и ей мешают какие-то другие дела. Несмотря на сегодняшнее отсутствие Благодатной, Бернадетта уже не мучится подозрением, что дама вероломно ее покинула, даже не попрощавшись. Любовь девочки обрела бóльшую уверенность. В глубине души она допускает, что дама, возможно, не пришла на свидание из-за обычной усталости. Вполне вероятно, что у дамы сегодня мигрень. Благородные дамы часто страдают от этой болезни с благозвучным названием, о сути которой Бернадетта ничего не знает. Зато она знает, какое терпение

требуется от дамы каждый раз, когда та решает посетить Массабьель. Бернадетта тихо молится по четкам. Затем встает и с уверенной улыбкой обращается к присутствующим:

— Сегодня дама не пришла… — И после небольшой паузы пытается объяснить поточнее: — Наверное, вчера она очень утомилась…

Это одно из тех высказываний, с помощью которых Бернадетте замечательно удается очеловечить Невидимую и приблизить ее к людям. Кто слышит такие слова, слетающие с губ девочки, кто смотрит в ее темно-карие, спокойные детские глаза, тот не может ей противостоять и усомниться в ее искренности. Да, вчера она ела землю, давилась, сотрясалась от рвоты, но сегодня это уже не кажется таким унизительным. Видно, дама имела в виду что-то непонятное, но целесообразное, бог ее знает что, и, побудив посредницу к действию, несколько переоценила ее и свои возможности. Поживем — увидим! У некоторых женщин снова на глазах слезы. Фраза Бернадетты передается из уст в уста. И никого не волнует клочок мокрой земли в правом углу грота.

Зарница в глазу Бурьета уже не вспыхивает. Но светлые перистые облака вместо темно-серого тумана остались. Сквозь эти легкие облака

он довольно ясно различает предметы. И не сомневается, что чудесное исцеление произошло благодаря сырой земле из Массабьеля. К доктору он, естественно, больше не идет. Тот опять лишит его уверенности и помешает продолжению чуда. Бурьет твердо намерен продолжать лечение. Он уже рассказал нескольким людям о внезапном улучшении зрения. Большинство подняло его на смех. Странным образом, больше всего ему поверили двое или трое из бывших коллег. Каменотесы и дорожные рабочие составляют особый цех, который славится своей солидарностью. Как правило, все это бедняки, люди с подорванным здоровьем. Но если один из них крупно выигрывает в лотерею — такой случай был недавно, — он угощает своих друзей, пока от выигрыша не остается ни монетки. Каменотесы и дорожные рабочие в провинции Бигорр не более благочестивы, чем все прочие. Но если с одним из них случится чудо, другие будут приветствовать его как успех всего цеха. Поэтому старые друзья, которым инвалид рассказал о своем необыкновенном исцелении, радостно переглянулись и оценили это по достоинству.

Около трех часов Луи Бурьет отправляется в Массабьель, чтобы принести новый узелок

с землей. У грота он застает группу женщин, склонившихся над маленьким ручейком, вытекающим как раз из того места в гроте, где находится мокрая земля, и прокладывающим себе путь по песку к ручью Сави. Ручеек очень узок, не шире струйки воды, бегущей вдоль садовой дорожки после летнего ливня. Но течет он быстро и целеустремленно, видимо, питающий его ключ вполне надежен.

— Что это такое? — недоуменно спрашивает Бурьет.

— Мы здесь молились по четкам, — рассказывает одна из женщин, — и вдруг появилась вода. Мы сперва даже не заметили…

— Черт побери! — Бурьет даже присвистнул от удивления. — Похоже, это не грунтовые воды, а настоящий родничок…

Глаза старой крестьянки из Оме сияют.

— Сказала же Пресвятая Дева Бернадетте: «Идите к источнику, напейтесь и омойте лицо и руки…» Вот вам и источник!

— Клянусь Господом, это не грунтовые воды, — восклицает все более взволнованный Бурьет и со всех ног бежит на мельницу Сави поделиться новостью с Антуаном Николо. Любой опытный мельник хорошо разбирается в трех вещах:

в зерне, во вьючных животных, то есть в лошадях и ослах, и, не в последнюю очередь, в воде. Если потребуется, хороший мельник может запрудить ручей, управлять лодкой и расчистить источник. Николо со знанием дела склоняется над струйкой воды и нащупывает пальцами то место, откуда она вытекает.

— Если уж Бернадетта что сказала, — заявляет он, — то все без обмана… Это родник, и течет он из скалы…

— Значит, Пресвятая все же сотворила чудо! — вырывается у одной из женщин.

— Направить источник в русло — непростое дело, — объясняет мельник, — и я этому делу не обучался. Родник состоит обычно из нескольких водяных жил, их надо соединить вместе. Эти струйки легко засыпать землей, и источник исчезнет без следа… Было бы хорошо, женщины, если бы вы пока держали язык за зубами…

Антуан Николо и Бурьет коротко совещаются. Затем вместе доходят до проезжей дороги в Тарб, которая за перевалом Трущобной горы поднимается круто вверх. Там на высоте сейчас трудятся каменотесы и дорожники, укрепляя полотно дороги щебенкой. Из благодарности Пресвятой Деве коллеги Бурьета готовы потрудиться над благо-

устройством источника. Окончив работу, они с кирками на плечах направляются к гроту. Большая часть пришедших принимается улучшать крутую и опасную тропу к гроту и огораживать ее деревянной балюстрадой.

Дневной свет еще не вполне угас, когда Антуан послал на мельницу за смоляными факелами. При их мерцающем свете он принимается за свою искусную рискованную работу. Все получается даже легче, чем он надеялся. Как только он, прослеживая водяную жилу, углубился в скалу всего на два фута, оттуда внезапно вырвалась сильная струя толщиной с детскую руку. Выкопанная яма вмиг до краев заполняется водой. Теперь каменщики начинают выкладывать камнями стенки круглого бассейна размером с церковную купель. Они выбирают на берегу самые гладкие, отшлифованные камешки, умело пригоняют их друг к другу и замазывают щели известковым раствором. Затем так же выкладывают дно, оставляя лишь дыру для входного желоба, а пока Антуан силится удержать струю рукой, как удерживают под уздцы непокорную лошадь. И вот уже готовый каменный бассейн заполняется чистой прозрачной водой. Все жадно пьют. Обычная свежая вода из горного источни-

ка, без малейшего привкуса. Чуть позже Бурьет и Николо вновь идут на мельницу — надо притащить деревянные желоба, которые обычно есть в запасе у каждого мельника. По ним воды нового источника устремляются наружу и весело журчат, словно радуясь своему выходу на свет. Только после окончания всей работы Антуан спешит в кашо, чтобы принести победную весть Бернадетте.

Вечером Лафит и Кларан отправляются на прогулку по острову Шале. Февраль уже близок к концу, в воздухе чувствуется весна. На небе сияет ослепительная полная луна. Выйдя за ворота парка, они замечают вдали мерцающий красный свет факелов возле Массабьеля.

— Увидите, — говорит Кларан, — не будет покоя, пока…

— Что «пока»? — спрашивает Лафит, но ответа не получает.

— Увидите, — повторяет Кларан, — покоя не будет никогда.

Кларан был вчера свидетелем позорного провала Бернадетты. Оба господина подходят к рабочим, которые только что закончили свое дело и любуются результатом.

— Эй, друзья, — удивленно спрашивает их учи-

тель, — что вы здесь делаете?

— Вот вам и источник! — ликуя говорит Бурьет и показывает на него гордым жестом фокусника.

Антуан Николо погружает руку в бассейн почти по локоть.

— Бернадетта обещала источник. И источник появился. Да какой мощный! Не меньше сотни литров в минуту, клянусь…

Лафит трогает Кларана за плечо:

— Ну, друг мой, что вы скажете о моем предвидении? Я уже три недели назад говорил, что это будет не ореада и не дриада, а именно нимфа источника…

Кларан обращается к рабочим:

— Кто заказал вам эту работу и кто ее оплачивает?

— О, месье, — подмигивает один из каменотесов, — мы потрудились два лишних часика для дамы. Она наш хозяин. Когда-нибудь заплатит…

Среди общего смеха звучит голос мельника:

— Это, господа, и есть настоящее чудо. Им мы обязаны Бернадетте, над которой вчера все так насмехались.

— Спокойнее, Николо, — прерывает его Кларан. — О каком чуде вы говорите? Источник — не чудо. Он был здесь с незапамятных времен в нед-

рах горы. Бернадетта его не сотворила, а только открыла…

Лафит величественным жестом указывает на небо:

— Взгляните на луну, господа! Разве луна, эта мертвая звезда, что вечно кружит над нами, не чудо? Вы не замечаете больших чудес, поэтому вам требуются малые…

Этот пантеистский жест вызывает явное недовольство присутствующих. Седой дорожный рабочий насмешливо качает головой:

— Что вы говорите, месье? Какое же луна чудо? И почему? Мы ее хорошо знаем. Она была всегда. Что было всегда, не может быть чудом.

Друзья поворачивают назад к острову Шале.

— Сегодняшние писатели, — замечает педагог, — к сожалению, разучились говорить с народом.

— Вы, возможно, правы, мой друг, — отвечает Лафит. — Я не могу объяснить свою точку зрения не только народу, но и вам. Бог знает, что с вами всеми произошло. Я скоро исчезну. Сбегу от этой дамы из грота и от всех моих дорогих родственников, которые уже известили меня о своем приезде…

Глава двадцать вторая
Обмен четками, или: «Она меня любит»

Возникновение в Массабьеле источника — не только триумф Бернадетты, но и победа всего простого народа провинции Бигорр над светскими властями и церковью. Теперь не только утром тысячи людей стекаются к Массабьелю, чтобы благодаря экстазу девочки Субиру потрясенно наслаждаться присутствием Божественного и видимостью Невидимого, но и по вечерам туда же направляются длинные вереницы людей с горящими факелами. Дама для большинства уже не просто дама, неведомая молодая женщина, являющаяся на встречи с Бернадеттой, о которой можно гадать, есть она или нет. Она теперь Дама, именно так ее воспринимают люди всех убеждений, точно так же, как грот Массабьель стал для всех просто Гротом. И желание Дамы, столь категорично отвергнутое священником, исполнилось в полной мере: люди процессиями идут к Гроту.

Хотя простое появление прежде скрытого родника, с точки зрения теологического начальства,

не может быть признано чудом, все вокруг без конца говорят о Чуде. Даже такие просвещенные и трезвые головы, как Эстрад, Кларан и Дозу, находят обстоятельства, связанные с появлением источника, в высшей степени удивительными. Что касается широких масс, которые еще в четверг признали Бернадетту душевнобольной, а ее поведение отвратительным фарсом, то теперь они полны восхищения, усиленного чувством вины. Недоверчивые, сомневающиеся, враждебные наперебой стремятся продемонстрировать свою веру. Антуанетта Пере, например, каждое утро ровно в шесть часов появляется перед кашо и прямо на улице становится на колени, чтобы почтить бедное жилище чудотворицы. Таким образом она старается вернуть себе благосклонность мадам Милле, которая считает себя как бы матерью Чуда, так как уверовала в Бернадетту с самого начала. Пигюно, исполненная смирения, просит Луизу разрешить дочери благословить ее четки. Бернадетта с гневом отказывается. Жанна Абади, бросившая первый камень в избранницу Небес, и та пытается поцеловать ее руку, что ей не удается. А для народа, особенно для пиренейских крестьян, оживают далекие, забытые времена, оживает то, что не решился бы перенести в со-

временность самый смелый фантаст и романтик. Как будто в Лурде и его окрестностях вдруг забурлил вулкан сверхъестественных явлений и в давно заброшенном месте извергся огненной лавой. А люди здесь такие же, как повсюду. Правда, бедные, возможно еще беднее, чем в других областях Франции. Они живут в ветхих лачугах. Нередко спят в хлеву вместе со скотиной. Монетка в двадцать су — для них большая редкость. Мысли мужчин крутятся вокруг этой монетки. Мысли женщин заняты ежедневной похлебкой, вожделенным куском масла или сала, лоскутом красной или белой фланели на новый капюле. Не богатство, а бедность — оплот материализма. Только нужда и лишения обрекают человека на преувеличение ценности материального, насущного, само собой разумеющегося.

Девочке Субиру с помощью неведомых сил удалось совершить еще большее чудо, чем открытие источника. Сама того не сознавая и не желая, Бернадетта передает беднякам нечто от своей сострадательной удовлетворенности, от сладостного спокойствия, переполняющего ее душу, когда она может видеться с дамой. Непостижимым образом ей удается также передать людям частицу неземного блаженства своей

любви. Людская масса в целом и каждый человек в отдельности вдруг ощутили, что произошло некое смягчение нужды и гнета, понять которое они не в состоянии. Благодаря Бернадетте они почувствовали, что за стертыми словами, формулами и обрядами священников скрывается не только туманная возможность, как было прежде, но и поразительная, почти осязаемая реальность. Приближение того света к этому многое меняет. Нужда — уже не гранитная глыба, которую тащат на своем горбу от мгновения бессмысленного рождения до мгновения бессмысленной смерти. Гранит сделался пористым и непривычно легким. Даже тупой ум свинопаса Лериса причастен к этому ликующему осознанию праздничной двойственности жизни, которое переполняет буквально всех. Пастух давно уже не пасет свиней возле Массабьеля. Зато он целый день распевает своим звонким переливчатым голосом песни родных гор. Вся жизнь, ненависть, вражда, страх, недоверие, ревность — все в значительной мере теряет свою важность. Ведь каждое утро является Дама, чтобы доказать, что существует иная жизнь, кроме земной. Дело, следовательно, не в том, чтобы рыскать, как голодный пес, в поисках куска хлеба. К труду начинает примешиваться

элемент игры. Женщины по-иному доят коз. По-иному стирают белье. И все сердца трепещут от ожидания: завтра! Что произойдет в Гроте завтра?

Лурд становится эпицентром землетрясения, которое охватывает всю Францию. Францию, которая прошла через три революции, сражавшиеся за свободу разума и против засилья креста, ибо крест несли перед собой высшие сословия, желавшие сохранить свои привилегии. Эта Франция сейчас ярится по поводу событий в Лурде, ибо считает их рецидивом опасной болезни, возвратом к преодоленным предрассудкам и ложным ценностям. Человек, как объяснял своим ученикам Кларан, живет еще в самом начале времен. Земля еще полностью не завоевана и не освоена. Промышленность со своими новыми машинами обеспечит счастье и процветание всему человечеству. Нет более важной задачи, чем окончательно освоить землю и создать на ней условия для всеобщего счастья и благоденствия. Кто мешает выполнению этой задачи своими сверхчувственными фантазиями, тот смертельный враг прогресса и всего человечества. Так думает господин Дюран, принимая во внимание высказывания парижской прессы;

так же думает и парижская пресса, принимая во внимание мнение господина Дюрана. Пресса не поднимается даже до утверждения поэта Лафита, что луна есть чудо. Чудо для нее — это отсталость, это обскурантизм, который не желает видеть, что Вселенная организована достаточно элементарно. Небо — пустое неподвижное пространство, в котором носятся несколько триллионов разнообразных галактик. Небо так же естественно и материально, как и вся Вселенная, и там, где между изолированными огненными шарами зияет беспредельная пустота, нет и не может быть места для сверхъестественного. На второстепенном спутнике в одной из второстепенных галактик влачит свое существование особая порода обезьян, называемая «человек». Представление, что мужские и женские особи этой жалкой породы являются подобиями тех существ, что управляют Вселенной (*управляют* — тоже вполне антропоморфное понятие), столь же нелепо, как взгляды дикарей, которые не причастны еще к величайшей победе большей части людского племени — к отказу от своих фантомов. Только когда будет преодолена недобросовестная и злонамеренная глупость, лежащая в основе всякого иллюзионизма, когда человек отречется от

первобытного заблуждения, что Земля вместе с ним самим есть центр Вселенной, и признает, что дух — всего лишь обусловленная необходимой потребностью целесообразная функция материи, когда человек перестанет считать свою жизнь чем-то необычайным и согласится, что она всего лишь физико-химический и биологический процесс — что, по существу, так и есть, — только тогда человек станет истинно человеком, а не жалким полуживотным, одержимым верой в демонов. Это очеловечивание приведет к всеобщей терпимости, к верховенству разума и к полному отмиранию всех темных и страшных инстинктов. Посему лурдская афера есть несомненное зло, которое нельзя недооценивать, ведь она, забрасывая дорогу допотопным мусором, пытается преградить человечеству ясный путь к освобождению от бедности, предрассудков и невежества здесь, на Земле. Так открыто газеты, конечно, писать не решаются — ни «Сьекль», ни «Пти репюблик», ведь церковные власти еще сильны, и нельзя рисковать быть обвиненным в богохульстве. А вот маленький «Лаведан» в последнем номере помещает насмешливую статью об источнике, инспирированную, как говорят, мэром Лакаде. В ней проводится мысль, что в Лурде

и его окрестностях полным-полно минеральных и целебных источников и не требуется никакой прекрасной дамы, чтобы их найти и обратить на пользу людям.

Но, наряду с Францией этих воинственных передовиц, существует и другая Франция. Это даже не Франция верующих масс и клерикальной аристократии, это страна восторженных и склонных к потрясению душ, преимущественно страна женщин. Затаив дыхание, они жадно ждут ежедневных вестей из Лурда. История о девочке-пастушке и Даме, чисто французская история, радостно будоражит их сердца. Бернадетта находит в рядах этих людей защитников, которые тоже пишут в газетах. Борьба набирает силу. «Видения в Лурде» становятся аферой национального масштаба.

Афера национального масштаба! Именно так! Императорское правительство ожидало нападения с любой стороны, только не со стороны Небес. Пусть бы социалисты, якобинцы, масоны, роялисты, сторонники Орлеанской династии напали на него из засады, придравшись к какому-нибудь политическому процессу или факту коррупции, их легко было бы утихомирить обычными средствами. Но на совете министров узкого состава,

где уже вторично на повестке дня стоит вопрос о пресловутых «лурдских видениях», господа министры отделываются все тою же шуткой, которую впервые две недели назад произнес мэр Лакаде: «Нельзя же от нас требовать, чтобы мы посадили в кутузку Пресвятую Деву».

Между тем императорская канцелярия затребовала срочный доклад от министерства по делам культов. Господин Руллан подает подробный доклад и заключает его коварной просьбой о высочайшем волеизъявлении. Однако сверху спускается только указание в общей форме: как можно быстрей положить конец видениям в Массабьеле и всем вытекающим отсюда неприятным последствиям! Каким образом это сделать, императорская канцелярия знает так же мало, как и все прочие инстанции. Канцелярия даже несколько смягчает категоричность своего указания отчетливо выраженным пожеланием всячески избегать жестких мер и считаться с религиозными чувствами народа Пиренеев. Министр Руллан не может удержаться от ехидной улыбки, безошибочно узнав в пышном документе двусмысленную манеру своего господина и повелителя, маленького Наполеона. Теперь пресса может бесноваться, сколько пожелает.

Он практически прикрыт. Таким образом, все государственные авторитеты, начиная от императора и кончая комиссаром полиции Жакоме, объединены одним чувством, мешающим им действовать решительно, и это чувство — растерянность.

Руллан спешит осчастливить префекта департамента Высокие Пиренеи барона Масси двусмысленным волеизъявлением императора. О бароне Масси свет не может сказать ничего иного, кроме того, что это человек в высшей степени корректный. Барон всегда носит корректный фрак и даже на службе появляется в лаковых ботинках и лайковых перчатках. Его высокий стоячий воротничок с острыми углами более чем корректен. Барон — потомок одного из наиболее корректных семейств Франции, и он самым корректным образом имеет все мыслимые ордена и награды своего ранга, включая ватиканский орден Святого Григория. И вообще он выглядит воплощенной формулировкой из заграничного паспорта: «Особых примет не имеется». Департамент, в котором служит барон Масси, почему-то считается в тайной науке французской администрации прекрасным трамплином для прыжка в префектуру департамента Сены — того

самого, который включает в себя Париж. Из Тарба ведет прямой путь к высочайшим должностям Франции. Барон знает, что для него поставлено на карту. Если ему не удастся разрешить вопрос с лурдской аферой к удовольствию начальства и к удовлетворению других сторон, тогда прощай Париж и вся его дальнейшая карьера.

Едва пробежав глазами длинную депешу министра, барон вызывает экипаж. Путь от здания префектуры до епископского дворца недалек, но префект из принципа не желает представать перед своими подданными в роли пешехода. Собственно, отношения барона Масси с епископом Тарбским нельзя назвать натянутыми, но вполне можно назвать холодными. Его милость монсеньор Бертран Север Лоранс точно знает, сколько пробили часы, и не без удовольствия заставляет его превосходительство четверть часика подождать. Монсеньор, так докладывают барону, уединился в своей личной епископской молельне. Епископа Тарбского при всем желании нельзя назвать корректным господином, происходящим из корректной семьи. Совсем наоборот! Епископ — типичный плебей, пролетарий, выбившийся из низов, сын дорожного рабочего из Беарна. Его враги даже болтают, что к

пятнадцати годам его милость едва умел читать и писать. Затем, правда, этот невежественный, но одаренный юноша с невероятным желанием пробиться, свойственным всем выходцам из низов, успешно прошел курс семинарии в Эре и с отличием по всем предметам окончил университет. Барон Масси скрежещет зубами от возмущения, что его заставляют ждать. «Старый подлый лис», — думает он о епископе и пугается, заметив, что слишком сильно сдавил коленями свой цилиндр. Когда затем перед ним предстает высокая мужиковатая фигура монсеньора, он тем не менее кланяется и даже пытается обозначить поцелуй в перстень, что епископ кротким жестом отклоняет.

— Ваше преосвященство, — обращается к нему барон, — я вынужден просить вас о помощи. События в Лурде перерастают в бунт. Вы один можете предотвратить включение с нашей стороны других регистров…

Углы губ епископа от природы опущены вниз, отчего его лицо редко теряет саркастически-гордое выражение.

— Что же, включите другие регистры, ваше превосходительство, — сочувственно вздыхает он. — Это было бы только желательно…

— Я защищаю честь и святость религии, монсеньор, которая находится под угрозой из-за этой недостойной комедии.

Епископ поднимает густые седые брови:

— Духовенство лурдского кантона получило от своего декана строгий запрет участвовать в этой недостойной комедии, как вы изволили выразиться…

— Этого недостаточно, монсеньор. Вы должны сами запретить эту комедию. Вы должны помешать тому, чтобы эти так называемые явления делали смешной в глазах верующих и неверующих саму веру.

Бертран Север откидывается назад в своем кресле, его грубая рабочая рука опирается на посох из слоновой кости.

— А если в этих явлениях все же скрывается сверхъестественная сущность? — медленно спрашивает он.

Корректному барону Масси вдруг становится тесен его крахмальный воротничок.

— Сверхъестественная сущность? Но кто может это определить?

— Единственная инстанция, наделенная таким правом, ваше превосходительство, — слегка улыбается епископ, — Святая церковь.

Префект решается немного ослабить узел на галстуке.

— Ваше преосвященство, у меня сложилось впечатление, что вы все же не верите в сверхъестественную сущность и осуждаете этот фарс наравне с нами.

— Быть может, быть может, любезный барон, — улыбается монсеньор, и его улыбка вновь становится непроницаемой. — Но согласитесь, епископ — последняя инстанция, которая встанет на пути возможного чуда. А чудо, то есть проявление сверхъестественного, не исключено никогда и нигде, даже в моей скромной епархии. И моя задача в этом случае — быть прежде всего осмотрительным и сдержанным. От вас же, ваше превосходительство, мы, напротив, ожидаем решительных действий, как всегда…

И в знак прощания священник низко склоняет седую голову перед светской властью.

Вернувшись несолоно хлебавши к себе в кабинет, барон Масси тут же диктует циркулярное письмо, направляемое одновременно супрефекту, комиссару полиции в Лурде, тамошнему прокурору и мэру. Барон требует продолжать усиленное наблюдение за семьей Субиру, в особенности обращая внимание на возможные

факты денежных подарков. Проступком, влекущим за собой арест, может быть признана, кроме факта подарков, незаконная продажа святых предметов (а также благословение четок за деньги или иное вознаграждение). Буде такие факты станут известны, следует незамедлительно взять под арест всю семью. В конце письма барон отдает еще специальное распоряжение, чтобы жандармы, стоящие на посту у грота, появлялись там в полном вооружении и обязательно в перчатках. Эти перчатки (из желтой замши, согласно предписанию о жандармской форме) возникают в корректном мозгу барона лишь потому, что он хочет доказать невидимой Даме, что он сам, а в его лице государственная власть, отныне шутить не будет.

Наступил март. «Еще четыре раза, — думает Бернадетта, — и пятнадцать дней пройдут, наступит последний четверг, и больше она не придет. Неужели она больше не придет? Ведь она же не сказала, что после пятнадцати дней больше не придет». На этом настаивает тетя Бернарда, но ведь тетя Бернарда — сильная личность, а сильные личности обычно не ждут от жизни ничего хорошего. В отличие от супругов Субиру, тетя Бернарда всегда все видит в мрачном свете и пи-

тает какую-то особую любовь к неприятностям. Бернадетта разрывается между нескончаемым страхом и нескончаемой надеждой. Разве исключено, что Дама будет хранить ей верность всю жизнь? Разве Дама не может постепенно стареть вместе с ней, Бернадеттой, ежедневно появляясь в Массабьеле? Люди постепенно к этому привыкнут, перестанут приходить и глазеть на их встречи. Бернадетта весь день будет работать, как остальные. Месье Филипп уже очень стар. Может быть, мадам Милле возьмет ее к себе в служанки. Впрочем, она не боится никакой работы. Если Дама будет приходить к ней каждое утро, Бернадетта готова даже стирать отвратительное грязное белье, а это для нее самая неприятная из всех работ. Всеми силами она цепляется за радостное предположение, что ее общение с Любимой будет длиться столько же, сколько будет длиться ее жизнь. Другое предположение, что уже в следующий четверг все будет кончено, настолько неестественно и ужасно, что она не может его допустить. Разве в состоянии она будет жить дальше без ежедневного дара любви? Перед этими тревожными вопросами в сознании девочки бледнеет и отходит на задний план даже ее чудесное деяние — пробуждение источника.

Бернадетта хотела бы остановить и удержать навечно каждый час из дарованных ей дней. Утром в Гроте ее сердце каждый раз беззвучно молит:

— Пожалуйста, мадам, побудьте сегодня подольше!

В ответ на эту мольбу Дама каждый раз приветливо улыбается и кивает. Но желания девочки она никогда в полной мере не выполняет, так как ее пребывание никогда не продолжается долее трех четвертей часа, самое большее час. Вероятно, Дама точно знает, чего можно требовать от физических сил девочки, а чего нельзя. Если для самой Дарующей Счастье, по мнению Бернадетты, вызывать экстаз утомительно и сопряжено с большой тратой сил, то насколько утомительней для Бернадетты переносить состояние экстаза.

Обязательный ритуал в Гроте несколько расширен. Теперь Дама ежедневно в начале явления требует от Бернадетты, чтобы та ела траву, пила воду из источника и мыла в нем лицо и руки. Странно, что люди, которые во время последнего видения постепенно приучились подражать жестам юной ясновидицы, повторять вырывающиеся у нее слова, пока еще не спешат воспользоваться новым, все более бурно струящимся источником. Хотя история исцеле-

ния Бурьета обошла весь Лурд, по-настоящему никто в нее не верит. Бурьет всегда говорил о себе как о слепом, хотя совсем слепым не был и по-своему хитро и жадно смотрел на мир. Бурьет — сомнительный тип, не очень подходящий объект чудесного исцеления. Поэтому появление источника воспринимают не иначе как остроумный ответ Дамы на требование декана сотворить «чудо розы». Дама — не церковный служка, чтобы в точности исполнять приказ священника. Она следует собственным фантазиям. Выдумка холерического буяна ей не указ. Вот как, ты требуешь от меня, чтобы роза расцвела в феврале в качестве доказательства моей силы? Погоди, дружок! Розы не расцветут, на такие мелочи я не размениваюсь. Зато я сотворю нечто, о чем ни ты, ни другие вовсе не помышляют. Поймите же наконец, я вам неровня! Поэтому источник воспринимается всеми как убедительная победа живой Дамы над косным и враждебным духовенством. Практической пользы в источнике никто, кроме Бурьета, не видит. А тот уже несколько дней не раскрывает рта и промывает свой глаз скрытно от всех, так как ему кажется, что если и другие будут пользоваться источником, то сила его, пожалуй, ослабнет.

Тысячи зрителей каждое утро видят одно и то же: как Бернадетта в начале своего отрешенного состояния по приказу Дамы моет в источнике лицо и руки и пьет из ладоней воду. Всем этим действиям приписывают исключительно ритуальное и мистическое значение. Так, считают люди, Бернадетта особым образом причащается Даме. Никому не приходит в голову, что Дама, открывая источник, могла преследовать определенную, в высшей степени соответствующую назначению источника цель. Никто не понимает, что Дама лишь затем ежедневно повторяет свой приказ Бернадетте, чтобы на примере девочки показать им, что надо делать, и направить их на верный путь. Только Бернадетта, Видящая и Любящая, уже достаточно познала Даму, чтобы понять, что Обожаемая не всегда может выражать свою волю прямо. Так же как она никогда не называет имена, она не может открыто сказать: «Сделай то или иное, чтобы произошло то или это!» Какая-то придворная королевская стыдливость заставляет ее избирать загадочные окольные пути. А для самой Бернадетты важен не окружающий мир, но единственно Дама, до других ей нет никакого дела. Поэтому девочка тоже не ломает себе голову над смыслом и целью

источника. Она являет собой послушание в чистом виде, не задающее вопросов.

Однако и Бернадетте не чужды некоторые маленькие хитрости. Это невинные уловки любви, к которым она прибегает время от времени, чтобы испытать Даму. Молитвы, отсчитываемые по четкам, — самая приятная, самая обворожительная часть ее общения с Дамой. Это взаимное проникновение, ясная, спокойная поглощенность друг другом, когда Бернадетта бормочет свои «Богородицы» и по окончании очередной молитвы передвигает черные бусины дешевеньких четок, а Дама, не разжимая губ и не отводя глаз, зорко следит за ее движениями и в свою очередь пропускает между пальцами очередную сверкающую жемчужину. Это больше чем совместная молитва — это упоительная форма любовного соприкосновения вполне в духе этой любви. Будто каждый из партнеров держит в руке конец одного и того же невидимого жезла, и эта связующая материальная субстанция позволяет ощутить с обеих сторон жаркий ток крови и страстный духовный порыв друг к другу. Все, чего касается Бернадетта, направляемая Дамой, обретает новое, непредсказуемое значение, как будто прежде на земле ничего подобного не было,

даже если речь идет всего лишь о стареньких четках Бернадетты.

Накануне вечером произошло следующее: в кашо явилась Пере вместе с одной из своих молодых помощниц. Девушку зовут Полин Сан, и она всего на два года старше Бернадетты. (Кривобокая Пере уже не подмигивает и не глядит заносчиво, а держится смущенно и раболепно.) Портниха всячески расхваливает Полин, рекомендуя ее как свою лучшую работницу и хорошую подругу. Не может ли Бернадетта выполнить заветное желание девушки? Полин Сан густо краснеет и объясняет Бернадетте, что ей хотелось бы обменяться с ней четками. Для нее нет большей награды, чем молиться по четкам, на которых покоился взгляд Дамы. Самое лучшее, чем она владеет, — это ее четки, унаследованные от матери, они сделаны из настоящих крупных темно-красных кораллов. Каким бы блестящим ни казался этот обмен, Бернадетта в первую минуту резко и решительно отказывается. Но позже она глубоко задумывается и решает иначе, объясняя, что завтра воспользуется четками Полин, но пусть та все время находится рядом. На следующее утро, после первых приветствий, после неизменного питья и умывания в источнике,

Бернадетта становится на колени на большой плоский камень напротив ниши и медленно, колеблясь и в то же время стараясь не привлечь ничьего внимания, вынимает из сумки роскошные коралловые четки. Сердце у нее бешено стучит от волнения. Теперь она узнает, насколько дорожит ею Дама. Черные дешевенькие четки Бернадетты — единственный материальный предмет, связующий ее с Любимой. Поэтому даже когда Бернадетта ложится спать, она всегда кладет четки под подушку. Девочка сама страшится своей неслыханной дерзости, расставляя Даме эту ловушку: «Если она ничего не заметит, значит я ей безразлична; если заметит, значит она меня любит».

Затем она почти сразу же падает духом, ибо ее натуре свойственно вечно сомневаться в том, что ее любят. Она уже не осмеливается устроить такую серьезную проверку. Она хочет немножко подыграть счастью. Поэтому нарочно вертит в руках коралловые четки и всячески выставляет их напоказ, чтобы Дама не могла их не заметить. Дама медлит, эта игра привлекает ее внимание, она опускает свои четки, и чуть заметная тень огорчения, которую Бернадетта уже хорошо знает, ложится на ее лицо. Ее губы произносят:

— Но это не ваши четки…

Из дрожащего сердца Бернадетты вырывается стон:

— Нет, мадам, не мои. Мадемуазель Сан попросила меня обменять мои старые четки на ее, такие красивые. Я подумала, может быть, эти будут вам приятнее…

Дама делает обиженный шажок назад и спрашивает:

— Где же ваши?

Бернадетта мгновенно оборачивается к Полин, стоящей на коленях позади нее, и буквально вырывает у нее из рук свои старые четки. Она торжествующе поднимает их высоко над головой. Люди не понимают ее жеста, но восторженно его копируют. По рядам пробегает волнение: «Дама благословляет наши четки».

Но то, что для столь многих является священным ритуалом, для Бернадетты — священная действительность. Ее тело и душу сотрясает дрожь: «Она меня любит».

Глава двадцать третья
Луидор и пощечина

Прокурор Виталь Дютур усердно массирует свою пергаментную лысину. Предложение Жакоме ему решительно не по вкусу. Типичное порождение полицейского мозга. Странно, вообще-то, этот Жакоме казался ему немного простоватым, но добродушным и честным парнем. До сих пор он исполнял свою службу к полному удовлетворению вышестоящих инстанций, поскольку умел одновременно внушать людям как страх, так и любовь. Семейная жизнь Жакоме является образцовой. Его дочь, мадемуазель Жакоме, слывет добрым ангелом. День за днем она неустанно вяжет теплые фуфаечки и шарфики, а затем сама раздает их на улице беднякам. Жану Мари и Жюстену Субиру, как «самым бедным детям Лурда», не раз перепадало от щедрот этой сострадательной души. Правда, аббат Помьян утверждает, что барышня Жакоме употребляет для вязки настоящую «полицейскую шерсть», а такая шерсть, дескать, не столько греет, сколько царапает. Но ведь злоречие Помьяна известно

всем. Ради острого словца он всегда готов поступиться своей пасторской кротостью. Мари Доминик Перамаль, сам далеко не кроткий агнец, не раз выговаривал Помьяну за его остроты. «Прошли те времена, любезный, — обычно говорит Перамаль, — когда наш брат священник мог себе позволить острословить и прихлебательствовать в модных салонах». Итак, Дютур считает Жакоме ограниченным, но порядочным. Однако последняя выдумка комиссара весьма далека от того, что можно назвать порядочным. Она подтверждает старое наблюдение Дютура, что образ мыслей полицейских недалеко ушел от образа мыслей преступников. Полицейские и преступники в известном смысле представители одной и той же профессии. А провокатор, или так называемая «подсадная утка», находится где-то посередине и тем самым уравнивает оба полюса этой профессии. И вот новая идея Жакоме как раз и заключается в том, чтобы использовать «подсадную утку».

Какую мысль настойчиво проводит префект из Тарба в последнем письме? Мысль о том, что было бы желательно выявить факты, что члены семейства Субиру пользуются легковерием своих сограждан и извлекают из «явлений» ощутимую

денежную выгоду. Ибо ни о чем люди не судят так беспощадно, как о том, что не прочь были бы сделать сами, а именно: поживиться за счет наивности своих сограждан. Разве реклама во всем мире не основана именно на этом принципе? Если бы можно было уличить супругов Субиру в том, что «явления» в Гроте приносят им реальный доход, тогда Лурд и Франция одним ударом освободились бы от этого бедствия. Чтобы понять это, Дютуру не требовалось подсказки барона Масси. Но ему не так-то легко решиться на грубое средство, предложенное Жакоме. Конечно, на следующий четверг пророчат великие события, окончательную победу Бернадетты и Дамы над государством. Так что удар должен быть нанесен непременно до этого четверга, и для этой цели у них осталось, к сожалению, всего два дня.

Виталь Дютур хочет использовать еще один, последний шанс, прежде чем предоставить полную свободу действий комиссару полиции. Как ему доносят, последний раз Бернадетта благословила четки всех присутствующих. Правда, она сразу же, со свойственной ей уклончивостью, придумала отговорку: Дама, дескать, потребовала от нее, чтобы она использовала свои старые четки, и она только подняла их вверх и показала Даме.

Ничего! Это всего лишь отговорка, а факт благословения четок мирянкой можно, с согласия духовенства, расценить как незаконное посягательство на прерогативы церкви. К этому следует присовокупить тот факт, что на средства мадам Милле в Гроте сооружено нечто вроде алтаря, на котором установлено распятие, несколько изображений Мадонны и большое количество свечей. Как известно, конкордат, подписанный императором и папой, запрещает сооружение новых объектов поклонения без санкции министерства культов.

Прокурор делает то же, что раньше сделал префект: обращается за содействием к церкви. Но декан Перамаль так же не терпит прокурора, как епископ — барона. Прокурор растолковывает декану: масштабы этой истории настолько разрослись, что акция протеста со стороны церкви стала не только желательна, но и крайне необходима. Благословение четок, возведение алтарей не посвященными и не уполномоченными на то мирянами — все это серьезные преступления, направленные как против духовной, так и против светской власти. Перамаль беседует с Дютуром, едва оправившимся от тяжелого гриппа, в своей ледяной приемной зале. У Дютура тотчас начи-

нают мерзнуть ноги и возникает страх перед рецидивом болезни. Но грубый чурбан Перамаль не догадывается предложить даже рюмку водки. Настроение Дютура заметно портится. Он знает точно, что Перамаль столь же мало расположен к малышке Субиру, как он сам или мэр Лакаде. Знает также, что тщеславный декан рассматривает его посещение как акт самоуничижения и все же не делает ни шага навстречу прокурору. Прокурор ошибается только в мотивах его поведения. Дело в том, что Перамаль остался верен своей юношеской склонности: в борьбе между разбойниками и их преследователями всегда становиться на сторону разбойников. Он по горло сыт шумихой вокруг осточертевшей ему Дамы и по-прежнему считает Бернадетту обманщицей и аферисткой. (Однако что-то в нем все же дрогнуло, он сам не знает почему, когда во время утренней мессы двадцать восьмого февраля он наткнулся на следующие слова пророка: «И вот, из-под порога храма течет вода… и вода текла из-под правого бока храма… и куда войдет этот поток, все будет живо там».) Но если суд и полиция требуют, чтобы он таскал им каштаны из огня, это уж слишком! Он поднимает свое изборожденное морщинами лицо исследователя

и безжалостным взглядом рассматривает прокурора, приподнявшего коленки, чтобы не касаться ступнями каменного пола.

— Милостивый государь, — говорит ему Перамаль, — что касается посягательства на прерогативы церкви, то тут вы сильно ошибаетесь. Деревянный столик, на который поставили свечи и несколько картинок, — это всего лишь деревянный столик и никакой не алтарь. Возведение алтаря требует вполне определенных предпосылок. А поставить деревянный стол со свечками, крестами, цветами, не знаю, с чем еще, имеет право каждый, дома или на свежем воздухе, где пожелает, конечно, если власти не имеют против этого обоснованных претензий. Мэрия или прокуратура могут убрать стол из Грота. Я не могу вам в этом помочь, как не могу помочь наводить порядок в доме мадам Милле…

Эти недвусмысленные слова декана окончательно побуждают прокурора согласиться на план Жакоме.

Во вторник около одиннадцати утра в кашо появляется новый гость. Он явно не из местных. На нем шерстяной костюм в крупную клетку, на плечи наброшен шотландский плед, в руках зонтик, на голове серый цилиндр, словом — ти-

пичный путешественник-англичанин, какие дюжинами приезжают летом на воды в Котре или Гаварни. Прибытие этого клетчатого в Лурд не прошло незамеченным. Дело в том, что кучер почтовой кареты Дутрелу, который привез его из Тарба, немало подивился, что такой богач, с тремя бриллиантовыми перстнями, трясется в почтовой карете вместе с бедняками, вместо того чтобы нанять экипаж, не говоря уже о собственном выезде с четверкой породистых лошадей. Дутрелу не привык держать язык за зубами и выражает свое удивление, на что получает ответ, что Лурд теперь место паломничества, а паломнику полагается путешествовать скромно, без породистых лошадей и блестящей упряжи. При слове «паломничество» Дутрелу даже присвистнул и подумал: «Субиру следовало бы отлупить свою Бернадетту, чтобы она не доставляла ему таких святых хлопот».

Приезжий с бриллиантовыми перстнями застает в кашо только Луизу и Франсуа Субиру, последний опять велел известить Казенава, что он болен. Мария находится в школе, а Бернадетте поручено найти и привести домой братьев, чья жажда свободы стала поистине безграничной. Уже не однажды в дом Субиру забредали любо-

пытные путешественники. Что удивительного, если их фамилию ежедневно «перемалывают» все газеты, как выражается бывший мельник. Приезжие глядят на родительский дом ясновидицы иногда сочувственно, иногда удивленно. Они ходят по кашо, все осматривают, относятся к нему не как к помещению, где живут люди, но как к музею, где обстановка ужасающей бедности заботливо сохраняется для будущих поколений. Как в присутствии детей люди часто говорят много лишнего, так и эти посетители не могут удержаться от обидных замечаний о жилище Субиру, что заставляет гордого Франсуа страдать и давать вымышленные объяснения: дескать, они живут здесь временно и скоро переедут на одну из мельниц в верховьях Лапака. Время от времени какой-нибудь посетитель сует в руку отцу или матери Субиру монетку. Они берут ее без особых церемоний. Кто может их за это упрекнуть, ведь они тратят собственное время, поневоле выставляя напоказ свою бедность перед этими праздными людьми. Приезжий в клетчатом костюме кажется настойчивее, хотя и обходительнее других посетителей. Он не критикует кашо с высоты своего богатства, напротив, хвалит за чистоту и порядок, чем сразу завоевы-

вает доверие мадам Субиру. Его бойкие глазки шарят вокруг и одобрительно заглядывают во все кастрюли. Ни Луиза, ни Франсуа почему-то не удивляются, что этот миллионер запросто говорит на пиренейском диалекте, да еще в самой грубой простонародной манере. Это обстоятельство, наоборот, увеличивает их симпатии к незнакомцу. Во время разговора знатный иностранец вытаскивает дорожную флягу, в которой сверкает выдержанный янтарно-золотой коньяк. Франсуа, которому тут же наливают рюмочку, способен по достоинству оценить этот благородный напиток. Наконец приезжий заговаривает о своем деле.

— Выслушайте меня, добрые люди, — начинает он. — Я приехал из Биаррица, где у меня собственный дом рядом с императорской виллой. Моей дочурке столько же годочков, сколько и вашей, осенью Жинетте минуло пятнадцать. Это доброе дитя, только всегда грустное, она больна, у нее слабая грудь, и есть у нее одно-единственное желание — получить четки вашей маленькой ясновидицы, о которой мы так много слышим. Для этого мне не жаль никаких денег…

— Бернадетта не отдаст своих четок, — резко прерывает его матушка Субиру.

— Тогда пусть она благословит четки моей дочурки, я привез их с собой…

Франсуа отодвигает подальше соблазнительный напиток.

— Вы благородный господин, месье, — говорит он, — и знаете свет куда лучше, чем я. Но я знаю одно: моя жена и я — обычные люди, и мои дети поэтому тоже могут быть только обычными людьми. Бернадетта видит свою Даму. Пусть так! Люди говорят о Даме то и это, но никто не знает, кто эта Дама на самом деле. А в остальном моя Бернадетта — обычный ребенок. Она не священник, не носит рясу и не может ничего благословить…

— Не верьте ему, господин, — вмешивается Луиза. — Моя Бернадетта — не обычный ребенок. Уже когда я ее ждала, у меня были странные сны. Моя сестра Бернарда может подтвердить. И матушка Лагес из Бартреса всегда мне говорила: «Твоя малышка, милая Луиза, кажется глуповатой, но что таится в ее головке, не знает никто…»

Из грубого красного кулака миллионера, как по волшебству, выкатились на стол несколько золотых монет.

— Этого будет достаточно за благословение от вашей дочери?

Луиза и Франсуа смотрят на монеты расширенными от удивления глазами. Луидоры, наполеондоры, дукаты и прочие золотые монеты Субиру доводилось видеть очень редко. Две монетки по двадцать су для них уже целое богатство, символ благосостояния. Головокружительная куча золота на столе могла бы в один миг изменить их судьбу. Можно было бы найти приличную квартиру, думает Франсуа. Наверное, хватило бы даже на аренду мельницы. Мысли Луизы также приходят в полное смятение. У нее вырывается тяжелый вздох.

— Нет, Бернадетта никогда не благословит ваши четки…

— Моей дочке было бы достаточно, мадам, — продолжает соблазнитель, — если бы вы сами приложили четки к чему-нибудь, что носит на теле ваше дитя. За это я мог бы дать два луидора…

Луиза смотрит на Франсуа. Франсуа смотрит на Луизу. Внезапно Луиза вскакивает, выхватывает четки из рук этого странного просителя и сует их под подушку Бернадетты.

— Она всегда, когда здесь спит, кладет свои четки под подушку, — шепотом сообщает она.

Приезжий с удовлетворением сует получившие благословение четки в карман.

— Я очень вам благодарен, мадам Субиру. Моя дочурка будет счастлива. Два луидора по сегодняшнему курсу составляют пятьдесят два серебряных франка сорок сантимов. Было бы хорошо, Субиру, если бы вы расписались на этом листочке, что получили деньги. Порядок есть порядок.

— Папа и мама, только не берите денег, пожалуйста! — отчаянным голосом кричит от дверей Бернадетта, услышавшая последнюю фразу. — Дама рассердится… — Затем, чтобы загладить свой крик, она приседает перед незнакомцем и сообщает матери: — Мальчики сейчас будут здесь, мама.

Дальше происходит то, что Луиза мысленно называет «выходом на сцену Франсуа Субиру». К отцу семейства возвращается вся его внушительность, и он небрежным жестом подвигает крупноклетчатому субъекту золото, которое как бы после совершения сделки лежало посередине стола. Затем Франсуа поворачивается к Бернадетте.

— Я не имею к этому делу никакого отношения, — величественно заявляет он. — Просто сердце твоей матери поддалось минутной слабости. Ведь на несколько су, которые я зарабатываю

на почтовой станции, ей приходится кормить так много ртов. А вас, сударь, благодарю за доброту, хотя принять эти деньги не могу…

— Сделка есть сделка, Субиру, — горячится незнакомец, выпадая из роли миллионера. — Я получил товар, вы забираете деньги…

— У нас здесь нет никакого товара, — поясняет отец семейства с учтивостью испанца.

— Если вам мало двух луидоров, возьмите пять, — кричит миллионер, чей план, кажется, окончательно провалился. — Я обязан это сделать ради моей дочери, а вы — ради вашей семьи.

Бернадетте становится тошно при взгляде на бычью шею незнакомца, красную, как у индюка, и испещренную шрамами и прыщами. Незнакомец наконец берет себя в руки и меняет тон.

— Но вы все же дали мне, что я просил, Субиру, — бормочет он, подмигивая. — Я не должен был действовать так открыто…

Эти слова уже не слышны в суматохе, воцарившейся в кашо, когда туда врываются два мальчика, затем приходит из школы Мария, заглядывают в дверь любопытные соседи, прослышавшие о визите «английского миллионера». Тот, ввиду отсутствия лучших перспектив, принимает решение. Согласно желанию его нани-

мателей, полная сумма или хотя бы часть суммы должна остаться в кашо. Поэтому незнакомец с сердечной благодарностью и рукопожатиями прощается с супругами Субиру, по-отцовски щиплет за щеку маленькую ясновидицу, берет свой плед, цилиндр и зонтик, намеренно оставляет на столе фляжку и удаляется. У самой двери стоит маленькая деревянная скамеечка, на которую матушка Субиру обычно кладет всякий хлам. С ловкостью опытного фокусника, у которого предметы мгновенно исчезают и появляются, клетчатый на ходу кладет на край скамеечки один из соблазнительных луидоров.

Никто не заметил фокуса, проделанного незнакомцем, за исключением семилетнего Жана Мари. Жан Мари олицетворяет в этой семье практическую хватку, каковую он недавно продемонстрировал, притащив матери для варки комочки воска от церковных свечей. Жан Мари не более склонен к воровству, чем весь остальной мир, когда представляется возможность совершить его безнаказанно. Заметив блестящий луидор, настоящую сорочью приманку, о ценности которой он не имеет ни малейшего представления, мальчик вовсе не хочет сохранить эту блестящую вещицу для себя. Но он инстинктивно чувствует, что с

появлением Дамы его родными овладела какая-то странная лихость, нередко заставляющая их действовать вопреки собственной выгоде. Паренек сует луидор в карман, чтобы защитить его от опасного идеализма своего семейства. Завтра он с торжеством вручит его матери, когда останется с ней наедине и Бернадетта не сможет их видеть. Проходит несколько минут, и незнакомец с множеством извинений возвращается в кашо взять забытую на столе фляжку. Он навязывает хозяину еще одну прощальную рюмку. Быстрый взгляд на скамеечку убеждает его, что визит не был таким уж безрезультатным.

В два часа пополудни Бернадетту арестовывают по дороге в школу. Некий Лео Латарп, дорожный рабочий, недавно перешедший на службу в полицию и ставший помощником полицейского, нежно берет ее под руку:

— Малышка, тебе придется пойти со мной в тюрьму.

Девочка бросает на него озорной взгляд. Она знает, что Дама ее любит. Так что могут ей сделать власти?

— Держите меня покрепче, сударь, — смеется она, — не то я убегу…

В то же время Калле берет под стражу супругов

Субиру и ведет их сквозь два ряда перешептывающихся людей в здание суда. Определив в качестве места разбирательства это здание, Виталь Дютур решил показать, что шутки кончились. Кто попадает в когти следователя, не отделывается от него так легко, как от комиссара полиции. Но Создателю было угодно, чтобы орудием прокурора, главного протагониста этой жалкой комедии, оказался, к несчастью, форменный простофиля: господин следователь Рив, в доме которого, кстати, Луиза Субиру стирает белье. Государство, желая заставить Даму капитулировать, пустило в ход средства, которые никак не назовешь достойными. Но такова уж природа государства, что при крайней необходимости и угрозе оно не считает нужным разбираться в средствах. В век промышленного развития чудо, несомненно, является для государства угрозой, так как способно поколебать все современное общественное устройство. Ибо последнее отказалось от всех метафизических потребностей, направив их по заросшей колее на тупиковую станцию «Религия», чтобы они не мешали магистральному движению жизни. Там они благородно угасают, служа декорациями для трех событий человеческого бытия: крещения, венчания и смерти. Видения в Массабьеле при-

вели к тому, что эти сверхъестественные осадки взбаламутились и вырвались на поверхность бытия, чего ни одно современное государство допустить не может. И Дютур, и Жакоме не такие уж подлые люди, просто они верные и добросовестные слуги государства. Они действуют, как им велит долг. Пророк Исаия услышал, как говорит Господь: «Ваши пути — не Мои пути». Точно так же государство могло бы сказать: «Ваша мораль — не моя мораль». То, за что государство должно было бы отправлять своих граждан на виселицу или в тюрьму: убийство, разбой, обман, шантаж, клевету, — оно само совершает с давних пор без малейших угрызений совести, ибо идет на все эти преступления, когда считает, что так необходимо для защиты его порядка. Впрочем, для оправдания самых ужасных своих преступлений государственный резон мог бы также сыскать оправдание в Библии, а именно слова первосвященника: «Лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб».

На четверг ожидают прихода к Массабьелю нескольких десятков тысяч. Государственный резон, превосходно воплощенный в Витале Дютуре, во что бы то ни стало должен воспрепятствовать такому триумфу Дамы. А что тут можно сделать,

кроме как заковать ясновидицу в оковы, то есть лишить ее возможности появиться у Грота. Время не терпит. Тут уж любое средство хорошо, если оно поможет достигнуть цели. Но прокурор с самого начала допускает грубую ошибку. Из-за вечной боязни чиновника вторгнуться во владения другого чиновника он позволяет злополучному ослу Риву действовать по собственному разумению. Следователь достаточно честолюбив, чтобы постараться изобличить Бернадетту и ее родителей и доказать их вину. Но он не понимает, что дело тут вовсе не в вине, что вина — самая второстепенная и не важная вещь в этой неприятной эпопее. Речь идет прежде всего о том, чтобы на продолжительное время, до и после четверга, изолировать Бернадетту, а вместе с ней и Даму. Закон предписывает, чтобы арестованный был допрошен следователем в течение двадцати четырех часов. Что бы господину Риву не быть таким остолопом и перенести допрос на завтра, к примеру на час дня, оставив эту троицу киснуть в тюрьме всю ночь и затем еще полдня. А дальше с помощью множества разных уловок, знакомых каждому юристу, затягивать следствие, насколько будет необходимо. Но следователь Рив всего этого не понимает и потому велит немедленно

привести к нему Бернадетту.

— Вот и ты, бессовестная авантюристка! — ревет он, стремясь запугать девочку до полусмерти.

— Да, сударь, это я, — отвечает Бернадетта со всем хладнокровием, на которое еще способна.

— Теперь ты отправишься в тюрьму, моя милая, никакой Бог тебя не спасет! С хождением в Грот будет покончено раз и навсегда! Не сможешь же ты принимать свою Даму за тюремными запорами?

Бернадетта чуть заметно улыбается и говорит буквально следующее:

— Que soi presto. Boutami, è qué sia soulido e piu ciabado e quem descaperei…

Что означает:

— Я готова. Только пусть стены будут покрепче и окна с решетками, а не то я убегу…

Следователь просто столбенеет от подобной самоуверенности, которую считает чудовищной дерзостью. Затем вскакивает, хватает девочку за плечи и трясет ее:

— Куда ты дела луидор?

Бернадетта глядит на него темными глазами с поволокой так простодушно, что он поневоле отводит взгляд.

— Что такое луидор, объясните мне, пожалуйста! — просит она.

— Золотая монета, которую вы получили от приезжего господина!

— Мы ничего у него не брали, ни я, ни родители, — спокойно отвечает Бернадетта.

Тут и нужно было бы прервать первый допрос. Но ведь прокурор не пожелал самолично руководить этой позорной комедией. А Бернадетте удалось полностью вывести следователя Рива из равновесия.

— Ты в самом деле можешь свести человека с ума, бессовестная! — кричит он, размахивая колокольчиком, и велит вошедшему слуге привести на перекрестный допрос чету Субиру. Опять непростительная ошибка, на этот раз даже с формальной стороны. Жена и муж Субиру держатся неплохо. Прирожденное достоинство бывшего мельника ввергает Рива в сомнение. Из всех ответов, которые он получает, явствует их невинность. И тут Рив допускает самую серьезную ошибку из всех ошибок этого дня. Он приоткрывает участие суда в подлом заговоре, приказав позвать в залу клетчатого провокатора. Провокатор имеет настолько жалкий вид, что даже неизощренный разум супругов Субиру мгновен-

но постигает, какую гнусную игру с ними затеяли. Риву самому так стыдно, что хочется убежать, и он втайне обрушивает яростные проклятия на голову Дютура. В конце концов он кричит:

— Но кто-то же должен был взять этот луидор? Кто, кроме вас, был в комнате?

— Моя сестра Мария и оба мальчика, — медленно и задумчиво отвечает Бернадетта.

— Сюда их всех! — приказывает следователь Рив.

Жан Мари сразу сознается и извлекает из кармана луидор.

— Он лежал на скамеечке. Я хотел его отдать мамочке, — плаксиво оправдывается он.

И тут происходит нечто, чего никто не мог ожидать от отрешенной и погруженной в себя ясновидицы. Ее лицо вдруг заливается краской до корней волос и делается грубым и энергичным, как у тети Бернарды. Размеренной поступью она подходит к младшему брату и отвешивает ему такую пощечину, что он с воем отлетает назад. Одновременно она выхватывает у него луидор и швыряет его провокатору, как не подлежащий отмене смертный приговор. Все это она проделывает так быстро, так напористо и самовластно, что следователю не остается ничего иного, как

покорно объявить об окончании дела.

— Все убирайтесь к черту! — рычит он. — Чтобы духу вашего здесь не было!

Перед зданием суда семью Субиру встречает плотная толпа, которая с победными криками провожает их до кашо. Вред, который неосторожно причинил себе государственный резон, поистине трудно измерить. С наступлением темноты в квартирах прокурора, комиссара полиции и следователя разбивают окна. В четыре часа от площади Маркадаль отходит почтовая карета в Тарб. «Английский миллионер» и пекарь Мезонгрос — единственные ее пассажиры. На полдороге между Лурдом и Бартресом Дутрелу делает остановку. Антуан Николо, Бурьет и два здоровых каменотеса уже ждут. Крупноклетчатого на руках выносят из кареты и осторожно укладывают на кучу щебенки лицом вниз. Антуан снимает с себя широкий ремень, а заодно осматривает и дубинку, принесенную на всякий случай. Право на первый удар принадлежит ему. Мезонгрос, любитель простонародных увеселений, подогревает присутствующих одобрительными возгласами. Дутрелу с трубкой во рту дает советы по ходу дела. Англичанин верещит тонким визгливым голосом:

— Ставлю вас в известность, что это нанесение тяжких увечий, что это убийство…

— Мы уж знаем, толстяк, ты в законах дока, — смеется Антуан, меж тем как один из каменотесов аккуратно разрезает ножом плотную ткань на спине клетчатого. — Будь спокоен, с судом мы договоримся.

Затем в воздухе начинает свистеть ремень. После завершения дела «миллионера», чей роскошный костюм свисает клочьями, снова грузят в карету. Вокруг опять воцаряется тишина. У Антуана и его товарищей превосходное настроение. Они уверены, что никакой Дютур и никакой Жакоме не осмелятся привлечь их к ответу.

Глава двадцать четвертая
Ребенок Бугугорт

Кроме Луи Бурьета, есть в Лурде и еще один человек, чьи мысли постоянно прикованы к источнику. Это мэр Лакаде лично. В противоположность вовлеченным в игру государственным чиновникам он смотрит на дело более беспристрастно и к тому же обладает недюжинным коммерческим нюхом. Сам не зная почему, мэр теперь не так уж огорчен многочисленными поражениями государственных инстанций, хоть это и означает победу Дамы, которая может быть столь же опасной для города, как и для государства. Подсознательно Лакаде чувствует, что ослабление государственной власти может в решающий момент способствовать усилению его собственных позиций. Лакаде думает о будущем. Из-за хорошего аппетита и плохого пищеварения он часто мучается бессонницей. Долгими ночами он задает себе один вопрос: почему Тиврье, мэр Виши, с тех пор как император стал ездить туда на лечение, зарабатывает сотни тысяч на продаже местной минеральной воды? Эти ис-

точники, где бы они ни вытекали из скал, все примерно одинаковы. Что в Виши, что в Гаварни или Котре, кто их различит? Профессора за соответствующий гонорар напишут положительное заключение. У Лакаде большой опыт, он много повидал за свои шестьдесят лет. Он знает этот мир. Знает, что обожествляемая наука, если доходит до дела, легко становится содержанкой жадного предпринимательского духа. Почему то, что возможно в Виши, невозможно в Лурде? Профессора дадут благоприятное заключение, где будет написано, что в лурдской воде растворены такие-то и такие-то активные химические вещества, способствующие ликвидации повышенной кислотности, избавлению от камней в почках, ревматизма, подагры, болезни печени и сердечной недостаточности. Почему Лакаде не может достичь того же, чего достиг Тиврье? Предпринимательский дух мэра возрастает и смелеет с каждым днем. Он находит, что случай с Бернадеттой, соответствующим образом поданный, для его целей не так уж бесполезен. Происхождение многих известных европейских курортов связано с какой-нибудь легендой. Лакаде уже грезит о рекламном проспекте тиражом в сто тысяч экземпляров, который он будет распространять.

Человек, владеющий пером, вроде Гиацинта де Лафита, мог бы написать для него трогательную историю о бедной девочке, которая наделена даром чуять воду и по велению внутреннего голоса и видения открывает в скале и выводит наружу замечательный целебный источник Массабьель. Наука благословляет это открытие. И то, что было вначале простым суеверием мечтательного народа, становится торжеством трезвого прогресса. Ни Виши, ни Котре с Гаварни не смогут похвалиться таким выдающимся проспектом.

Как всякий хороший предприниматель, Лакаде до поры до времени держит свои планы в секрете. Меньше всего об этом следует знать государству, которое может выдвинуть возражения против капиталистической эксплуатации целебных источников. Но к счастью, и Трущобная гора, и прилегающая к ней территория по обе стороны дороги на Тарб находятся во владении городской общины. Земли старого Лафита, который также не лишен предпринимательской жилки, доходят только до острова Шале, а государственные владения начинаются лишь на том берегу Гава. Других конкурентов, по мнению Лакаде, нет. Правда, к делу следует приступить осторожно, подождать, пока пройдет увлечение чудесами,

не делать роковых ошибок, подобно Дютуру и Жакоме. Примерно через год, вероятно, можно будет основать совместно с почтмейстером Казенавом и несколькими подставными лицами «Курортное акционерное общество Лурда» и начать выпуск акций.

Лакаде тайно посылает в Грот обоих своих помощников, Куррежа и Капдевиля, чтобы они принесли ему несколько бутылок воды из нового источника. Вкус воды его разочаровывает. Шипучий углекислый газ, делающий воду любимым столовым напитком, в ней совершенно не ощущается. Профессорам придется обратить этот недостаток в достоинство. Лакаде уже готов считать углекислый газ вредным для здоровья, вызывающим осложнения и разного рода опухоли. Тайная инспекция источника городским специалистом по водоснабжению, напротив, дала превосходный результат. Источник достаточно мощный, примерно на сто двадцать две тысячи литров воды в день. Этого вполне достаточно, чтобы разбогатеть не меньше, чем разбогател мэр Тиврье.

В университете в Тулузе работает известный специалист по бальнеологии, профессор Фийоль. Но Лакаде не так глуп, чтобы на столь раннем

этапе стрелять из пушки подобного калибра. Прежде чем этакий Фийоль скажет решающее слово, обоснованность коммерческой идеи Лакаде должна подвергнуться предварительной проверке. Местному аптекарю Лабелю эту проверку поручить нельзя, Лабель входит в совет общины, человек он состоятельный и легко может напасть на ту же деловую идею, что и Лакаде. В городишке Три неподалеку от Тарба у Лакаде есть хороший друг, аптекарь Латур. Друзья для того и существуют, чтобы оказывать друг другу бесплатные услуги. Одобрение друга, во-первых, ничего не будет стоить, а во-вторых, ни к чему не будет обязывать. Таким образом господин Латур вскоре получает бутылочку воды из источника в Массабьеле с просьбой исследовать ее химический состав и пригодность для медицины.

В то время как прокурор и полицейский комиссар, которым выбили окна, пылая гневом, удалились в тень, мэр, напротив, ежедневно по нескольку раз прогуливается по улицам. Он оживлен и любезен, как никогда. В своей широкополой шляпе, напоминающей о революционном прошлом, он отвечает на приветствия людей, как бы рассыпаясь переливчатыми трелями. Как отец города и отец семейства, он видит перед собой

блестящее будущее. Но даже он, заглядывающий так далеко вперед, не подозревает, что наиболее опасным для него конкурентом является не государство, не Лабель или Лафит, а Дама.

В комнате, где проживают Бугугорты, уже собираются соседки, чтобы по старому обычаю сшить для ребенка саван, когда пробьет его час. Кажется, ребеночек при последнем издыхании, смерть вот-вот наступит. К несчастью, матушки Субиру не было дома сегодня, когда начался новый приступ, самый ужасный из всех, какие пришлось перенести бедному крошке. Круазин Бугугорт свято верит в целительную силу приемов и снадобий Луизы Субиру. Она безумно сердится на Луизу, что той не оказалось дома, как раз когда нужда в ней была особенно велика. Она, правда, сама применила все ее приемы: теплое укутывание, непрерывное потряхивание сведенного судорогой, пылающего жаром детского тельца. Да что толку. Хоть она и мать, но руки у нее неловкие. Все ее усилия тщетны. Теперь ее крошка лежит и тяжело дышит, в горле у него что-то клокочет, глаза закатились, видны только белки. Несмотря на жар, сморщенное личико не покраснело, а пожелтело.

Рядом с отчаявшейся женщиной стоит ее муж,

рабочий сланцевого карьера, он трудится вдали от города и бывает дома раз в неделю. В глубине души он даже рад, что его жалкое нежизнеспособное дитя при смерти, что он наконец-то освободится от связанных с ним забот и душевных мук и сможет спокойно отдыхать дома после недели труда. Бугугорт — не изверг, и существо, умирающее на его глазах, — его собственный сын. Но что значит, в конце концов, двухлетний ребенок? Ведь ему самому всего двадцать восемь, он еще настрогает столько сыновей и дочерей, сколько захочет. Пусть только Господь освободит его жену от этого кошмара. Но женщины так уж устроены, что со страшной силой цепляются за свой кошмар. Он им застит весь белый свет, из-за него они даже отказывают своему мужу. Бугугорт нежно похлопывает женушку по спине. Она молит сдавленным голосом:

— Сходи еще раз к Дозу, Бугугорт, или к Перю, может, кто-то из них придет…

— Зачем ходить, — пожимает плечами муж. — Перю за городом, а у Дозу прием. Сама видишь, слишком поздно. Малыш уже хрипит. Это агония…

Франсуанетта Гозо, дочь мясника, одна из соседок, подает голос, произнося обычные слова

утешения:

— Зачем так горевать, милая Круазин? Радуйся! Разве ты хочешь, чтобы твое дитя влачило жизнь несчастного калеки? Он же крещен и безгрешен. Он станет ангелочком на Небе и будет тебя ждать…

Мать прижимается головой к постели ребенка. Легко говорить этим женщинам вроде Франсуанетты Гозо или Жермен Раваль. Она ни о чем так не молит Небеса в эту минуту, как о том, чтобы ее крошка жил жизнью жалкого калеки. Только бы жил! Ей вовсе не хочется, чтобы он стал ангелочком на Небесах и ждал ее там. Дикие фантазии проносятся в ее мозгу. Почему-то повторяется одна и та же картина: Бернадетта опускает голову в бассейн, моет в источнике лицо и руки. И вдруг внезапная мысль молнией пронзает ее сердце. Это погружение, омовение — не просто святая игра, это рецепт, который Дама с помощью Бернадетты дарует людям…

Она с криком вскакивает на ноги. Решение принято. Она выхватывает ребенка из большой корзины, заменяющей ему кроватку, наспех заворачивает его в передник и выбегает из дома. Внезапная мысль, пронзившая ей сердце, так сильна, что Круазин даже не тратит время, что-

бы завернуть ребенка в одеяло. Жан Бугугорт и соседки, убежденные, что горе лишило ее разума, с криком бегут вслед за ней. Но она в самом деле бежит как безумная, с невероятной скоростью мчится по улицам все дальше и дальше. Это событие привлекает всеобщее внимание. Люди взволнованы. Но никто не решается ее задержать. Несчастная, бегущая наперегонки со смертью, все дальше отрывается от своих преследователей. Даже муж не в силах ее догнать. Собравшаяся толпа мчится следом за ней к Массабьелю.

Перед бассейном женщина опускается на землю, потная, задыхающаяся, полумертвая. У нее едва хватает сил опустить ребенка по шейку в воду.

— Возьми его, Пресвятая Дева, возьми его или верни мне! — лепечет обезумевшая. Она не обращает внимания на подошедших женщин, принимающихся наперебой ее уговаривать:

— Вы убьете малыша, Бугугорт… Вода ледяная…

— Если я не смогу его спасти, я его убью, какая разница! — задыхаясь повторяет Круазин. У нее хотят вырвать ребенка. Она оскаливается и шипит. К ней опасно подходить близко. В конце концов люди отступают. Воцаряется мертвая

тишина. Слышны только предсмертные хрипы агонизирующего ребенка. Вдруг одна из женщин, стоящих у самого бассейна, восклицает:

— Пресвятая Дева… малыш заплакал…

И действительно, в течение нескольких секунд слышен слабый писк ребенка, похожий на плач новорожденного. Люди переглядываются и бледнеют. Круазин поднимает ребенка — купание длилось ровно четверть часа, — снова заворачивает его в передник и мчится назад. Когда не поспевающая за ней толпа добегает до дома, где живут Бугугорты, Круазин уже стоит перед дверью, раскинув руки и загораживая вход, и предостерегающе шепчет:

— Тише! Он спит… Мой малыш спит…

Ребенок Бугугорт спит весь остаток дня и всю ночь. Утром он с непривычной для него жадностью выпивает два полных стакана молока. Через несколько минут после этого Круазин отправляется за водой к колодцу возле кабачка Бабу. Когда она возвращается, то видит, что малыш сидит в своей корзине, сидит первый раз в жизни. Она хочет закричать, но не может. А малыш смеется как победитель. Из груди женщины вырываются короткие, хриплые звуки, она рыдает от счастья. Первое чудесное исцеление в Лурде свершилось.

Уже через час сотни людей движутся туда и обратно по узкой улице Пти-Фоссе. А в доме Бугугортов у кроватки ребенка стоят два врача. Доктор Дозу привел с собой доктора Лакрампа, так как Перю, тоже некоторое время лечивший ребенка, в отъезде. Известно, что семья Лакрамп принадлежит к верхушке лурдского общества. Доктор Лакрамп — очень богатый человек и практикует лишь от случая к случаю. После того как медики с величайшей тщательностью осмотрели малыша, городской врач вынимает журнал со своими записями и читает:

— «Жюстен Мари Адолар Дюконт Бугугорт, родился в феврале 1856 года. Ярко выраженный рахит. Март 1856 — сильное воспаление слизистой кишечника. 25 августа — высокая температура, сильные судороги, рефлексы сохранены. На следующий день: рефлексы исчезают, температура нормальная. Meningitis tuberculotica? Прогрессирующий паралич нижних конечностей. Exitus вероятен в течение ближайших часов». Дальше записи длительное время отсутствуют. Затем: «Диагноз колеблется между менингитом и полиомиелитом. Полный паралич нижних конечностей…» — Дозу опускает журнал. — Вот видите, коллега, мои записи довольно точны. Я

ведь обо всех интересных случаях сообщаю моим корреспондентам в Париже.

В комнате Бугугортов вокруг врачей почтительным кольцом стоят человек пятнадцать соседей с открытыми от изумления ртами. Медики не обращают никакого внимания на этих непросвещенных обывателей, но торжественно, пересыпая свою речь терминами на латыни и греческом, служат научную мессу, внушающую упомянутым обывателям не меньший трепет, чем богослужение в церкви.

— Я обследовал этого ребенка три дня назад, — говорит Дозу. — Полный паралич бедер был без изменений. Атрофию и контрактуры вы видели сами. Но сейчас, без сомнения, началась иннервация. Хорошо прощупывается новая мускульная ткань. Попробуйте еще раз…

— Если ваш диагноз был верен, — замечает Лакрамп, — то иннервация абсолютно исключена. Откуда ей быть, согласитесь, если двигательные нервы разрушены? Вы же не считаете, что такие изменения могли развиться только на почве рахита?

— Конечно не считаю, коллега. Но я утверждаю, что мой диагноз был верен.

Доктор Лакрамп пожимает плечами:

— В таком случае мы столкнулись с медицинской загадкой. Ледяная ванна воссоздает нервную ткань из ничего. Вы так верите в действие холодной воды, Дозу?

На лице городского врача появляется ироничная усталая гримаса.

— Тучным людям, которые плохо себя чувствуют, я рекомендую холодные ванны, — говорит он. — Это полезное аскетическое средство при переедании и праздности.

— Может быть, вы верите в некий травматический процесс, в лечебное воздействие испуга?

— Вы задаете излишние вопросы, коллега.

— Тогда остается только предположить, что в воде Массабьеля растворено неизвестное науке, но мощное вещество, восстанавливающее нервную ткань.

Доктор Дозу берет шляпу и перчатки.

— Я, во всяком случае, — объявляет он, — сегодня же подробно опишу Шарко и Вуазену случай с ребенком Бугугортом.

— Не делайте этого, любезный коллега, — пугается Лакрамп. — Эти светила разразятся гомерическим хохотом по поводу уровня медицины в Лурде, что было бы крайне неприятно.

— Это уже для нас неприятно, — сухо произ-

носит Дозу. — Я ведь тоже верю лишь тому, что вижу сам…

Глава двадцать пятая
Ты играешь с огнем, о Бернадетта!

Супрефект Дюбоэ специально приезжает в Лурд, чтобы отдать последние распоряжения на четверг, завершающий славные две недели таинственных явлений. Власти пребывают в величайшей тревоге. Чудесное исцеление ребенка Бугугортов, вероятно, удвоит и утроит приток паломников. Жандармерии городков Сен-Пе, Оген, Лорен, О-Бонн, Беньер, Пьерфит-Нестала, Люз — это самые крупные населенные пункты провинции Бигорр — доносят, что все тамошние жители намереваются уже в ночь со среды на четверг совершить паломничество в Лурд. Так что поддержание порядка действительно стало организационной проблемой первостепенной важности. Под председательством Дюбоэ проводится целый ряд совещаний в мэрии. Подключается и военный комендант городка. Принимается решение на этот опасный для города день передать войсковые части в ведение мэрии и держать их в состоянии боевой готовности на случай, если военная помощь окажется

необходимой. Согласно приказу барона Масси, направленному жандармерии, воинские части должны быть вооружены не как для полевых учений, а как для парада. Никому не приходит в голову, что тем самым Дама впервые распространяет свое влияние на французскую армию.

В это же время прокурор Дютур получает срочное письмо от своего начальника Фальконе из По. К письму приложена копия послания министра юстиции Делангля, а также некоторое количество газетных вырезок. Часть парижской прессы ожидает потрясающих сюрпризов от последующих явлений Дамы. Мол, там будет иметь место жульничество такого масштаба, на какое никто не отваживался со времен жрецов Изиды в храмах Рима. И в великий четверг готовится зрелище невиданного размаха. Невежественные жители гор своими глазами узрят подстроенное чудо. Электрический аппарат, испускающий искры, в сочетании с ловко установленным «волшебным фонарем» сделает «явление» Дамы зримым по крайней мере для толпы глупцов, которая ежедневно сопровождает Бернадетту. Но этот грубейший трюк лишь выявит полную недееспособность лурдских властей. Министр Делангль, встревоженный газетными сообщениями, по-

сылает подчиненным грозные распоряжения, требуя конфисковать технические приспособления «чуда». Однако это еще отнюдь не все. Известные обстоятельства указывают на наличие некоего давно сложившегося заговора. Трогательная история о наивной девочке-пастушке при ближайшем рассмотрении оказывается цветистым пропагандистским вымыслом. Бернадетта Субиру вовсе не деревенская девочка, а в высшей степени хитрое дитя городских окраин (так пишет «Амстердамсе курант»), в ней полным-полно пороков, гнездящихся в низших, «бродильных» слоях общества. Уже допрос в полиции показал, что она коварное существо, стремящееся только к собственной выгоде. Склад ее характера и был причиной того, что именно эту девочку избрали на роль главной героини святотатственного спектакля, для которого ее, видимо, подготовили и натаскали в одном из женских монастырей в окрестностях По. Генеральная репетиция состоялась ровно за месяц до первого «явления» Дамы.

После всего этого барон Масси новой депешей предписывает прокуратуре, полиции и мэрии установить у грота Массабьель усиленную круглосуточную охрану. Так или иначе представителям властей придется волей-неволей на

потеху публике полазать по горе вокруг Грота в поисках электрического аппарата и волшебного фонаря.

Прибытие сельских жителей к Гроту начинается уже к полуночи. Ночи стоят холодные. Жители некоторых деревень, которым придется несколько часов простоять под открытым небом, натаскивают груды хвороста и зажигают огромные костры. Вскоре просторная долина вокруг злосчастной горы по обоим берегам Гава начинает походить на военный лагерь. Все больше костров загорается во мраке безлунной ночи. Они освещают луга на острове Шале, окрестности Рибера, общинный лес Сайе и все пространство от Старого моста вплоть до холмов Бетаран. Если смотреть на долину со стен лурдской крепости или с холмов Висена, можно подумать, что там внизу занимается пожар. Только сам Массабьель погружен во мрак. Во исполнение приказов префекта Жакоме конфисковал не только стол-алтарь, поставленный мадам Милле, с картинами и подношениями, но и множество свечей, горевших там день и ночь. Теперь в Гроте лишь время от времени мелькают вспышки света от фонариков, которые зажигают жандармы, сменяя друг друга на посту и бдительно следя, чтобы

туда не протащили какие-нибудь колдовские приспособления. Несколько уличных торговцев из Лурда уже тут как тут. Они бойко торгуют салями, жареными каштанами, миндальным печеньем, леденцами, настойкой «Чертова травка» и вином. И выручка у них столь значительна, что превосходит даже доходы на летних ярмарках и местных церковных праздниках. Вообще настроение здесь не столько религиозно-мистическое, сколько предпраздничное. И этот приподнятый, но вполне благодушный настрой, вероятно, тоже объясняется той живой естественностью Дамы, какой ее наделяет Бернадетта. Охраняемая вспышками жандармских фонариков, словно государственная преступница, Дама давно уже стала близким другом всех жителей провинции Бигорр. О Прекрасной Даме из грота Массабьель в народе говорят не как о призраке или видении, а как о Царице Мира, лицезреть которую, разумеется, удел лишь избранных, однако описывать во всех подробностях ее неповторимую внешность и рассказывать о ней вправе любой и каждый. Малышке Бернадетте удалось то, что удается лишь величайшим поэтам: все, что по милости Небес открывается ее глазам, воспринимается народом как живая реальность.

Сегодня, так же как в четверг великого позора, жаждущие чуда заранее готовы к чему-то из ряда вон выходящему. Некоторые даже надеются, что в этот день Дама явит свой лик всему народу. Каждый сможет ее лицезреть на радость нынешним людям, и она станет вечным знамением для будущих поколений. Другие же полагают, что настал день расставания и если не произойдет ничего более значительного, то по крайней мере роза расцветет — как прощальный подарок Дамы. Эти крестьяне, всю ночь толпами прибывающие к Гроту, — благодатная почва для любых чудес. Действительно, если бы они могли стать одним существом, таким как Бернадетта, им было бы дано узреть чудо своими глазами. И все же они теперь уже ни за что не отступятся от веры в чудо, как случилось в тот треклятый четверг. Эта вера уже не зависит от того, что произойдет сегодня. Разве исцеление ребенка Бугугортов не чудо? Видно, вернулись на землю евангельские времена.

В пять часов утра Жакоме насчитывает примерно шесть-семь тысяч человек. К шести часам их уже двенадцать тысяч, а к полудню — свыше двадцати. Вся долина черным-черна или, вернее, пестрым-пестра от покрывающих ее толп.

С высокогорных пиренейских пастбищ спустились пастухи и крестьяне, закутанные в черные плащи, в том числе и тощие дряхлые старцы, едва способные держать в трясущихся руках тяжелую палку с железным наконечником. Пришли сюда целыми группами и молодые девушки из Прованса, спокойные и серьезные, как и их сверстницы из Римской Кампаньи, имеющие с ними общих предков. Многие принесли на голове глиняные кувшины, чтобы зачерпнуть воды из благословенного источника. Земледелец провинции Бигорр, круглоголовый и крутошеий, напоминает римского цезаря. Крестьянин из Беарна, напротив, живостью черт больше походит на галла. А баск, который по происхождению ни римлянин, ни галл, но древнее и чужероднее тех и других, неподвижен, словно пень. Он может часами стоять на одном месте, выпятив грудь, вздернув острый подбородок и устремив суровый взгляд в одну точку. Много испанцев пробрались сюда через границу, поодиночке и группами. Они надменно стоят в сторонке, театрально завернувшись в свои бурые плащи. Красные и белые капюле женщин, голубые шапки мужчин из Беарна, темные береты басков, мундиры драгун — все это при взгляде сверху кажется разноцвет-

ным человечьим лугом на весеннем празднике Господа.

Комиссар полиции облачился в парадный мундир и белые лайковые перчатки. Жандармы, численностью в несколько бригад, вышагивают строем в парадной форме и при перчатках, как приказано бароном Масси. У Старого моста занял позиции лейтенант с полуротой Сорок второго линейного полка. Его задача — защитить бастион просвещения от Дамы. Впрочем, Просвещение и Прогресс также прислали сюда своих любопытных гонцов. Почти все завсегдатаи кафе «Французское» явились сюда, за исключением Дюрана и Лафита. Единственные представители власти, оставшиеся дома, — церковники.

Часть селян прибыла на конных повозках. Некоторые въезжают верхом на лошадях в реку, чтобы подобраться поближе к Гроту. Иные повозки не выдерживают груза и разваливаются. Люди взбираются на деревья, на скалы, и все же лишь у немногих есть надежда что-то разглядеть. Зато большинство, которые лишены такой надежды, полны готовности лицезреть чудо глазами этих немногих.

Когда появляется Бернадетта, толпа встречает ее бурей оваций и ликования — так встречают

разве что императора после выигранной битвы. Жандармы Лурда, во главе с д'Англа сопровождающие Бернадетту в роли телохранителей, невольно превращаются в своего рода княжескую лейб-гвардию. И комиссару полиции, к своему стыду, приходится, словно герольду и гофмаршалу, прокладывать в толпе путь этой безумной, сводящей с ума всю Францию, к подмосткам ее безумств. Причем безумная настолько безумна, что, по-видимому, даже не радуется своей славе. Разве девочке четырнадцати-пятнадцати лет когда-нибудь, с тех пор как стоит мир, выпадал на долю такой почет? «О благословенная! — кричат люди. — О Бернадетта!» И падают перед ней ниц, и прикасаются к ее деревянным башмачкам, и дотрагиваются до ее рук, и стараются поймать полу ее выцветшего капюле. Но она лишь тревожно глядит прямо перед собой и страдальчески морщится, когда приставания становятся слишком назойливыми. О строгая Дама, почему не наделили Вы душу своей избранницы хотя бы малой толикой сладких радостей тщеславия?

Душа Бернадетты настолько переполнена страхом, что в ней не находится места для каких-то других чувств. Будет ли этот четверг последним? Или же благая милость уже сегодня иссякнет?

Она стоит в пустом пространстве, в стороне от толпы, окруженная лишь своей свитой. Около пятидесяти человек получили у жандармов разрешение сопровождать ее нынче — это члены ее семьи, соседки, Дозу, Эстрад, Кларан и другие. Бернадетта уже опустилась на колени, и, значит, Дама явилась! На колени! Словно по команде, все двадцать тысяч становятся на колени. После некоторых колебаний жандармы следуют их примеру. Остается стоять лишь комиссар полиции, охранитель порядка этой мистерии; но чувствует он себя при этом весьма неуютно. Бернадетта кланяется, улыбается, осеняет себя крестным знамением. Тут уж и Жакоме медленно опускается на одно колено, что вызывает в толпе лавину язвительных смешков.

В этот четверг не происходит ничего такого, что могло бы удовлетворить надежды толпы. Дама, как и Бернадетта, совсем не питает склонности к лицедейству и не желает поддаваться страстным ожиданиям зрителей. Она постоянно уклоняется от зрелищных эффектов. Так что остается обычный ритуал: поедание травы, мытье лица и рук, питье воды, молитва по четкам, поклоны, улыбки, испуг, вздох облегчения, напряженное вслушивание, шепот. Через полчаса все кончает-

ся, так что ожидания двадцатитысячной толпы паломников остаются неудовлетворенными. И тем не менее буря аплодисментов, завершающая зрелище, не уступает предшествовавшей. Бернадетта поднимается с колен. Лицо ее сияет от счастья. Мать, сестра, тетки, мадам Милле, мадам Бо, Пере, Жанна Абади, Мадлен Илло — все набрасываются на нее с вопросами:

— Что она тебе сказала?.. Она еще явится?.. Это было в последний раз?.. Надо ли тебе еще приходить к Гроту?..

Бернадетта с обычной готовностью отвечает:

— О да, она еще явится. Но к Гроту мне больше приходить не надо…

— Тебе больше не надо сюда приходить?

— Да нет же, когда она вновь явится, тогда мне надо будет опять прийти к Гроту.

— А когда она вновь явится?

— О, об этом она даст мне знать, — отвечает Бернадетта таким тоном, словно речь идет о ком-то уехавшем ненадолго и собирающемся известить о своем возвращении письмом.

— А каким образом она даст тебе об этом знать? — спрашивает Бернарда Кастеро.

— Этого, тетя, я не знаю сама.

Бернадетта преисполнена блаженством. Имен-

но благодаря передышке, которую Дама дает ей и себе, на нее нисходит покой, который есть не что иное, как спокойное созерцание сбывшейся радости. Великие две недели истощили силы Бернадетты. Ясно, что Дама предоставила ей эту передышку, чтобы она могла собраться с мыслями и вкусила плоды этих дней. Передышка ей очень кстати, чувствует Бернадетта. У Дамы есть дела где-то еще. Наверняка она тоже устала от частого появления на людях. Бывают же разлуки во благо, даже для преданно любящих, ибо и любви нужно какое-то время, чтобы передохнуть.

На площади Маркадаль и в узких окраинных улочках Лурда праздник двадцатитысячной толпы отдается весьма ощутимым эхом. Запасы съестного и напитков угрожают вот-вот истощиться. Казенаву приходится послать подводу в Тарб, чтобы доставить в город несколько бочек вина и кое-какие продукты. Владелец кафе Дюран вынужден взять прямо с улицы дополнительного официанта. Перед трактирами выстраиваются очереди жаждущих еды и питья. Деловые люди Лурда, как прогрессивного, так и консервативного толка, начинают ощущать привлекательность Дамы из Массабьеля.

На обратном пути свита окружила Бернадетту

плотным кольцом, а то бы любовь бигоррских крестьян разорвала ее на части. Каждый бы хотел обнять ее и прижать к груди. Лишь с величайшим трудом ей удается проскользнуть домой в кашо. И только тут выясняется главное событие дня, так как Бернадетта вначале не придала ему никакого значения. Мать Антуана Николо спрашивает ее:

— Дама так и не назвала тебе свое имя?

Бернадетта погружается в раздумье. Потом начинает рассказывать:

— Вслух я не спросила. Но она почувствовала, что я мысленно ее об этом спрашиваю. Тут она вдруг немного покраснела и сказала так тихо, что я едва расслышала…

— Что она сказала? Говори же! Что? Ведь ты не забыла?

— Нет, по дороге домой я все время повторяла, чтобы не забыть, и выучила наизусть. Она сказала…

— Что сказала? Почему ты медлишь?

—

Она сказала: Què soy l'immaculada Councepciou[9].

— Что-что? Повтори-ка еще раз…

— Què soy l'immaculada Councepciou.

---

[9] Notes: 9

Я — Непорочное Зачатие *(оксит. диалект).*

С горящими глазами матушка Николо уходит. Она рассказывает все это Жермен Раваль, которую застает за глажением белья. Жермен тут же бросает белье и бежит сообщить это своей подруге Жозефин Уру, которая выбивает ковры. Жозефин рассказывает все Розали, камеристке мадам Бо, той самой, у которой тоже бывают видения; в тот миг, когда Уру прибегает к ней, она как раз лакомится вареньем в кладовой мадам. Розали передает это своей хозяйке. Та бежит к мадам Милле, где принимается решение немедленно известить об этом аббата Помьяна. После этого Помьян по долгу службы отправляется к декану Перамалю.

— Мой отец, как и дед, был врачом и естествоиспытателем, — говорит Мари Доминик Перамаль, прохаживаясь по своему уютному кабинету и обращаясь к Помьяну, греющемуся у камина. День близится к вечеру — уже шестой час, и лампы зажжены. — И если за благо дарованной мне веры я должен благодарить Господа, то за критический настрой ума я благодарю отца и деда, передавших мне его по наследству. Критический ум отнюдь не вреден, дорогой мой Помьян; и мы оба очень хорошо это знаем.

— И какое же решение вы приняли, месье де-

кан?

— А никакого, мой дорогой. Девочка через несколько минут будет здесь. Прошу вас присутствовать при нашей с ней беседе, пока я не дам вам знак удалиться.

Бернадетта все еще не преодолела свой страх перед деканом. Руки ее холодны как лед и дрожат, когда ее вводят в кабинет, хотя эта уютная и теплая комната не так отпугивает, как холодный зал для приемов на первом этаже. Но, увидев двух священников сразу, она пугается так, что сердце у нее начинает бешено колотиться.

— Входи же, дитя мое! — говорит Перамаль, стараясь держаться как можно приветливее, хотя уже в первые минуты разговора в нем просыпается прежний необъяснимый гнев. — Иди сюда, садись поближе к огню! Хочешь, я велю принести тебе чего-нибудь поесть или попить?

— Нет, спасибо, месье декан!

— Ну тогда усаживайся поудобнее. Мы с твоим учителем катехизиса должны задать тебе несколько вопросов. Готова ли ты ответить на них правдиво?

— О да, месье декан!

Перамаль пододвигает один из стульев вплотную к Бернадетте, которая сидит у камина,

напряженно выпрямившись. Он пристально вглядывается в ее лицо, словно врач, изучающий пациента.

— Итак, что же сказала тебе Дама нынче? — спрашивает он.

— Què soy l'immaculada Councepciou, — вспоминает девочка с видимым напряжением.

— А знаешь ли ты, что это означает «Я — Непорочное Зачатие»?

— Нет, этого я не знаю…

— Но может быть, ты знаешь, что значит «непорочное»?

— О да, это я знаю. Непорочное — значит без пороков, без недостатков, то есть чистое…

— Хорошо! А «зачатие»?

Бернадетта молчит, понуря голову.

— Ну ладно, оставим это, — примирительно роняет священник. — Скажи мне, пожалуйста, что ты знаешь о Богоматери? О ней вам наверняка многое поведал учитель катехизиса.

— О да! — лепечет Бернадетта, ломая пальцы, как делают все плохие ученицы, не слишком доверяющие своей тупой голове. — О да, Богоматерь родила младенца Христа. Она лежала на соломе в хлеву в Вифлееме. И слева на нее глядела овечка, а справа — ослик, на котором она приехала.

Овечка сопела. А потом туда пришли пастухи и три святых царя. А потом жизнь Богоматери была очень-очень несчастной; и сердце ее было пронзено семью мечами, потому что ее сына, Спасителя, распяли на кресте…

— Ну что ж, дитя мое, это все верно, — кивает декан. — Но разве ваш учитель больше ничего вам не рассказывал? Никогда не упоминал о Непорочном Зачатии?

Тут вмешивается аббат Помьян:

— Я абсолютно уверен, господин декан, что никогда не упоминал этот догмат. Он не входит в учебный материал начальной школы.

— Но может быть, об этом говорила детям сестра Возу?..

— Почти наверняка исключено, — качает головой Помьян.

Декан чуть ли не горестно смотрит в глаза девочке. Он вспоминает слова директора лицея Кларана, сказавшего ему нынче, что величайшая сила Бернадетты в беседе — ее безразличие. И он еще больше подается вперед.

— Но где-то ты все же слышала это выражение. Постарайся-ка вспомнить, кто говорил тебе о Непорочном Зачатии. Или ты отрицаешь, что когда-либо о нем слышала?

Бернадетта закрывает глаза и честно старается вспомнить. Через некоторое время она говорит извиняющимся тоном:

— Может, я что-то и слышала об этом. Но уже не помню что.

Тут Перамаль встает и заходит за спину Бернадетты:

— Тогда я сам объясню тебе, милое дитя, что такое Immaculada Councepciou. Четыре года назад, восьмого декабря, наш святой отец папа римский Пий объявил миру, что Благословенная Дева Мария с самого первого мига своего появления во чреве матери была избавлена от позорного пятна первородного греха милостью Господа нашего, избравшего ее в предвидении будущих заслуг Иисуса Христа… Поняла ли ты меня, Бернадетта?

Бернадетта медленно качает головой:

— Разве мне такое понять, месье декан?

— Вполне верю, дитя мое, разве тебе это понять? Это вообще труднодоступно пониманию мирян. Об этом должны думать ученые мужи. Но одну вещь и ты сможешь понять: если бы Благословенная Дева Мария в самом деле говорила с тобой, то она могла бы сказать о себе: «Я — плод непорочного зачатия». Но она не может сказать: «Я — непорочное зачатие». Ведь роды и зачатие

— это действия. А существо не может быть действием. Никто не может о себе сказать: «Я — роды моей матери». Тебе ясно?

Бернадетта молча и безучастно глядит на Перамаля. В его хрипловатом голосе уже прорываются нотки ярости.

— Следовательно, твоя Дама допустила непростительную ошибку. Ты согласна?

Лоб Бернадетты, наполовину скрытый капюле, который она не сняла, войдя в комнату, хмурится от напряжения.

— Дама, — говорит она после минуты раздумья, — как-никак не из здешних мест. Мне кажется, ей иногда трудно сказать то, что она хочет…

При этих словах аббату Помьяну не удается скрыть улыбку. Декан незаметно подает ему знак. И капеллан тихонько удаляется. Бернадетте очень хочется, чтобы учитель, с которым она больше знакома, не уходил. Ей так жутко оставаться наедине с Перамалем. А он говорит с тяжелым вздохом:

— Дорогое мое дитя, для тебя пробил очень важный час. Помни об этом. Через несколько недель ты должна впервые отведать пищи со стола Господня. Я за тебя в ответе и очень тревожусь

о твоей душе. Что мне с тобой делать? Говоришь ты правдиво. Но я никак не могу тебе поверить. Сегодня еще меньше, чем раньше. Ты причиняешь мне муки, Бернадетта. И сейчас я прошу тебя как твой духовный отец, как будто я нахожусь в исповедальне: перестань лгать! Признайся: мадам Милле, мадам Бо, мадам Сенак или кто-то еще подсказал тебе про Immaculada Councepciou, чтобы придать важности в глазах людей…

— Но я никак не могу в этом признаться, — печально говорит Бернадетта. — Потому что это неправда. Никто из этих дам мне ничего не подсказывал.

Декан впивается пронзительным взглядом в апатичные глаза девочки:

— Старик-священник Аде, которого ты знаешь по Бартресу, говорят, навестил тебя вопреки моей воле. Вспомни-ка! Может, это он невзначай навел тебя на эту мысль?

Бернадетта спокойно возражает:

— Но господин священник не говорил со мной наедине. При разговоре присутствовали мои родители, тетя Бернарда, тетя Люсиль и тетушка Сажу, да о таких вещах вообще речи не было…

На это Перамаль уже ничего не возражает, он молча садится за письменный стол и начинает

листать какую-то книгу. Спустя довольно долгое время вновь раздается его до неузнаваемости изменившийся голос — мягкий, ласковый, задушевный:

— Как ты представляешь себе свою дальнейшую жизнь, свое будущее, девочка?

— Так же, как все здешние девочки, — быстро и без тени смущения отвечает Бернадетта.

Перамаль, не отрывая глаз от книги, продолжает:

— Ты уже большая девочка, можно сказать почти взрослая женщина. Всем девушкам после первого причастия разрешается участвовать в разных увеселениях. Они ходят на танцы, знакомятся с молодыми людьми, у них появляется много всяких развлечений. И если Господу будет угодно, они найдут себе порядочного мужа. Ты дочь мельника. И вполне могла бы выйти замуж за мельника. Потом появятся дети. Подумай о своей матери! С детьми у нее больше мук, чем радости, видит Бог! Но такова жизнь. И Господь не создал никакой другой. Разве ты не хочешь ходить на танцы, как все? Разве не хочешь стать такой, как твоя мать? Скажи сама!

Бернадетта заливается краской и очень оживляется:

— Конечно, мне тоже хотелось бы ходить на танцы, господин священник, и когда-нибудь выйти замуж, как другие…

Декан поднимается во весь свой огромный рост, скрипя башмаками подходит вплотную к девочке и кладет ей на плечи сжатые в кулаки руки:

— Тогда очнись! Иначе твоя жизнь кончена. Ты играешь с огнем, Бернадетта!

Глава двадцать шестая
Круги по воде, или Жалкие подражатели

С четверга Бернадетта больше не ходит к Гроту. Но жительницы Лурда продолжают являться туда каждое утро и каждый вечер. Стол-алтарь, конфискованный Жакоме, хранится в каретном сарае мэрии. Но уже в пятницу он опять стоит в Гроте с множеством венков и горящих свечей. Комиссар полиции приказывает вновь его конфисковать. На следующий день его опять крадут и ставят назад. Эта игра продолжается до тех пор, пока по решению прокурора «алтарь» не рубят в щепки. Мадам Милле подает в суд жалобу на насильственное изъятие и уничтожение ее собственности. Одновременно она жертвует новый алтарь, намного богаче первого. Мэр Лакаде, который, по мнению Дютура, в ходе борьбы против Дамы удивительно помягчел нравом, советует прокурору отказаться от политики булавочных уколов. Она продиктована злостью, а злость — как в большом, так и в малом — плохая советчица для политиков.

— Если уж наносить удар, — говорит Лакаде, — то только решающий. И мы его нанесем, дорогой прокурор. Положитесь на меня.

Виталь Дютур, озадаченный этими избитыми истинами, подозревает, однако, что Лакаде плетет свою собственную интригу. Но в последующие дни его внимание приковывают новые, весьма необычные события. Словно в пику Небесам, которые явлением Дамы выказали излишнюю милость к Лурду, их антипод из преисподней, видимо, ощутил желание напомнить о себе. И добился этого, наслав на Лурд эпидемию безумия, вспыхивающую то тут, то там. Внезапно в провинции Бигорр появилось великое множество ясновидцев, припадочных, лунатиков и сомнамбул. Не один лишь успех порождает эту волну подражателей. Психопатия с давних пор находится в глубинной связи с дьявольщиной. Вера в Божественное есть не что иное, как осознанное признание того, что сущий мир имеет смысл, то есть что мир — обитель духа. А безумие есть полное отрицание этого смысла. Более того, безумие есть признание бессмысленности творения на примере отдельной личности. Где в душе отсутствует всякий намек на осмысленность — что случается, однако, крайне редко, — там безумие

вступает в свои права. Именно поэтому времена, отрицающие божественный смысл Мироздания, тонут в море крови из-за коллективного безумия, какими бы разумными и просвещенными ни казались себе в своем самомнении.

Первый из этих подражательных феноменов затрагивает соученицу Бернадетты, Мадлен Илло, — ту бедную девочку с длинными руками и прекрасным сопрано, которая некогда входила в группу подружек Жанны Абади. Мадлен необычайно музыкальна. Божественный дар пронизывает все существо того, кому он ниспослан. А демоническое начало особо не утруждается и использует наши таланты, чтобы проложить себе доступ к нашей душе. Именно этим и объясняется болезненное тщеславие всех талантливых людей. И у Мадлен Илло дьявол поражает ее самый одаренный орган — слух. Однажды под вечер девочка стоит на коленях в Гроте и молится по четкам. И вдруг чувствует, что погружается в волны очень тихого ангельского пения. У нее даже дыхание перехватывает, так нежно и в то же время так чисто звучит хор — такого пения она прежде даже представить себе не могла. Поначалу она не пытается ничего себе объяснить, только вся обращается в слух. Но

позже, немного придя в себя, она проникается безумной гордостью: теперь и я попала в число избранниц. И тихонько, но уже дерзко и самонадеянно, вплетает свой собственный голос в небесный хор. Звучит он недолго, так как уже на следующем такте в чистые звуки хора врывается отвратительная какофония. Ее вносят некие инструменты, которые мастерски воспроизводят хрюканье свиньи, крик павлинов, карканье ворон. А перемежаются эти крики сдавленными трубными звуками, словно извергающимися из жестяных воронок. Спокойное течение мелодии переходит в спотыкающийся танцевальный ритм, сопровождаемый равномерными глухими звуками какого-то ударного инструмента вроде африканского тамтама. Но самое страшное — стоит девочке вскочить, как ноги у нее сами собой начинают дергаться в негритянской пляске. Она с воплем бросается прочь. Комиссар полиции Жакоме — человек добросовестный. «Видения»-конкуренты ему весьма кстати, так же как и прокурору. В полицейском донесении тщательно фиксируется акустическое «видение» Мадлен Илло, которое приберегается на будущее.

Несколько дней спустя молодой парень из Оме, идя вдоль Гава, видит в небе над Трущобной

горой парящий огненный шар. Парень осеняет себя крестным знамением, шар лопается. Парень тоже бежит в полицию. Но Виталь Дютур вычеркивает огненный шар из бумаг, которые кладет ему на стол Жакоме. Он полагает, что здесь речь идет, по-видимому, не о помутнении разума, а о редком явлении природы — о шаровой молнии. Из донесения, однако, не вычеркивается рассказ нескольких ребятишек в возрасте от восьми до одиннадцати лет, которые около полудня, когда рядом не было никого из взрослых, увидели в Гроте все Святое семейство в полном составе. Когда Жакоме взялся за них как следует, они дали препотешные показания. Мадонна, с ног до головы в золоте, была, мол, похожа на карточную королеву. Святой Иосиф нес на спине мешок, а в руке держал серебряные вилы. Присутствовали там якобы и гости Святого семейства — святой Петр и святой Павел: они сидели за столом и ели похлебку. «С чего вы взяли, что это были именно они?» — «Они, в точности они, господин комиссар».

Два других случая пострашнее этих. Маленькая девочка, находясь вместе с матерью на берегу Гава близ Грота и заглянув в воду, до такой степени пугается того, что она там увидела и что видно

ей одной, что впадает в столбняк и на два часа теряет дар речи. Первое слово, какое она смогла пролепетать, придя в себя, было слово «дьявол».

Прямо-таки классическая дьяволиада разыгрывается в доме Сенака, где живут Жакоме и Эстрад. У их соседей, скромных мелких буржуа, есть сын, мальчик одиннадцати лет по имени Алекс, которым они чрезвычайно гордятся. Алекс — истинно образцовый мальчик: первый ученик в классе, блестяще успевает по всем предметам. Его прилежание, его осведомленность в науках, его аккуратность у всех на устах. Он избегает общества соучеников, так как их манера общения кажется ему излишне плебейской. И в одежде, и в поведении он любит торжественное достоинство и на вопрос о будущей профессии неизменно отвечает, что хочет стать судьей. Этот Алекс без всякой видимой причины в одночасье впадает в бешенство. Он набрасывается на собственную матушку и наносит ей раны перочинным ножом. После этого прячется в кухне, забаррикадировав дверь и отвечая на заманчивые предложения домашних непотребными ругательствами, из которых «говно» еще самое невинное. Родители клянутся всеми клятвами, что их Алекс таких слов никогда не слышал. Обезумевшего мальчи-

ка в конце концов одолели. Пришлось привязать его к кровати. На губах у него выступила пена, а глаза горят такой злобой и бешенством, что добропорядочные родители не могут вынести его вида. И доктор Перю уже предписывает поместить Алекса в психиатрическую больницу закрытого типа в Тарбе. Но тут мать мальчика бросается к знакомому священнику, члену монашеского ордена отцу Белюзу, который в это время находится в Лурде. Священник решает изгнать из безумца злого духа, что ему вполне удается. И спустя несколько дней Алекс опять посещает школу — такой же чопорный, рассудительный, замкнутый, как раньше, и по-прежнему доставляет радость родителям.

В течение этого времени у Бернадетты появляется множество подражателей. Эстрад, к своему неудовольствию, Жакоме — к своему удовольствию — имеют возможность собственными глазами наблюдать за некоторыми из них. Подражатели очень точно воспроизводят все внешнее в поведении своего кумира — как Бернадетта здоровается, улыбается, кивает, воздевает руки. Но они-то кажутся будто специально созданными для того, чтобы продемонстрировать огромную пропасть между подлинным и поддельным.

Когда они уверяют, что видят Даму, то всем присутствующим ниша в скале кажется еще более пустой, чем была до этого. Но среди прочих есть один случай, о котором следует сказать особо. Как-то утром — не было еще и семи часов — со скоростью ветра распространяется слух, что Бернадетта сегодня отправится к Гроту. Вскоре огромная толпа движется туда же. И в самом деле: перед нишей на коленях стоит Бернадетта с горящей свечой в руках — точь-в-точь она, собственной персоной. Белый капюле, затеняющий лоб, длинное платье, деревянные башмаки. Спиной к зрителям она моет лицо и руки в источнике, пьет воду, обрывает и ест траву, ползает по земле, издает долгие дрожащие вздохи, шепчет: «Искупление! Искупление!» Копия так похожа на оригинал, что почти никто из свидетелей и участников великого двухнедельного паломничества ничего не заподозрил. Только весь этот спектакль почему-то не производит на зрителей ни малейшего впечатления — все это уже было и как бы приелось. Но спустя десять минут поддельная Бернадетта вскакивает, сбрасывает капюле и обнажает смуглое, слегка тронутое оспой девичье личико, весело ухмыляющееся во весь рот. Малышка подтыкает платье и пускается

в пляс на глазах изумленной толпы. Прежде чем ее успевают схватить, она, как горная козочка, взбегает на скалу и исчезает из виду. Некоторые утверждают, что это была молоденькая испанка, горничная мадам Лакрамп, которую та недавно уволила за наглое воровство. Другие считают фиглярку цыганской девчонкой из табора, который за несколько дней до этого выдворили из окрестностей Лурда. Однако точно никто ничего о ней не знает. Жакоме докладывает префекту о «тяжком оскорблении религиозных чувств», а Гиацинт де Лафит очарован этим эпизодом:

— Цыганка, разыгрывающая из себя святую, могла бы стать главной героиней балета, для которого маэстро Джакомо Мейербер мог бы написать музыку в стиле «Роберта-Дьявола».

С подобными демоническими вкраплениями, число которых в отсутствие Дамы все растет и растет, вероятно, связано и грехопадение Франсуа Субиру. Субиру по крайней мере две недели ни разу не заглядывал в заведение папаши Бабу. Тому было несколько причин. Первая из них: кабачок Бабу за это время превратился в прибежище насмешников, очаг богохульства, дискуссионный клуб неверующих. Он стал — естественно, на более низком уровне — аналогом

кафе «Французское». Хотя Субиру отнюдь не принадлежит к тем, кто ревностно верит в чудо, все же он как-никак отец той девочки, что стала главным действующим лицом в этом конфликте между Небом и землей. Стыд и гордость запрещают ему присутствовать при словопрениях в густом облаке винных паров и табачного дыма, когда либо разум, либо правдивость его дочки подвергаются грязному осмеянию. Вторая причина еще важнее: Франсуа Субиру дал молчаливый, но решительный обет впредь отказаться от зеленого змия. И обету этому он верен уже много дней, проявляя неожиданную силу воли. Было бы большой несправедливостью назвать Субиру заурядным пьяницей. Чувство собственного достоинства никогда не позволяет ему допиваться до свинского состояния. Никто из сограждан не мог бы утверждать, что видел мельника Субиру в полной прострации. Две-три стопки «Чертовой травки», необходимые отцу чудотворицы для счастья, как раз и заполняют ту щемящую пустоту, с ощущением которой он просыпается каждое утро. Достаточно странно, что с тех пор, как его Бернадетта столь блестяще прославилась, эта щемящая пустота не только не уменьшилась, но даже намного увеличилась. При всем своем

легкомыслии Субиру — тугодум, склонный к пессимизму. И ореол славы, вот уже месяц осеняющий кашо, наполняет его не только тревогой и беспокойством, но в еще большей степени глухой тайной ревностью к дочери — источнику этой славы. В его наглухо замкнутой душе таится обида на дочь за тот надменный блеск, который она придала его скромному имени. В то же время некоторые последствия этого блеска ему несомненно приятны. Иными словами, он испытывает смешанные чувства. Франсуа Субиру из тех закоренелых упрямцев, которые черпают из своей «униженности» сладкое право на высокомерное недовольство. Он думает: женщины устроены по-другому. Они рады, когда их имя треплют все кому не лень.

Чтобы вернуть бывшему мельнику душевное равновесие, теперь потребовалось бы больше, чем стаканчик-другой ежедневно. Но он строго выполняет свой обет и не пьет ни капли. Ему приходится вести жестокую борьбу с самим собой. Цель обета по-прежнему состоит в том, чтобы все кончилось хорошо, то есть прошло и быльем поросло. В то же время Франсуа Субиру сознает, в чем его долг перед самим собой как отцом чудотворицы. Поэтому теперь он ежедневно ходит

в церковь. Но при этом вынужден несколько раз на дню проходить мимо заведения папаши Бабу и других злачных мест. И каждый раз его борьба с самим собой достигает апогея.

Во второе воскресенье после исчезновения Дамы, возвращаясь домой с торжественной мессы, он сворачивает на улицу Пти-Фоссе. И тут перед кабачком папаши Бабу его настигает судьба в образе полицейского Калле, жандармского бригадира д'Англа и жандарма Белаша. У всех троих стражей порядка нынче свободный день. Они тоже рады передышке, которую им дала Дама. При виде Субиру всем троим разом приходит в голову, что он их личный враг. Они, низшие чины государственного аппарата, в неменьшей степени враждебны поклонению чуду, чем министр по делам культов Руллан, префект Масси, прокурор Дютур и комиссар полиции Жакоме. И разоблачение моральной неустойчивости отца чудотворицы было бы неплохим козырем в этой борьбе.

— Эй, важный человек, чего нос задрал? — кричит бригадир. — У тебя такой вид, будто ты сам епископ в цивильном платье.

На Субиру и впрямь черный воскресный костюм, подарок почтмейстера Казенава. Вежливо

поздоровавшись, он норовит проскользнуть мимо жандармов. Но д'Англа хватает его за рукав:

— Ну, Субиру, тебе ведь в самом деле не в чем нас упрекнуть!

Франсуа останавливается и мрачно глядит в землю:

— Как это не в чем? Англичанин — на вашей совести…

— Англичанин! — заводится Белаш, жандарм с бандитской бородкой. — А кто закрыл глаза на то, что Николо и Бурьет побили этого тупицу? Это мы закрыли глаза, чтобы ты был отомщен!

— Друзья, — успокаивает всех бригадир, — сейчас начнется дождь. Поговорим лучше под крышей у папаши Бабу.

— Я иду домой, — заявляет Субиру.

Д'Англа дружески кладет руки ему на плечи:

— Домой? Что тебе делать дома в половине одиннадцатого утра? Сегодня как-никак воскресенье. Не пойдешь же ты домой, когда жандармы приглашают тебя разделить компанию…

— Нет, я все же пойду домой, — противится Субиру, а его тем временем втаскивают в кабак. Оба гостевых зала уже забиты до отказа — теперь, когда Лурд стал самым знаменитым городом Франции, такая картина здесь обычна для любого

времени дня. Ради почетных гостей приходится потесниться. Д'Англа жестом подзывает тучного папашу Бабу.

— Не вздумай угощать нас нынче своим самодельным пойлом! Сегодня подай нам чего-нибудь особенного, Бабу, пусть мы ухлопаем на это свое недельное жалованье. Мы угощаем нашего друга…

Бабу надувает щеки и целует кончики пальцев:

— В погребе у меня остались еще три бутылки самого благородного…

С любителями крепких напитков с глубокой древности происходит одна и та же история. Отказаться от первой рюмки легче, чем от второй, от второй легче, чем от третьей, и так далее. После первой рюмки Субиру думает: «Нельзя обижать начальство». После второй он уже ни о чем не думает, а лишь наслаждается ощущением блаженства, которого так долго себя лишал. После третьей он уже полон решимости продолжать в том же духе. Ведь если он не станет распускать язык, ничего плохого не случится. Вокруг стола стражей порядка толпятся болельщики, словно здесь идет азартная игра на большие деньги. Д'Англа не устает нахваливать Субиру:

— Блестяще держишься, дружище, просто молодцом! Подумать только: твое имя упоминается во всех газетах мира, а твоя семья все еще ютится в кашо. Я в ваши дела не вмешиваюсь. Но ты мог бы огрести сколько угодно денег. Богатые богомолки осыпали бы тебя золотом, и тебе ни перед кем не пришлось бы отчитываться. Но мы, власти, теперь точно знаем, что ты не гонишься за деньгами и остаешься таким же бедняком, каким был раньше. Ты молодчина, Субиру!

— Каждый делает, что может, — кратко роняет польщенный Субиру.

Белаш, будучи невысокого мнения о неподкупности генералов, министров, префектов и прочих власть имущих, лихо присвистывает сквозь зубы:

— Господи боже мой, важные господа устроены совсем по-другому. Их не приходится осыпать золотом. Они его сами гребут.

— С важными господами я незнаком, — осторожно замечает Субиру.

Один из болельщиков вдруг вставляет:

— Ну уж мельница-то тебе полагается, Субиру, черт меня побери! На Лапака стоят две бесхозные, а нынче, после такой зимы, воды будет вдоволь. Пускай подарят тебе одну мельничку. Никто зла

на тебя за это не затаит. Молоть муку — дело полезное.

— Я мельничное дело знаю не хуже других, — кратко бросает Субиру, блюдя свой зарок поменьше болтать, хотя тема эта задевает его за живое.

Под такие осторожные разговоры опорожняется первая бутылка, причем гостю из вежливости дают большую фору. Давно забытое чувство умиротворенности овладевает душой клятвопреступника. Вторая бутылка уже на исходе, когда д'Англа простодушным и ясным взглядом заглядывает в глаза Субиру.

— Для меня ты большая загадка, дружище, — говорит бригадир. — На твою дочь низошла милость Божья. Не меньше двадцати тысяч собралось недавно возле Грота. А тебя самого там почти не видать. Что нам об этом думать? И что ты сам думаешь?

— Я человек простой. И никому нет дела, что я об этом думаю.

— Не виляй, Субиру! Веришь ты, что Бернадетте является Дама, или не веришь?

Субиру, набравшийся к этому времени много больше своих собутыльников, не может сдержаться, хотя уже едва ворочает языком.

— Ишь какие умники нашлись! — язвит он. —

Если вы ездите по железной дороге и посылаете телеграммы во все страны, то уж думаете, что Пресвятая Дева не может явиться к нашему брату. А она вот берет и является, клянусь Небом! И если хочет, то ездит по железной дороге.

— Здорово отбрил! — орут болельщики. — Почему бы Пресвятой Деве не ездить по железной дороге? Пускай декан Перамаль отобьет об этом телеграмму епископу в Тарб!

Коротышка Калле, упившийся первым, барабанит кулаками по столешнице.

— Не по железной дороге, — горланит он, — а на воздушном шаре. Именно на воздушном шаре! И пускай привезет к нам все Святое семейство…

Такое примитивное богохульство веселит сердца простых людей, даже если они привержены вере. Кто в таком тоне говорит с Небесами, тот без особого труда приобретает славу лихого парня. Душный зал трактира сотрясается от хохота. И на фоне этого хохота бригадир внезапно спрашивает:

— Каково это — принадлежать к Святому семейству? А, Субиру?

— Что — каково? — лепечет пьяный.

— Ну как же, Субиру, ты ведь теперь принадлежишь к Святому семейству.

— Почему это?

— Очень просто. Слушай внимательно! Что такое Святое семейство, ты, конечно, знаешь. Это Пресвятая Дева, ее Сын и святой Иосиф…

— Ха, святой Иосиф! — кричит кто-то. — Для меня он то же самое, что принц Альберт, супруг английской королевы Виктории…

— Никаких выпадов против глав других государств! — рычит Калле. — Не то нам придется вмешаться.

— Принц Альберт способен на такое, чего святому Иосифу не сдюжить, — замечает кто-то из знатоков. Но бригадир, любовно поглаживая холеные усы, не отстает. Глаза у него рыбьи, водянистые, лицо красное и одутловатое.

— Раз Пресвятая Дева приходит к твоей Бернадетте, — заявляет он, — значит у нее имеются к ней родственные чувства. Это же ясно как день. А может, кому неясно? Дева чувствует свое родство с Бернадеттой, так? Этого ты ведь не станешь отрицать.

— Не станешь ты этого отрицать! — повторяет Калле и, повысив голос до крика, подступает к Субиру. — Сейчас же признайся, что ты принадлежишь к Святому семейству!

Субиру только что опрокинул решающую рюм-

ку, после которой приятное опьянение обычно переходит в трагический накал. Он медленно поднимается с места и мрачно выпаливает:

— Признаю, что я член Святого семейства!

Папаша Бабу оглушительно хлопает в ладоши. Но его хлопки перекрывает пронзительный голос Калле:

— Если уж ты член Святого семейства, то нечего рыгать и портить воздух в помещении…

— Тихо! — орет д'Англа и ждет, когда установится тишина. Потом придвигается красным лицом к желтовато-бледному лицу Субиру. — А теперь ответь мне, Субиру, не стесняйся: каково принадлежать к Святому семейству?

Субиру оглядывается невидящими глазами. Крупные капли пота стекают у него по лбу. Он явно перебрал. Слишком долго он воздерживался. И слишком быстро пил. Язык еле ворочается у него во рту.

— Принадлежать к Святому семейству… — лепечет он. — Это… это… это проклятье!

И он мешком оседает на лавку, роняя голову на стол и прикрывая ее руками. Никто уже не смеется. Жандармы и Калле выходят из зала и после держат голову в холодной воде до тех пор, пока окончательно не приходят в себя и

могут показаться на улице. Спустя полчаса они провожают Франсуа Субиру до дома. Из-за этой процессии в Лурде держится упорный слух, что прокурор приказал арестовать отца Бернадетты. Тут уж бригадир д'Англа, жандарм и полицейский Калле испытывают такой стыд, что, немного посовещавшись, решают не подавать рапорт «о случае тяжкого опьянения», хотя их начальники наверняка были бы им за это благодарны, а еженедельник «Лаведан» мог бы поместить по этому поводу статейку частично морального, частично научно-популярного толка под заголовком: «Дочь алкоголика».

Глава двадцать седьмая
Огонь играет с тобой, о Бернадетта!

Проходит целых двадцать дней, прежде чем Дама «дает знать» Бернадетте, что собирается вновь появиться в Массабьеле. За эти дни ужасающе растет число мистификаций. В них участвуют в основном лурдские дети. Что на них нашло, взрослые не очень-то понимают. Однажды целая орава ребятишек от девяти до двенадцати лет во второй половине дня направляется к Гроту и, пародируя благословение четок и чудесные исцеления, творит такое бесстыдное богохульство, что молящиеся у Грота крестьянки разбегаются, вне себя от возмущения. Декан Перамаль взбешен. Он готов поклясться, что это безобразие спровоцировали некие светские львы из кафе «Французское». Предположительно, после согласования с властями. Но поскольку у Перамаля нет улик против взрослых, он на следующий день забирает из школы обоих мальчишек — зачинщиков богохульного действа — и собственноручно порет их розгами. В воскресенье он же в краткой проповеди защищает Бернадетту — естественно, не

называя ее имени, — от подлых подражателей. Прихожане навостряют уши. Что это значит? Церковь меняет свое отношение к чуду? Отнюдь! Мари Доминик Перамаль по-прежнему не верит в полную правдивость Бернадетты и ее душевное здоровье. Все его мысли заняты этой девочкой. И хоть Перамаль никак этого не показывает, он растерян и потрясен. Как бы против своей воли он встает на защиту той, о которой предпочел бы забыть как о досадном наваждении.

Тем временем Виталь Дютур и Жакоме обращают в свою пользу все безобразия, чинимые жалкими подражателями Бернадетты. Пространное полицейское донесение ежедневно отправляется в По барону Масси и главному прокурору. В нем описываются не только «мальчишеские шалости» школьников, не только более или менее удачные подражания Бернадетте различных претенденток на роль чудотворицы, но и такие необъяснимые случаи, как острое помешательство образцового мальчика Алекса и его быстрое излечение отцом Белюзом. Перечисляются также многочисленные припадки, обмороки и аберрации чувств, происходящие возле Грота. Обо всем этом сообщается начальству. Однако не сообщается, что, согласно утверждениям некоторых

больных людей, они мгновенно выздоровели или же почувствовали себя лучше, испив воды из источника. Не стоит строго судить полицейского комиссара за то, что он ничего об этом не сообщает. Потому что вести об этих исцелениях основываются на бестолковых или даже сбивающих с толку показаниях.

Министр по делам культов Руллан вполне удовлетворен донесениями из Лурда. Он передает прессе, находящейся на содержании у правительства, отличный материал. Его цель — передвинуть массабьельские чудеса из раздела религиозно-политических дебатов в ту нейтральную и сумбурную рубрику, которую газеты отводят для домов с привидениями, морских чудовищ, мстительных мумий, спиритизма и прочих сенсаций из сверхчувственной сферы. В сумятице откликов появляется новая нота. Во-первых, Бернадетта — обманщица. Во-вторых, страдает подростковой психопатией. В-третьих, она действительно видит в Гроте некую «Даму». С тех пор как существует мир, у людей с повышенной нервозностью бывают такие оккультные видения. Всегда и везде встречались «необъяснимые феномены». Они ни о чем не говорят и ничего не объясняют. За ними пустота. Они

относятся не к религии, а к той сумеречно-колдовской стороне жизни, которой еще не коснулись светлые лучи разума. Сама церковь настроена к этим сумеречным темам в высшей степени враждебно. Что касается Дамы, то она, вероятно, не отличается по сути от «черного человека», каким глупые мамаши пугают впечатлительных детей, излишне выразительно рисуя его на стене. Приблизительно в таком духе пишет о событиях в Лурде умеренная правительственная пресса, которая отнюдь не хочет нанести ущерб хорошим отношениям между церковью и государством — плоду личных усилий Наполеона III. Но этим возмущаются крайне левые газеты якобинского толка. Они не признают за этим призрачным миром никакого места в жизни людей девятнадцатого века. Все эти таинственные чудеса — порождение мракобесия, и если в интеллектуальной Франции вдруг выплывает на свет божий какое-то адское чудище, то его надо искоренять всеми средствами. Это в свою очередь приводит в бешенство консервативную и католическую прессу, и прежде всего такую влиятельную газету, как «Юнивер», чей главный редактор Луи Вэйо, к возмущению министра Руллана, собственной персоной едет в Лурд, чтобы серией

восторженных статей о Бернадетте вести Даму из Массабьеля в салоны высших кругов наиболее реакционной буржуазии. То, что должно было бы служить обелению этого события на уровне нации, порождает тем самым новые распри и ведет к дальнейшему распространению веры в чудо среди французов — как вольно, так и невольно.

Руллан отправляется к своему коллеге, министру финансов Фулю, играющему роль посредника между императором и правительством. Руллан, историк по профессии, заявляет:

— Наполеон — император. Император должен сказать свое слово.

Два дня спустя министр финансов Фуль наносит Руллану ответный визит.

— Вы же сами знаете, как суеверен наш император, дорогой коллега, — начинает он.

— Значит ли это, что его величество верит в Даму? — резко перебивает его Руллан.

— Ничего подобного! Дамы, в существование которых верит император, менее таинственны. Однако он полагает, что Дама, в которую он не верит, может ему повредить. Такова психология суеверия.

— Так что же угодно императору повелеть?

— Он считает, что господа министры должны

сами справиться со всей этой историей.

— Означает ли это, — оживляется Руллан, — что мы имеем право закрыть Грот?

— Я бы повел себя осторожнее, друг мой, — улыбается Фуль. — В настоящее время императору важно не настроить против себя клерикалов. Вы же знаете, он мечтает стать освободителем Италии, как Бонапарт. И беспрерывно получает послания от Кавура, предлагающего ему заключить союз. Если дело дойдет до войны, Ватикан станет самой щекотливой проблемой. Дорогой Руллан, уговорите епископа Тарбского одобрить закрытие Грота. Монсеньор Лоранс, говорят, человек в высшей степени здравомыслящий.

Разговор этот привел к тому, что барону Масси, к его большому неудовольствию, приходится еще раз посетить епископа. И его опять заставляют ждать приема больше пяти минут — он засекает время по своим часам. Поэтому, когда беседа наконец начинается, он уже не вполне холоден и корректен:

— Надеюсь, монсеньор, после всего случившегося вы откажетесь от своей мудрой позиции неучастия. От донесений лурдской полиции, получаемых мной, просто волосы встают дыбом. Уличные мальчишки освящают воду и благо-

словляют четки. Какие-то оборванки пародируют Пресвятую Деву. Если так будет продолжаться, события в Лурде загонят Францию в лагерь протестантов и атеистов.

Из-за накопившегося раздражения это введение звучит излишне категорично. А Бертран Север Лоранс остается спокойным.

— Мне тоже известны все эти случаи, — кивает он, выдержав подобающую паузу, — они и впрямь весьма огорчительны. Но не будем преувеличивать. Несколько школяров совершили глупую шалость, это верно. Но тамошний священник, как мне сообщают, примерно их наказал. Боюсь, господин префект, ваши образцовые подчиненные проявляют в этом деле излишнее рвение…

Префект едва не теряет выдержку, что с ним случается не так часто.

— Мои подчиненные, монсеньор, — говорит он с угрозой в голосе, — стараются восстановить в городе порядок, в то время как ваши клирики прячут голову под крыло.

Губы епископа слегка дрогнули в едва заметной трагически-саркастической улыбке.

— Клирики поступают так, как предписывает им устав. И вы, вероятно, согласитесь со мной, что ввиду этих удивительных народных волнений

им это поистине нелегко дается.

— Но молчание священнослужителей, монсеньор, представляет все возрастающую опасность для порядка и спокойствия. Либо лурдские «явления» имеют сверхъестественную природу в теологическом смысле слова, и тогда церкви необходимо это признать. Либо же все это вымысел чистой воды, и тогда церкви нужно его осудить. Так что епископу пора на что-то решиться!

Монсеньор отвечает с живейшей улыбкой:

— Никак не могу согласиться с вашим «либо — либо», барон. Кроме того, мне кажется, вы слегка недопонимаете роль епископа. О, если бы вопрос подлинности или мнимости в сверхъестественных вещах решался так легко! Даже в природной и светской сфере на него ответить непросто. Между подлинным и мнимым умещаются тысячи сомнений, и нам нужны добросовестнейшие исследования, неограниченное время и, прежде всего, помощь Святого Духа, чтобы сквозь все эти сомнения пробиться к истине.

— Другими словами, монсеньор, все это будет длиться бесконечно.

Епископ кладет короткопалую руку на усеянный драгоценными камнями наперсный крест.

— Вы, господин префект, — говорит он, — види-

те только возмутительные бесчинства, о которых вам докладывает полиция. Я же получаю совершенно иные сообщения. Открою вам, что в Лурде и во всей моей епархии происходят весьма отрадные вещи. Враги протягивают друг другу руку в знак христианского примирения, и молитвы возносятся к Небу с такой истовостью, какой не было уже десятки лет…

Барон Масси нервно стягивает черные лайковые перчатки:

— Но возносятся эти молитвы в неосвященном и противозаконном месте!

— Молитва уместна везде, ваше превосходительство.

Барон находит, что пора выложить главный козырь. И бережно вынимает из портфеля газетную вырезку.

— Позвольте, ваше преосвященство, ознакомить вас с мнением нашей самой влиятельной газеты. «Эр эмперьяль» пишет следующее: «Для учреждения нового места паломничества надо бы иметь более основательные причины, чем свидетельства девочки, страдающей каталепсией, и выбрать более подобающее место, чем та лужа, из которой она черпает воду для омовения…»

Епископ Бертран Север Лоранс не удостаивает

цитату вниманием.

— Господин префект, — говорит он примирительно, завершая разговор, — вы мыслите чисто административными категориями. Я же обязан мыслить не только этими категориями. Именно поэтому я не могу — к моему величайшему сожалению — пойти вам навстречу.

Обо всех этих разговорах, речах и вмешательстве земных властителей Бернадетте ничего не известно. Да они и не произвели бы на нее большого впечатления, ибо последствия ее любви не имеют никакого отношения к самой этой любви. В дни своего «отпуска» Бернадетта стремится както преодолеть трещину, которая пролегла между ней и ее родными. Она проводит целые дни в кашо, нянчится с младшими братьями, больше, чем прежде, помогает матери по хозяйству. Но занятия в школе пропускает по любому поводу. В канун последнего мартовского четверга Бернадетта вдруг узнает — она не могла бы сказать, каким именно образом, — что Дама возвещает ей о своем скором появлении. Бернадетта вся в огне от беспокойства и счастья. Она тотчас сообщает эту новость матери и тетушкам Бернарде и Люсиль. Всю ночь она не смыкает глаз.

Утром того четверга, последнего в марте, доктор

Дозу в одиннадцать часов является в дом декана. Обычно они видятся редко и большей частью лишь на официальных церемониях. Хотя они мало общаются друг с другом, однако же питают друг к другу взаимную симпатию, поскольку каждый из них знает, что второй, несмотря на неодобрение высших кругов общества, всегда становится на сторону трудящихся и обремененных.

Декан встречает доктора с большой радостью, хотя и не скрывает удивления по поводу столь раннего визита. Он не может отказать себе в удовольствии распить с гостем бутылочку бургундского:

— Дорогой Дозу, нам так редко выпадает случай поболтать друг с другом.

— Я пришел к вам, собственно, вовсе не затем, чтобы поболтать и распить бутылочку, господин декан, — возражает доктор, задумчиво разглядывая пурпурное вино на свет.

— Я был бы рад в кои-то веки быть вам чем-нибудь полезен, — говорит Перамаль, пристально вглядываясь своими удивительными горящими глазами в худощавое лицо доктора.

— Боюсь, вы сможете быть мне полезны только тем, что выслушаете меня, святой отец… Дело в том, что нынче утром я побывал у грота Мас-

сабьель…

Перамаль вскидывает голову, но ничего не говорит, не желая открывать свои мысли.

Дозу мнется:

— Я уже не впервые присутствую при этих «явлениях»… Но сегодня я видел… Не знаю даже, как это назвать… Это нечто из ряда вон выходящее…

Перамаль пристально смотрит на доктора, не меняя несколько напряженной позы и не говоря ни слова.

— Мне придется, господин декан, сделать несколько предварительных замечаний. Вы, вероятно, слышали, что я тщательно обследовал дочку Субиру еще два месяца назад, во время одного из ее «видений». И тогда я пришел к выводу, что у девочки нет ни каталепсии, ни психических отклонений…

— И вам удалось поставить определенный медицинский диагноз? — перебивает его Перамаль.

— Психические состояния такого рода пока еще мало исследованы. Есть, правда, большое количество научных книг и статей, которые я выписал и изучил, но, откровенно говоря, пользы от них оказалось мало. В конце концов я нашел некое объяснение в неоднократно описанных

случаях, когда люди, подверженные «видениям», под воздействием увиденного сами погружались в гипнотический сон.

— Стоп, уважаемый доктор! Означает ли ваш вывод, что вы считаете Бернадетту истинной духовидицей и исключаете любое более грубое объяснение?

— Бернадетта, — возражает Дозу, — несомненно истинная духовидица. Однако сами по себе видения, по-моему, не представляют собой чего-то сверхъестественного, покуда не оказывают объективного воздействия. Господин де Лафит утверждает, что высокоразвитый интеллект, порождающий видения, создает великие шедевры духа и искусства. В этом-то, дескать, и состоит секрет Микеланджело, Расина и Шекспира. Подобные великаны духа, однако, почти не сознают самого факта видения, в то время как гениальные, но примитивные мозги отчетливо видят перед собой субъекты своих галлюцинаций, к примеру — Даму из Массабьеля…

Перамаль отложил в сторону свою длинную трубку и недвижно сидит за столом.

— И вы считаете это определение парижанина исчерпывающим?

— Я считал его исчерпывающим до той минуты,

когда в Гроте забил родник.

— Значит, вы полагаете, возникновение источника — достаточное основание для того, чтобы считать все происшедшее чудом?

Этот вопрос задевает Дозу за живое.

— Я ученый-естествоиспытатель, мой досточтимый друг. Нашему брату вера в чудо абсолютно несвойственна. Источник — всего лишь источник. Науке известны сверхчувствительные натуры, обладающие необычайным чутьем на воду или на месторождения металлов. Возможно, Бернадетта из их числа.

Перамаль нарочито подчеркнуто произносит три слова:

— Примитивна, гениальна, сверхчувствительна! Достаточно ли этого, чтобы все объяснить?

— Было бы достаточно, господин декан, до… Да, до тех пор, пока не произошло исцеление ребенка Бугугортов…

— Уж не заставляет ли вас это исцеление распрощаться с естествознанием и поверить в чудо?

— Не совсем, господин декан, — мнется Дозу. — Мой коллега Лакрамп считает, что в воде источника, возникшего в Гроте, содержатся какие-то неизвестные целебные вещества. Такую вероятность я не могу полностью исключить…

— Конечно, сильнейший аргумент, — очень медленно произносит хрипловатый голос Перамаля, — что одно-единственное погружение в воду источника исцеляет парализованного младенца…

Доктор кивает:

— Очень сильный аргумент, особенно если учесть, что исцеление произошло мгновенно. Однако я не могу не согласиться с коллегой Лакрампом: вероятно, купание в источнике лишь ускорило давно начавшийся замедленный процесс выздоровления, каким-то образом не замеченный мною. Хотя и мать, и многие другие свидетели утверждают, что ребенок ко времени исцеления уже агонизировал… Но то, что произошло сегодня, не оставляет ни малейшего места для сомнений. Это неопровержимый факт, и я сам — его очевидец!

Перамаль молчит. Он не отрывает взгляда — уже не горящего, а какого-то странно застывшего — от лица гостя. Дозу рассказывает: сегодня он отправился к Гроту, потому что ему было интересно посмотреть, как свидание с Дамой после столь долгой разлуки отразится на состоянии духовидицы. И действительно, Бернадетта явно погружалась в экстаз, более глубокий и длитель-

ный, чем когда-либо прежде. Видимо, свидание с Дамой потрясло ее до глубины души. Кроме того, странное преображение детского личика в мертвую маску дивной красоты никогда не бывало столь внезапным и потрясающим, как в этот день. Все женщины и часть присутствующих мужчин плакали. Бернадетта стояла на коленях почти неподвижно. Обычные ритуальные действия, даже поклоны и шепот, исчезли почти совсем — осталась лишь молитва по четкам. Впервые Дозу наблюдал, как девочка впала в своего рода глубокий сон, граничащий с полной потерей сознания. Этот сон чрезвычайно его удивил, так как раньше он много раз замечал, что Бернадетта, несмотря на видимую отрешенность, воспринимает все происходящее вокруг. Как всегда, она держала черные четки в левой руке, а горящую свечу — в правой. Руки ее не двигались. Между пальцами левой руки, немного приподнятой, свисали четки. И вдруг правую руку девочки — вероятно, из-за веса толстой свечи — повело влево и вниз, так что пламя свечи рванулось вверх между растопыренными пальцами левой руки. И родственники уже бросились к Бернадетте, чтобы вырвать из ее руки свечу. Но в Дозу, по его собственным словам, проснулся иссле-

дователь. Раскинув руки, он удержал женщин и не дал им приблизиться к девочке. Потом он вытащил из кармана часы. Никакой обморок не выдержит боли от ожога, подумал он. Хотя языки пламени высовывались лишь между пальцами, они тем не менее все время касались и самих пальцев и поэтому должны были повредить по крайней мере поверхностные слои кожи, то есть вызвать ожог. Стоит вспомнить, как наши пальцы отдергиваются, если ненароком приблизятся к пламени. Однако Дозу заметил по часам, что пламя свечи облизывало бесчувственную руку Бернадетты в течение десяти минут. Лишь после этого она поднялась с колен и, словно ничего не случилось, направилась к Гроту. Вероятно, Дама попросила ее подойти ближе. Когда видение исчезло, доктор тотчас же обследовал руку девочки. Она была слегка закопчена, но совершенно не повреждена. Не было ни малейшего ожога. После этого доктор взял из рук одной женщины горящую свечу и осторожно приблизил ее к руке девочки. Бернадетта тут же вскрикнула: «Что вы делаете? Почему вы хотите меня обжечь?»

Дозу рассказывает все это сухими словами и заключает:

— Я видел это собственными глазами. Клянусь

вам, господин декан, если бы вы рассказали мне эту историю, я бы высмеял вас от души.

Мари Доминик Перамаль вскакивает с кресла и взволнованно ходит по комнате.

— Как же вы все это объясняете? — спрашивает он наконец.

— Я читал об индийских факирах и святых, — возражает Дозу. — Они разрешают похоронить себя живьем, проходят сквозь пламя и лежат на утыканных гвоздями досках без всякого вреда для здоровья. Может, все это и правда, а может, и вымысел. Если правда, то мы, врачи, должны признать, что человеческий организм под влиянием неизвестных нам духовных или душевных энергий может впадать в состояние, противоречащее законам материи…

— Но Бернадетта — не индийский факир и не изощренный аскет, а обычная невежественная девочка! — взрывается Перамаль. — Это не объяснение!

Тут уж и доктор вскакивает со своего места и раздраженно бросает:

— Господин декан, вы все время требуете объяснений от *меня.* Но я пришел к вам, чтобы услышать *ваши* объяснения. Которых все еще жду…

Перамаль продолжает молча мерить шагами комнату: в душе его все перемешалось, его мучат сомнения, которые он все еще не может преодолеть.

Глава двадцать восьмая
Адольф Лакаде решается на государственный переворот

Мэр сияет. Его густая, с сильной проседью борода задорным клинышком выдается вперед меж синеватыми брылами. Дело в том, что на его письменном столе в мэрии лежит письмо от его друга, ученого аптекаря Латура из Три. В письме содержится результат анализа пробы, взятой из источника в Гроте Массабьель: мэра радует не только сама дружеская услуга, но главным образом чрезвычайно благоприятный результат этой высоконаучной экспертизы. Адольф Лакаде ничего не смыслит в химии, зато кое-что смыслит в пропагандистском значении благозвучных научных терминов. В тщательно составленном Латуром перечне — он похож на объемистый рецепт медицинского светила — первым номером значатся хлористые соединения извести и магния, причем особо подчеркивается — в значительных количествах. Хлор — это хорошо, известь и магний тоже. Все врачи прописывают и хлор, и магний, и известь. Как мило со стороны

этих трех основных элементов фармацевтики, что они смешиваются в одном крошечном родничке в целебную смесь! «Это еще только под номером один», — довольно улыбаясь, думает Лакаде, вновь углубляясь в чтение этого приятного отчета, сквозь который уже проглядывает фата-моргана еще более приятных отчетов. После хлоратов сомкнутыми рядами следуют карбонаты. А карбонаты, как всем известно, не хуже хлоратов, в особенности если они соединяются с содой, как в анализируемой пробе. Столько-то смыслит в фармацевтике старый гурман Лакаде — после обильного обеда с дюжиной перемен ложечка бикарбоната натрия приносит желаемое облегчение. Глядите-ка, это облегчение лурдский источник приносит чревоугодникам бесплатно! Насчет ценности силикатов, значащихся в перечне под номером три, мэр менее осведомлен. Но с какой стати он должен относиться к ним с недоверием, когда они выступают в паре с алюминием, который, по всей видимости, весьма достойный уважения металл? Но что в воде источника присутствуют и окись железа, которую прописывают малокровным детям, и фосфор, дающий энергию организму, это уже превосходит самые наилучшие ожидания. Остается лишь

«органическая материя», завершающая список под номером семь. Наличие этой органической материи, в которой, видимо, и таится целительный эффект воды, производит на Лакаде самое благоприятное впечатление. И звучит так изумительно философично, и представляет собой еще не известное науке вещество, где, вероятно, и содержится то лечебное средство, восстанавливающее нервную ткань, о котором недавно говорил в кафе доктор Лакрамп. Аптекарь Латур добавляет к положительной части своей экспертизы одну коротенькую фразу, придавая ей, однако, какое-то особое значение: «Мы отмечаем, что в этой воде полностью отсутствует сера». Лакаде довольно потирает руки. Без серы он готов обойтись. И, все более радуясь, принимается читать заключение.

«Отличительная особенность этой воды, — пишет Латур, — в высшей степени примечательна. К числу достоинств мы должны отнести не только присущую ей легкость, столь благоприятную для пищеварения, но также и освежающее действие, стимулирующее все жизненные процессы в организме. Ввиду наличия в воде источника уникальных химических соединений, обусловливающих его ценность, мы считаем, что у нас

есть все основания предположить: медицинская наука вскоре поставит источник в Массабьеле соответственно его целительным свойствам на первое место в перечне отечественных лечебных вод».

Витиеватым научным языком здесь сказано больше, чем можно было желать. Ссылка на медицинскую науку означает уже некоторое на нее давление. Великий Фийоль не замедлит подтвердить вывод ничтожного Латура, ибо и под сводами науки ворон ворону глаз не выклюет. Но не забегай вперед, Лакаде! Фийоль нам пока не нужен. Фийоль будет нашим резервом и решит исход дела! Уже через год его имя украсит этикетки на бутылках, которые «Курортное общество Лурда» станет рассылать по всему свету.

А сначала нужно выиграть другую битву, стратегической подготовке к которой корректный Масси, высоколобый Дютур и простоватый Жакоме нанесли ощутимейший ущерб. Против этих нерешительных писак, болтающихся на бюрократическом крючке, должен наконец выступить настоящий борец, человек дела, который разрубит гордиев узел. Кто в Лурде мог бы стать этим коммерческим воителем, как не он, Адольф Лакаде? Чтобы подготовить это великое будущее,

необходимо обезопасить Грот и источник. Дютур и Жакоме по своей аморальной глупости преследовали Бернадетту и ее семью, дабы защитить государство от чудотворицы. И потерпели сокрушительное поражение от бедности, простодушия и невинности. Лакаде и сам воевал против «чуда» и победил его. Теперь, разглаживая письмо Латура, он это ясно осознает.

Однако сейчас возникает главный вопрос: как отобрать Грот у Дамы, то есть у суеверия, у восхищения необъяснимым и у стремления всех людей к сказке? Государство не справилось, церковь не справилась. И государство, и церковь не справились с двадцатитысячной толпой, с «народным движением», которое так нежданно свалилось им всем на голову. Государство и церковь боятся любого своеволия, таящегося в непокорных народных массах. Самым глубоким мотивом действий этих двух угрожаемых институций является страх перед собственной волей массы. Лакаде же движим совсем другим мотивом — самым честным и могущественным побудительным мотивом в этом веке — стремлением к выгоде.

Для мэра дни Пасхи — в этом году она довольно ранняя — прошли бездеятельно, но отнюдь

не бесплодно. На его письменном столе лежат груды пожелтевших бумаг — все законы, указы, инструкции и распоряжения французского правительства, которые прибыли в общину Лурда со времени великого 1789 года. Лакаде добросовестно изучил всю эту кучу. Он сам раньше не вполне сознавал, сколь высока степень автономии и свободы действий, предоставляемая Конституцией Франции местным органам самоуправления. Мэр — абсолютный король на своей территории. Он не назначается, а свободно избирается населением. Никто, кроме его избирателей, не вправе его сместить. Во всех государственных делах он доверенное лицо, а вовсе не подчиненный префекта. Он, и только он имеет право издавать распоряжения по тем вопросам, которые касаются его общины в узком смысле слова. Виталь Дютур еще несколько недель назад обратил его внимание на один весьма полезный для повседневной практики указ. Но Дютур — классический тип юриста, который увязает между вечными за и против. Теперь пришла пора осуществить инициативу прокурора — правда, отнюдь не так, как тот мыслит. Мэр вызывает в кабинет двух своих секретарей — Капдевиля и Куррежа.

— Садитесь и записывайте!

С видом полководца на поле боя Лакаде принимается диктовать, вышагивая по комнате:

— Согласно законам от двадцать второго декабря тысяча семьсот восемьдесят девятого года, от двадцать восьмого августа тысяча семьсот девяностого года, от двадцать второго июля тысяча семьсот девяносто первого года и, наконец, от восемнадцатого июля тысяча восемьсот тридцать седьмого года, касающимся сферы муниципального управления, объявляю…

Лакаде смакует старые даты. Такие исторические экскурсы возвышают того, кто вдыхает в давние государственные акты новую жизнь. Взбив волосы надо лбом, он продолжает диктовать витиеватым бюрократическим слогом:

— Ввиду того, что в интересах религии должен быть положен конец позорным сценам перед Гротом Массабьель… Абзац!

Секретари повторяют хором. Слово «абзац» в устах Лакаде походит на удар мечом.

— Ввиду того, что в обязанности мэра входит охрана здоровья вверенного ему населения, большие массы людей, как местных, так и приезжих, начинают пить в вышеупомянутом Гроте из родника, каковой является мощным минеральным источником, а посему может быть открыт для сво-

бодного доступа публики лишь после проведения научных исследований и лишь по предписанию врача, — ввиду того, что для свободного доступа требуется разрешение властей, постановляю…

— … Постановляю… — вторят ему секретари.

Лакаде останавливается, вновь приводит в движение свое дородное тело и диктует в таком темпе, что писцы едва за ним поспевают:

— Пункт первый: запрещается брать воду из вышеназванного источника. Пункт второй: запрещается также находиться вблизи Грота, так как эта земля является общинной собственностью. Пункт третий: перед Гротом Массабьель будет сооружен барьер, дабы воспрепятствовать входу. Пункт четвертый: любое нарушение означенных пунктов будет караться по закону. Пункт пятый: комиссару полиции, бригадиру жандармов и органам охраны общественного порядка вменяется в обязанность обеспечить строгое соблюдение вышеуказанных постановлений. Подписан в мэрии Лурда. Дата. Мэр…

Огласив сей боевой приказ, Лакаде останавливается и переводит дух. Капдевилю велено немедля переписать постановление красивым округлым почерком для обнародования. А Курреж срочно отправляется с почтовой каретой,

которую уже держит наготове Казенав, к префекту в Тарб. Сейчас полдень. Самое позднее в два часа гонец должен быть на месте. Ибо Лакаде рассуждает так: «Правительство не решается предпринять какие-либо шаги из-за своей нерешительности и слабости или же по причинам высокой политики, которые недоступны моему пониманию. Эта политика, весьма вероятно, связана с двойственной позицией церкви, которая вроде бы открещивается от чуда и в то же время не совсем его отрицает. Как бы там ни было, я, мэр, — суверенная власть. И, перекрывая доступ в Грот, я совершаю своего рода государственный переворот, не превышая своих полномочий. Боже правый, да я их всех положу на обе лопатки! Сместить меня никто не вправе. А префектура и министерство по делам культов, напротив, будут мне в высшей степени благодарны за этот шаг. Это величайшая услуга, какую я могу оказать префекту. Барону ничего не остается, как наложить резолюцию на мое распоряжение: „Ознакомился. М.“. Совсем маленькое „м“. Он-де принимает к сведению меры, предписанные независимым мэром Лурда, и обеспечивает их исполнение. Через свои органы. Вот и все! В то же время, если подпись префекта стоит ниже моей подписи,

ответственность ложится на него, а не на меня. Перед моим советом общины и перед всеми жителями города я могу сослаться на это „м“ и сокрушенно пожать плечами. Меня следовало бы назначить премьер-министром Франции…»

— Послушайте, Курреж, — говорит Лакаде. — Если не получите противоположного приказа, оставайтесь в Тарбе и постарайтесь весело провести вечерок. Я жду до пяти часов. Если вы до того времени не вернетесь, я приступаю…

Курреж к пяти часам не вернулся. Вне сомнения, он весело проводит время в Тарбе, который для лурдских бонвиванов играет роль большого города — там есть даже театр, ставящий водевили. Так что подпись барона гарантирована. Лакаде приступает. Прокурор и комиссар полиции получают копии постановления, одновременно печатающегося в типографии газеты «Лаведан». Поскольку удар должен быть внезапным, мэр просит Жакоме немедленно приступить к делу. Ночью несколько рабочих во главе с комиссаром полиции появляются перед Гротом. Пламя факелов привлекает значительную толпу зевак, которые в мрачном молчании наблюдают за разворачивающимся зрелищем. Уже несколько дней назад у подножия Грота поставили кружку

для пожертвований, чтобы собрать деньги на строительство часовни, как того требовала Дама. Жакоме конфискует эту кружку, а также свечи, подношения, изображения Мадонны, даже цветы перед ее изображениями. Но когда размахивается, чтобы швырнуть в реку охапку свежих и увядших букетов, по толпе, успевшей за это время значительно возрасти, пробегает какое-то грозное волнение. Жакоме охватывает страх. Он чувствует, что если швырнет цветы, то его самого схватят и бросят в реку. Быстро перестроившись, он медленно подходит к телеге, на которой собирался увезти стол-алтарь и все прочее, и как бы в задумчивости наваливает груду цветов на другие предметы. Рабочие перегораживают вход в Грот деревянной решеткой, доходящей до уровня глаз. Вокруг установлены таблички, запрещающие доступ. Бернадетта уже не сможет видеть Даму в Гроте с другого берега реки Гав.

А Бернадетта все эти дни проводит дома и к Гроту не идет, потому что с Пасхального понедельника Дама больше не призывала ее к себе. Теперь Дама исчезает часто и всегда надолго. Бернадетта покорно мирится с ее отсутствием, так как знает, что Прекраснейшая вернется.

Утром Курреж возвращается довольно рано.

Маленькое «м» барона красуется на оригинале постановления. Государственный переворот удался. По крайней мере в одном отношении. Дама нашла наконец достойного противника. Теперь выяснится, сумеет ли она оправиться после такого удара. Часом позже текст постановления расклеивают на домах Лурда. Барабанная дробь полицейского Калле рассыпается по улицам города, будоража горожан, и те кучками следуют за ним. Коротышка-полицейский любит роль глашатая. В такие минуты он чувствует себя оратором и политическим вождем. Ему нравится слышать свой собственный каркающий голос, возглашающий на плохом французском, с неправильными ударениями и напевностью жителя гор:

«Ввиду того, что… Постановляю…»

Вечером знаменательного дня в кафе «Французское» прощаются с поэтом Гиацинтом де Лафитом. На Пасху его родственники вернулись в Лурд. Так что в замке на острове Шале стало тесновато. И Лафит возвращается в Париж, где на улице Мартир его ждет унылая клетушка. Он всей душой рвется в Париж, хотя там ему придется кропать жалкие статейки в газеты, и он уже всем своим существом предощущает разочаро-

вания и унижения, которые выпадают на долю неудачливого служителя муз. Виктор Гюго, некогда обронивший о нем благосклонную реплику, уже девятый год вполне благополучно живет в изгнании. Теофиль Готье, уроженец Тарба, как и сам Лафит, иногда здоровается с ним, встречая в театре или в кафе. Но если бы кто-нибудь спросил Теофиля Готье: «Вы читали какие-нибудь сочинения этого Лафита?», то несомненно услышал бы в ответ: «А разве этот Лафит что-нибудь написал?» Гиацинт де Лафит, живя в Лурде, тоскует о залитом огнями Париже, но знает, что, живя в Париже, станет тосковать о темном городишке Лурде. Там он провел несколько месяцев и за это время не только написал несколько удачных александрийских стихов, но и сумел привести в порядок свои мысли. Поэт никогда бы не признался, что волнение, с 11 февраля охватившее Лурд, не оставило равнодушным и его самого. Он действительно относится к числу тех, кто ни разу не появлялся у Грота и ни разу не видел собственными глазами отрешенное состояние Бернадетты. В этом мире нет большей гордыни, чем гордыня мыслящей личности. Пусть он голодает и не имеет крыши над головой, но он ощущает себя не поставленным Богом на сцену жизни, а приглашенным в

дворцовую ложу. Сознание того, что он относится не к актерам, разыгрывающим комедию на подмостках жизни, а к их сторонним наблюдателям, внушает ему такое пьянящее чувство собственного превосходства, которое делает вполне сносной даже жизнь, полную лишений. Интеллектуал считает себя не творением Бога, а Его гостем. На столь возвышенную роль не могут претендовать, естественно, ни император, ни папа римский. А то обстоятельство, что роль эта обычно остается не замеченной окружающими, только увеличивает ее тайную сладость. Поэтому Гиацинт, бедный родственник богатого семейства Лафит, рассматривает события, разыгрывающиеся между Бернадеттой, Дамой и властями предержащими, с непостижимой и ледяной высоты Абсолютного Духа, соприкасающегося с обычной человеческой жизнью лишь шутливым лучиком иронии. Одним словом, Лафит мнит самого себя Богом, в которого он, по его мнению, не верит.

Сегодня в кафе явилась вся компания — в том числе и те, кто, как Эстрад и Дозу, в последнее время бывали там реже.

— Мне будет вас очень не хватать, — говорит старик Кларан, ежедневно общавшийся с Лафитом. — В эти месяцы мы с вами так превосходно

спорили. Как мне теперь жить без ваших вечных возражений, выдающийся нонконформист?

— Поблагодарите за это Даму, друг мой, — отшучивается Лафит. — Это она заставила меня обратиться в бегство…

Эстрад принимает это признание всерьез.

— При чем здесь Дама? — спрашивает он. — По-моему, Дама не сделала вам ничего плохого…

— Ничего плохого? — смеется поэт. — Лично я считаю, что Дама — натура в высшей степени тираническая. Она требует, чтобы люди решили, за нее они или против нее.

Эстрад с готовностью поддерживает эту точку зрения:

— Это правда, Лафит, Дама требует, чтобы люди приняли то или другое решение.

— Вот видите, друг мой, — продолжает литератор, — а я именно это требование считаю грубейшим превышением власти и нарушением моей личной свободы. Я действительно беден и, надеюсь, не особенно высокомерен. Но от одного роскошного права я не откажусь до самой смерти: права на нейтральность. Мне нравится свободно и легко парить между так называемыми твердыми принципами других людей. Эти принципы, все как один, — прошу прощения — для меня

одинаково жалки. Я не считаю человека унылым жвачным животным, которого надо лечить от сверхъестественных иллюзий, но мне не по нутру и нищенская похлебка религии, которую нынче стряпают… Кстати, вы не замечали, господа, что богомольные расы или массы всегда производят впечатление затхлости и неопрятности?

— Однажды я уже позволил себе заметить, друг мой, — перебил его педагог, — что нынешние поэты утратили связь с народом.

— Народ как целое, — парирует Лафит, — тоже всего-навсего одна из тех суеверных абстракций, которые лежат на совести вашего брата идеалиста. — И добавляет, как бы подводя итог: — С тех пор как эта Дама вломилась в Лурд, мне стало здесь неуютно. Меня просто неудержимо тянет к вавилонскому греху.

К столику подходят Лакаде и Виталь Дютур. Мэр сегодня уже дважды обошел площадь Маркадаль как полководец-победитель, являющий народу свой светлый лик. Кафе «Французское» устраивает ему овацию. Дюран и иже с ним торжествуют. Победитель добродушно обращается к отъезжающему:

— Покидаете нас, дорогой поэт. Вероятно, собираетесь ославить в Париже наш городишко…

— Не премину, не премину, господин мэр, — отвечает Лафит с изысканной вежливостью.

— Мне, однако, не кажется, что это было бы разумно с вашей стороны, — пророчески улыбается Лакаде. — Парижу, да и всему миру, в ближайшее время предстоит пережить удивительный поворот событий. Вы убедитесь, что из нашего городка действительно исходит благо — правда, иначе, нежели мнится некоторым. А в вас, месье Лафит, мне хотелось бы видеть поэта, который выразил бы этот поворот прекрасными стихами…

Все взгляды обращаются к двери, где возникла какая-то толчея. К столу местной знати устремляется взмокший от волнения бригадир жандармов д'Англа.

— Господа, это был настоящий бунт! — выдыхает он. — Толпа силой прорвалась к Гроту, порушила заграждение и сорвала таблички!

— Коль уж вы докладываете по службе, д'Англа, — после паузы с достоинством заявляет Лакаде, — вам следовало бы проявить больше выдержки… Так что же произошло и когда?

— Полчаса назад, когда стемнело, толпа прорвалась к Гроту. А я был там один.

— Теперь вы понимаете, почему я не поздравил вас, когда вы сообщили нам о своем подвиге,

достойном всяческого восхищения, месье мэр? — смеется очень довольный Дютур.

— Что же тут такого? — возражает Лакаде, слегка побледневший, но спокойный, и поднимается с места. — Заграждение нынче ночью будет восстановлено, и двое постовых будут непрерывно охранять Грот.

— Смелость города берет, — язвит прокурор. Через несколько минут он прощается с Лафитом. — Сударь, почему вы уходите со столь интересного спектакля, не дождавшись конца пятого акта?

Глава двадцать девятая
Епископ просчитывает последствия

Монсеньор Лоранс дает знак, что трапеза окончена. За столом, помимо декана Перамаля, присутствуют еще двое каноников из канцелярии епископа и его личный секретарь, молодой клирик. Извинившись, оба гостя вскоре откланиваются. Монсеньор выражает желание после трапезы побыть часок наедине со священником из Лурда. Это великая честь. Епископ Тарбский не очень-то любит выделять отдельных людей. Он их слишком хорошо знает. Как и многие выходцы из низов, сделавшие блестящую карьеру, он хранит в памяти горечь испытанной прежде нищеты как тайную опору души. Заповедь любви к ближнему постоянно борется в нем с едва скрываемым презрением к роду человеческому. Эта борьба породила редчайшее сочетание ледяной холодности и мягкосердечия, за которыми стыдливо и бдительно прячется блистательный и жесткий ум. Но к лурдскому декану епископ Бертран Север питает явную слабость. Взаимная склонность мужчин обычно основывается на

удачном соотношении сходных и противоположных свойств. Этот Перамаль, дожив почти до пятого десятка, все еще не научился владеть собой. Если ему что-то не по душе, глаза его загораются яростью. Он не думает о том, что говорит, не боится людского суда. Он вспыльчив и груб, а это забавляет епископа. Перамаль из дворян, и это импонирует сыну дорожного рабочего, постоянно окруженному священниками низкого происхождения, так и не сумевшими преодолеть в себе елейного раболепия, какое характерно для низшего духовенства, особенно в южных провинциях. Монсеньор даже гордится тем, что среди его священников есть такой достойный человек, как Перамаль.

Камердинер открывает одну за другой двери расположенных анфиладой гостиных, по которым проходит, опираясь на посох слоновой кости, епископ со своим гостем. Все эти покои, все это потускневшее великолепие дышит холодом и запустением. Уже двенадцать лет живет Бертран Север Лоранс в этих комнатах, не оставив ни малейшего следа своего существования. Какими принял их от своего предшественника епископа Дубля, такими они и остались. Дубль, человек прежней эпохи, знал толк в красивых вещах

и даже в какой-то мере был коллекционером. Лоранс не имеет никакой склонности к красивым вещам и к собирательству. Наоборот, он выставил на продажу несколько картин и других произведений искусства из своих апартаментов, чтобы выручку пустить на благотворительные цели. Люди, вышедшие из низов, как правило, рационалисты.

Наконец они у цели. Второй знак благоволения, оказываемого Перамалю: епископ велит подать черный кофе в собственную комнату. Это помещение, где монсеньор живет, работает, спит. До того как стать епископом, он всегда называл своей только очень скромную комнатку и, став епископом, не изменил этой привычке. И пусть церемониймейстер возражает, сколько его душе угодно. Его преосвященство категорически отказался занять более просторные апартаменты. Никто бы не стал утверждать, что эта комната уютная или хотя бы обжитая. В помещении среднего размера стоят железная кровать, низенькая скамеечка для молитвы, какая-то нелепая кушетка, письменный стол, несколько кресел и мягких стульев; здесь находятся также распятие и плохое изображение Мадонны. Монашеским или аскетичным это жилье тоже назвать нельзя, по-

скольку монсеньор не отказывается от удобств, к которым успел привыкнуть. Он только отказывается — причем без всякого наигрыша — изменить стиль своей жизни соответственно епископскому званию. Он, сын простого рабочего, был беден и остался беден. Скудость житейского уклада тоже может стать своего рода привычкой. Но, чтобы ни на йоту не погрешить против истины, надо сказать, что кормят у епископа неплохо, даже отменно, и Перамаль вынужден это констатировать при каждом своем визите.

Третий знак благоволения: камердинер протягивает Перамалю длинную трубку. Сам монсеньор предпочитает добрый старый нюхательный табак, о чем на его сутане осталось множество свидетельств. Хозяин дома и гость усаживаются поближе к камину. Какая холодная нынче весна! Единственное, что придает комнате уют, — это огонь в камине. Монсеньор зябнет даже летом. Может, его знобит от собственного добросердечия.

— События у Грота, — начинает епископ, — о которых вы рассказали нам за столом, лишь укрепили меня в убеждении, что наш образ действий был правильным. Однако ни префект, ни мэр и помыслить не могли, что заграждение перед Гро-

том будут рушить ежедневно. Подумайте только, какой вред принесло бы церкви сообщение, что хотя бы часть этих разрушений инспирирована нами. Должен выразить вам свою признательность, господин декан…

— Ваше преосвященство, — почтительно возражает старику Перамаль, — я взял на себя смелость испросить у вас нынешнюю аудиенцию только потому, что я совсем не доволен собой, что я не могу считать происходящее благом, и потому что боюсь, как бы изменение нашей позиции не оказалось крайне необходимым…

Епископ высыпает щепотку табака обратно, так и не донеся ее до ноздрей. Его глубоко посаженные глаза изумленно впиваются в лицо декана. Слегка откашлявшись, он, однако, уклоняется от прямого наскока Перамаля:

— Поначалу я хотел бы задать вам один вопрос: кто такая Бернадетта Субиру?

— Да, кто такая Бернадетта Субиру? — повторяет как бы про себя декан, уставясь в пол. Проходит не меньше минуты, прежде чем он вновь обращает лицо к епископу. — Монсеньор, честно признаюсь, что я принимал Бернадетту за обманщицу, за авантюристку типа Розы Тамизье, и сегодня случаются минуты, когда я все еще при-

держиваюсь того же мнения. Слишком хорошо знаю я этот народ сказочников, фантазеров и комедиантов и их умение не только другим, но и себе вбивать в голову что угодно. Ах, этот народ так отчаянно беден! Признаюсь еще и в том, монсеньор, что позже я стал принимать Бернадетту за безумную, мне и по сей день иногда так кажется, хотя все реже и реже. А в-третьих, признаюсь вам, монсеньор, что в Бернадетте Субиру я вижу истинную избранницу Неба и чудотворицу…

— Вашу информацию никак не назовешь четкой и ясной, уважаемый кюре, — ворчит епископ, чей ум, привычный к точности юридических формулировок, не очень жалует сангвинические парадоксы. И вялым жестом указывает на письменный стол. — Я получил письмо от отставного генерала по имени Возу. Он просит меня предпринять какие-то шаги против этого подрыва авторитета церкви. Примерно ту же песню вот уже несколько недель поет правительство. Барон Масси, Руллан и, как мне сообщили, также император. Единственное отличие в том, что почтенный старик-генерал искренне думает то, что пишет. У него дочь в Неверской женской обители. Вы наверняка знаете эту монахиню, поскольку она учительствует в Лурде…

— Я знаком с ней, монсеньор, и мы дважды беседовали о Бернадетте. Естественно, мне хотелось услышать мнение учительницы, ежедневно наблюдающей девочку…

— Мнение учительницы, которая должна знать Бернадетту лучше, чем любой другой, несравненно убедительнее, чем суждение священника.

Глаза Мари Доминика Перамаля загораются гневом.

— У меня создалось впечатление, что учительница не слишком благоволит к девочке, — говорит он.

— Как я наслышан, — продолжает епископ, помолчав и не сводя глаз с лица Перамаля, — сестра Возу — украшение своего ордена. Она выделяется во всем. Есть даже несколько мечтателей, утверждающих, что она овеяна истинной святостью. Сестра Возу родом из превосходной семьи. Через несколько лет ее наверняка сделают наставницей послушниц, а позже и настоятельницей монастыря. Разве может монахиня, столь добродетельная и заслуженная, беспричинно не доверять такому Божьему созданию, как Бернадетта Субиру?

— Монахиня Возу, — возражает Перамаль, — вполне может претендовать на высшие посты в церкви и почетное место на Небесах. Но когда с

ней беседуешь, отнюдь не возникает ощущения, что перед тобой особенное, а тем паче богоизбранное существо. Сестра Возу не проникает в душу. А Бернадетта Субиру, наоборот, проникает. Не знаю, что сидит в этой девочке. Обыкновенная простая девчонка. И лицо у нее как у большинства этих простолюдинок, носящих имена Дутрелу, Уру, Гозо, Габизо. Просто зло берет, что такая вот сомнительная особа своими вымыслами взбудоражила всю Францию. Но вдруг она наивнейшим тоном так ответит на ваш вопрос, что ее ответ потом не дает вам спать по ночам. Этот ответ не выходит у вас из головы. И глаза девочки тоже не так легко забыть. Вы знаете, монсеньор, я не мечтатель и не фантазер-мистик, с Божьей помощью я прочно стою на земле. Если я долго не вижусь с Бернадеттой, мои сомнения возрастают. Но если я приглашаю ее к себе, как было недавно, то не я привожу ее в замешательство, а она меня. Ибо — клянусь Всеблагой Богоматерью — от девочки веет такой необыкновенной правдивостью, что, когда она говорит, невольно веришь каждому ее слову, а почему — сам не могу понять…

— Вы сейчас исполнили настоящий гимн во славу Бернадетты Субиру, — кивает епископ, но лицо его хранит непроницаемое выражение.

Однако Перамаль не дает сбить себя с толку.

— Я не заслуживаю вашей похвалы, монсеньор. Я всего лишь стараюсь удержать моих священников от посещения Грота. Это тоже достаточно трудно, в особенности когда речь идет о духовенстве небольших сельских приходов. Но я не могу способствовать просветлению и успокоению душ, поскольку сам нахожусь в средоточии всеобщего смятения. Хоть я и стар, мне очень нужна ваша отеческая помощь, монсеньор! Подумайте о целебном источнике! Подумайте об исцелении ребенка Бугугортов! А со вчерашнего дня опять ходит слух — мол, благословенный источник вернул зрение слепому крестьянскому мальчику. Если мы даже сбросим со счетов личность Бернадетты Субиру, нет сомнения в том, что чудеса действительно происходят…

— Стоп! — перебивает его епископ. — Вы не хуже меня знаете, что ни я, ни вы не вправе прибегнуть к этому крайне опасному понятию. Лишь одна-единственная инстанция — Римская курия — вправе решать, имеем ли мы дело с подлинным чудом или же с фальсификацией…

— Вы совершенно правы, ваше преосвященство, — живо подхватывает декан. — Но чтобы Римская курия могла вынести решение, она

должна иметь необходимый материал. Я, недостойный слуга Господа, припадаю к стопам своего епископа и говорю: не знаю, что мне делать. Весь мой приход живет в глубочайшей душевной растерянности. Лурд стал полем сражения — к сожалению, не только в переносном смысле: вчера жандармы применили оружие против толпы. Экзальтированные дамы вроде мадам Милле ведут себя вызывающе. Вольнодумцы извлекают из этих происшествий одно преимущество за другим. Трезвые, здравомыслящие головы уже не знают, что и думать. Да я и сам не знаю. И поэтому, монсеньор, смею обратиться к вам с настоятельнейшей просьбой: рассейте эту душевную смуту! Созовите епископскую комиссию для расследования всех обстоятельств, чтобы народ обрел наконец опору!

Тяжело опираясь на посох, епископ поднимается с места и шаркающей походкой подходит к письменному столу. Из ящика он достает пачку исписанных листов и швыряет ее на стол.

— Вот вам ваша епископская комиссия, — говорит он. — Ее созыв разработан во всех деталях.

— И когда вы велите ей начать работу? — взволнованно спрашивает Перамаль.

— Если Богу будет угодно — никогда, — обрезает

его Бертран Север и раздраженным жестом приказывает ему не вставать. Потом подходит к окну и глядит на цветущие кусты сирени в саду. — Чудо — весьма и весьма страшная вещь, — бормочет старик, — все равно, признается оно или нет. Людей обуревают желания. Потому они и тоскуют по чудесам. И многие из наших верующих хотят не столько верить, сколько обрести уверенность. И эту уверенность должно принести им чудо. Господь Бог совершенно прав, лишь крайне редко ниспосылая нам чудеса. Ибо чего стоила бы вся наша вера, если бы каждый тупица ежедневно находил ей подтверждение. Даже ежедневное чудо богослужения таится в натуральных образах хлеба и вина. Нет, нет и нет, дорогой, сверхъестественное — яд для любой институции, будь то государство, будь то церковь. Возьмите явление, которое люди обычно называют гениальностью, — например, Наполеона Бонапарта. Что дал этот так называемый гений человечеству? Кровавую смуту. И многие святые, к которым мы взываем, в свое время тоже вносили в церковь смуту — правда, бескровную. Желание быть выше других или даже действительное превосходство над другими — это покушение на прерогативу Господа, которое мы, пастыри

христианской общины, должны отвергать, пока нас не убедит какое-то неопровержимое доказательство Божественной милости. Церковь как мистическое Тело Христово есть совокупность святости, иными словами каждая ее часть свята сама по себе… Коль скоро я, епископ, подключу к этому делу комиссию по расследованию, я тем самым не только официально признаю слабую возможность сверхъестественных явлений, но и их высокую вероятность. А это мне дозволено сделать, только если будут исчерпаны способы их естественнонаучного объяснения. Забежав вперед, я отдам на осмеяние не только свою епархию, но всю нашу церковь. Что доказывают два-три исцеления, чья фактическая природа не исследована авторитетным консилиумом медицинских светил? Не очень-то много. Ведь и вы сами, лурдский декан, воздающий хвалу девочке Субиру, все еще не исключаете полностью обман и безумие. Подумайте, что скажет наш высококритичный и высоконаучный век о епископе, который дает себя провести маленькой плутовке или безумице, уступает фантастическим слухам о святом источнике и назначает комиссию по расследованию обстоятельств чуда, чтобы в конце концов разоблачить мелкое жульничество!

Вред для церкви был бы неизмерим.

Мари Доминик Перамаль ерзает на стуле и знаками просит дать ему возможность возразить. Но епископ отмахивается.

— Если же Дама из Массабьеля, — продолжает он, — воистину окажется Пресвятой Девой, что окончательно может решить только Рим, я покаюсь, дабы испросить прощение у Богоматери. Но до той поры я, епископ Тарбский, вижу свой долг в том, чтобы чинить ей все препятствия, какие только смогу.

Глава тридцатая
Прощание навсегда

Недели бегут, а борьба против чуда все тянется и тянется. Супрефект Дюбоэ ругается на чем свет стоит. Виталь Дютур тоже, но еще больше злится Жакоме. Скучные городские канцелярии за это время превратились в отделы генерального штаба, где ежедневно куются планы борьбы с врагиней в гроте Массабьель, которая даже в свое отсутствие каждое утро и каждый вечер собирает у Грота возбужденные толпы народа. В Немурских казармах пришлось разместить еще три жандармских бригады, так как д'Англа и его подчиненные давно уже не в состоянии своими силами обеспечить порядок. Каждые два часа сменяются постовые перед Гротом, который отгорожен от мира уже не тоненькой решеткой из жердочек, а плотной оградой из толстых досок. Появись теперь Дама, она оказалась бы пленницей. Именно так и представляют себе дело озлобившиеся жители Пиренейских гор: жандармы кощунственно взяли в плен благословенную посланницу Небес. И теперь дело чести вновь

и вновь пытаться освободить ее хитростью или силой. Для жандармов же тягостно неделями стоять ночью на посту, который кажется им возмутительной бессмыслицей. Любой, даже самый строгий начальник не может не понимать, что измученные постовые, которым чуть ли не каждую ночь приходится вскакивать с тюфяка, то и дело засыпают на посту. В конце концов, они ведь не на войне с австрийцами или пруссаками, а всего лишь охраняют Грот от деревенских жителей из долины Гава, которые упрямо осаждают этот Грот. Правда, крестьянские парни из долины Батсюгер делают это с большим военным талантом. Они очень изобретательно придумывают разные ловушки, в которые и заманивают представителей государственной власти. Например, в три часа ночи вся долина реки погружена во мрак. Луна зашла. Лишь река одиноко и грозно рокочет в тишине. Ну сейчас уж точно ничего не случится, решает в этот поздний час чернобородый Белаш, старший постовой. Два дня назад у него появилась новая возлюбленная, ожидающая его в роще Сайе. Ночь теплая, на дворе лето. Она назначила ему свидание в этот неурочный час. Белаш считает, что знает женщин как свои пять пальцев. Однако богатый опыт бабника не помогает ему

догадаться, что деревенская девчонка спокойно рискнет явиться на свидание в столь поздний час ради того, чтобы оказать услугу Пресвятой Деве, а себе приобрести небесную покровительницу.

— Я отлучусь на минутку, — говорит Белаш младшему полицейскому Лео Латарпу, стоящему на часах. Латарпу, коллеге Бурьета, вся эта история уже до смерти надоела. За жалкие тридцать су ему ночь за ночью не дают вволю поспать. Ну что с ним может случиться? Подаст в отставку, вот и все дела; он уже твердо решил. Пускай себе Белаш отлучается, думает он, а я где-нибудь прикорну в стоге сена.

Парни из долины Батсюгер меж тем сидят в засаде в одной из пещер Трущобной горы, заранее выслав лазутчиков. Когда пост оголяется, они бегут к Гроту, бросают на заграждение паклю и прочие горючие вещества, чтобы не поднимать шума, и поджигают. Что толку, если начальство и наложит на Белаша строгое взыскание? На следующее утро тысячи паломников найдут лишь обугленные остатки заграждения, отделявшего их от Дамы. Они соберут остатки этого жертвенного костра и отнесут домой как трофеи. Однако парижская пресса заблуждается, считая причиной этих злых проделок, направленных

против правительства, лишь фанатизм веры или суеверия. Жандармы точно знают: среди подстрекателей, иногда попадающих им в руки, нередко встречаются самые отъявленные вольнодумцы и атеисты. И по логике вещей последние должны бы радоваться, что государство взяло на себя ведение этой борьбы. Но человек так устроен, что поступает вопреки логике, и те атеисты настроены не только против Пресвятой Девы, но и — в неменьшей степени — против государства. Вот они и пользуются ничтоже сумняшеся удобным случаем сунуть властям палку в колеса. Они точно чувствуют, что Богоматерь Бернадетты создает очаг беспорядков и ставит священнослужителей в тяжелое положение, а также что бунт, каковы бы ни были его причины, не только в глазах префекта, но и в глазах епископа остается бунтом. После того как защитники Девы в четвертый раз разрушили ограждение, происходит нечто неожиданное. Все лурдские рабочие отказываются строить новое. Созывают плотников и столяров из окрестных деревень. Они приходят, слышат, в чем дело, и поворачивают домой. Даже самыми высокими заработками не удается заманить их обратно. Много дней Грот остается открытым, к стыду властей, потом жандармы, скрипя зубами

от злости, сами берутся за инструменты и сколачивают новую ограду.

Наиболее трудная задача выпадает на долю коротышки Калле. Его поставили следить, чтобы никто не пил из источника, который давно уже успел промыть себе канавку для стока в Сави. Но стоит Калле отвернуться, как кто-нибудь уже сидит возле нее на корточках и черпает воду. Полицейский хватает всех, кого удается, и составляет протокол. Штраф за нарушение запрета на воду источника составляет пять франков. Кто может уплатить сразу, платит наличными. У кого денег нет, тому вычитают из следующего заработка. В иные дни Калле приходится составлять до тридцати и более протоколов. Рив и его коллега, мировой судья Дюпра, измыслили более изощренную кару. Если проштрафилось одновременно несколько человек, то взыскивают не только с каждого в отдельности, но и со всей группы в целом. Городу от этой выдумки порядком перепадет, думает про себя Калле, а мне — шиш с маслом…

Единственный представитель власти, который постоянно появляется на публике, по-прежнему самодовольный и в наилучшем настроении, это мэр, инициатор государственного переворота.

Лакаде лишь посмеивается над тревогами отцов города. У них просто нет стоящей цели. А у него такая цель есть. Скоро он взорвет эту бомбу. Новая проба воды уже доставлена великому Фийолю. А уж когда высокая наука скажет свое веское слово, когда она не только подтвердит, но расширит и углубит вывод простого аптекаря Латура, тогда будет одержана самая неожиданная из всех побед, какие знала история. Лакаде ни минуты не сомневается, что она грядет. Словно ослепительная молния сверкнет над головами французов отзыв великого Фийоля и, высветив проблему Массабьеля, раз и навсегда ответит на все вопросы. После этого останется только собраться синклиту знаменитейших медиков и бросить под ноги страдающему и погрязшему в невежестве человечеству чарующие слух слова: хлорат, карбонат, кальций, магний и, главное, фосфор.

На тайной встрече Лакаде уже открыл почтмейстеру Казенаву и хозяину кафе Дюрану свой смелый замысел. Надо не только построить огромную гостиницу, но и роскошное казино — по возможности с греческими колоннами, и все это посреди ухоженного парка на берегу Гава. А в Гроте самые хорошенькие девушки Лурда под

веселую танцевальную музыку будут обносить знатных приезжих, жаждущих исцеления, волшебной водой источника в красивых бокалах. Адольф Лакаде в мечтах уже видит, как в город съезжаются полчища состоятельных гостей. Причем приезжают они по железной дороге — и пронзительные свистки паровозов пробуждают от векового сна самые отдаленные долины Пиренеев.

* * *

Бернадетта помогает по хозяйству. Бернадетта ходит в школу. Бернадетта ждет. И ждет терпеливо. В Пасхальный понедельник ей было даровано такое глубокое единение с Дамой, какого на ее долю еще не выпадало. В этот день она, «потрясенная чуждостью мира», едва смогла вернуться к реальности. Зато теперь она знает, что Дама вовсе не попрощалась с ней навсегда и что в ее последнем приветствии заключалось обещание новой встречи. А Бернадетта только об этом и мечтает. Так всякий глубоко любящий гонит от себя мысли о более далеком будущем. И ничто не противоречит ее надежде, что единение с Дамой будет длиться, пока она жива. Она считает вполне естественным, что интервалы между встречами

становятся все длиннее и длиннее, ибо у Дамы столько дел и забот по всему миру, а Бернадетта так мало может ей помочь! Где именно будут происходить эти встречи — внутри Грота или снаружи, — ее не заботит. Она уже хорошо знает нрав Дамы и не боится, что жандармы или жердочки ограды воспрепятствуют исполнению ее священной воли. Дама сама найдет и призовет к себе Бернадетту. Все равно когда! Так проходят апрель, май, июнь…

На борьбу, которую она сама развязала, Бернадетта смотрит с полным безразличием. Нельзя даже сказать, что она к ней равнодушна. Для Бернадетты ее вовсе не существует. Бернадетта ничего в ней не понимает. И наблюдает ее как бы со стороны, словно заспанный ребенок. Для нее важно одно: чтобы прокурор, судья и комиссар оставили ее в покое. Она совершенно не слышит ежедневных кликов своих приверженцев: «О благословенная… О избранница Небес… О ясновидящая… О чудотворица!» Как ни невероятно это звучит, но и этих восклицаний она не понимает. Люди будто с ума посходили. Сама она никакого чуда не видит. Дама сказала: «Напейтесь из источника и омойте лицо и руки». Бернадетта сделала, как она велела. Вот и все. В чем же здесь

чудо? Просто Дама знала, где под землей струится источник. Обо всех этих вещах Бернадетта ни с кем ни слова не говорит. Если же кто-то другой затевает разговор на эти темы, будь то мать или Мария, она молча удаляется.

Дочери Субиру приходится нелегко. В их дом приезжают любопытные со всего мира и засыпают ее своими глупыми и настырными вопросами. Бернадетта прячется от них, как может. Но тщеславные соседи, все эти Сажу, Уру, Бугугорты, Равали и в особенности Пигюно всякий раз вытаскивают ее из укрытия — они так ею гордятся! Бернадетте приходится отчитываться перед незнакомыми людьми. Ее манера рассказывать обо всем, что с ней произошло, вызывает глубокое разочарование. Девочка усвоила привычку отбарабанивать свою историю таким тусклым и безразличным тоном, словно все это не имело к ней самой никакого отношения и ее просто заставили выступать на ярмарке с какой-то древней легендой. Но за этим ровным бормотаньем скрывается терзающий ее стыд. Посетители то и дело пытаются тайком всучить семье Субиру деньги. И Бернадетте приходится во все глаза следить за тем, чтобы ее родные, а особенно братишки, не поддались соблазну. Это единственный пункт, по

которому невозмутимая во всем остальном девочка не идет ни на какие компромиссы. Между ней и ее семьей изо дня в день углубляется трещина. Отец, мать, сестра и братья — все они испытывают какой-то особый страх перед Бернадеттой. Им прямо-таки жутко жить под одной крышей с девочкой, состоящей в необычных отношениях с Небесами. Франсуа Субиру не возобновил своего обета и старается улизнуть к Бабу всякий раз, когда знает, что в кабачке не слишком много посетителей. Там он молча сидит где-нибудь в углу и тоскует. Нужду он уже не мыкает. Казенав взял его на постоянную работу и даже повысил жалованье. Луиза Субиру всегда и всем недовольна и ворчит. К славе своей необычайной дочери она уже успела привыкнуть. Однако февральские дни, на которые пришелся пик известности Бернадетты, миновали. И теперь эта провидица — просто ее дочь. Но беднякам приходится по одежке протягивать ножки. Иногда Бернадетта прижимается к матери с затаенной нежностью. Ей так хочется положить голову на материнские колени — как тогда, в ту первую, бессонную ночь на одиннадцатое февраля. Но именно в такие минуты сердце Луизы против ее воли как-то странно черствеет. И она делает вид, что ничего

не заметила, хотя потом, когда она идет за водой или раскатывает белье, у нее делается так тошно на душе, что она не может сдержать слез.

Но хуже всего в школе. Жанна Абади и другие девочки держатся с Бернадеттой как-то натянуто и глядят на нее со странной смесью поклонения и насмешки. За партой соседки смущенно отодвигаются от нее подальше. С ней почти не разговаривают. И на переменках она бродит в одиночестве, держа в руках белый холщовый мешочек с завтраком. Для учительницы Бернадетта как бы вообще не существует. Даже в пустое пространство перед партами ее больше не ставят. В сто раз сильнее, чем все священники, вместе взятые, монахиня Возу возмущена идолопоклонством простолюдинов, толпами следующих за ничтожной девчонкой только из-за того, что ей якобы привиделась какая-то модно разодетая фея, ни единой черточкой не похожая на Матерь Божью. В душе дочери генерала Возу все восстает против того, чтобы придавать экстатическим видениям этой нищенки и языческим выходкам жителей глухих горных деревушек хоть какую-то значимость. Монахиня воспринимает все это как некий злокозненный бунт низших, во их же благо попираемых сил, которые угрожают

взорвать прямой и горний путь истинной веры и истинного благочестия. Поэтому, когда настает время Бернадетте принять первое причастие, она крайне сухо сообщает девочке:

— По распоряжению господина кюре ты будешь допущена к божественной трапезе, Бернадетта Субиру. — Но сквозь сухие слова слышится: тебе дается из милости и милосердия, но не по заслугам. Так дочери Субиру даже хлеб ангелов посыпается солью.

Занятия в школе прекращаются, как и повсюду во Франции, пятнадцатого июля. На следующий день, когда тени становятся по-вечернему длинными, Бернадетта сидит на небольшом лугу возле ручья Лапака; место это расположено в стороне от города, противоположной Массабьелю. Она зачастила сюда с тех пор, как перестала ходить к Гроту. Здесь, под вековыми дубами Прованса, очень тихо. В просвете далекого ущелья в неподвижное небо вздымается бело-голубая вершина Пик-дю-Миди. У Бернадетты теперь уйма времени, чтобы все обдумать и все прочувствовать. Ее думы и чувства все время кружат вокруг одного-единственного вопроса: когда? С колокольни Святого Петра в Лурде доносится бой часов: четверть восьмого. Прежде чем звук

умолк, Бернадетта слышит ответ на свое непрестанное «когда?». Ответ этот гласит: «Теперь». Это «теперь» облечено в какую-то особую тяжеловесную торжественность. С силой, не знаемой ею прежде, Бернадетта ощущает, что все ее существо разделяется на почти бесчувственную плоть и властный зов души. Этот необычайной силы зов заставляет ее вскочить на ноги. Она стремглав бежит в город, чтобы известить обо всем тетю Люсиль. Но по дороге передумывает. Сегодня ей не хочется, чтобы кто-то был рядом. Ей хочется быть наедине с Дамой. Но к сожалению, ей не удается проскользнуть незамеченной: несколько наиболее рьяных почитателей тут же устремляются вслед за нею, а другие в это время спешат разнести по городу весть: Бернадетта направляется к Гроту.

Сама не зная почему, она идет не короткой тропой через лес по гребню горы, а избирает именно тот путь, каким пришла к Гроту с Марией и Жанной Абади одиннадцатого февраля, — то есть по берегу ручья Сави, потом по мосткам у мельницы Николо через остров Шале до луга Рибер на косе между ручьем и Гавом. На другом берегу ручья перед Гротом слоняются без дела Калле и жандарм Пей. Завидев Бернадетту и

сопровождающую ее кучку людей, они немедля принимают воинственный вид — жандарм с ружьем «к ноге». Но Бернадетта не собирается переходить ручей, вместо этого она опускается на колени точно в том месте, как в первый раз, с которого миновало так немыслимо много времени. Умоляющим жестом она отгоняет остальных подальше от себя. Свита непрерывно растет — тут и мать, и сестра, и тетушки, и мать и сын Николо — и образует широкий почтительный полукруг. Некоторые женщины зажигают принесенные с собой свечи. Да разве увидишь слабенькое пламя свечи на фоне этого багрового заката, слепящим светом заливающего в эти минуты всю долину Гава? Трущобная гора и общинный лес Сайе горят огнем. Гав превратился в кипящий поток раскаленной лавы. Кажется, пурпурные вершины далеко вдали плавятся, как воск.

Внутренность Грота, наполовину закрытого новой оградой, тоже озарена кроваво-красным закатом. А может, она освещена совсем другим огнем? Коленопреклоненной Бернадетте видна только верхняя часть Грота, овальный вход в нишу. (Жандармы уж позаботились, чтобы новые «видения» нельзя было наблюдать и издали.) Но именно из-под свода ниши вырываются наружу

плотные клубы золотого жара. А что это там трепещет, такое белое-белое? Не накидка ли Дамы? Да, несомненно, это Она, Она стоит в глубине ниши, хотя и не видна Бернадетте. О, Дама никоим образом не выдумка. Она реальна, раз дощечки ограды могут сделать ее невидимой, как любое другое реальное тело. Бернадетта беспомощно оглядывается вокруг. Как бы найти такое местечко, откуда Дама была бы видна?

Оглядываясь, она на секунду задерживает взор на том месте, где ручей впадает в Гав. Она отворачивается, опять смотрит в ту сторону, жмурится. Невероятно. Как в тот раз, она трет глаза. Потом вдруг смертельно бледнеет, лицо застывает, зрачки расширяются.

— Она там, — вскрикивает Бернадетта, — да, там…

Сдавленные голоса женщин, толпящихся сзади, повторяют за ней:

— Она там… Да, там…

Дама стоит перед Гротом, недалеко от берега реки. Стражники ее не видят, хотя Бернадетту тотчас охватывает страх — она боится, что Калле или Пеи могут ее задеть. К счастью, они отходят к другой стороне Грота, чтобы лучше видеть толпу женщин и пресечь их поползновения зачерпнуть

воды из источника. А Дама впервые опирается своими чистенькими восковыми ножками не на камень, а на голую землю. Розы на ее ножках сверкают. Сегодня Дама больше, чем в прошлые разы, похожа на ту, какой она явилась одиннадцатого февраля: юное существо, воплощение нежной и хрупкой девственности. В те первые величайшие две недели, когда Бернадетта по ее приказу ежедневно приходила к Гроту, Дама была полна планов и тайных замыслов. Ей нужно было, чтоб Бернадетта пошла к кюре, дабы в честь Дамы были построены часовни и люди приходили в процессиях, чтобы Бернадетта отрыла спрятанный под землей источник. Нынче все по-другому. Дама уже не таит в своем сердце никаких особых целей, нарушающих уединение любящих. Сегодня вся ее любовь впервые безраздельно принадлежит Осчастливленной. Никогда еще ее накидка не трепетала так живо на ветру. Никогда еще ее темные волосы не выбивались так вольно из-под накидки. Никогда еще глаза ее не сверкали такой прозрачной голубизной, а полуоткрытые губы не были так красиво изогнуты. Никогда еще ее белое платье и голубой пояс не казались такими неузнаваемо прекрасными из-за багряных отсветов заката. И улыбка на ее

лице сегодня выражает не милость старшей, но дружеское расположение сверстницы.

Бернадетта медленно протягивает к Даме руки и медленно вновь их опускает. Потом, не отрывая глаз от Дамы, роется в сумке, нащупывая четки. Дама чуть заметно качает головой. Это, видимо, значит: по четкам вы еще тысячу раз успеете помолиться. Но сегодня жаль тратить время на молитву. Сегодня настал черед смотреть, и только смотреть.

Бернадетта собралась было что-то прошептать «сердцем». Но Дама предостерегающе прикладывает палец к губам. Это, видимо, значит: помолчите. Разве вы можете сказать мне что-то, чего я не знаю? Да и мне больше нечего вам возвестить. Но Бернадетта не может удержаться от страшного вопроса, который, несмотря ни на что, без слов рвется из ее сердца: это последний раз, о Мадам, это действительно последний раз?

Дама, точно понявшая этот вопрос, не дает, однако, ответа, даже без слов. Лишь улыбка ее становится еще более легкой и радостной, еще более ободряющей и дружеской. На самом деле эта улыбка означает: у нас нет такого понятия — «последний раз». Наша разлука будет более длительной, это верно, но я остаюсь на свете, и

вы тоже…

Дама делает третий жест. Ее ладони очень медленно скользят по телу сверху вниз от груди к поясу. Это, видимо, значит: я еще здесь. И Бернадетта перестает спрашивать, целиком отдавшись созерцанию. Почти теряя сознание, она с таким напряжением нервов впивается взглядом в лицо Дамы, словно должна заполнить им все глубины своей души, словно должна сохранить его каждой клеточкой своего тела на все тусклое время, оставшееся до смертного часа. Ибо Бернадетта знает: это прощание. Но и Дама всячески идет ей навстречу. Она предлагает, она дает ей насмотреться на себя, излучая такое ощущение близости, какое находится уже на грани возможного.

Давно наступили сумерки. На землю постепенно опускается ночь. Взору открывается усыпанный звездами купол чистого июльского неба. Пламя множества свечей за спиной девочки только сгущает темноту ночи перед ее глазами. Дама все еще не исчезла. Ее добрая душа предусмотрительно выбрала именно этот час, когда расставание со светом вберет в себя расставание с нею самой. Она не хочет просто покинуть Бернадетту, как делала это раньше. Не хочет и усугублять отрешенность Бернадетты, чтобы

исчезнуть незаметно. Она хочет легко и плавно раствориться в воздухе и причинить как можно меньше страданий. Когда взгляд Бернадетты уже почти ничего не может различить в темноте и фигура Дамы видится лишь смутным светлым пятном, Дама начинает удаляться. Очень медленно, не поворачиваясь к девочке спиной. Кажется, она подняла руку и помахала своей любимице, как машут люди, прощаясь друг с другом. Бернадетта тоже поднимает руку, но сил помахать у нее нет. Она неотрывно глядит в темноту. Светлое пятнышко на берегу реки — это Она? Или Ее уже нет здесь? Звезды на небе вдруг засверкали ярче прежнего. Словно обрадовались, что их Владычица возвращается к ним. Может, надо обратить взгляд к звездам? Она по-прежнему глядит в темноту, туда, где поблекло последнее светлое пятно.

Еще несколько минут Бернадетта не встает с колен, потом поднимается, пошатываясь, и направляется к островку свечей. Как долог этот путь! Она все идет и идет, те, другие, устремляются ей навстречу и все же никак не могут встретиться. Наконец она подходит к ним так близко, что уже различает их лица, освещенные зыбким пламенем свечей. Лицо матери, накидывающей ей на

плечи капюле, так как похолодало. Строгое лицо тети Бернарды, тотчас набрасывающейся на нее с вопросами. Доброе лицо Антуана, испытующе заглядывающего ей в глаза. Все эти лица она еще различает. Различает и хорошо знакомые голоса, которые стараются ее успокоить и в то же время выведать интересные новости о Даме. Повторяя ее жест, Бернадетта медленно подносит указательный палец к губам. И внезапно, совершенно неожиданно, падает на землю. Падает без чувств. Но не так, как падает тело, падающее само по себе, а так, будто ее уронили.

Часть четвертая
Теневые стороны благодати

Глава тридцать первая
Сестра Мария Тереза покидает город

Сначала все принимают обморок Бернадетты за особое состояние отрешенности, какое у нее бывало и раньше. Поэтому никто не испугался. И лишь когда много времени спустя Бернадетта, лежа на коленях у матери, открывает глаза, но лицо ее остается таким же мертвенно-бледным и черты его искажаются страшным удушьем, Луиза Субиру поднимает крик. Удушье усиливается, начинается сильный приступ астмы. Лицо девочки краснеет, широко открытые глаза блуждают, ища спасения. Бернадетта вот-вот задохнется. Через четверть часа приступ проходит. Но Бернадетта, вконец обессиленная, лежит на земле, не в состоянии шелохнуться.

Тогда Антуан Николо во второй и последний раз в жизни берет девочку на руки и бережно несет ее домой, на улицу Пти-Фоссе. Сзади следует плотная толпа перешептывающихся испуганных женщин; кое-кто из них держит в руках горящие свечи. С виду это шествие очень похоже на похороны, кажется, что пророчество дядюшки

Сажу о близящемся выносе гроба из кашо начинает сбываться. Очень странно ведет себя при этом Луиза Субиру, на людях обычно всегда такая сдержанная. Она громко, чуть ли не в голос поносит Даму: почему это именно ее дитя, она сама и все ее несчастное семейство подвергаются столь жестоким испытаниям со стороны каких-то зловещих сил, которые ни кюре, ни епископ не признают небесными и святыми! И особа эта вовсе не Пречистая Дева Мария, а скорее исчадие ада, посланница дьявола, уж умные-то священники знают, почему они чураются Грота. Да разве может эта пришелица быть добрым духом, ведь она же так задурила голову ее бедной девочке, что та уже не годится ни для какой работы! А теперь, вместо того чтобы исцелить дитя от астмы, эта ночная красотка исподтишка чуть не задушила девочку, да так, что та ничего и не заметила. Мать осыпает Даму потоком ругательств и оскорблений, пока Бернарда Кастеро не обрывает ее:

— Прекрати наконец молоть чушь!

Доктора Дозу тотчас зовут к больной. Он предписывает немедленно доставить Бернадетту в больницу милосердных Неверских сестер. Но, осмотрев девочку, успокаивает родителей. Никакой новой опасной болезни у нее нет, это все та

же застарелая астма, от которой девочка страдает с ранних лет. К ней добавилось сильное нервное истощение в результате напряженных недель с «явлениями».

«Истощение», наверное, самое точное слово. Смертельно уставшая от общения с чем-то запредельным, лежит Бернадетта в больничной палате. В первые дни вокруг ее кровати роятся какие-то химеры. Но Дама не приходит к ней во сне. Не приходит никогда. А наяву она не смеет о ней мечтать. Ей приходится вынести еще три или четыре приступа астмы. Однако интервалы между ними становятся все продолжительнее. Потом болезнь отступает. И пляска фантастических существ на стенах комнаты прекращается. Истощение мало-помалу отпускает ее худенькое тело. Хотя Бернадетта на первый взгляд и кажется слабенькой, ее молодой организм упорно цепляется за жизнь. Новый прилив сил делает более упругими ее мышцы. И однажды утром — прошла приблизительно неделя с того знаменательного прощания — она чувствует себя свежей и здоровой. Она вскакивает с кровати и спрашивает у дежурной сестры, нельзя ли ей вернуться домой. Сестра велит ей дождаться врача.

За это время доктор Дозу вновь нанес визит

декану, и разговор опять шел о Бернадетте. Для слабенькой девочки, организм которой еще не созрел, к тому же астматички, кашо — абсолютно непригодное жилище. Недостаток света и воздуха раньше или позже обязательно приведет этого ребенка, и без того подверженного легочным заболеваниям, к чахотке. Необходима срочная помощь. Они быстро приходят к согласию. После этого Перамаль едет в больницу и от своего имени и от имени доктора Дозу просит старшую сестру милосердия покуда не выписывать Бернадетту Субиру из больницы. Для этого у него имеются важные причины, причем не только медицинского характера. Старшая сестра, успевшая привязаться к Бернадетте, с готовностью выполняет эту просьбу еще и потому, что надеется этой услугой задобрить грозного декана.

Перамаль велит позвать к нему Бернадетту, которая в это время сидит и ждет, что ее отпустят домой. Девочка глядит на священника отнюдь не так робко, как в феврале. Чего еще от нее хотят? Однако как изменился этот мрачный человек в сутане с той поры, когда намеревался гнать ее метлой из храма! Величественный Перамаль весь как-то съеживается, чтобы не напугать милую девчушку своей напористой мощью. В его хрипло-

ватом басе даже не слышно привычных грозовых раскатов, которыми всегда сопровождаются его добрые дела. Сегодня за его приветливостью чувствуется даже что-то похожее на скованность и робость.

— Дорогая Бернадетта, — говорит он, — ты сейчас совершенно здорова и могла бы спокойно вернуться домой. Но мы с доктором Дозу решили, что будет лучше, если ты еще некоторое время побудешь здесь. Настоятельница по своей доброте согласилась. Что ты на это скажешь?

Бернадетта безучастно смотрит на декана и не говорит ни слова. А тот думает, что ей просто не нравится жить в больнице.

— Ты, естественно, не будешь находиться вместе с больными, дитя мое, — продолжает он. — Любому здоровому человеку, да и мне тоже, не захотелось бы этого. Поэтому тебе отведут отдельную комнатку, в которой ты днем сможешь делать все, что тебе вздумается. А ночью будешь делить ее с дежурной сестрой. Ты совершенно свободна. И можешь проводить с родными столько времени, сколько захочешь. Распорядок дня ты, конечно, должна соблюдать и вовремя являться в столовую, так как мы с доктором придаем очень большое значение тому, чтобы добрые сестры

хорошенько тебя подкормили. Ты согласна?

Бернадетта молча кивает, ее черные глаза спокойно глядят на декана.

— Но это еще не все, — продолжает соблазнять ее Перамаль. — Мне известно, что посторонние люди очень часто надоедают тебе, а любопытные докучают расспросами. Мне бы хотелось этому воспрепятствовать. В этом доме ты будешь избавлена от назойливых посетителей. Старшая сестра просила передать тебе, что ты можешь гулять в большом и малом саду столько, сколько захочешь. Ты рада?

— О да, господин кюре, я очень рада, — отвечает Бернадетта и улыбается декану открыто и простодушно, впервые в жизни не испытывая перед ним страха.

Она в самом деле очень рада, обретя свободу и прибежище. Как ни привязана она к родителям, домашняя атмосфера в последнее время была такой гнетущей, и за каморку у Сажу ей приходилось платить выслушиванием бесконечной пустой болтовни. Зато теперь она сможет являться домой, когда захочет, и всегда у нее будет повод удрать: ведь ее тяга к одиночеству только усилилась. Когда она одна, она чувствует себя наедине со своей любовью, которая ничуть не

ослабла в разлуке и только стала еще слаще от постоянной тоски. Какие воспоминания, какие картины будоражат ее чувства и воображение, все это наглухо замкнуто в ее душе; она не могла бы четко описать их другому человеку, даже самой себе.

Она просит дать ей какую-нибудь работу. Ей предлагают помогать на кухне. Теперь Бернадетта моет грязную посуду. Дома она была не очень-то расположена к этой работе. Но, как и все девочки-подростки, вне дома она радостно делает то, на что дома презрительно кривит губы. Среди сестер, работающих в больнице, есть несколько молоденьких и веселых. В кухне они даже поют. И Бернадетте это доставляет радость. Все в доме обращаются с ней деликатно, робко и даже с какой-то опаской. Никто не знает, чего можно ожидать от этой чудотворицы. Так, во всяком случае, кажется.

Комнатка, в которой живет Бернадетта, крохотная, с голыми побеленными известкой стенами, зато окна ее выходят в сад. Бернадетта может здесь предаваться своему любимому занятию: часами сидеть у окна в полной прострации, уставясь неподвижным взглядом на кроны деревьев. Время от времени ее застают за этим глубокомыс-

ленно-бессмысленным делом, которое у простых людей вызывает непонимание и потому раздражение. Пустой голове требуется, чтобы руки ежеминутно были чем-то заняты. А когда все дела переделаны, ее тут же клонит в сон. Одна из уборщиц, возмущенная ее бездельем, рассказывает привратнику, хорошему знакомому Франсуа Субиру:

— Сидит и сидит, какая-то чудная, щеки ввалились, и сама не шелохнется, только пялится в окно, как помешанная… Я ее трижды зову, а она не отвечает…

Привратник больницы Неверских сестер, тоже один из постоянных посетителей пивного заведения Бабу, приводит это высказывание в «медицинском уголке». Так называется стол, за которым собираются слуги лурдских врачей. Слуга доктора Лакрампа, опытный диагност, чья проницательность позволяет разгадать самую сложную болезнь, устанавливает диагноз, против которого не осмеливаются возразить его собутыльники:

— Dementia paralytica progressiva sed non agitans![10] Я еще несколько месяцев назад кон-

[10] Notes: 10

Слабоумие при прогрессивном параличе, но не в активной форме *(лат.)*.

статировал этот факт.

Консилиум докторских слуг кивает с той молчаливой деловитостью, с какой медицина всегда встречает болезнь или смерть. Непонятный латинский диагноз докторского слуги моментально облетает весь город, но уже как диагноз самого доктора.

В комнатке Бернадетты стоят узкая железная койка и диван. Диван предназначен для дежурной сестры. Поскольку сам монастырь Неверских сестер и их больница находятся не в одном здании, каждую ночь кто-то из сестер должен дежурить. На это дежурство мать настоятельница назначает только пожилых и опытных монахинь. Дежурная должна позаботиться, чтобы в серьезных случаях пригласили доктора и священника, а беспокойных больных — успокоить и утешить. Старшей сестре, кроме того, доверен ключ от шкафчика с медикаментами, который обычным сестрам-сиделкам не дают. В общем, служба нетрудная, поскольку в данное время в больнице мало тяжелых больных. Так что дежурную сестру, а значит, и Бернадетту ночью почти никогда не будят. Монахини обычно спят очень крепко, поскольку на время этого дежурства освобождаются от обязательного участия в ночных

общих молитвах.

По-другому обстоит с сестрой Марией Терезой Возу. Бернадетте приходится и с ней провести ночь в одной комнате. В эту ночь девочка почти не спит, хотя лежит неподвижно, глаз не открывает и старается дышать ровно, лишь бы ничем не потревожить суровую врагиню. Извне ничто не нарушает их покоя. А так как июльская ночь довольно светлая — полнолуние, — Бернадетта может непрерывно наблюдать за своей учительницей сквозь длинные полуопущенные ресницы. Она делает это из чистого любопытства, с которым не в силах справиться.

В то время как другие дежурные в темноте раздеваются и залезают под одеяло, Мария Тереза не снимает даже тяжелого платья. Единственный предмет туалета, который она снимает, это монашеский чепец. Под ним обнаруживается стриженая голова с острым мальчишечьим затылком, покрытая густыми светлыми волосами. «Снимет ли она башмаки?» — спрашивает себя Бернадетта. Сестра Возу носит грубые башмаки на шнурках, без каблуков. О, как, наверное, болят у нее ноги к вечеру! Монахиня не снимает башмаков, причем всю ночь до утра. И не залезает под одеяло, а лежит поверх него. Но сначала она

опускается на колени и целый час молится. И молитвы ее не сопровождаются спокойным перебиранием четок, как у всех людей, а заключают в себе что-то очень волнующее, потому что то и дело перемежаются тяжкими, горестными вздохами. Иногда кажется, что, молясь, она с кем-то спорит. Бернадетта не сводит полуприкрытых глаз с Возу. Интересно, удастся ли ей хотя бы один-единственный раз заметить движение плеч и спины молящейся. Но плечи и спина не двигаются, словно высечены из камня.

Бернадетта принимает такую позу, чтобы иметь возможность наблюдать соседку по комнате сквозь щелку между веками. Возу, освещенная ярким лунным светом, лежит на диване неподвижно, скрестив на груди руки, словно готическое изваяние на катафалке. Она тоже не спит. Глаза ее широко открыты. И хоть она неподвижна, Бернадетта чувствует, что душу ее терзают и лишают сна ужасные муки. Несколько раз за ночь Мария Тереза осторожно и бесшумно встает, опускается на колени перед распятием и бессчетное число раз повторяет какую-то длинную молитву.

Бернадетта вспоминает тот тягостный урок, когда учительница рассказывала им о святых

отшельниках и отшельницах, удалившихся в пустыню и питавшихся акридами, медом диких пчел и водой, — тех, что постились целыми днями и возносили к небу все молитвы, какие только есть на свете, даже придумывали новые. Образ железных вериг с ржавыми остриями, которые эти пустынники носили на голом теле под рясой, врезался в память неспособной ученицы, как врезаются вообще все страшные картины. Конечно, сестра Возу не уступает в святости тем отшельницам в пустыне и безлюдных горах! Может, она сейчас борется со своими злыми мыслями и желаниями, хотя кто осмелится утверждать, что таковые могут гнездиться в ее душе.

На ночном столике возле дивана стоит тарелка с прекрасным свежим персиком. Сейчас как раз пора персиков, а персики нигде не родятся более сочными и сладкими, чем в провинции Бигорр. Даже при бледном свете луны видно, как ярок и сочен круглый плод. Бернадетте вдруг ужасно захотелось его съесть. Но в ту же секунду ее пронзает мысль, что сестра Возу потому и поставила соблазнительный персик подле себя, чтобы непрерывно бороться с собственным греховным желанием, ибо именно так поступали те отшельники и отшельницы, на которых так

походит несгибаемая монахиня. Но ведь Дама, размышляет Бернадетта, так часто призывавшая к искуплению, ни разу не потребовала, чтобы Бернадетта не ела персиков. Да и почему бы их не есть? Они такие вкусные. И стоят всего одно су, так что даже мама может иногда купить несколько штук. Бернадетте очень хочется, чтобы сестра Возу надкусила персик. Но та, будто каменное изваяние, неподвижно лежит на диване, пока луна не уходит из окна.

Бернадетта просыпается с ощущением, что чьи-то глаза уже давно и неотступно глядят на нее. За окном светит солнце.

— Ну и соня же ты! — говорит Мария Тереза Возу.

Быстрый взгляд искоса убеждает девочку, что персик лежит на тарелке нетронутым…

— Я сейчас встану, сестра, — вежливо отзывается Бернадетта и спускает ноги с кровати, при этом бретелька ночной сорочки соскальзывает с ее худеньких плеч.

— Тебе не стыдно перед самой собой? — шипит Мария Тереза. — Сейчас же накинь что-нибудь.

Когда Бернадетта делает движение к двери, чтобы как можно быстрее выскользнуть из комнаты, учительница хватает ее за руку.

— Погоди-ка, присядь вот здесь, на кровать, — говорит она. — Мне хочется с тобой поговорить.

Девочка глядит на монахиню темными, немигающими глазами. Мария Тереза Возу никогда бы не догадалась, что Бернадетта столь многое в ней понимает.

— Когда ты на следующий год опять пойдешь в школу, что я тебе очень советую сделать, — начинает Возу, — меня там уже не будет. Завтра я уеду из Лурда. Я возвращаюсь в нашу обитель в Невере. Меня отозвали.

— О, вы уезжаете из Лурда, сестра? — повторяет Бернадетта безразличным тоном, не выказывая ни сожаления, ни удовлетворения.

— Да, я уезжаю отсюда, Бернадетта Субиру, и уезжаю охотно. А ты у нас оказалась вон какой совратительницей! Глупых простолюдинов ты совратила с пути истинного. Да и государственных мужей тоже — вот ведь не засадили же тебя за решетку, хотя следовало бы. А теперь ты совращаешь и такого сильного человека, как наш декан. Все пляшут под твою дудку, дитя мое. Только не я… Я одна не пляшу… Потому что я тебе не верю…

— А я и не стремилась к тому, чтобы вы мне верили, сестра, — простодушно заявляет Бер-

надетта, и в мыслях не имея оскорбить свою учительницу.

— Еще бы! Один из твоих ответов, на которые не знаешь, что и возразить, — кивает Возу. — Ты перебаламутила всю Францию. О Бернадетта, да знаешь ли ты, что в прежние времена делали с такими людьми, которые похвалялись, будто «видели» неких прекрасных Дам, творили всякие чудеса с целебными источниками, будоражили простой народ и бунтовали против законных правителей и против Святой Церкви? Их сжигали на кострах, Бернадетта!

Бернадетта напряженно морщит лоб, но не говорит ни слова. Мария Тереза встает во весь рост:

— Еще одно я хочу тебе сказать, Бернадетта Субиру. Может быть, в школе тебе иной раз казалось, что я к тебе придираюсь и отношусь предвзято. Это большое заблуждение. Среди моих учениц нет никого, о ком бы я думала с большей тревогой и заботой, чем о тебе. Этой ночью я непрерывно молилась о твоем спасении. Я и впредь буду каждый день молиться, чтобы Господь не дал погибнуть твоей душе и вовремя оградил ее от той страшной опасности, которой ты ее подвергаешь…

С этими словами монахиня берет со стола тарелку с персиком. В первую секунду кажется, что она собирается дать его Бернадетте. Но она передумывает и протягивает персик первому больному, встретившемуся ей в коридоре.

Глава тридцать вторая
Психиатр включается в борьбу

Во Франции есть два человека, которые действительно искренне страдают из-за того, что потерпели поражение и Дама из Массабьеля одержала над ними верх. Один из них — Виталь Дютур, лысый прокурор из Лурда, второй — барон Масси, корректный префект департамента Высокие Пиренеи.

Кажется, самым сильным побудительным мотивом для большинства людей является гордыня, или, точнее, жгучее желание постоянно ощущать свое превосходство. Жизнь в людском сообществе требует скрывать свою гордыню еще более стыдливо, чем половой инстинкт. Тем более разрушительно она действует на их души. Каждое сословие имеет свой особый вид и свою меру гордыни. Гордыня чиновника, ежели он чем-то раздосадован, вероятно, превосходит гордыню всех остальных сословий. Ведь чиновник в своих собственных глазах не только безымянный исполнитель государственной власти. Восседая за своим письменным столом, он мнит себя во-

площением самой этой власти. Пусть он всего лишь ставит почтовый штемпель на письма, все равно он существо иной, высшей породы, чем остальная публика, подобно тому, как, например, ангелы — существа иной, высшей породы в сравнении с простыми смертными. На посту судьи, начальника полиции, таможенника, налогового инспектора чиновник распоряжается людскими судьбами намного ощутимее, чем само Провидение. Все униженно ему кланяются, ибо в его руках закон все равно что воск. От короны императора, которая как бы отчасти венчает и его, он обретает свою волшебную силу. Чиновник точно знает, что в практической жизни он меньше значит и меньше умеет, чем любой ученый, врач, инженер, даже кузнец и слесарь, владеющие своим ремеслом. Если лишить его той волшебной силы, какую дает ему власть, окажется, что он не более чем хилый деклассированный писака. Но чем ранимее человеческая гордыня, тем упорнее приходится ее защищать. Ибо если бюрократ терпит крах, в его лице терпит крах божественный принцип власти. А этого допустить нельзя.

Нельзя допустить, чтобы и дальше все шло, как идет, думает барон Масси. Прецедент Дамы из Массабьеля не должен привести к краху бо-

жественного принципа власти. Хотя большая пресса немного поутихла с тех пор, как доступ в Грот прекращен. Быть может, вся эта история с фантомами и чудесами, столь абсурдно издевающаяся над духом времени, постепенно порастет быльем. Но гордыня барона не допускает дальновидной и мудрой покорности судьбе. Ему ведь пришлось вынести немало различных нареканий со стороны министров. Пришлось дважды униженно дожидаться приема у епископа лишь для того, чтобы получить пронизанную иронией отповедь. Каждый шаг, предпринятый им для ликвидации этой мучительной ситуации, кончался огорчительной невнятицей или вызывал открытое противодействие.

Барон Масси не тот человек, чтобы не закончить фразу, которую говорит или пишет. У него сказуемое всегда следует за подлежащим, а в конце фразы непременно ставится точка. Он может разболеться, если ему придется отступить, то есть прекратить дальнейшее преследование Бернадетты Субиру. Он испытывает к этой девочке ярко выраженную антипатию, хотя никогда ее не видел. Но твердо убежден, что она, и только она заключает в себе источник бесконечных неприятностей. Пока Бернадетта не исчезнет

окончательно из умов французов, ни в Лурде, ни вокруг Лурда не будет порядка и спокойствия. Все предпринятые доселе попытки уличить девочку в обмане или хотя бы в своекорыстном использовании легковерия сограждан провалились из-за ее хитрости и из-за вздорных выдумок комиссара полиции. Но у барона Масси есть против нее еще одно оружие…

Жара сегодня стоит несусветная. Летнее солнце обдает зноем огромный кабинет его превосходительства. На префекте, как всегда, длинный черный сюртук, высокий крахмальный воротничок, подпирающий подбородок, и крахмальные манжеты, тогда как все его подчиненные, в противоположность ему, работают в одних сорочках. И все как один обливаются потом, а вот барон не потеет никогда, из принципа. Масси изучает документ, пересланный ему уже много недель назад. Это заключение медицинской комиссии, обследовавшей Бернадетту Субиру в конце марта. Консилиум состоял из докторов Баланси и Лакрампа — оба из Лурда — и скромного сельского доктора из окрестностей города. Виталь Дютур тогда жестко настоял, чтобы в комиссию не включали доктора Дозу, городского врача Лурда. Ему с лихвой хватало тех мнений о ясновидящей, кото-

рые этот ненадежный человек высказывал в кафе «Французское». Наморщив лоб, префект читает и перечитывает текст медицинского заключения:

«Девочка Бернадетта Субиру совершенно здорова, если не считать врожденной астмы. Она не страдает головными болями, а также другими нарушениями нервной системы. Аппетит и сон отличные. Патологические задатки вряд ли наличествуют. Девочка от природы отличается повышенной впечатлительностью. По-видимому, речь идет о сверхчувствительной натуре, которая легко может стать жертвой собственной фантазии, даже галлюцинаций. Возможно, луч света, падающий в Грот, создает у нее обманчивое впечатление „явления“ Дамы. Сверхчувствительные натуры часто обнаруживают склонность к гипертрофии такого рода впечатлений, которая в особо тяжелых случаях может доходить до физиологического бреда. Однако нет никаких оснований предполагать наличие последнего у девочки Субиру. Нижеподписавшиеся полагают, что у этого подростка нельзя исключить появление так называемых экстатических состояний, однако это психическое заболевание, сходное с сомнамбулизмом и доныне мало исследованное, не представляет никакой опасности для боль-

ной...»

— «По-видимому», «вряд ли», «возможно», — ворчит барон Масси и с отвращением отодвигает подальше это чересчур осторожное заключение.

Тут ему — очень кстати — докладывают о приходе психиатра. Барон самолично пригласил к себе этого психиатра, главу закрытой лечебницы для душевнобольных в окрестностях По. Государству время от времени требуется врачеватель душ, чтобы избавиться от того или иного строптивого индивидуума. В особенности когда дело касается злоупотреблений крупными состояниями, чудачеств при составлении завещания, увлечений престарелых отцов легкомысленными красотками и других непотребных поступков, государство и состоятельные семейства призывают на помощь психиатра. Так почему бы государству не призвать на помощь психиатра, когда речь идет о сверхъестественных явлениях — в наш век, который еще только надеется кое-как справиться с явлениями естественными?

Психиатр обладает располагающей внешностью и ярко-рыжей бородой. Густая огненная шевелюра дыбом стоит на голове. Его можно было бы назвать даже красивым, если бы левый угол его рта не был слегка вздернут в результате

паралича мышцы. Кроме того, его темно-серые глаза непрерывно бегают из стороны в сторону, ибо психиатр всегда перенимает нечто от своих пациентов.

Префект кратко излагает суть дела и разъясняет точку зрения государства. Бородач оказывается — к немалому удовольствию барона — чрезвычайно догадливым слушателем. Будучи совершенно равнодушен к чисто философским проблемам, он возмущается всем, что пробивает сверхчувственную брешь в логически познаваемой картине мира. Для него случай Бернадетты Субиру представляет собой одно из двух возможных: либо это помешательство, либо обман. А поскольку помешательство — сфера его компетенции, он охотно склоняется именно к такому выводу. Кроме того, ему непонятно, почему в столь тяжкое время надо позволять небесным силам, не обладающим специальными медицинскими познаниями, безнаказанно заниматься целительством. Префект ссылается на закон от 30 июня 1838 года, который дает прокуратуре право заключить под стражу любого гражданина, подозреваемого в психическом заболевании, если наличествует врачебный диагноз и больной представляет опасность для общества. Психиатр улыбается.

— Нам вовсе не нужно связывать себя окончательным решением, ваше превосходительство. Между полной свободой и полной изоляцией имеется вполне законное среднее состояние, к которому я всегда прибегаю в тяжелых случаях. Я ставлю пациента под наблюдение. В конце концов, психиатр — не костоправ, который может на месте вправить сломанную кость ноги.

— Отлично, дорогой профессор! — дружески кивает префект. — Боюсь, такое наблюдение окажется необходимым…

Уже на следующее утро психиатр заявляется в городскую больницу. Его сопровождает здоровенный санитар, как будто они собираются заключить под стражу самого Голиафа. Бернадетту незамедлительно приводят к нему. Ее глаза глядят на мир холодно, разумно и очень настороженно, как всегда, когда предстоит борьба. Рыжебородый прикидывается добродушнейшим дядюшкой. Он восторженно хохочет, складывает губы трубочкой, треплет девочку по щеке. Бернадетта хмуро уклоняется от его поросших рыжими волосами рук. Психиатр втягивает ее в беседу по широкому кругу тем, которая по-своему преследует ту же цель, что некогда имел перекрестный допрос Жакоме. Ему нужно заманить

ее в разнообразные ловушки, чтобы обнаружилось ее слабоумие. Но она не идет навстречу его желанию. Ее ответы, как всегда, кратки и точны. Она знает, сколько дней в неделе и часов в сутках, а также когда восходит солнце в июле и кому принадлежит высшая власть во Франции. Знает, сколько будет пятью семь. А сколько будет, если семнадцать помножить на тридцать восемь, не знает, но вполне серьезно заявляет:

— Это вы заранее подсчитали, месье!

На вопрос, какие события произошли в последние дни, она отвечает четко и ясно, выстраивая их в хронологической последовательности. Две молоденькие сестры милосердия, присутствующие при обследовании, начинают хихикать. Бернадетта еще раз доказывает свое искусство: своими ответами она выставляет глупцом того, кто хотел выставить глупой ее.

Психиатр просит, чтобы его оставили наедине с пациенткой в затемненной комнате. Мать настоятельница, давшая разрешение, догадывается известить об этом декана и родителей девочки. Бернадетта настороженно сидит на кровати, а бородач тенью передвигается в сумраке комнаты, освещенной пробивающимися сквозь занавеси яркими лучами. Жестом заправского портного

он вытаскивает из кармана сантиметр, а из-за отворота сюртука — булавки. В эти годы анатомия черепа и мозга празднует свой великий триумф. В мозгу обнаружены центры двигательные, эмоциональные и высшей нервной деятельности, и все они отграничены друг от друга. Человек управляется этими центрами почти так же, как марионетка опытными пальцами кукольника. В сумме они составляют то, что выражает устаревшее слово «душа». Психиатр обмеряет череп Бернадетты и заносит результаты в книжечку — и впрямь так, как это делает портной, принимая заказ. Потом колет ее булавками в разные места тела.

— Ой, больно! — вскрикивает Бернадетта.

— Ага, значит, ты это очень сильно почувствовала, — ликуя, говорит психиатр; непонятно лишь, плохо или хорошо это для пациентки.

— Конечно, каждый бы очень сильно это почувствовал, — искренне признается Бернадетта.

Потом бородач начинает обследовать ее мышечные рефлексы, в первую очередь реакцию зрачков. Он велит девочке сделать несколько шагов вперед и назад с открытыми и закрытыми глазами.

— Отчего ты шатаешься? — спрашивает он.

— Оттого что устала, месье, — отвечает она.

Психиатр предлагает ей сесть и немного поболтать с ним, он опять стал добрым дядюшкой.

— Значит, ты видишь в Гроте Пресвятую Деву Марию?

— Я никогда этого не говорила, месье!

— А что ты говорила?

— Что я видела в Гроте Даму, — возражает Бернадетта, подчеркивая прошедшее время глагола.

— Но эта Дама должна же кем-то быть, — настаивает бородач.

— Дама — это Дама.

— Кто видит каких-то Дам, которых на самом деле нет, тот болен, дитя мое, тот ненормальный.

Немного помолчав, Бернадетта разъясняет, подчеркивая каждое слово:

— Я *видела* Даму. И больше ее не увижу. Потому что она удалилась из этих мест. Следовательно, вы уже не можете считать меня больной, месье!

Психиатр не сразу находит, что возразить, сраженный этой неопровержимой логикой.

— Послушай, малышка, — наконец говорит он, — есть определенные признаки, что с тобой не все в порядке. Но даю тебе честное слово, мы тебя скоро вылечим. Разве ты не хочешь стать совершенно здоровой и избавиться от всех этих

состояний, которые так вредны для тебя? Некоторое время ты поживешь в красивом доме, окруженном большим парком. И всего у тебя будет вдоволь, как у принцессы. Ты любишь пить горячий шоколад со взбитыми сливками?

— Никогда не пробовала.

— А вот теперь попробуешь и, если захочешь, за первым же завтраком. Нигде тебе не будет так хорошо и привольно, как у меня. Причем все это ты получишь даром. Твоим родителям не придется платить ни су. Ты будешь всем обеспечена, и твое будущее изменится в лучшую сторону…

— Мне не так уж хочется попробовать шоколада со взбитыми сливками, — возражает Бернадетта. — Ведь мне уже скоро пятнадцать. Будет лучше, если я останусь здесь…

Бородач смеется и мотает головой:

— Милая девочка, лучше будет, если ты по доброй воле пойдешь со мной. Это не причинит тебе никакого вреда. И твоим родителям тоже, мы с ними потом переговорим. Я уже понял, что ты умная девочка. Это займет три-четыре недели, не больше. Зато мы навсегда избавим тебя от этих состояний. Тебе больше не будут являться в гроте Дамы, зато ты станешь жизнеспособным человеком, закаленным для борьбы за существование…

— Я вовсе не боюсь борьбы за существование, месье, — замечает Бернадетта, разглядывая свои руки, успевшие так много поработать за ее короткий век. А потом — психиатр даже не успевает что-либо сообразить — вскакивает с кровати, выбегает из комнаты и, никем не остановленная, удирает из больницы.

Два часа спустя психиатр вместе с прокурором входят в кашо. И пугаются, когда у самой двери натыкаются не на кого иного, как на Мари Доминика Перамаля. Его величественная фигура непреклонно преграждает им вход, так что разговор вынужденно происходит чуть ли не на пороге низенькой двери. Семейство Субиру в глубине комнаты боязливо жмется вокруг очага. Рыжий бородач смущенно кланяется:

— Если не ошибаюсь, я имею честь разговаривать с лурдским деканом?

— Вы не ошиблись, месье. Чем могу служить, господа?

— Не лучше ли нам переговорить где-нибудь в другом месте? — откашливается Виталь Дютур.

— Это вы, господа, избрали это место, а вовсе не я, — отвечает Перамаль, ни на пядь не сдвигаясь с места. — Присутствие здесь всего семейства Субиру для меня весьма кстати. Господина прокурора

я знаю. Другой господин мне незнаком. Вероятно, это доктор из психиатрической больницы в По, которого префекту было угодно пригласить к нам…

— Я экстраординарный профессор психиатрии и невропатологии, — отзывается бородач с перекошенным ртом и с апломбом, который не вполне ему удается.

— Боюсь, в Лурде вы не найдете подходящего поля для своих научных изысканий, дорогой профессор, — сожалеет Перамаль.

— Господин декан! Я действую по поручению руководства медицинского отдела нашего департамента. Имеется медицинское заключение от двадцать шестого марта, отмечающее некоторые отклонения в психическом состоянии юной пациентки. Господин префект полагает необходимым удостовериться в правильности этого заключения и для этого на некоторое время препоручить девочку моему наблюдению. В этом и состоит моя миссия здесь…

Кажется, что Перамаль еще больше увеличивается в размерах.

— Видел я эту бумажонку, датированную концом марта, — перебивает он. — Но вы-то, уважаемый профессор, вы-то самолично обсле-

довали девочку. Какие психические отклонения вам удалось обнаружить?

— Бывают такие аномалии, которые не сразу бросаются в глаза, — мямлит бородач.

Тут уж рокочущий бас Перамаля заполняет комнату:

— А я хочу напомнить вам, уважаемый профессор, клятву Гиппократа, которую вы давали, как и любой врач, и спрашиваю: можно ли считать Бернадетту Субиру душевнобольной, буйнопомешанной и опасной для общества?

— Боже мой, господин декан, — увиливает от ответа психиатр, — кто говорит о буйном помешательстве или опасности для общества?

— На каком же праве основывается желание префекта лишить эту девочку свободы?

— На праве, зафиксированном в законе Франции, — произносит с раздражающим спокойствием Виталь Дютур.

Декану не сразу удается овладеть собой.

— Закон Франции слишком высок, — взрывается он, — чтобы протягивать руку помощи крючкотворам.

— Уважаемый господин декан! — примирительно улыбается бородач. — Применяя закон тысяча восемьсот тридцать восьмого года, мы

стремимся лишь к благу пациентки, которую по указанию господина префекта в течение какого-то времени будут наблюдать и лечить всеми способами, имеющимися в распоряжении современной науки.

Тут самообладание окончательно покидает Перамаля. Его ярость звучит на всех органных регистрах:

— Это самое бесстыдное лицемерие, с каким я когда-либо сталкивался. И клянусь, господа, я сорву маску с лица этих ханжей и подниму такой шум на всю Францию, что у Тарбского префекта будет в ушах звенеть… Подойди-ка сюда, Бернадетта Субиру!

Бернадетта уже некоторое время назад инстинктивно приблизилась к декану. «Черный человек» ее детства теперь вдруг хватает ее и прижимает железными руками к себе в знак того, что берет ее под защиту.

— Я знаю эту девочку, — кричит он, — и прокурор ее тоже знает. Мы оба подробно беседовали с ней. А тот, кто утверждает, будто Бернадетта Субиру помешанная, сам либо помешанный, либо подлец. Закон тысяча восемьсот тридцать восьмого года направлен против буйных и эпилептиков. Вы все еще полны решимости его

применить, господа? Отлично! Однако заверяю вас, что я ни на шаг не отойду от ребенка! Вот так. А теперь можете вызывать сюда жандармов.

— А если жандармы и впрямь явятся, господин декан? Что тогда? — спрашивает Виталь Дютур с надменной небрежностью.

— Если жандармы явятся, — Перамаль давится от смеха, — если жандармы явятся, я им скажу: господа, заряжайте получше, ведь вы пройдете сюда только через мой труп!

Прокурор и психиатр несолоно хлебавши покидают комнату, в которую им из-за декана даже не удалось по-настоящему войти. Виталь Дютур знает, что Перамаль осуществит любую свою угрозу. Этой внезапной перемены в лурдском декане прокурор не ожидал. Значит, Бернадетта — настоящая средневековая ведьма. Нужно будет телеграфировать в Тарб и испросить новых распоряжений.

В начале второго на углу улицы Пти-Фоссе и площади Маркадаль останавливается закрытая почтовая карета. В это время дня город словно вымер. Луиза и Бернадетта Субиру садятся в карету. Декан Перамаль уже сидит внутри. Всю дорогу они едут, храня молчание. Перамаль решил укрыть от преследований девочку и ее мать

высоко в горах, в курортном городке Котре, в маленьком домике, принадлежащем тамошнему приходу. Его коллега, тамошний кюре, берется защитить их и обеспечить всем необходимым. Бернадетта бесследно исчезает. Даже полицейским ищейкам префекта не удается разыскать ее убежище.

Глава тридцать третья
Перст божий, или Епископ дает Даме шанс

В эти дни монсеньор Тибо, епископ города Монпелье, лечится на целебных водах в Котре. Престарелый епископ знакомится с Бернадеттой в приходском домике. Монсеньор Тибо являет собой полную противоположность монсеньору Лорансу. Его длинные белоснежные волосы свободно ниспадают на плечи. И губы его не тонкие и презрительно сжатые, а по-детски пухлые, и прекрасные глаза василькового цвета. Епископ города Монпелье — натура доверчивая и поэтичная; более того, можно открыть секрет, что в часы досуга он сочиняет неплохие стихи по-французски и по-латыни во славу Господа, природы, неба, Пресвятой Девы и дружбы. Монсеньор Тибо знает о таинственных явлениях в Лурде из газет, как и все остальные. Он также разделяет мнение всех клириков Франции, что ввиду господствующего состояния умов надо проявлять максимальную сдержанность по отношению к мистическим происшествиям. Нет ничего опаснее, полагает

он, чем стирание священной грани между религией и верой в призраки. Тем не менее он просит девочку обо всем ему подробно рассказать. И тут происходит нечто странное. Бернадетта, обычно не отказывающаяся выполнить аналогичную просьбу, но рассказывающая о событиях в Гроте скучным и монотонным голосом, вдохновляется сиянием глаз своего слушателя. Ей кажется, что она впервые в жизни встретила душу, сходную с ее собственной и с такой же широтой вмещающую тайну душевного восторга, любви и потрясения. После первых же слов она теряет привычную бесцветную тональность. Она вскакивает. Падает на колени. Начинает изображать самое себя. Потом Даму. Одиннадцатое февраля. Вот тут течет мельничный ручей. А там Грот. Воображение ее разыгрывается до такой степени, что Бернадетта сама чувствует, как с какой-то неведомой силой начинает тянуть к себе Даму и чуть не заталкивает ее в правую нишу комнаты. Лицо ее покрывается мертвенной бледностью, и Луиза Субиру уже боится, как бы девочка не впала в экстаз. Когда Бернадетта изображает Даму и, полуоткрыв объятия, говорит самой себе: «Окажите мне милость и приходите сюда пятнадцать дней кряду», монсеньор Тибо вдруг встает

и выходит из комнаты. В глазах старика стоят слезы. Он тяжело дышит. Выйдя из домика, он прислоняется к стволу дерева и шепчет:

— Quel poème… Какая поэзия!

Два дня спустя епископ города Монпелье направляется в Лурд. Он останавливается в гостинице Казенава. И сразу же просит декана Перамаля пригласить к нему нескольких надежных свидетелей видений и экстазов Бернадетты. Перамаль избирает доктора Дозу и Жана Батиста Эстрада. Последний заявляет епископу буквально следующее:

— Монсеньор, за свою жизнь я видел на сцене величайших актрис Франции, в том числе Рашель. Все они по сравнению с Бернадеттой были просто гримасничающими статуями, гипертрофированно изображавшими мучительные страсти. А маленькая ясновидящая в Массабьеле явила нам зримое отражение благодати, для которой в языке нет названия.

— Это так… Это так! — восклицает Тибо.

Декан Перамаль пользуется удобным случаем, чтобы посоветовать:

— Может быть, монсеньору стоит переговорить с епископом Тарбским?

Монсеньор внемлет совету. И, несмотря на

предписание врачей после утомительных лечебных ванн две недели соблюдать полный покой, прежде чем вернуться домой, он отправляется в Тарб. Там состоится его трехчасовой разговор с Бертраном Севером Лорансом.

Вскоре после этого лурдского декана телеграммой приглашают прибыть в резиденцию епископа. Вместо обычного дружественного приема за трапезой в аскетической комнате епископа его заставляют два часа ждать в канцелярии. Монсеньор в крайнем раздражении стучит своей палкой по письменному столу:

— Вы что, хотите натравить на меня весь епископат Франции, господин кюре?

Прежде чем Перамаль успевает что-нибудь возразить, епископ сует ему под нос один из тех внушительных, облепленных печатями свитков, какие применяются для пастырских посланий и других торжественных меморандумов.

— Lege! — приказывает монсеньор на латыни. — Читай!

При первом же взгляде на торжественный пергамент Перамаль с удовлетворением отмечает, что прежний неряшливо набросанный текст, лежавший в ящике епископского стола, успел преобразиться так значительно, что превратился

в образчик каллиграфического искусства.

— Это о назначении епископской комиссии для расследования последних событий? — спрашивает он тихим голосом.

— Sede et lege! Сиди и читай! — рычит епископ, холодная снисходительность которого сегодня сменилась более теплой грубоватостью. Декан послушно опускается в одно из кресел и читает латинский титул, исполненный великолепными синими, красными и золотыми литерами в завитушках: «Распоряжение епископа Тарбского о назначении комиссии для расследования обстоятельств, связанных с якобы имевшими место явлениями в одном из гротов западнее Лурда».

А ниже этого титула, выдержанного в старинном витиеватом стиле: «Бертран Север Лоранс, благоволением Господа и милостью Святого Апостольского Престола епископ Тарбский, шлет приветствие и благословение клиру и верующим нашей епархии от имени Господа нашего Иисуса Христа…»

Декан бросает быстрый взгляд на епископа, но тут же отводит глаза. За благословением в римском стиле следует множество строк мелкими буквами. Перамаль страдает дальнозоркостью, и его глазам очень трудно разобрать текст. Но

не только глазам, а и уму приходится сильно напрягаться. Тщательно завуалированное ясными словами пастырского послания необоснованное недоверие епископа производит прямо-таки мучительное впечатление. Во вводной части Бертран Север аргументирует причины и обстоятельства рассматриваемого события. По этим аргументам Перамаль видит, что монсеньор намеренно дает понять, что он принимает данные меры не по собственной инициативе, а вынужденно, под нажимом извне, обусловленным как ненавистью противников, так и легковерием фанатиков. То и дело Перамаль натыкается на оговорки, скрывающиеся под гладкой поверхностью стиля пастырского послания. Например, там говорится: «Мы ничего не можем признать a priori и без серьезной и объективнейшей проверки». Поэтому, дескать, следует как можно четче отмежеваться от субъективных утверждений и обратить пристальнейшее внимание на естественнонаучное освещение так называемых «чудесных исцелений». «Людей легче взбудоражить, чем убедить», — пишет епископ. Но Перамаль вычитывает между строк и еще кое-что. Новая смута нанесла бы новый удар христианству, которое в настоящее время защищает

вечные истины в одной из самых ожесточенных исторических битв. Сущность современного духа, даже если он не отрицает Бога, такова, что он не готов признать существование исключений из общего закона природы ни с позиций разума, ни с позиций чувства. Если же церковь признает такое исключение — а она всегда готова это сделать, — она невольно усилит врагов Господа и вызовет ожесточенное неприятие в широких кругах верующих. А посему, прежде чем церковная комиссия признает наличие сверхъестественного явления, должны быть до конца исчерпаны все способы естественнонаучного объяснения с использованием всех средств современной науки. Поэтому в работе этой комиссии должны принять участие не только профессора догматики, морального богословия и мистической теологии, но в таком же количестве и профессора медицины, физики, химии и геологии…

Перамаль читает и читает, а конца все не видно. Мелкие буковки расплываются у него перед глазами. Монсеньор, теряя терпение, выхватывает листы из его рук.

— Кто отрицает чудо, не истинный католик, — ворчит он. — Кто не верит, что Господь властен поступать во Вселенной по собственной воле, тот

не истинно верующий. И тем не менее чудеса такого рода оскорбляют нравственные чувства. В частности, во мне. Я не люблю чудес. Какая-то замарашка из нищенской трущобы, дочь пьяницы и прачки… Хоть милость Небес и беспредельна, но я — всего лишь ничтожный смертный, — и я этого не приемлю. А вы все заставляете меня ввязаться в это дело…

— Не мы заставляем вас ввязаться в это дело, монсеньор, — возражает Перамаль. — Само это дело заставляет вас ввязаться, как заставило и меня. Истинный Боже, я вовсе не поклонник легковесного и тупого мистицизма старых баб. Но кто объяснит нам, почему события приняли столь бурный оборот, ваше преосвященство? Дочь опустившихся родителей, верно. Невинное дитя, почти незнакомое с простейшими основами вероучения, никогда раньше не предававшееся пустым мечтаниям, это дитя видит перед собой прекрасную даму, которую поначалу вовсе не принимает за некое видение, а считает реальной женщиной из плоти и крови. Это дитя рассказывает о встрече сестре и подружке. Сестра пересказывает все это матери, подружка — одноклассницам. И из этой ничтожной болтовни детей и простолюдинок в течение нескольких

дней возникает лавина за и против, прокатившаяся по всей Франции. Ваш собственный коллега, монсеньор, епископ города Монпелье, называет все это прекраснейшей современной поэмой…

— Мой коллега, епископ из Монпелье, — презрительно усмехается Бертран Север, — человек излишне сентиментальный…

— Но я, монсеньор, отнюдь не сентиментален, — заявляет Перамаль. — И тем не менее это непостижимое возвышение ничтожного ребенка приводит меня в состояние постоянного возбуждения. А вы теперь призвали на помощь людей, которые станут нас поучать: «Это перст Божий!» или наоборот: «Это не перст Божий!»

Епископ опускает уголки рта и поднимает брови.

— И среди этих призванных мною людей, — говорит он, — находится и лурдский декан со всеми его сомнениями…

Декан не может скрыть испуга. Охотнее всего он бы отказался от этой роли. Но это невозможно.

— Когда вы собираетесь созвать комиссию, монсеньор? — спрашивает он сдержанно.

— Покуда еще не знаю… Покуда рано… — сурово возражает епископ и ладонями охватывает свиток, словно показывая, что не даст его отнять.

— Однако распоряжение уже готово к напечатанию, — предупреждает декан.

Старик-епископ брюзгливо парирует:

— Распоряжение подождет. Под ним еще нет даты… Может быть, вы мне объясните, как должны работать члены комиссии — химики и геологи, — если вход в Грот запрещен?

— Ваше пастырское послание заставит отменить запрет, монсеньор, — невольно вырывается у Перамаля.

Епископ повышает голос почти до крика:

— Никого я не собираюсь заставлять! Я не намерен оказывать ни малейшего давления на светские власти. Пусть сперва император откроет Грот. После этого соберется комиссия. Не наоборот!

— Разве император оставил за собой право лично решить этот вопрос?

— Императору придется его решить, потому что другие — слабонервные — никогда не придут ни к какому решению. — И, немного помолчав, епископ добавляет голосом, приглушенным почти до шепота: — Тем самым я даю Даме самый последний шанс. Вы меня поняли, уважаемый декан?

— Нет, ваше преосвященство, не понял.

— Значит, придется пояснить. Я даю Даме шанс — либо победить императора, либо потерпеть от него поражение. Если она победит, комиссия примется за работу. Если потерпит поражение и Грот останется закрыт — значит она вовсе не Пресвятая Дева, и мы ее сбросим со счетов вкупе со всей комиссией…

Сказав это, монсеньор начинает зачитывать один за другим пункты Пастырского послания. Перамаль слышит имена достойнейших каноников, которым доверяется руководство комиссией, а также имена известных профессоров, на которых возлагается проведение научных исследований. После этого епископ дает понять, что аудиенция окончена. Но уже у дверей останавливает визитера вопросом:

— А что будет с самой Бернадеттой, уважаемый декан?

— Что вы хотите этим сказать, монсеньор? — вопросом на вопрос отвечает Перамаль, чтобы выиграть время.

— Что хотел сказать, то и сказал, четко и ясно! Как она сама представляет себе свое будущее? Ведь вы, уважаемый декан, по-видимому, ее покровитель и защитник. И вероятно, уже ее об этом спрашивали.

Перамаль отвечает, взвешивая каждое слово:

— Бернадетта — самое простодушное создание в мире. У нее совершенно нет честолюбия. Ее единственное желание — вернуться к той безымянной массе, из которой она вышла. Она хочет жить так, как живут все женщины ее сословия…

— Вполне понятное желание, — смеется епископ. — И вы, богослов, верите, что это идиллическое будущее действительно возможно — после всего, что произошло?

— Всей душой надеюсь и все же не верю, — наконец отвечает Перамаль, выражая своим ответом ту двойственность, с которой относится к Бернадетте и ее Даме. Епископ, опираясь на посох слоновой кости, выходит из-за письменного стола и подходит вплотную к декану:

— Дорогой мой, комиссия может вынести только три решения. Либо объявит: ты, Бернадетта Субиру, — маленькая обманщица и фиглярка, следовательно, твое место в исправительном доме. Либо же: ты, Бернадетта Субиру, — безумная, следовательно, твое место в сумасшедшем доме. А может и решить: Пресвятая Дева ниспослала тебе Благодать, Бернадетта. Твой источник творит чудеса. И мы передадим наше заключение в Римскую курию. Следовательно…

Мари Доминик Перамаль предпочитает в ответ промолчать.

— Следовательно, — повышает голос епископ, — ты одна из тех Божьих избранниц, которая имеет право быть почитаемой церковью. А посему должна исчезнуть — слышишь? — исчезнуть, ибо мы не можем позволить святой жить среди людей, как все прочие. Святая, которая, вероятно, будет иметь дело с парнями, выйдет замуж и народит детей, — прелестное было бы новшество… — Внезапно епископ меняет тон и говорит тихим голосом, мягко и доверительно: — Поэтому, милая девочка, церковь берет тебя под свое покровительство. Поэтому, милая девочка, церковь поместит тебя, как драгоценный цветок, в один из самых прекрасных своих садов — в монастырь кармелиток или картезианок, где существуют очень строгие правила, хочешь ты того или нет…

— Она наверняка не захочет, монсеньор, — едва слышно перебивает епископа Перамаль. — Бернадетта вполне земное существо и, насколько мне известно, не ощущает никакого призвания к духовной жизни. Кроме того, она так еще молода, ей нет и пятнадцати.

— Возраст со временем меняется, — обрывает

его епископ. — Да и распоряжение еще не издано, комиссия еще не собиралась. А когда начнет работать, будет заседать и заседать без конца — это я обещаю вам, дорогой мой, — так что ее работа займет не один год. Ибо я, я-то взыскую истины в последней степени ясности. А до тех пор пускай ваша подопечная девочка живет в миру, как все простые смертные, хотя и под неусыпным надзором, это мое требование. И если вы, лурдский декан, желаете девчушке добра, то постарайтесь вовремя уговорить ее отречься от своих слов. Тогда она отделается исправительным домом. Это было бы наилучшим выходом из положения для Бернадетты Субиру, да, пожалуй, и для церкви тоже, такие уж времена…

Глава тридцать четвертая
Один анализ и два оскорбления его величества

Серьезные беспорядки угрожают со стороны людей, которые, вообще-то, не принадлежат к приверженцам Дамы из Массабьеля. Среди рабочих по всей провинции прошел слух, что Бернадетту Субиру похитили и отправили не то в тюрьму, не то в сумасшедший дом. Визит рыжего бородача в Лурд не остался незамеченным. Жакоме пришлось вывезти его из города в собственной коляске и под охраной жандармов, поскольку Антуан Николо поклялся всеми святыми, что остановит почтовую карету еще до Бартреса и не только исколошматит внештатного профессора, как того «английского миллионера», а вообще прикончит.

После визита бородача Бернадетта и впрямь исчезла. И мельник Антуан начинает вести бурную политическую пропаганду. Он выступает перед рабочими лесопилки Лафитов и мельницы Клавери, каретной фабрики Дюпра, кирпичного заводика Суртру и винокуренного завода Пагес.

Он разговаривает с рабочими сланцевых карьеров, каменотесами, дровосеками, дорожными рабочими, с большинством из которых лично знаком.

— Кто мы такие — свободные граждане Франции или рабы? — задает он один и тот же подстрекательский вопрос.

— Мы рабы! — звучит в ответ хор голосов, и этот ответ даже не совсем грешит против истины, ибо власть императора благодаря закону об Управлении государственной безопасности абсолютна и неподконтрольна. Так что демагогические речи Антуана Николо в защиту Бернадетты выслушиваются сочувственно. Хотя этот рабочий люд и живет на католическом юге страны, в сущности, это тот же трудовой народ, который в 1789, 1830 и 1848 году пошел на баррикады, чтобы противостать привилегированным особам, к которым в его глазах относятся и «добрый Боженька», и «Пресвятая Дева». Бернадетта Субиру — дитя этого трудового люда, одно из беднейших его чад. Уже много месяцев привилегированные персоны насильничают над этим ребенком и мучают его с помощью полиции, прокуратуры, судей и психиатров, не в последнюю очередь и самой церкви. Из-за чего все эти мучительства?

Из-за того, что Святая Дева явилась не монахине благородных кровей, а этой простой девочке из народа, и благодаря источнику, забившему в злосчастном гроте Массабьель, исцеляются больные. Какое дело до этого Жакоме, Дютуру, Масси и императору? Никакого дела им до этого нет, черт побери, этим Жакоме, Дютуру, Масси и императору! Лучше бы они повысили грошовые расценки, ликвидировали безработицу и крайнюю нищету народа! Ан нет, все они, начиная с императора и кончая Жакоме, заботятся только о том, чтобы те, у кого богатство и власть, не потеряли ни су. Они закрывают доступ в Грот и как бы в насмешку над народом запрещают пользоваться чудодейственной водой из источника, которая уже помогла нескольким страдальцам. А почему? Чтобы самим продавать эту воду за большие деньги и набивать собственную мошну. А теперь они пошли на чудовищное преступление! Выкрали это ни в чем не повинное дитя трудового народа, чтобы упрятать его навеки в тюрьму или сумасшедший дом...

В первый четверг августа разражается буря. Больше тысячи рабочих в четыре часа дня бросают работу и густыми толпами стекаются к Массабьелю. Жакоме едва успевает послать к

Гроту всех оказавшихся в наличии жандармов числом пятнадцать. Вооруженные жандармы стоят стеной перед заграждением. После ожесточенной перебранки толпа бросается на штурм. Жандармам приходится пустить в ход оружие, чтобы отразить три атаки толпы. После этого в них летит град камней, один из которых прямым попаданием в лицо серьезно ранит Белаша. К месту действия прибывают мэр, комиссар полиции, прокурор и половина судей, дабы спасать положение. Жакоме намеревается обратиться к толпе, но его заглушают криками. Виталю Дютуру тоже не дают произнести ни слова. Старый народный трибун Лакаде имеет больший успех. Толпа дает ему сказать несколько фраз. Но потом его перебивает Николо:

— Где Бернадетта?

— Бернадетта в полной безопасности! — кричит в ответ Лакаде. — Головой ручаюсь! Люди, разве я не был всегда на вашей стороне? Разве вы не сами выбрали меня мэром? Если вы поверите мне, то и я вам поверю. Николо, кончай это безобразие, и я скажу вам, где находится Бернадетта…

Эта приманка действует на Антуана Николо.

Полицейское донесение Жакоме каждой строкой повергает барона Масси в мрачнейшее

настроение. После неудавшейся попытки интернировать девчонку с помощью рыжего бородача еще и этот удар, самый серьезный из всех. Газеты набрасываются на «Происшествия в Лурде» и своей лицемерной озабоченностью только способствуют распространению беспорядков. Мол, французский народ — народ самостоятельно мыслящий, а не слепо подчиняющийся. Это казаки и пруссаки могут терпеть самодержавное правление, но не великая нация Вольтера и энциклопедистов. У галлов достанет иронии, чтобы, воспользовавшись вспышкой суеверия, предупредить о грозящей опасности. Бедняжка Бернадетта видит таинственную Даму в гроте Массабьель. А другие могут в том же Гроте «увидеть» огненные письмена, которыми суверенный народ предупреждает тех, кто хочет урезать его естественные права. И газета «Пти Репюблик» отваживается напечатать эти слова, после чего цензор конфискует часть тиража, но другая часть уже попала к читателям.

По чиновничьей «лестнице Иакова» вновь начинается обычный лихорадочный обмен запросами и ответами. Волю императора узнать все еще не удается. В настоящее время он находится на летнем отдыхе в Биаррице, наслаждается

своей ролью отца и супруга, а также морскими купаниями, и, когда появляется министр финансов Фуль с очередными кляузами, он отказывается его принять. Барон Масси устал от бесплодных усилий. Он поклялся жестоко расквитаться с гротом Массабьель, столько раз наносившим уколы его самолюбию. Первая растерянность внезапно сменяется ясным осознанием способа отомстить за унижение. И пусть «подрывные элементы» собираются в тысячные и даже десятитысячные толпы, пусть в Лурде вспыхнет настоящий мятеж, он этому лишь обрадуется. Ни минуты не колеблясь, он прикажет расстрелять этот дьявольский Грот из орудий артиллерийского полка, расквартированного в Тарбе, — на собственный страх и риск.

Супрефектам, мэру, комиссару полиции Лурда рассылается строгое распоряжение барона: «Если беспорядки повторятся, если возникнут новые случаи сопротивления действием вооруженным представителям власти, то императорским жандармам, а также любым приданным для усиления воинским частям надлежит после требуемого законом предупреждения открывать огонь». Лакаде, получив этот приказ, пугается до полусмерти. «Побоище в Массабьеле» с множе-

ством убитых и раненых отнюдь не желательный пролог к его выгодному предприятию: продаже целительной минеральной воды на месте и с пересылкой. Разве мыслимо устроить на поле боя казино с кафе на открытом воздухе, музыкальным павильоном, площадками для крокета и итальянскими праздниками с фонариками и фейерверком? Боже милостивый! И мэр в ужасе бросается к декану.

Для Перамаля начинается неделя, в течение которой он едва успевает утолить голод и поспать. Сначала он вызывает к себе Антуана.

— Проклятый осел, — набрасывается он на него, — безмозглая тварь! Что ты делаешь! Зачем будоражишь людей? Хочешь, чтобы вода источника Бернадетты смешалась с кровью? Для девочки на этом бы все кончилось. И были бы все основания убрать ее с глаз людских как преступницу. А этот источник — возможно, великая благодать — был бы проклят навеки! Понимаешь наконец, что ты делаешь, несчастный осел?

Антуан Николо бледнеет как полотно и понуро опускает голову.

— Сейчас же пойдешь со мной, — гремит декан, — и покажешь мне всех зачинщиков!

Мари Доминик Перамаль с первого дня своей

службы был утешителем униженных и страждущих, и теперь это приносит свои плоды. Он знает крестьян, рабочих и вообще бедный люд, и они его знают. Он говорит на их языке. В сопровождении оробевшего Антуана он входит в мастерские Лафитов, Клавери, Суртру и Пагес. Его уверенный рокочущий бас взывает к разуму паствы:

— Я знаю, что вы задумали совершить в следующий четверг. Хотите, чтобы простой народ десятками тысяч со всех сторон пришел к Гроту, так? Ничего другого не добьетесь — кроме того, что солдаты начнут в вас палить и многие будут убиты или станут инвалидами. И ради чего? Ради свободного доступа к Гроту? Не дурите мне голову! Вы смешиваете в одну кучу свое собственное дело с совсем другим. Ничего хорошего из этого не выйдет. И кончится плачевно…

— Мы хотим увидеть Бернадетту, — возражают ему.

Перамаль не успокаивается. Он ходит по домам, хижинам и трущобам. Уговаривает женщин не отставать от мужей, пока те не отступятся от своего безумного плана.

— А если Дама на самом деле Пресвятая Дева, — восклицает он, — что она скажет вам, неблагодарным чадам своим?!

После такого сильного аргумента женщины обещают сделать все, но в свою очередь требуют: хотим увидеть Бернадетту.

За два дня до намеченного бунта декан призывает Луизу Субиру и Бернадетту вернуться из Котре. В среду он возит их обеих в коляске по городу и окрестностям. Свежий вид девочки, которой пребывание в горах явно пошло на пользу, производит на людей сильное впечатление. Бернадетта рассеянно улыбается. Но люди чествуют ее как победительницу.

Мысли мэра Лакаде неотступно крутятся вокруг важного письма, которое он вскрыл несколько минут назад. Он-то думал: наконец пробил мой час! Великий Фийоль прислал свое заключение! Перед лицом Франции и всего мира беспристрастная наука предоставит крупнейший целительный источник планеты страждущим массам. Распечатывая письмо дрожащими от радости пальцами, мэр не сомневался в этой лучезарной перспективе. Но уже при первом беглом взгляде на текст сникает.

Правда, в нем перечислены все эти славные карбонаты, хлораты, силикаты, известь, железо, магний и фосфор аптекаря Латура. Как и полагается крупнейшему светилу гидрологии и

бальнеологии, педантичный Фийоль дополнил этот перечень аммиаком и поташом, хотя они и присутствуют лишь в следах. Ах, как прекрасно звучит само слово «поташ»! Готовое название для средства по прочистке грешных внутренностей чревоугодников. Да что толку от этих звучных научных слов, ежели результат напрочь разбивает все надежды? Ибо под перечнем химических элементов профессор Фийоль красными чернилами начертал страшный приговор:

«Из вышеприведенных результатов исследования ясно вытекает, что присланная нам проба воды из источника под Лурдом может быть названа *обычной питьевой водой*, состав которой точно соответствует составу воды в горных источниках там, где почва содержит много извести. Данная вода не содержит никаких активных веществ, которые могли бы иметь целебные свойства. И следовательно, ее можно пить без пользы и без вреда».

«Без пользы и без вреда!» — горько бормочет себе под нос мэр. И вдруг обнаруживает в конверте коротенькую записку, адресованную ему лично. Он читает:

«Необычайное воздействие на больных людей, якобы производимое этой водой, не может быть

объяснено — по крайней мере с точки зрения современной науки — наличием растворенных в ней солей, обнаруженных при химическом анализе».

«Какая чудовищная по своему коварству фраза!» — думает мэр. Сегодня исцеления еще нельзя объяснить наличием этих солей, а завтра, вероятно, будет вполне возможно. Господин профессор — поистине подло с его стороны! — через парадную дверь впускает чудо, а черный ход, лукаво подмигивая, оставляет открытым для науки. Два лица у господина профессора. Уж от него-то никак нельзя было ожидать такого подвоха. Это удар ножом в спину прогресса и коммерции. Какую цель он преследует?

Если прокурор Дютур всегда задается вопросом: cui bono? кому выгодно? — то Лакаде постоянно спрашивает себя: ad quern finem? с какой целью? Правда, спрашивает не на латыни. Однако он слишком хорошо себя знает, чтобы не заподозрить неладное, ибо любой поступок человека служит одной цели: получению заранее намеченной выгоды. И Фийоля он, по всей видимости, недооценил. У этих профессоров нынче губа не дура. Такое светило науки, как Фийоль, точно знает, что результаты его анализа стоят солидной

суммы наличными, на которую он, однако, не может предъявить счет. Его слово создает курорты из ничего и вновь приговаривает к исчезновению. С какой стати ему просто так, за здорово живешь, способствовать экономическому расцвету города Лурда? Лакаде хлопает себя по лбу. «Ну и дурак же я! Собственная слепота и жадность помешали мне поехать в Тулузу и предложить господину профессору пару тысяч франков на расходы. Поверил пустой болтовне, будто из Тулузы обязательно придет сказочное заключение. И увлекся до того, что опубликовал в газете „Лаведан“ экспертизу Латура. И еще позавчера, черт побери, был так тщеславен и неосторожен, что расхвастался перед советом городской общины, призывая создать курортную комиссию, и не обратил внимания на выпученные глаза хитрого Лабеля. Тебе уже за шестой десяток перевалило, а ты все еще выскакиваешь вперед из-за своей глупой жадности, от которой никак не можешь избавиться. Что теперь делать? Обратного хода уже нет. Ты не можешь сделать вид, будто заключения Фийоля не было. Не можешь его сжечь. Ты вынужден его опубликовать. Наверное, господин профессор уже обнародовал его в „Депеш де Тулуз“. Теперь придется расхлебывать кашу». А

голова трещит, голова так трещит, будто вот-вот расколется…

Лакаде сжимает ладонями виски, но давняя головная боль, связанная с нарушением пищеварения, только усиливается. Он долго кругами бродит по кабинету, испуская стоны. Но вдруг останавливается как вкопанный и вперяется невидящим взглядом в угол комнаты.

«А что, если Фийоль, этот тертый калач, на самом деле умнее умного? Что, если он учуял единственный верный путь и способен меня сто раз заткнуть за пояс?» Головная боль Лакаде становится нестерпимой. В уме с лихорадочной быстротой возникают смутные, но заманчивые проекты. Он звонит в колокольчик и приказывает секретарю Куррежу немедленно и тайно доставить в кабинет бутылку родниковой воды из Массабьеля. Полчаса спустя требуемое стоит у него на столе. Лакаде выливает воду из бутылки в хрустальный кувшин. Вот она искрится в золотистых лучах послеобеденного солнца, эта загадочная жидкость, обычная питьевая вода, не имеющая лечебного действия, которая тем не менее уже кое-кого исцелила. Бурьет видит слепым глазом, и парализованный сын Бугугортов бегает по улице. Лакаде долго наблюдает за игрой света

в хрустале, отбрасывающем на стену дрожащие радужные пятна. При нынешнем уровне науки, думает он, вода ни на что не годится. Но это, однако, не означает, что нельзя достичь своей цели. Естественно, не отступая, а двигаясь вперед — но в другом направлении. Курортники — они и есть курортники и принесут городу деньги независимо от того, за чем приехали: за карбонатами и фосфатами или за чудом. Не свистит ли паровоз?

Мэр подходит к двери и с превеликой осторожностью запирает ее на ключ, чтобы Курреж и Капдевиль не услышали щелканья замка. Потом так же осторожно задергивает тяжелые занавеси на окнах, словно страшится, что Бог увидит, на какое святотатство он решился. Комната погружается в пурпурный полумрак, и призматический блеск хрусталя гаснет. Лакаде вслушивается в себя: по-прежнему ли сильно болит голова. Удостоверяется, что достаточно сильно. Потом наливает себе стакан чудодейственной воды, со стаканом в руке идет в угол комнаты, кряхтя опускается на колени и начинает читать молитвы. Но, поскольку колени, на которые давит порядочная тяжесть, очень скоро начинают нестерпимо болеть, он еще до десятой молитвы осушает стакан до дна. В полном изне-

можении от таких усилий он валится на диван и ждет результатов. Время от времени он задается вопросом: уменьшилась ли головная боль? Странное дело. Он не может этого понять. Нужно еще раз попытаться, решает он, вновь опускается на колени, пьет воду и молится. На третий раз он уже почти уверен, что боль начинает проходить. Тут мэр Лурда Адольф Лакаде смеется над старым якобинцем Лакаде и немало дивится тому, на что оказывается способен самый просвещенный человек, когда уверен, что никто его не видит. А головная боль в самом деле прошла…

И Лакаде делает вывод: это доказывает, что человек, испытывающий боль, обретает и веру. А так как боль испытывают многие, причем не только обычную головную боль, то и верят тоже многие. Вот они-то — страдающие от боли и потому истово верующие — и придут.

Отборной эту публику вряд ли можно будет назвать, мелькает в голове у мэра, прежде чем он устало отдается во власть сна.

Этот год — самый трудный в многотрудной карьере имперского прокурора Виталя Дютура. Началось с затяжной простуды в феврале. Неделями длящийся насморк и распухший красный нос отнюдь не укрепляют чувство собственного

достоинства у властолюбивого человека. Потом произошел этот странный допрос Бернадетты Субиру, при котором Виталь Дютур потерпел свое первое фиаско. Настоящий юрист умеет четко разграничивать службу и частную жизнь. До чего бы мы докатились, если бы судьба каждого обвиняемого, сомнения в правильности того или иного приговора оставляли раны в душе? Судейские должны быстро овладеть искусством, едва выйдя за порог дворца правосудия, сбрасывать с себя тяжкий груз, который возлагает на их плечи профессия. В этом они, само собой, схожи с докторами, которые ведь тоже не могут истекать слезами у каждого смертного одра. И Виталь Дютур вполне освоил профессиональную рутину и, покинув зал судебных заседаний или свой кабинет, начисто забывал о только что закончившихся допросах и слушаниях. Но тот допрос Бернадетты он никак не может забыть. Этот допрос точит и точит его мозг даже теперь, спустя полгода. Ему кажется, будто тогда не он допрашивал, а его самого допрашивали, будто невозмутимая, непоколебимая и недоступная натура этой девочки заставила его изменить свою жизнь. К стыду всей прокуратуры, приходится открыто признать, что Дютур уже много недель

ощущает глубокую растерянность. Именно этой растерянностью, а отнюдь не философскими причинами объясняется его жесткость, даже ненависть к Бернадетте Субиру, к Даме, к Гроту, к источнику и всей этой чертовщине, которая действует ему на нервы и преследует даже во сне. Он перессорился из-за этого со своей привычной компанией, собирающейся в кафе «Французское», — с Эстрадом, Дозу, директором лицея Клараном и некоторыми другими, которые либо колеблются, либо безоговорочно перешли в стан мистицизма, как, например, налоговый инспектор. С другой стороны, Дютур никак не может гордиться банальной общностью взглядов с господином Дюраном и ему подобными. Холостяку, по неисповедимой воле французского юридического ведомства вынужденному жить в большой деревне, называемой городом, ресторан и кафе заменяют дом, семью, театр и культурные развлечения. Дютур расстался с приятным обществом, включавшим наиболее живые умы. И теперь разделяет общество скучнейшего Жакоме и некоторых столь же унылых юристов и гарнизонных офицеров…

После непростительно бездарной истории с провокатором, которой он стыдится до зубовного

скрежета и которая, несмотря на все ухищрения, просочилась в газеты, Дютур получил от главной прокуратуры в По строжайший выговор. А после бунта перед Гротом, в ходе которого жандарм Белаш был ранен, Дютура затребовали в По уже персонально. Его начальник Фальконе, человек пожилой, завидев Дютура, заламывает руки.

— Император недоволен юстицией, — ноет Фальконе. — Я получил разносное письмо министра. Все необходимо изменить. Я далеко от источника. А вы там рядом. Так сделайте же что-нибудь, уважаемый!

«Сделайте же что-нибудь! Сделайте же что-нибудь!» Эту мелодию отбивают копыта лошадей почтовой кареты, когда Дютур возвращается в Лурд.

А что тут сделаешь? Фальконе легко указывать. Прокурор собирает всех жандармов и полицейских и строго-настрого приказывает им подслушивать, о чем говорят люди, постоянно толпящиеся перед Гротом. И каждого, кто позволит себе неуважительное высказывание по адресу правительства, а тем более подрывные речи против государственных устоев, арестовывать на месте.

Уже на следующий день в кабинет прокурора

является торжествующий коротышка Калле и приводит арестованную; в кабинете в это время находится комиссар полиции Жакоме. Арестованной оказывается некая Сиприн Жеста, дама, принадлежащая к сливкам лурдского общества, приятельница мадам Милле и член ее кружка. Добряк Калле имеет зуб на сливки общества вообще и на мадам Жеста в частности.

— Она утверждала, — хрипло рявкает он, — что скандал не кончится, пока император и императрица не явятся собственной персоной к Гроту.

— Это правда, мадам? — спрашивает Дютур.

— Истинная правда, слово в слово, месье, — кивает Сиприн Жеста, аппетитная толстушка лет тридцати, с личиком, излучающим спокойствие. Это спокойствие арестованной по его приказу особы раздражает прокурора.

— Вы действительно считаете, что их величества прибудут к Гроту, доступ в который запрещен их собственным правительством?

— Я твердо убеждена, месье, что их величества плюнут на свое дурацкое правительство и совершат паломничество к гроту Массабьель.

При этом издевательском ответе прошедший огонь и воду чиновник Дютур теряет голову. Словно подброшенный какой-то зловещей силой,

он вскакивает и вопит:

— Это оскорбление их величеств! Я подам на вас в суд за оскорбление их величеств!

— Подавайте на здоровье! — возражает мадам Жеста тоном, исполненным иронии. — Разрешите, однако, спросить, в чем состоит это оскорбление?

— В том, что вы приравниваете умственные способности их величеств к своим собственным!

Если рассудительный человек теряет рассудок, то, как правило, целиком и полностью. Эмоции, обычно стиснутые строгими рамками, мстят за себя в этом случае неожиданными и бурными взрывами чувств. Виталь Дютур, позеленев от злости, на самом деле выдвигает это смехотворное обвинение против мадам Сиприн Жеста. И очень скоро дело рассматривается в открытом заседании под председательством мирового судьи Дюпра. Под радостно-издевательский гогот битком набитого зала Дюпра, приятель прокурора, вынужден признать обвиняемую невиновной в оскорблении их величеств и с большой натяжкой приговорить к обычному штрафу в пять франков.

Но одержимость Дютура уже не знает границ. Что не удалось в Лурде, может быть, удастся в

По на глазах господина Фальконе. И прокурор подает апелляционную жалобу на это решение суда. Дело передается в следующую инстанцию. В день судебного заседания Казенаву приходится добавить вторую почтовую карету, поскольку большая компания женщин в светлых летних туалетах, смеясь и шумя, желает непременно сопровождать обвиняемую в По. Все дальнейшее скорее походит на праздничный спектакль. Дамы получают полное удовлетворение. Суд в По не только подтверждает правильность оправдательного приговора, но и отменяет ничтожный штраф. Главный прокурор Фальконе заявляет в присутствии свидетелей:

— Этот бедняга Дютур в десять раз больше нуждается в помощи психиатра, чем Бернадетта Субиру.

В полном унынии прокурор слоняется по кабинету. Рана, которую он — Бог знает почему — сам себе нанес, неизлечима. Он сделался мишенью для насмешек со стороны газет, и не только клерикальных. Он догадывается, что его карьера окончена. На вечные времена заслать в самую глухую провинцию — таков будет приговор. Увидев свое лицо в зеркале, он кривится от отвращения.

Но коротышка Калле не отступается. Уже спустя неделю он заявляется с новой добычей. На этот раз его трофей — пышно разодетая дама в платье с огромным кринолином. Коричневый шелк. Фиолетовый зонтик от солнца. Светлые волосы, высоко взбитые надо лбом и увенчанные крохотной шляпкой с цветами. Калле с важным видом ставит на стол вещественное доказательство — большую бутылку.

— Эта дама брала воду из источника, — заявляет полицейский, — и не желает отдать бутылку. Кроме того, она рвала траву и цветы у самого Грота и не подчинилась приказу удалиться…

— Как ваше имя, мадам? — с тоской приступает к допросу Дютур.

— Меня зовут мадам Брюа, — отвечает дама с несколько смущенной простотой тех, кто предпочел бы скрыть слишком звучное имя.

— Мадам Брюа? — переспрашивает, подняв на нее глаза, Дютур. — Брюа? Вы имеете какое-либо отношение к адмиралу Брюа, бывшему министру морского флота?

— Он мой муж, — отвечает дама.

Виталь Дютур весьма смущен; он встает и придвигает даме кресло.

— Сделайте одолжение, мадам, присядьте.

Но мадам Брюа решительно отклоняет предложение:

— Меня арестовал вот этот господин и провел через весь город. Хочу, чтобы со мной и здесь обращались, как со всеми задержанными. Разрешите узнать, в чем моя вина?

Лысый прокурор всем своим видом показывает полное изнеможение.

— Мадам, — начинает он полушепотом, дав глазами знак злосчастному Калле исчезнуть, — мадам, вы носите великое имя. Ваш супруг, как всем известно, особа, приближенная к императору… Мы же, государственные служащие этого города, уже много месяцев ведем борьбу с одним из ужаснейших недоразумений нынешнего века. Ведем эту борьбу по поручению правительства, с ведома и по воле его величества. Некие прямо противостоящие друг другу в политике круги используют галлюцинации слабоумной девочки и слухи о якобы имевших место исцелениях как желанный повод для того, чтобы нанести удар правительству и самому императору в наиболее слабом месте господствующей системы. Я говорю о чрезвычайных законах, на которые опирается нынешнее правительство, законах о чрезвычайном положении. Но если власти,

опирающейся на эти законы, будет причинен хотя бы малейший вред, она попадет в весьма сложное положение. Дабы оградить абсолютную власть от опасных промахов, мы и преградили доступ к гроту Массабьель… Но у грота появляются дамы вроде вас, мадам, принадлежащие к высшим слоям французского общества, и показывают простому народу, что они сами ни в грош не ставят эту высшую власть, ибо не выполняют ее постановлений. Что же остается делать нашему брату, мадам?

— Подать на меня в суд, — улыбается мадам Брюа, — ну, например, за оскорбление его величества…

Дютур, не моргнув глазом, выслушивает этот ядовитый намек.

— Буду вынужден, мадам, — говорит он после довольно длительной паузы, — взыскать с вас положенный штраф в размере пяти франков. Уплатите соответствующему комиссару полиции.

— С превеликим удовольствием, месье. Хочу добавить к пяти еще сто франков для бедняков Лурда. А теперь — верните мне мою бутылку, пожалуйста.

— Бутылка конфискована, мадам, — отвечает

прокурор.

Дама улыбается уголками губ:

— Не думаю, что она и впрямь будет конфискована, месье. Я набрала в нее воды по поручению одной высокопоставленной особы.

Дютур полон решимости не отступать в этом вопросе. Он рывком берет бутылку со стола:

— Какой особы, разрешите узнать, мадам?

— Ее величества императрицы Евгении, — отвечает та. — Ведь я имею честь быть бонной маленького кронпринца.

Мгновенно пожелтевший лицом Дютур протягивает ей бутылку:

— Прошу вас, возьмите, мадам! — И добавляет, не подумав извиниться: — Не понимаю, почему в этом полоумном мире я должен быть единственным верноподданным, свято выполняющим свой долг!

Глава тридцать пятая
Дама побеждает императора

Окна императора выходят на Атлантический океан, и шум прибоя проникает в его комнату, ибо летняя резиденция расположена высоко над рифами. Несмотря на теплую ночь — на дворе сентябрь, — окна закрыты. Табачный дым стелется по всей комнате, скапливаясь вокруг люстры и богато изукрашенных керосиновых ламп, стоящих на двух письменных столах. Этот час одиночества между двенадцатью и часом ночи император особенно ценит. Как и многие люди, пристрастившиеся к курению, засыпает он поздно и с трудом, и его ум работает четко и продуктивно лишь после полуночи. В этот час в мозгу могущественнейшего повелителя современного мира рождаются самые фантастические планы. Желтоватая кожа на лице пятидесятилетнего императора, щеки которого обычно упруги и блестят как полированные, сейчас слегка обмякла и сморщилась. Черные крашеные волосы, надо лбом всегда тщательно зачесанные слева направо, взлохмачены. Усы, днем напомаженные

и негнущиеся, острыми концами торчащие в обе стороны, теперь обвисли. На монархе шлафрок из легкого шелка и мягкие домашние туфли. Изображать в таком виде погруженную в глубокое раздумье персону, олицетворяющую судьбу всего континента, доставляет какое-то пикантное удовольствие — удовольствие от ощущения собственной власти.

Наполеон III ходит по просторной комнате от одного стола к другому, словно за ними сидят незримые призраки его секретарей, которым он еженощно диктует приказы начать великие битвы этого века. На том столе, что побольше, разостлана карта Северной Италии, усеянная таинственными пометками, сделанными красными, зелеными и синими чернилами. Карта была приложена к запечатанному пятью печатями плану военной кампании, задуманному Генеральным штабом и накануне лично доставленному в Биарриц военным министром. Что дела с Италией зашли так далеко, мир еще не подозревает. Даже графа Кавура, вершителя судеб в Савойе, покуда делают более податливым, подогревая на медленном огне неизвестности. А газеты пишут о современном складе ума и любви к природе у императора, ежедневно и подолгу

принимающего морские ванны.

На маленьком столе под грудами документов и посланий тоже лежат карты Алжира, Экваториальной Африки и Центральной Америки. Фантазия императора многослойна и разностороння. Для его дяди Наполеона I мир был ограничен узкими рамками, он никогда не выходил за пределы Европы и Средиземноморья, не смог даже преодолеть Ла-Манш, чтобы покарать Британию. При всех знаках почтения, оказываемых памяти основателя династии, Наполеон III ощущает свое превосходство над Первым. Его дело — не сражения, победы в которых оборачиваются поражениями. Его дело — создание сети железных дорог, которыми он за каких-то семь лет покрыл всю территорию Франции. Его цель — не хвастливое завоевательство, а гармоническое расширение мира, цивилизованного французским духом и простирающегося до Конго, Восточной Азии, а возможно, и до Мексики.

Император то и дело склоняется над картой Северной Италии с пометками Генерального штаба. Да, войны с Австрией не избежать. Заносчивый умник Кавур слишком уверен, что именно он дергает за ниточки, управляя марионетками, и не подозревает, что он сам — марионетка

в руках более могущественного. Цель Кавура — Италия, объединенная Савойской династией. Император ничего такого и в мыслях не держит. Он не помышляет одарить Виктора Эммануила новой великой державой. Правда, когда-то, в богатой приключениями юности, он торжественно поклялся карбонариям и обществу «Giovane Italia»[11] довести до победного конца движение за возвышение и объединение всех итальянцев. Но то были республиканские радужные мечты бездомного голодранца и безнадежного претендента. Наполеон III никому не обещал чрезмерно возвысить Савойскую династию и тем самым подать дурной пример Гогенцоллернам. Его план куда более оригинален и целесообразен: объединить Италию, но под властью не одного монарха, а четырех, которых, по мере надобности, можно будет натравливать друг на друга. Замкнутый союз государств и династий, у которых связаны руки. А он, Наполеон, передаст верховную власть в этой федерации не кому иному, как папе римскому, главе церковной империи. Так решится квадратура круга итальянской политики. Это будет щедрейший дар клерикалам всех наций,

[11] Notes: 11
«Молодая Италия» *(ит.)*.

но одновременно и повсеместный контроль за католическими партиями. Либералы взбесятся, это император прекрасно понимает. Они будут вопить на всех углах. Клерикалы и либералы — это две чаши весов. Держать их по возможности в равновесии — вот и все, что требуется для устойчивости императорской власти. Не религиозное чувство заставляет императора преподнести Риму такой огромный подарок. Сам он в душе и мыслях либерал, как все. Но преимущество мировой империи во главе с Францией состоит в том, что ни итальянцы, ни немцы не смогут создать подлинно национального государства. Разумеется, об этом нельзя говорить во всеуслышание, дабы не растравить крикунов и бездельников по всей Европе, включая Францию. Напротив, надо сделать все, чтобы либералы ничего не пронюхали раньше времени и не подняли вой. Ведь не случайно же радикальные газеты, несмотря на строгость цензуры, наглеют день ото дня.

А потому и эти события в Лурде вовсе не мелочь, в чем хотят уверить императора все эти недоумки Фуль, Руллан и Делангль, хотя бы по той причине, что они за целых восемь месяцев так и не смогли покончить с тамошними чудесами. У императора чутье на такие вещи. Просто

трудно поверить, но захудалый Лурд вот уже восемь месяцев находится в центре внимания газетчиков всего мира. Императора со всех сторон подталкивают к принятию какого-либо решения. Его испытанное искусство ничего не видеть и не слышать, как бы прикидываться мертвым из тактических соображений, ежедневно подвергается труднейшим испытаниям. Вот вчера, например, к нему напросился на аудиенцию господин де Рессенье, бывший депутат от Пиренеев, а сегодня и монсеньор Салини, архиепископ Ошский, нанес ему визит, во время которого весьма настойчиво возражал против вмешательства властей в лурдские события. Визит этого князя церкви особенно примечателен, если вспомнить, каким осторожным молчанием отделывается епископат Франции, выжидая дальнейшего развития событий. Император дал обоим — депутату и прелату — уклончивые ответы. Рессенье, кстати, оставил некий меморандум. «Только где он? Куда я его положил? Эти проклятые секретари и лакеи вечно горят желанием навести порядок на моих столах! В моем беспорядке больше настоящего порядка, чем в самом упорядоченном архиве». В конце концов меморандум находится. Император пробегает его текст:

«Ваше Величество! Прошу вас не рассматривать покуда вопрос о природе лурдских событий, хотя сотни и тысячи свидетелей верят, что там воистину имело место проявление высших сил. Но неопровержимым и не вызывающим никаких сомнений является тот факт, что вода источника, столь чудесно возникшего в Гроте, доступ к которому ныне запрещен полицией, не может причинить вред людям. Анализ воды, проведенный профессором Фийолем (Тулуза), окончательно доказал ее безвредность. Доказанным является также и то, что значительное число больных исцелилось благодаря этой воде. Во имя свободы совести — откройте грот Массабьель, Ваше Величество! Ради любви к человеку — дайте исцеление страждущим! Ради свободы научных исследований — дайте простор научному освещению…»

Император не может удержаться от смеха и выбрасывает меморандум в корзину для бумаг. Ну как же: господа реакционеры вдруг ратуют за свободу совести, за человечность и свободу науки, точно так же, как господа прогрессисты взывают к Небу, когда это им на руку! В этом мире все пустая и лживая суета. Каждый стремится лишь ухватить кусочек власти для себя и своего

клана, власти, которая обеспечит ему сытость и привилегии. Наука или Небеса — и то и другое лишь тешит тщеславие, распространяя этот кусочек власти на абстрактные категории. Клерикалу де Рессенье источник, Пресвятая Дева и здоровье соотечественников — все равно что пыль под ногами. Он хочет добиться успеха, только и всего. Хочет отомстить своим политическим противникам, так как на последних выборах проиграл кандидату от либералов… «Приятно все же быть императором, императору не приходится лгать и соперничать с кем-то ради власти, поскольку она у него есть. В некотором отношении императору даже лучше, чем самому Господу Богу. Ибо Господь опирается на грешной земле только на своих клерикалов. Я же опираюсь на противоречия между клерикалами и либералами. Господа клерикалы, вскоре вы получите из моих рук очень жирный кусок. Так что вам придется отказаться от политической победы внутри страны. Зато господа либералы в ближайшие месяцы будут пользоваться моим явным расположением».

Император бросает взгляд на часы. Половина первого. Все это время он ощущал беспокойство, так как хотел перед отходом ко сну еще осведомиться о здоровье Лулу. Лулу, его единственный

сын, вот уже два дня ощущал легкое недомогание. Ничего особенного. Небольшая температура. Но у двухлетнего малыша всегда можно ждать опасных сюрпризов. Наполеон III вырос не во дворцах, а в домах простых горожан. И нервы у него крепкие. Он немного пуглив, но ему далеко до преувеличенных страхов Евгении. От здоровья Лулу зависит, однако, будущее корсиканской императорской династии.

Император звонит в колокольчик и велит принести трость и башмаки. Он уже в таком возрасте и настолько уверен в себе, что может позволить себе не стесняться Евгении Монтихо. Происходя из весьма низкородной семьи, она особенно рьяно следит за соблюдением этикета. Наполеон III узнает, что полчаса назад разбудили врача. Очень обеспокоенный, он входит в детскую. Его супруга, вся в слезах, сидит у кровати Лулу, а сам Лулу, с пылающими щечками и горячечным блеском в глазах, лежит, совершенно безразличный к окружающему. Лишь когда мадам Брюа или нянька меняет ему компресс на лбу, он кривит лицо и слегка хнычет. Врач подбадривающе улыбается императору:

— Ничего страшного, сир, у принца небольшой жар, как мы все знаем…

— У него дифтерия, у него круп! — стонет Евгения.

— Для такого диагноза нет ни малейших оснований, мадам, — возражает врач. — В горле его высочества легкая краснота, только и всего. У нас уже часто такое случалось…

— Можно ли опасаться какой-либо детской болезни — скарлатины или кори? — спрашивает император.

— Такую возможность никогда нельзя исключить, сир. Но пока тревожиться не о чем. Я бы посоветовал ее величеству спокойно отправиться спать…

— Круп у него, круп! — беззвучно повторяет Евгения.

Император, заметно побледнев, подходит к ней.

— В самом деле, дорогая, тебе бы следовало лечь и поспать, — ласково говорит он, кладя ладонь на грудь ребенка. — Наш Лулу будет вести себя молодцом. Правда, Лулу, пусть мамочка поспит…

Но Лулу категорически возражает.

— Нет, пусть остается. Не хочу, чтобы мама ушла спать! — повелительно выкрикивает он сквозь слезы.

Тут Евгения поднимает к императору вконец

заплаканное лицо.

— О Луи, не откажи мне в одной просьбе! — восклицает она. — Брюа привезла бутылку родниковой воды из Лурда. Мы хотим дать Лулу выпить стакан этой воды…

— Ты уверена, что это необходимо, дорогая? — отвечает неприятно задетый император.

— Уверена, Луи. Уже многих эта вода исцелила. Такой же, как Лулу, двухлетний малыш мгновенно выздоровел…

— Об этом мы ничего определенного не знаем.

— У кого в душе есть хоть искорка веры, тот знает, Луи.

Императору едва удается скрыть смущение.

— Если другие выставляют себя на посмешище, дитя мое, то нам с тобой *не следует*, просто *нельзя* этого делать…

— За жизнь моего сына я готова выставить себя на посмешище, Луи.

Старик-врач заговорщицки подмигивает императору:

— Эта вода совершенно безвредна. И если ее величеству так сильно хочется, то можно спокойно дать ее принцу.

После этого предложения опытного доктора императору приходится отступить.

— Я бы только хотел, — выдавливает он наконец, — чтобы об этом не трубили на всех углах.

Но тут Евгения вспыхивает:

— Это было бы невеликодушно! И мало похоже на благодарность, Луи. Разве источник поможет, если его полезность заранее отрицают! Наоборот! Я клянусь перед Богом и людьми, что я поверю и в источник, и в Пресвятую Деву из Лурда, если она спасет мое дитя!

Мадам Брюа приносит стакан воды. Император, пожимая плечами, выходит из детской.

Через два дня императрица лично появляется утром в спальне императора, чтобы сообщить, что у Лулу нормальная температура.

— Луи, мальчику наверняка помогла вода из Массабьеля.

— Слишком легковесный вывод, душа моя. Ведь Лулу и раньше частенько болел и всегда с Божьей помощью быстро выздоравливал. Боюсь, ты несправедлива к порошкам, которые дает мальчику доктор.

— А ты — настоящий атеист, Луи.

— Атеизм — самая большая глупость, какую может себе позволить монарх, — улыбается император.

— Ты хуже чем атеист, Луи. Нет в тебе сми-

ренной готовности возблагодарить Господа за ту милость, которую он нам ниспослал. А ведь еще вчера ты весь день дрожал от страха, что у ребенка может оказаться круп или скарлатина…

Ранний визит императрицы повергает в некоторое смущение императора, за пять лет их брака считаные разы принимавшего супругу в своей спальне утром, когда волосы его еще не уложены и усы не подвиты.

— Ты несправедлива ко мне, дорогая, — раздраженно замечает он. — Я знаю, что лишь Господней милости мы обязаны жизнью Лулу. Но это убеждение отнюдь не обязывает меня отказаться от здравого смысла и поверить, что стакан питьевой воды из Пиренеев спас Лулу от скарлатины.

Правильные черты лица Евгении Монтихо затвердевают и заостряются.

— Значит, ты отвергаешь малейшую возможность того, что именно вода из Массабьеля за двадцать четыре часа сняла жар у Лулу.

— Это тоже несправедливо, — страдальчески кривится император, полузакрыв глаза. — Я считаю, что наряду со многими естественными объяснениями вполне возможно и сверхъестественное. Но не вижу причин принимать на веру

чудо, покуда природа и медицина дают вполне исчерпывающее объяснение. Предоставим эту веру старым бабам! Наш ребенок выздоровел. Я знаю, что не обошлось без Божьей помощи. Но знаю также, что помогли врач и природа. Может быть, и Лурд тоже, но этого я просто не знаю…

— Зато я знаю, Луи, — с вызовом отвечает императрица, — и никто не запретит мне испытывать чувство благодарности, даже ты!

— Почему бы я стал запрещать тебе это, душа моя? — примирительно замечает император.

— Значит, ты готов, Луи, выполнить мое желание, — быстро вворачивает Евгения. — Ведь я от нас обоих поклялась, что, если лурдская вода поможет, ты отменишь запрет на доступ к Гроту…

Луи Наполеон уже с трудом сдерживается.

— Клятвы дают только от себя лично, сокровище мое, — говорит он, — а не от чьего-то имени. А кроме того, Лурд — это весьма деликатный политический вопрос. В настоящее время у меня есть очень серьезные основания не настраивать против себя либеральные партии.

— Мои основания, основания жены и матери, намного серьезнее, чем любая сиюминутная политика, — возражает Евгения, бледнея, и смесь своенравия, честолюбия и энергии, написанная

на ее лице, делает его неприятным для супруга.

— Мое правительство, — хриплым голосом заявляет он, помолчав, — с самого начала заняло в этом деле отрицательную позицию. И не только правительство, душа моя, но также и французский епископат, который даже тебе не придет в голову упрекнуть в атеизме. Мы все зависим от общественного мнения. А общественное мнение в наш век восстает против замшелой мистики отсталых слоев населения. И делает это, борясь за новый дух времени. Этот дух поддерживает меня. Если я встану ему поперек пути, он меня уничтожит. Выслушай меня внимательно: если я прикажу снять заграждение с Грота, я опозорю свое собственное правительство, сиречь себя самого. Ты этого от меня требуешь? Требуешь, чтобы я вопреки элементарному политическому разуму дал пощечину духу времени и без всякой необходимости официально опроверг сам себя?

Евгения подходит вплотную к супругу и ловит его руки.

— Луи, — говорит она грудным голосом, — император зависит от более могущественных сил, чем общественное мнение. Ты и сам это чувствуешь. Иначе зачем бы ты стал советоваться с мадам Фроссар, предсказательницей и ясновидя-

щей? В твоем положении, друг мой, нельзя себе позволить ни равнодушно вздохнуть, ни трусливо увернуться от ответа. Даже когда спишь, ты творишь историю. Суверен не может обойтись без помощи Неба. Ты сам это всегда повторял. И именно теперь ты хочешь без нее обойтись? Теперь, когда начинается самый великий год твоего правления? Опомнись! Во Франции бьет благословенный родник, дарующий людям одно исцеление за другим. Ты сам дал его воды своему сыну, когда его здоровью угрожала опасность…

— Дабы не погрешить против истины, то был не я, мадам, видит Бог, — уже скрежещет зубами Наполеон.

— Все равно, — парирует испанка, — главное — Лулу здоров. Та высшая сила, что руками невинной и отмеченной Божьей благодатью девочки заставила вдруг забить сильный родник, проявила к тебе милость. И ты посмеешь ее не возблагодарить? Ты в самом деле считаешь, что менее опасно дать пощечину самому Господу и его Святой Матери, чем твоему так называемому духу времени? Причем после того, как сам же поклялся ее возблагодарить?

— Не я поклялся, а ты, — уже вяло настаивает император.

— Все равно! Обет дан. И должен быть исполнен! Не столько ради меня, сколько ради тебя. Ибо на карту поставлена твоя империя, Луи…

Император сопровождает Евгению в ее апартаменты, не проронив более ни слова.

На весь день настроение у него испорчено. Эта красивая баба обладает непреодолимой силой вселять в его душу тревогу. Она держится с ним холодно, эта холодность растет и наконец становится настолько невыносимой, что ему хочется удрать от нее в Париж. Кроме того, у него на совести есть и другие грехи, и в такой день она дает это почувствовать. Купание в море не доставляет удовольствия. Работа на ум не идет. Даже любимый полночный час творческого уединения проходит бесплодно. Но больше всего мучает заноза, засевшая в сердце мужа после речей жены. Евгения права. Она не может нарушить данный обет. И он тоже не имеет права нарушить, хотя и не давал. Какая бы сила ни стояла за явлениями и исцелениями в Лурде, она может быть той же самой, что стоит за мировой историей, а значит, и за его планами в отношении Италии.

Ничтожным пигмеям легко быть вольнодумцами. Чем они рискуют? Но может ли величайший монарх земного шара позволить себе вольнодум-

ство, не рискуя настроить против себя и вольнодумцев, и те чрезвычайно раздражительные силы, от которых зависит победа и поражение целых наций? Уже эти холодные размышления — большой риск, думает император, прохаживаясь между двумя письменными столами, ибо кто знает, может, его своекорыстные мысли ведомы той силе, что требует от смертных безоглядного самоотречения? Жалкие бумагомаратели и простые потребители народного достояния могут без зазрения совести насмехаться над суеверием. Правители же по собственному опыту знают, что в этом мире многое неладно, что тугое сплетение событий зависит не от них, что они — всего лишь игрушка в руках тайных противоборствующих сил, требующих жертв и поклонения, тех сил, которые все время приходится ублаготворять или умиротворять. Попадет ли в цель пуля террориста или нет, зависит не столько от траектории ее полета, сколько от высших сил — назови их как угодно: то ли триединый Бог, то ли созвездия зодиака. Лишь правители знают, что на них не распространяются общепризнанные законы природы, ибо они находятся в средоточии чуда. Поэтому королям и могущественным властителям веру искони заменяло суеверие…

На третий вечер безмолвной борьбы с женой муж признает себя побежденным. И речь идет уже скорее о форме, в какую он облечет свое поражение. После долгих сомнений император решается на весьма необычный шаг. Он отвергает бюрократический путь прохождения бумаг с его подписью. И, стыдясь своих министров, действует за их спиной. Не извещая о своих намерениях ни Фуля, ни Руллана, ни Делангля, император набрасывает текст депеши префекту Тарба: «Немедленно откройте публике доступ к Гроту западнее Лурда. Наполеон».

И больше ничего. Депеша отправляется на телеграф. С ее копией император является к супруге. Евгения заливается густой краской:

— Луи, я всегда знала, что твое сердце полно любви, что ты сумеешь преодолеть себя…

— Мадам, я знаю одно, — крайне сухо замечает он в ответ на эту напыщенную фразу. — Дама из Лурда нашла в вас великолепную союзницу.

Глава тридцать шестая
Бернадетта среди мудрецов

Барон Масси держит депешу императора в руке. В первые минуты, совершенно обескураженный ее содержанием, он решает в порыве оскорбленной гордости немедленно подать прошение об отставке. Но вскоре берет себя в руки и начинает привычно, со знанием дела, анализировать сложившуюся ситуацию.

Первым делом — саму телеграмму. Текст ее сух и лаконичен, как военный приказ. Он не соответствует манере Наполеона III, всегда облекающего свои указания гражданским властям в вежливую форму, а зачастую и обосновывающего их.

Краткость текста выдает его недовольство. Если телеграмма подлинная, то составлена, несомненно, под давлением. Предположительно это результат сговора Евгении, ее придворных дам — известных ханжей — и каких-то еще персон в сутанах, которые, по всей видимости, с каждым днем все более явно осознают пропагандистскую ценность «лурдских явлений». Лишь тамошний епископ по-прежнему несгибаем. Остальные кли-

рики с некоторого времени пришли в движение, как лед на реке при теплой погоде. Чудо, доказанное происшедшими, но не поддающимися объяснению исцелениями, означает столь мощный удар по официальному богословию и неофициальному нигилизму этого века, что расшатывает как надежность неверия, так и ненадежность веры. И депеша императора — живое тому доказательство. Главным вопросом остается: подлинная ли она? Пока не получу подтверждения, ничего делать не буду, решает барон. Ведь телеграмму мог отнести на почту любой придворный лакей и без заверенной подписи императора. Нужно подождать, пока не придет подтверждение с его личной подписью, — хотя бы для того, чтобы оградить императора от мистификации. Кроме того, действия его величества до такой степени противоречат всем иерархическим процедурам, что это выжидание оправданно.

У префекта, для которого стало уже навязчивой идеей настоять на своем в этой истории с Гротом, хватило мужества на целую неделю положить телеграмму с приказом императора под сукно и ничего не делать. Лишь на восьмой день он пересылает ее Руллану с просьбой дать точные указания. Министр по делам культов и его кол-

леги взбешены трусостью и предательством императора. Поистине Наполеон малый! Сперва своей нерешительностью и заискиванием перед масонами втянул нас в это дело, которое без нашего сопротивления давно бы заглохло, а теперь, когда он сам его раздул, коварно нападает на нас с тыла. О, это все происки жуткой испанки, которая вертит им, как хочет! Если бы великолепный Масси не действовал так мужественно и осторожно, правительство было бы опозорено и осмеяно перед всем светом и вынуждено было бы уйти в отставку. В эти дни газетная цензура ужесточается до крайности. Префект получает из министерства хвалебное письмо.

Вот и отлично, думает Масси. Выиграть время — значит выиграть многое. Чтобы на время исчезнуть из Тарба, он отправляется в инспекционную поездку, в ходе которой на несколько дней останавливается в Лурде. Разговаривает с Лакаде, которому сообщает, что в октябре собирается уйти в отпуск. В свое время по инициативе мэра Грот был закрыт. И если в ближайшие недели будут иметь место некие события, то он, барон, не стал бы возражать, если бы господин Лакаде, будучи мэром этого города, в отсутствие префекта взял на себя его функции и сам распорядился

открыть доступ к Гроту всем желающим. Лакаде в испуге отказывается. Ввиду бурного развития событий это дело выходит за рамки его компетенции. Лурд ныне находится в сфере большой политики. А он сам — всего лишь скромный глава местной общины. И, кроме того, после получения убедительной экспертизы от профессора Фийоля его взгляды на источник и Грот в корне переменились. Пускай правительство, своим решением запретившее доступ к Гроту, само же и отменит свой запрет. Барон Масси внимательно изучает носки своих лакированных туфель, поправляет выглядывающие из рукавов манжеты рубашки и молча выходит из кабинета мэра. «Этот человек мертв», — думает Лакаде, а у него острый нюх на политические трупы.

Префект вызывает к себе в гостиницу Дютура и Жакоме, каждого отдельно. В своей обидной манере придирается к ним и так и сяк и возлагает на них ответственность за плачевное положение вещей. При этом он отлично знает, что они оба не особенно виноваты и боролись с беспорядками даже энергичнее и упорнее, чем он сам, до последнего времени вообще не желавший появляться на переднем плане. В этом чертовом деле любое действие потом оказывалось ошибочным.

Барон Масси, с каждым днем все больше пугающийся собственной храбрости, уже хочет только избежать чересчур скандального личного поражения и прибегает к новой тактике. Тактике отступления. Прокурору и комиссару полиции дается указание не преследовать с прежней строгостью нарушителей запрета на воду из источника и не взимать с них штрафы. Однако решетка заграждения и предупредительные таблички должны остаться на месте. Государство ничего не отменяет. Однако жандармерия снимает свои посты, и охрана Грота препоручается исключительно органам городского самоуправления. Тем самым высокое начальство делает вид, будто добилось выполнения своих указаний в задуманном им объеме. Барон надеется, что толпы паломников и зевак постепенно просочатся на запретный участок левого берега и незаметно вновь овладеют Гротом. Так что запрет формально останется, но практически мало-помалу забудется — как солдат, забытый на посту. Зато префекту — а это и составляет его главную цель — не придется расписываться в собственном позоре.

Мысль сама по себе неплохая и достойная такого человека, как Масси. Но противник, к

сожалению, не желает идти ему навстречу. На этот раз противник у него — простой народ Массабьеля. Увидев, что жандармы от Грота ушли, что Калле, заметив кого-то, пьющего воду из источника, уже не вынимает из кармана записную книжку, угрожая штрафом, люди тотчас же заподозрили, что их заманивают в западню. Антуан Николо, верный приверженец Грота, выбрасывает лозунг: «Всем оставаться на правом берегу!»

И все его слушаются. Никогда еще со времени сооружения ограды запрет на доступ к Гроту не соблюдался так неукоснительно, как в дни, когда его молчаливое нарушение было бы для префекта наиболее желательным решением вопроса. Решетчатая ограда, протянутый поперек входа канат, предупредительные таблички — все на месте и при осеннем контрастном освещении кажутся пыточными орудиями какой-то неизвестной секты. Кое-кто из случайных путников, ничего не знающих ни о Даме, ни об Источнике, сердито замечает:

— Почему этот Грот огораживают, словно место убийства, а со свободными людьми обращаются как с преступниками? Это неслыханно!

Однажды, проходя вместе с префектом по площади Маркадаль, Жакоме подзывает к себе

маленькую девочку в белом капюле.

— Ваше превосходительство, это и есть Бернадетта Субиру.

— Так-так! Гм-гм! — мямлит барон, словно вдруг утратив дар речи, в то время как сердце его начинает бешено колотиться. Он стыдится своего волнения, причину которого не может понять. Обычной находчивости как не бывало. Он не знает, что сказать. Бернадетта глядит на него, как она глядит на всех власть имущих, внимательно и настороженно. Наконец растерявшийся префект протягивает девочке руку, нахлобучивает цилиндр поглубже на лоб и поворачивается, чтобы идти дальше. Через несколько шагов он говорит Жакоме:

— Вы неверно обрисовали мне девочку. Она отнюдь не так груба и ординарна.

— Видели бы вы ее раньше, ваше превосходительство! — защищается Жакоме. — Она совершенно переменилась с тех пор, как начались эти видения!

— Великолепные глаза у девочки, — задумчиво возражает барон Масси.

Пока префект еще находится в Лурде, министры Фуль и Руллан отправляются в Биарриц. Там происходит чрезвычайно неприятный разговор

между сувереном и его приближенными. Император чувствует себя пойманным на одной из своих слабостей. Однако и сильнейшим никогда не хватает силы, чтобы простить того, кто разоблачил их слабость. Наполеон III рассчитывал на то, что префект Высоких Пиренеев немедленно выполнит его приказ и правительство, оказавшись перед совершившимся фактом, не станет выдвигать какие-либо возражения. Оказалось, однако, что этот наглец Масси осмелился не только не выполнить его приказ, но еще и переслать его правительству, словно домашнее задание нерадивого ученика, изобилующее ошибками. Лицо императора желтеет от гнева, кончики усов дрожат. Вдобавок ко всему эти идиоты еще заводят его собственную песню о том, что теперь придется сделать какие-то шаги навстречу либералам и масонам. Что же ему, бросить им в лицо что-нибудь вроде: монарх имеет полное право быть суеверным? Монарху днем и ночью приходится иметь дело с темными силами, от которых зависят причины и следствия. А вы по своей пошлости и понятия не имеете об этих силах! Но вслух он говорит только:

— Господа, я возлагаю на вас ответственность за небрежение, с каким игнорируются мои при-

казания.

К счастью, министры трусливы, а император — во всем, что относится к этому делу, — тоже не слишком смел. Поэтому обе стороны в конце этого разговора сходятся, найдя козла отпущения. Этот козел — барон Масси. На следующий день префект получает от правительства столь же неожиданный, сколь и зловещий выговор. Приказ его величества надлежит немедленно выполнить. У барона пересыхает во рту. Он уверен: теперь его песенка спета. Тотчас отсылается депеша Лакаде и Жакоме. Дело происходит седьмого октября. А восьмого октября Калле, чуть ли не на рассвете, выкрикивает на всех углах города: «Прошлый приказ касательно грота Массабьель с сего дня отменяется. Подписано в мэрии Лурда. А. Лакаде, мэр. Ознакомлен. Префект барон Масси».

А рабочие Лурда, раньше отказывавшиеся строить ограждение, теперь отказываются его ломать. Жакоме вынужден явиться вместе с Калле и двумя молодыми полицейскими и наблюдать свой собственный позор. Тысячи людей становятся свидетелями этой капитуляции после долгой осады. Толпа стоит на другом берегу и хранит зловещее молчание. Комиссар полиции взбирается на тот же камень, на котором он стоял в тот

памятный четверг, когда крикнул толпе, что чудо развеялось как дым, незадолго до того, как чудо в самом деле произошло. Он и сегодня обращается к толпе с краткой речью, чтобы спасти то, что еще можно спасти:

— Друзья, как вы сами видите, мы убираем заграждение, построенное по распоряжению правительства. Я государственный служащий. А государственный служащий — все равно что солдат. Его дело не задавать вопросы, а подчиняться. Мы боролись не против вас, как вам, наверное, казалось, а за вас. Пока мы не знали, вредна ли вода источника или нет, мы должны были преградить вам доступ к ней. Но теперь, после получения ученой экспертизы из Тулузского университета, беспокоиться больше незачем. Тем самым правительство достигло своей цели. Поэтому мы с префектом решили открыть Грот и не препятствовать его посещению.

Надо признать, речь вполне пристойная и убедительно доказывающая заботу властей о здоровье народа. Но слова ее падают в толпу, словно камень в болото, почти не оставляя после себя кругов в виде взрывов насмешливого хохота. Вернувшись домой, Жакоме говорит жене и дочери, накрывающим на стол:

— Хорошо, что мы уедем из этого глухого городишки. Должность комиссара полиции в Але — явное повышение. Але после Нима — второй по величине город в департаменте Гар, и супрефектура находится там же. Мы получим прекрасную служебную квартиру. После супруги супрефекта супруга комиссара полиции будет первой дамой города…

Такими словами Жакоме сообщает своей семье о назначении, приказ о котором он, вернувшись домой, обнаружил на своем письменном столе. Его радость по поводу отъезда из Лурда, несмотря на некоторые обстоятельства, вполне искренна. В последнюю неделю газеты полны сообщений о подвигах банды преступников, хозяйничающих между городами Ним и Але в департаменте Гар. Бандиты специализируются на железнодорожных ограблениях. Это нечто более современное, чем чудотворные источники и видения. Да и ему, криминалисту, легче бороться с железнодорожными ворами, чем с Дамой.

Первого ноября правительственный орган «Монитор» публикует известие о назначении барона Масси префектом Гренобля. Это правда. Император в приступе стыда передумал и не решился окончательно пожертвовать им и поставить на

нем крест. Но департамент Изер с центром в Гренобле по тайной табели о рангах, существующей во французской администрации, почти тот же крест. Гренобль — конечная станция. Отсюда закрыт путь к блестящим правительственным дворцам в Париже. С этой мечтой барону приходится распроститься. Но префектом он все же остается. Дама мстит за себя не слишком жестоко.

Хуже всех приходится прокурору Виталю Дютуру. Его должность остается за ним. Его никуда не переводят, а приговаривают остаться на прежнем месте. День за днем прокурор с унылым лицом и сверкающей лысиной тащится по площади Маркадаль к зданию суда и обратно. Дважды в день появляется в кафе «Французское». Волей-неволей выслушивает из уст Дюрана вычитанные в газетах новости и делит общество с банально-провинциальными юристами, офицерами и мелкими буржуа. Для него уже праздник, когда удается уязвить ренегатов Эстрада или Кларана какой-нибудь заносчивой колкостью.

Семнадцатого ноября в одиннадцать часов по Лурду неожиданно разносится звон колоколов церкви Святого Петра. Это означает: его преосвященство монсеньор Лоранс при всем желании

не может долее отрицать факт появления Дамы. Все поставленные им условия в точности выполнены. Император вопреки всем ожиданиям сдался. Правительство бежало с поля боя. Префекта перевели в далекие края. Заграждение перед Гротом разрушено. Отсутствие препон со стороны властей лишает епископа права откладывать расследование этих крайне щекотливых вопросов. Монсеньор, главный противник Дамы, вынужден признать себя побежденным. То есть окончательно разбитым он себя все же не признает и отходит на последнюю линию обороны. Еще вчера, собрав у себя членов комиссии по расследованию лурдских событий, в краткой вступительной речи он подчеркнул, что истинно чудотворное исцеление характеризуется не одной лишь неспособностью медицины дать ему естественнонаучное объяснение. Чтобы сделать его сверхъестественность неопровержимой, в нем должен наличествовать и элемент чуда, то есть та захватывающая дух мгновенность свершения, которая присутствует в евангельском «Встань и ходи!». В связи с этим он, епископ, оставляет за собой право окончательного решения во всех тех случаях, которые комиссия сочтет возможным признать чудом. Были изучены источники, предписывающие

ритуал созыва таких комиссий. Их работе покровительствует Святой Дух, без содействия которого усилия комиссии останутся бесплодны. Поэтому началу работы комиссии должен предшествовать церковный праздник, который состоится, само собой, в церкви Святого Петра в Лурде, чтобы потом, в далеком-далеком будущем, если расследование подтвердит сверхъестественную природу явлений, завершиться намного более торжественным празднеством в другой, куда более знаменитой церкви — в соборе Святого Петра в Риме. Нынче теологи епископской комиссии собираются вокруг скромного алтаря городской церкви Лурда. Для ученых мирян — медиков, химиков, геологов — поставлены почетные скамьи у самых ступеней алтаря. За ними сидят в первых рядах главные свидетели явлений. Мадам Милле и ее приятельницы блистают в качестве паладинов небесной славы. Антуанетта Пере сшила им по этому случаю длинные платья покроя тоги благородных темных тонов. Она тоже сидит в первом ряду, а рядом с ней старый слуга Филипп. Все соученицы Бернадетты тоже присутствуют, впереди всех — Жанна Абади, первая бросившая камень в ясновидицу, но сегодня претендующая на роль старейшей ее сторонницы. Неверские

монахини также явились сюда, за исключением Марии Терезы Возу, которая несколько месяцев назад вернулась под монастырский кров. Плотными рядами пришли и соседи: дядюшка и тетушка Сажу, Луи Бурьет, сияющая мадам Бугугорт с выздоровевшим ребенком на руках, Пигюно, Уру, Раваль, Гозо и в самом центре — мудрая Бернарда Кастеро и услужливая, тихая Люсиль. Мать и сын Николо сидят где-то в самых задних рядах.

Каноник Ногаро из Тарба запевает *Veni Creator Spiritus*. По церкви пробегает удивленный шепот: где же Бернадетта? Где все семейство Субиру? Наконец их находят: в самом конце безликой толпы стоит главная виновница всех событий, зажатая между родителями и Марией. Несмотря на ее сопротивление, Бернадетту выталкивают вперед. Мадам Милле распахивает ей свои объятия. Какие-то люди уступают ей место. Наконец Бернадетта усаживается рядом со своей первой благодетельницей, проливающей слезы радости. Сама Бернадетта настроена отнюдь не радостно, она напугана. Раньше ее мучили допросами Жакоме, Рив и Дютур. Теперь за это примутся священники и доктора. Она боится. Зачем все это затеяли? И страх ее вполне обоснован.

После мессы епископская комиссия собирается на хорах на первое пленарное заседание. Приблизительно двадцать человек, среди них лица духовного звания и миряне, сидят полукругом за большим столом. Для свидетелей поставлены скамьи у стены. Первой приглашают к столу Бернадетту — скорее обвиняемую, чем свидетельницу. И в который раз заставляют повторить свой рассказ. Она говорит не монотонно и безразлично, как не раз делала прежде, но и не так воодушевленно и выразительно, как перед монсеньором Тибо. Речь ее лаконична и суха, но странно убедительна. Так говорит на суде человек, для которого дело идет о жизни и смерти. Ее то и дело прерывают, чтобы другие свидетели могли подтвердить или внести поправки в ее показания: это Мария, Жанна Абади и Антуанетта Пере, мать Бернадетты и тетя Бернарда, мадам Николо и ее сын Антуан. Однако оказывается, что этим взрослым свидетелям часто изменяет память, в то время как Бернадетта не забыла ни малейшей подробности тех безвозвратно ушедших дней. Можно подумать, что она живет как бы вне времени, живет тем великим событием. Каждый взгляд, кивок, каждый поворот головы, каждый жест Дамы глубоко врезался в ее память.

Более того, все эти движения Дамы вновь и вновь возникают перед ее глазами, и не только они, но и все, что произошло до и после ее состояний экстаза. Неотразимое превосходство этой немеркнущей памяти — первое сильное впечатление, какое выносит комиссия.

Ответы, которые дает Бернадетта, по-прежнему поразительны. К примеру, каноник Ногаро спрашивает девочку про тайну, которую ей поверила Дама.

— Но ведь она поверила ее только мне одной, — нетерпеливо возражает Бернадетта. — Если я открою ее вам, месье, это уже не будет тайной.

Другой приводит обычное возражение против требования Дамы есть траву:

— Не могу понять, как могла Дама потребовать, чтобы ты ела всякую гадость. Как-то не вяжется с ее образом, нарисованным тобой, чтобы она заставила тебя делать то, что делают только животные…

— Ведь едите же вы салат, а разве вы животное? — ровным голосом возражает Бернадетта. Мужи за столом переглядываются, не зная, следует ли считать этот ответ дерзостью. Спокойные глаза девочки опровергают это подозрение. Антуанетта Пере, сидящая на скамье для свидетелей,

прыскает в кулак.

Среди представителей светской власти в Лурде, боровшихся против Дамы, только один Лакаде не пал духом. Этот гурман с гибким умом обладает способностью находить удобоваримый выход из самого безнадежного тупика. А собственно, кто говорит о безнадежном тупике? Пускай чудеса, свершившиеся в Массабьеле, опровергают общепринятую философию. В задачи делового человека вовсе не входит проливать кровь, отстаивая всеобщность законов природы. Время на дворе смутное, весь мир — сплошной мыльный пузырь, Лурд — городишко на пороге взлета, а Лакаде — не дурак. С того летнего вечера, когда он тайком испробовал силу источника на собственной головной боли, у него открылись глаза. Каждому человеку мера и направление возможного приобщения к духовности даны от рождения. Вот Лакаде и приобщился к ней — по-своему.

Мэр вдруг осознал, что чудотворный источник ничем не хуже минерального, а в некотором смысле даже лучше — благодаря своей уникальности и выгодности. На его личный вкус, блестящий курорт в сто раз приятнее, чем самое священное место паломничества. Но что поде-

лаешь? Высокообразованный директор лицея Кларан был прав, когда в кафе как-то раз поведал ему, что Лурд в стародавние языческие времена уже был священным местом, а такие места никогда не теряют полностью своего мистического характера. Лакаде этим удовлетворился. Хотя, конечно, от его мечты о казино и курортном парке с музыкальным павильоном, кафе на открытом воздухе и площадками для крокета придется отказаться. Суета летнего отдыха богачей и баловней судьбы не очень-то вяжется с таким святым местом, как чудотворный источник в Гроте. Не будет здесь ни концертов, ни фейерверков, ни карнавалов цветов, ни балов-маскарадов, ни красивых женщин в роскошных туалетах, ни играющих в мяч детей в кружевных панталончиках. И очень жаль, думает жизнелюб Лакаде, предчувствуя, что земным многоцветьем жизни придется пожертвовать ради толп паломников в черном. Да и лечебная вода превратилась в священную, а значит, придется распрощаться с планом создания акционерного курортного общества и идеей процветающей фирмы по рассылке целительной воды. Этикетки на бутылках, изображающие Пресвятую Деву, возвращающую зрение слепому ребенку, — слишком большая

безвкусица, и церковники обязательно поднимут шум. Многое отпадает, но многое и добавляется, если взяться за дело с умом и не дать вырвать из рук бразды правления. К счастью, еще не поздно. Еще есть шанс опередить церковь, ведь она пока не решилась сказать «да» и стать первооткрывателем.

Докладывая госпоже о визите мэра, старик Филипп не может скрыть удивления. Лакаде излагает благочестивой даме благочестивый план. До первого посещения Грота комиссией, которое состоится завтра, надо бы скоренько превратить Грот в цветущий сад, чтобы наглядно убедить недоверчивых сторонников епископа в том, что местное население верит в подлинность чуда. Правда, сегодня, после Дня Поминовения Усопших, в садоводстве почтмейстера Казенава найдешь разве что астры. Но этими пышными кладбищенскими цветами разнообразных оттенков можно заполнить весь Грот. Комиссия направится к Гроту в одиннадцать часов. Поэтому пусть процессия из наиболее достойных горожан во главе с членами совета общины часом раньше проследует к Гроту, чтобы своим участием или неучастием в ней засвидетельствовать, кто относится к приверженцам Дамы, а кто нет. На роль

организатора этого шествия самим Провидением явно предназначена мадам Милле. И вдова, в полном восторге от перемены, совершившейся в душе прежнего противника, тотчас берет дело в свои опытные руки.

И действительно: на следующее утро, ровно в девять часов, изрядная часть наиболее видных горожан Лурда собирается у церкви Марии на улице Бур. Мужчины — во фраках, дамы прикрыли волосы вуалями скромных расцветок. Погода стоит весьма благоприятная. Адольф Лакаде со своими секретарями выходит из портала в сопровождении членов совета общины. Его лиловые щеки гладко выбриты, седые усы топорщатся как деревянные. Поперек живота трехцветная перевязь. В левой руке — цилиндр, в правой — горящая свеча.

— Может, споем? — бросает он почтмейстеру Казенаву, прежде чем дать знак трогаться. — Как насчет *Nous voulons Dieu*?

Процессия с пением тянется мимо кафе «Французское». Дух современности в образе владельца кафе Дюрана озадаченно глядит ей вслед.

Глава тридцать седьмая
Последнее искушение

Декан жалобным голосом сказал епископу: «Бернадетта еще так молода!» На что епископ возразил: «Она станет старше». А епископ как раз и задался целью, чтобы Бернадетта стала старше — раньше, чем будет принято окончательное решение относительно Дамы и ее самой. Между чудом и признанием чуда монсеньор намерен проложить самый плотный изоляционный слой, какой есть в природе: время. Он точно следует мудрым заветам Бенедикта XIV, изложенным в пятьдесят второй главе третьего тома его великого труда «О причислении к лику святых и канонизации». Время — самая крепкая кислота, все равно что царская водка, разъедающая все, кроме самого чистого и тяжелого золота. Любой более легкий металл, пусть даже сам по себе весьма ценный, разлагается и в конце концов полностью растворяется. Большая часть того, что волнует людей сегодня, назавтра уже улетучивается как сон. Даже память о самых героических и самых мрачных днях целых народов блекнет при

петушином крике новой сенсации. Событиям в Лурде газеты уделили слишком много внимания. И епископ предполагает, что теперь, почти год спустя, волнение уляжется. Вероятно, в конце следующего года уже никто и не вспомнит о Массабьеле, и история с явлениями и исцелениями останется милым воспоминанием без сколько-нибудь серьезных последствий. Поэтому монсеньор Бертран Север отвел на работу своей комиссии полных четыре года. До истечения этого срока собранный материал должен быть рассортирован, изучен и зарегистрирован, но окончательных выводов делать не следует. В длительном интервале заключается больше познавательной силы, чем в самом могучем и проницательном человеческом разуме. Например, со временем станет ясно, продолжатся ли случаи чудесного исцеления или прекратятся. Станет ясно, удержится ли брожение в умах народа, распространившееся из Лурда по всей Франции, или же оно было лишь мимолетным всплеском недовольства простого люда, уставшего от нигилизма верхних слоев. И наконец, длительным сроком епископ подвергает строжайшей проверке сам принцип сверхъестественности.

Что касается исцелений, то они, видимо, и

впрямь не кончаются, а, наоборот, множатся из месяца в месяц. Врачи, входящие в комиссию, уже по профессиональным причинам не склонные симпатизировать «небесному целительству», тщательнейшим образом изучают каждый такой случай. Результаты передаются комиссии и предъявляются епископу. Тот делит все случаи исцеления на три группы: в первую входят крайне странные и необычайные. Тут медицина не в состоянии понять и объяснить органический процесс выздоровления. Но то, что наука не может объяснить, не обязательно является чудом, считает епископ. За первой группой следуют те случаи, необъяснимость которых настолько очевидна, что все члены комиссии единодушно заявляют о своей готовности признать их чудом. К таким случаям относятся, например, уменьшение, а затем и полное исчезновение опухолей величиной с голову ребенка после длительного пользования водой источника, а также излечение паралича, происходящее в течение нескольких дней. Епископ не отрицает высокую значимость этих феноменов, однако не хочет делать окончательный вывод, основываясь лишь на них. Целебные свойства источника сами по себе не являются решающим доказательством.

Когда-нибудь в будущем наука сможет объяснить их естественными причинами, обнаружив в его воде доныне неизвестный ингредиент. Даже немыслимая многопрофильность источника, оказывающего благодатное действие на любой орган без исключения, не кажется епископу достаточным основанием. Для этого будущее тоже, вероятно, сумеет найти скрытую причину. И лишь элемент мгновенности, по мнению монсеньора, останется необъяснимым на все времена. Когда незрячий за секунду прозревает, когда атрофированная мышца внезапно напрягается, тут уж оправданный человеческий скептицизм оказывается припертым к стенке и вынужден склонить голову перед фактом.

Например, случай с Марией, старшей дочерью семейства Моро в городе Тарта. Эту шестнадцатилетнюю девочку, посещающую школу в Бордо, внезапно поражает страшная глазная болезнь. Доктор Бермон, знаменитый офтальмолог из университета в Бордо, ставит диагноз: отслоение сетчатки на обоих глазах, неизбежная слепота. Этот диагноз оправдывается очень скоро: уже спустя считаные недели кровавая завеса перед глазами хорошенькой девочки смыкается и с каждым утром становится все темнее и темнее.

Как всегда в таких трагических случаях, семья борется за здоровье дочери и не хочет примириться с ее ужасной судьбой. Ослепшую девочку подвергают сотням мучительных способов лечения. Поскольку ничего не помогает, решают отправиться в Париж на консультацию к тамошним светилам. Последняя попытка. За день до отъезда главе семейства случайно попадается на глаза газета, в которой сообщается о мгновенном исцелении некой мадам Ризо благодаря лурдскому источнику. Тут папаша Моро вспоминает об обстоятельствах рождения бедняжки-дочери. Роды были ужасные. Врач и акушерка считали, что младенец погиб. В тот страшный час Моро дал обет: если девочка выживет, он назовет ее Марией в честь Пресвятой Девы, хотя имя Мария плохо вяжется с фамилией Моро и теряет благозвучие. Семья тут же меняет намерения и едет в Лурд. Грот лишь недавно открыт для посетителей. Ослепшей Марии на несколько минут прикладывают к глазам смоченный в воде источника носовой платок. Когда платок отнимают, девушка издает такой пронзительный крик, что он навсегда остается в памяти всех, кто его слышит. Пурпурная завеса, закрывающая свет, разорвана. Мария видит. К ее лицу подносят

страницу печатного текста. Мария может его прочесть. Несколько членов епископской комиссии отправляются в Бордо к доктору Бермону. Доктора просят показать последние записи в истории болезни девушки, где говорится о безнадежном состоянии пациентки. Все это так неприятно профессору, что он долго противится, прежде чем дает посмотреть свою запись.

Другой случай не менее ошеломляющ. В нем тоже речь идет о молодом человеке, жителе Бордо, Жюле, двенадцатилетнем сыне таможенника Роже Лакассаня. Господин Лакассань — человек довольно буйного нрава и, в противоположность господину Моро, не отличается ни малейшей приверженностью к религии. Жюль — жертва очень редкой и странной болезни, которая в народе именуется пляской святого Витта. При этой болезни не так опасны болезненные искривления позвоночника, сколько распухание стенок пищевода, которое постепенно делает невозможным принятие твердой пищи. Домашний врач Ногэс и консультант профессор Роке применяют все внутренние и наружные лекарства, как общепризнанные, так и никому не известные. Они проявляют известную полипрагмазию всех врачей, хватающихся за любые средства, чтобы

только не признаться в своем бессилии. Пищевод мальчика закупоривается все больше и больше. Под конец открытым остается лишь узенький проход диаметром с иголку, через который с большим трудом удается протолкнуть несколько капель молока или супа. Жюль Лакассань тает день ото дня, ему грозит неминуемая голодная смерть. Мать везет его на морские купания. Надеется, что морская вода поможет. Она не помогает. На пляже, куда его ежедневно выносят, Жюль находит пожелтевший кусок газеты. Слабыми руками он берет газету и читает сообщение об излечении Марии Моро. Мальчик прячет этот клочок, не решаясь сказать о своем желании. Он слишком хорошо знает характер и образ мыслей отца и боится, что тот его высмеет. Лишь много дней спустя, когда его, безнадежно больного, привезли обратно в Бордо, он, запинаясь, рассказал матери о Лурде и Марии Моро. Мадам Лакассань умоляет мужа поехать в Лурд в тот же день. Тот сразу соглашается, ибо перед лицом смерти у неверия ноги слабее, чем у веры. Роже Лакассань на руках несет сына к Гроту. Бывший офицер, он не любит долгих разговоров. И считает: раз здесь лечат чудесами, значит сейчас и вылечат. Поэтому он захватил с собой пакетик свежих

бисквитов. После того как Жюль с превеликим трудом выпил первый стакан, отец протянул ему бисквит и строго скомандовал: «Ну вот, а теперь ешь!» И тут происходит нечто из ряда вон выходящее: Жюль ест. Откусывает кусок за куском, жует и глотает без видимых усилий, как любой здоровый человек. Долговязый Лакассань с седым ежиком на голове поворачивается кругом, шатается на месте, бьет себя кулаком в грудь как безумный и хрипит: «Жюль ест… Жюль ест…» Люди, собравшиеся у Грота, разражаются рыданиями. А Жюль продолжает молчаливо и задумчиво жевать бисквиты, и многим уже мерещится, что на его щеках появился легкий румянец выздоравливающего.

Мария Моро и Жюль Лакассань — лишь два случая из пятнадцати, в которых епископ Лоранс признает присутствие сверхъестественных сил, то есть относит их к третьей группе. И все же решающим остается последнее заключение врачей перед исцелением. Больше всего доверия внушают епископу врачи, исповедующие другую веру или же признающиеся в полном безверии.

В это первое время после открытия Грота мгновенно исцеляются пятнадцать человек. Сотни выздоравливают непонятным образом, но за

более длительный срок. Тысячи и десятки тысяч приезжают в Лурд, чтобы вновь обрести здоровье и жизнь. Источник ведет себя так же своенравно, как и Дама, которая в дни своих появлений не делала того, чего от нее ждали. Его выбор не поддается пониманию.

Среди всех этих событий и скоплений людей Бернадетта живет так, как будто все это ее не касается. А ее это и вправду не касается. Появление источника не ее заслуга. Его дала людям Дама. И когда люди воздают ей, Бернадетте Субиру, хвалу за чудотворный и благодатный источник, она никак не может взять в толк: за что? В реальность Дамы с течением времени она верит все больше. И терпеть не может, когда ее принимают за ту, другую. Когда ее благодарят, ей это кажется сущей нелепостью, как если бы стали благодарить почтальона, принесшего денежный перевод, а не отправителя. Но к ней беспрерывно пристают — благодарят, восхваляют и прославляют. Люди не дают ей проходу, бросаются перед ней на колени, прикасаются к ее платью, особенно в те дни, когда случаются необычайные исцеления. Если ее слишком донимают, от злости она теряет выдержку. Одна из восторженных поклонниц, преследующих ее на улицах, все время воскли-

цает: «О Бернадетта! Ты святая! Ты избранница Неба!» Наконец девочка с горящими от гнева глазами оборачивается и шипит:

— Господи боже, до чего же вы глупы!

Бернадетта живет как бы вне времени. Вернее, она живет в своем собственном времени. И время это — время тоскливого ожидания, хотя она ничего не знает о разговоре декана с епископом. Оно похоже на то временное состояние души — смесь отчужденности и отвращения, — какое бывало у нее после экстаза, но теперь оно стало постоянным. Ибо Бернадетта совершенно уверена, что Дама больше не явится ей в этой жизни. Время тянется медленно и быстро уходит. Все люди куда-то движутся, лишь у Бернадетты такое чувство, будто время течет мимо нее, а сама она стоит на одном месте. Она становится старше, но этого не замечает. Под воздействием встречи с Прекрасной Дамой внешность ее изменилась. Болезненная девочка к шестнадцати годам становится красавицей. В ее лице не осталось никакого сходства с заурядными чертами Франсуа и Луизы Субиру. Какая-то несвойственная ей ранее утонченность, изначально не заложенная природой, отражается на ее лице. Прежняя детская округлость сменилась бледным овалом, на котором

из-под плавной выпуклости лба по-прежнему безразлично взирают на мир огромные глаза, становящиеся все больше и больше. С благородством черт не вяжется крестьянское платье, к которому привыкла Бернадетта. Она не хочет одеваться иначе, чем ее мать и сестра.

Живет она то дома, с семьей, то в больнице, где для нее всегда держат наготове комнатку. На то есть две причины: во-первых, епископ приказал держать ее под наблюдением, а во-вторых, навязчивость любопытных иногда становится совсем уж невыносимой. От некоторых из них, в особенности тех, кто может сослаться на высокое положение или звонкое имя, и больница не спасает.

— Как хорошо на душе, когда заболеешь и лежишь в постели! — вздыхает Бернадетта.

Тут является какой-то докучливый аббат из Тулузы с группой дам, перед которыми он хочет поважничать. Бернадетта отнюдь не испытывает особого почтения к лицам духовного звания. Немало они ее помучили. Еще совсем недавно комиссия нещадно терзала ее. В ее характере нет ни робости, ни лицемерия. Если она что-то говорит, то каждое слово идет от сердца. Ее прямодушие граничит с дерзостью.

— Мне хотелось бы убедиться, что тебе можно верить, Бернадетта, — говорит аббат из Тулузы.

— А мне не важно, верите вы мне или нет, святой отец, — отвечает она с обескураживающей искренностью.

Аббат повышает голос:

— Если ты лжешь, то по твоей вине мы все напрасно проделали столь дальний путь…

Бернадетта глядит на него с искренним удивлением и отвечает:

— Но я охотно отказалась бы от такой чести, святой отец.

В другой раз какой-то учитель из окрестных селений хочет поддеть ее:

— Даме следовало бы научить тебя правильно говорить по-французски.

— В этом и состоит разница между нею и вами, — парирует Бернадетта, немного подумав. — Она старалась говорить на местном диалекте — только для того, чтобы мне легче было ее понять…

Семейство Субиру по-прежнему живет в кашо. Но дядюшка Сажу уступил им теперь еще одну комнату. На четвертый год работы комиссии Мария вышла замуж за крестьянина из окрестностей городка Сен-Пе в провинции Бигорр. Такова

жизнь. Мария всегда презрительно отзывалась о склонности Бернадетты к сельскому образу жизни. Старшая сестра на свадьбе веселится вместе со всеми, но с видом родственницы, ненадолго приехавшей издалека и собирающейся вновь туда вернуться. Но когда сестры в день свадьбы на несколько минут остаются одни, Мария вдруг разражается рыданиями и с жаром прижимает к себе Бернадетту.

— Ах, почему я должна с тобой расстаться! — стонет она сквозь слезы. — Ведь тогда я была с тобою рядом, а теперь я тебя теряю, сестричка…

Жанна Абади тоже уезжает из Лурда. Она нашла себе место горничной в Бордо. Катрин Манго, некогда юная нимфа месье Лафита, стала теперь уже более зрелой нимфой в Тарбе. Многие соученицы Бернадетты и первые свидетельницы «явлений» рассеиваются по свету. Когда умирает старый слуга Филипп, Бернадетта высказывает желание пойти в служанки к мадам Милле. Декан Перамаль, с которым она поделилась своим намерением, возмущен до глубины души:

— Упаси Господь, эта стезя совсем не для тебя, Бернадетта!

— Но ведь я уже взрослая и все еще не помогаю родителям, а с этой работой я наверняка справ-

люсь…

— Неужели ты думаешь, что Дама избрала тебя на роль служанки? — качает головой Перамаль.

Бернадетта бросает на декана долгий взгляд из-под ресниц, скрывающий непонятную улыбку.

— Я была бы рада, если бы вы когда-нибудь захотели взять меня в служанки…

— Ты уже договорилась с мадам Милле, дитя мое? — спрашивает декан.

Бернадетта грустно глядит в одну точку.

— Да она меня и не возьмет, — говорит она. — Я слишком неуклюжа…

Еще до истечения четырехлетнего срока Перамаля вызывают в Тарб. Между ним и монсеньором происходит длинный разговор, на этот раз вновь в неуютной комнате с голыми стенами, служащей одновременно кабинетом и спальней. Дело происходит незадолго до Рождества. Возвратившись в Лурд, декан тут же посылает за Бернадеттой. Снег толстым слоем лежит на ветвях акаций и платанов в его саду. При порывах ветра ледяной холод пронизывает до костей. Это ледяное дыхание Пиренеев, грозное послание сверкающих белизной вершин Пик-дю-Миди и далекого демона Виньмаля. В кашо собачий холод. А в кабинете Перамаля приятное тепло.

Деловито потрескивают в камине лиственничные поленья. Промерзшая до костей Бернадетта входит в комнату. На ней и зимой лишь белый капюле, хоть и не тот же, что несколько лет назад.

— Ты стала взрослая, Бернадетта, — встречает ее декан. — Теперь тебе уже не скажешь: малышка. Но ты разрешишь мне, старому злому кюре, по-прежнему обращаться к тебе на «ты»…

Он пододвигает для нее кресло поближе к камину и наливает две рюмки можжевеловой водки. Потом садится напротив.

— Выслушай меня, дорогая, — начинает он. — Ты, вероятно, уже знаешь, что работа епископской комиссии почти завершена. После Нового года все будет передано в руки его преосвященства. Кстати, ты имеешь какое-то представление о деятельности этой комиссии, Бернадетта?

— О да, месье декан, — отвечает она, как на уроке. — Эти господа обследуют и расспрашивают всех исцеленных.

— Верно, они это делают. И ты полагаешь, что этим задачи комиссии исчерпываются?

— Ей приходится трудно, — уклоняется она от прямого ответа. — Появляются все новые и новые исцелившиеся…

Перамаль деловито ковыряется в трубке.

— А ты, дитя мое, как ты ко всему этому относишься? — спрашивает он. — Разве ты думаешь, что твой случай не относится к работе комиссии?

— Но я же ответила на все их вопросы, — испуганно возражает девочка. — И надеюсь больше не иметь с ними дела.

— О Бернадетта, — вздыхает Перамаль, — не делай вид, будто ты ничего не понимаешь! Твоя головка очень логично мыслит, лучше, чем у большинства женщин. Дама избрала тебя одну из всех детей. Дама повелела тебе открыть выход источнику. Источник оказался целительным, чудотворным и день за днем исцеляет людей. Дама говорила с тобой. Она доверила тебе некие тайны. Даже назвала тебе свое имя. Ты повторила ее слова перед комиссией и поклялась всеми святыми в правдивости своих показаний. Ты главное лицо событий, небывалых в наш век. И ты думаешь, все это в обычном порядке вещей и ты имеешь право сказать: я свое сделала, и теперь дайте мне жить спокойно.

— Но я в самом деле свое сделала! — восклицает Бернадетта, у которой кровь отхлынула от лица.

Декан поднимает указательный палец:

— Бернадетта, ты — как пуля, вылетевшая из

ствола. Никто уже не сможет изменить траекторию твоего полета. А теперь слушай внимательно. Комиссия составила о тебе — да-да, о тебе, дитя мое, — очень пространный и очень важный отчет. В этом отчете допускается высокая степень вероятности, что ты, возможно, являешься избранницей небесных сил и что исключительно твоим рукам обязан своим происхождением источник, обладающий многократно доказанной чудотворной целительной силой. Ты все поняла? Этот отчет, скрепленный подписью нашего епископа, будет отправлен в Рим, святейшему папе и его кардиналам. И крупнейшие и мудрейшие из священнослужителей будут держать тебя в поле зрения годами и десятилетиями, чтобы потом… — Тут пятидесятилетний кюре запинается, и его изборожденное морщинами лицо заливается краской до корней волос. — У меня язык не поворачивается, дитя мое, говорить тебе такие слова, — продолжает он хриплым голосом. — Никогда бы не поверил, что Господь предназначил мне эту миссию. Однако и впрямь не исключено, что эта Бернадетта Субиру, что сейчас сидит тут передо мной, дочь Франсуа Субиру, девочка, которую я некогда хотел гнать метлой из храма, — Иисус и Мария, язык не поворачивается! — не

исключено, что эта невежественная девчушка, хуже всех отвечавшая урок по катехизису, как бы это сказать… что ты через много-много лет после нашей смерти не будешь забыта, как мы все, все остальные, а…

Бернадетта поняла. Бледная как полотно она вскакивает с кресла.

— Но это ужасно! — вскрикивает она. — Этого не может быть… Я не хочу…

— Прекрасно понимаю тебя, бедняжка, — кивает декан, — это не какая-нибудь мелочь.

Бернадетта валится в кресло и, задыхаясь от душащих ее слез, повторяет:

— Не хочу… Нет, я не хочу…

— Знаю, знаю, это трудно, — говорит кюре, — но что поделаешь?

И он начинает ходить из угла в угол по комнате, заложив за спину руки. Тишину прерывают лишь треск поленьев в камине да детские всхлипывания девочки. Наконец Перамаль останавливается перед ней.

— Разве сестры в больнице и в школе не добры к тебе? — спрашивает он.

— О да, они очень, очень добры, месье! — лепечет она.

— И разве тебе так трудно представить себе,

что ты когда-нибудь станешь одной из них?

— Нет-нет, Боже мой, это слишком высоко для меня! — испуганно восклицает Бернадетта, вновь заливаясь слезами. — Почему вы не разрешаете мне пойти в служанки к мадам Милле?

— Потому что знаю: мирская жизнь есть мирская жизнь… Но никого нельзя принудить к трем священным обетам. Эти обеты дают только в том случае, если душа искренне и страстно требует посвятить себя служению Господу. Это строжайшее правило. Третий обет — обет повиновения, — наверное, дастся тебе с наибольшим трудом, душа моя. Даме ты была послушна, это так. Но в остальном ты особа своенравная и свободолюбивая. Господин епископ прав, когда задает вопрос: можем ли мы допустить, чтобы Бернадетта Субиру, к которой снизошла с Небес Пресвятая Дева, смешалась с простыми смертными? Святейший Папа и его кардиналы держат совет относительно ее явлений и чудес, а она желает жить, как живут все остальные женщины? Нет-нет, говорит господин епископ. Бернадетта — это драгоценный цветок, который мы должны взять под свою опеку… Разве ты не можешь это понять, дитя мое?

Бернадетта сидит с поникшей головой и не

отвечает.

— Давным-давно я как-то предупреждал тебя, — напоминает ей Перамаль, — «Ты играешь с огнем, о Бернадетта!» Но ты лично не виновата в том, что играла с огнем. Твоя Дама — это Огонь Небесный. Это она возвысила тебя над людьми. И вполне возможно, что твое имя переживет тебя самое. Разве это ни к чему не обязывает? Разве ты хочешь удрать от судьбы, как удирают с уроков, и пойти в служанки к престарелой вдове? Небо избрало тебя, и тебе не остается ничего другого, как избрать Небо, всей душой. Разве я не прав? Скажи сама…

— О да, вы правы! — едва слышно выдыхает Бернадетта после долгого молчания.

Перамаль тут же меняет тон разговора на более легкий:

— В ближайшие дни здесь у нас появится Неверский епископ Форкад. Он человек весьма и весьма обходительный, не такой ершистый, как наш епископ. Он будет тебя расспрашивать о том о сем, и ты ответишь ему совершенно искренне и откровенно. В его ведении находится община Неверских сестер, которых ты с детства хорошо знаешь. Устав этого ордена благороден и высокодуховен, а монахини — не тепличные растения,

но живые женщины, обеими ногами стоящие на земле. Ну не думаешь же ты, что лучше прислуживать чужим людям или стирать их белье…

Бернадетта, уже успокоившаяся, не отрывает внимательных глаз от Перамаля, который опять принялся расхаживать по комнате.

— И еще одно, — вдруг говорит он. — Ведь ты скорее откусишь язык, чем попросишь меня о чем-либо. Но я слишком хорошо знаю, как сильно у тебя болит душа за твоих родных. Родители тянут из себя жилы, но им постоянно не везет, да и не умеют они вести дела. Так вот, Бернадетта: вот тебе моя рука! Обещаю, что еще до твоего отъезда из Лурда твои старики получат мельницу на Верхнем Лапака, и я сам буду следить, чтобы на этот раз дела у них опять не покатились под гору…

Перамаль протягивает ей свою широкую ладонь, в которой исчезает ее рука. И вдруг она склоняется над рукой декана и целует ее.

— Ну вот и все, — ворчит Перамаль. Но когда она хочет попрощаться, он, нахмурившись, задерживает ее: — Нет, еще не все, Бернадетта.

Он говорит это тихим, срывающимся голосом. Раньше, когда он покраснел до корней волос, ему было трудно сказать эти слова. Сейчас еще

труднее. И он начинает возиться с керосиновой лампой. Наконец лампа горит.

— Пойми меня правильно, Бернадетта, — откашливается он. — Я тебе верю. Положа руку на сердце, верю. Ты меня убедила. Лишь в одном-единственном пункте до сих пор не могу отделаться от сомнений. Это слова: L'immaculada Councepciou. Непорочное Зачатие. Все остальное, что сказала твоя Дама, неповторимо, как сама жизнь, это нельзя высосать из пальца. Но эти два слова звучат так нарочито и так шаблонно, что волей-неволей заставляют заподозрить, будто их сказал тебе какой-то засушенный теолог, а не твоя возлюбленная Дама при встрече с тобой. Соберись с духом, душа моя, покопайся в памяти и прислушайся к своей совести. Не долетели ли эти слова до твоего слуха откуда-то со стороны, а ты, находясь в экстазе, просто восприняла их заодно, как слова Дамы? Это ужасно важный вопрос, Бернадетта. Мне, лурдскому кюре и члену епископской комиссии, не подобало бы обсуждать с тобой этот вопрос. Но если бы ты вспомнила, кто первый сказал тебе эти слова, если бы ты сочла возможным признать, что была утомлена, невнимательна или рассеянна и что тебе лишь потом показалось, что эти слова сказала сама

Дама, то, вероятно, многое бы изменилось. Тебе пришлось бы отказаться перед комиссией от этого показания. Сущность самого явления была бы уже не так точно определена, как сейчас, и отчет пришлось бы писать заново, понимаешь? О, ты достаточно умна, чтобы понять. Воистину не дело кюре так с тобой говорить. Но если ты откажешься от этого — единственного — пункта своих показаний, вполне возможно, что где-то — мир велик! — и найдется для тебя норка, где ты сможешь укрыться и жить обычной земной жизнью… Хочешь, я дам тебе время подумать?

Потрескивают дрова в камине. Попыхивает огонь в лампе. И шумно дышат двое сидящих в комнате. Из-под двери тянет холодом. Бернадетта неотрывно смотрит на лампу, словно больше всего на свете ее интересует слишком длинный язычок пламени, начинающий лизать стекло.

— Мне не нужно ничего обдумывать, — наконец говорит она, — потому что я не солгала вам, господин декан…

Перамаль немного убирает пламя:

— Кто говорит, что ты солгала?

Но Бернадетта уже улыбается:

— Да и не хочу я укрыться в норке…

Глава тридцать восьмая
Белая роза

Наконец недоверие епископа Тарбского сломлено. Он склоняет голову перед пятью противоречиями, явленными источником в гроте Массабьель, которые, согласно признанию естественнонаучного крыла его комиссии, не поддаются объяснению человеческим разумом. Эти противоречия таковы.

Первое противоречие — между невзрачностью лекарства и величиной эффекта. Второе — между применением одного и того же лекарства и разнообразием излечиваемых им болезней. Третье — между краткостью применения лекарства и длительностью пользования предписанными медициной средствами. Четвертое — между мгновенным воздействием одного средства и зачастую многолетним безуспешным пользованием другими. И наконец, пятое — между хроническим характером исследуемых болезней и внезапностью их исчезновения. Эти противоречия могут отрицать только люди, которые сознательно и намеренно отворачиваются от

документально подтвержденных фактов и считают как врачей, так и пациентов бесчестными пропагандистами суеверий. Однако для Бертрана Севера Лоранса эти пять противоречий дают надежную основу для Пастырского послания, в котором наконец-то признается сверхъестественная природа таинственных явлений и чудесных исцелений в Лурде. Тем не менее епископ — как подчеркивается в этом блистающем остротой ума Пастырском послании — отдает свое суждение «на суд Наместника Христа на земле, коему вверено управление делами Святой Церкви».

Несмотря на столь явное завершение дела, Перамалю удается добиться некоторой отсрочки для Бернадетты. Он отдает распоряжение о медицинском обследовании теперь уже девятнадцатилетней девушки, в результате которого у нее обнаруживается не только хроническая астма, но и общая серьезная ослабленность организма. А потом состоится новая сенсация, отвлекающая внимание общественности от Бернадетты. Монсеньор присовокупил к Пастырскому посланию обращение к прихожанам своей епархии. В нем он призывал население помочь выполнить желание Дамы: увидеть построенный в ее честь храм. Поскольку такое строительство

ввиду трудностей, связанных с причудливым рельефом Трущобной горы, потребует больших финансовых затрат, епископ не в состоянии его осуществить без поддержки верующих.

Что за этим следует, тоже похоже на чудо — в том смысле, что находится в явном противоречии с естественным стремлением людей не бросать деньги на ветер. За считаные недели со всего мира стекаются в Тарб два миллиона франков. А поскольку они складываются в основном из жалких трудовых грошей бедного люда, то следует расшифровать эту огромную сумму: она составляет сорок миллионов су. Двадцать пять таких монет получил Франсуа Субиру от Казенава в тот знаменательный день, одиннадцатого февраля, за то что сжег мусор перед Гротом, и счел себя облагодетельствованным. Монсеньор знает пределы своих возможностей, поэтому поручает возглавить строительство храма лурдскому декану. Для Перамаля начинается самый значительный период его жизни. Он ведет переговоры с Лакаде о цене на Трущобную гору и прилегающие к ней участки земли, принадлежащие городской общине. Мэр слишком благочестив, чтобы предъявить неразумные требования. Его живому воображению теперь незачем преда-

ваться мечтам о будущем. Шесть современных отелей и постоялых дворов уже выросли на благословенной земле Лурда, и он участвует в их возникновении, равно как и в прибылях. И величайшее дело его жизни — железная дорога от Тарба до Лурда — уже строится. Кто знает свою цель и смыслит в навигации, не может сесть на мель в реке жизни. Успех для Лакаде — не чудо, даже если этот успех порожден чудом.

В доме декана толпятся архитекторы. И Перамаль не нянчится с ними. Один из архитекторов приносит на его суд модель церковки, которая торчит на горе, как сахарная фигурка на торте. Декан просто разламывает ее без долгих слов. Художественный вкус людей связан с их собственным телосложением. У кого грудь колесом и легкие как мехи, тот любит громкое пение. А такой могучий богатырь, как Перамаль, предпочитает величественную архитектуру. Со склонов скалы Массабьель новый храм должен устремиться ввысь, огромный и в то же время легкий, словно гора — лишь его собственное основание. Ведь этот храм отвоеван у государства и церкви как символ победы над всемогуществом примитивной истины «дважды два — четыре». В голове Перамаля зреют все новые и новые планы. Гав

будет отведен в новое русло. Мельничный ручей частично засыпан. Мимо входа в Грот проложат широкую эспланаду. Рабочие и садовники превратят склон Массабьеля в изобилующий цветами парк, от которого вниз, в долину, словно распахнутые объятия, протянутся ухоженные дороги.

В эти дни искусство не обошло своим вниманием и Бернадетту. Две барышни-аристократки из Тарба, сестры де Лакур, пожертвовали значительную сумму с особым целевым назначением. Они поручили женскому комитету, возглавляемому мадам Милле, заказать какому-нибудь знаменитому скульптору статую Мадонны, которая впоследствии будет водружена в Гроте. Этим знаменитым скульптором оказывается месье Фабиш из Лиона. В бархатном берете и с папкой для эскизов он появляется в комнатушке Бернадетты. Слегка прищурившись и отогнув большой палец левой руки, он просит «очаровательную ясновидицу» точно описать ему различные позы, какие принимало «видение». Кроме того, обрисовать лицо, руки, ноги, платье, накидку и пояс до мельчайшей складочки. Бернадетта изо всех сил старается выполнить все, о чем он просит: к сожалению, ей приходится повторять одно и то

же сто раз. Уголь чиркает по шероховатой бумаге. Листы с набросками покрывают пол.

— Примерно *так* она выглядела? — спрашивает художник.

— Нет, месье, не так…

— Но ведь я перенес на бумагу в точности все, что вы сказали, мадемуазель! Чего же не хватает?

— Не знаю, чего не хватает, месье…

Через несколько дней скульптор приносит статуэтку — модель будущей большой статуи. Он очень гордится тем, что по примеру некоторых античных мастеров подкрасил пояс Дамы бледно-голубой, а розы на ее ногах — золотистой краской. Мадам Милле, Бо, Сенак, Жеста и все прочие в полном восторге. Какое счастье, что догадались пригласить именно этого тонкого художника, способного на высокие чувства и в то же время блестяще владеющего приемами своего ремесла. Дамы превозносят главным образом усердие мастера, который даже в модели не упустил ни складочки, ни ноготка. Как счастлива будет la petite voyante, бедная невинная девочка, когда вновь увидит свою Даму! Но Бернадетта, приглашенная к участию в жюри, по-видимому, отнюдь не счастлива, а скорее растерянна.

— Разве она не похожа на твою Даму, дитя мое? — спрашивает мадам Милле, в полном восторге от скульптора и его творения.

— Нет, мадам, не похожа, — возражает ясновидящая, не желая лгать. В глазах маэстро Фабиша появляется тревога. Ибо что может сравниться с ужасом и растерянностью художника, которому в лицо говорят, что творение его рук никуда не годится? И он, как за спасительную нить, хватается за довод, долженствующий примирить обе стороны:

— Но ведь в мою задачу и не входило добиться абсолютного сходства, поскольку не было и живой модели. Я стремился лишь передать неземную красоту Дамы. — И, бросив на Бернадетту умоляющий взгляд, спрашивает: — Разве моя Дама не прекрасна?

— О да, месье, она прекрасна, — с чрезвычайной готовностью соглашается Бернадетта, сознавая, что она, дитя кашо, — полное ничтожество в вопросах искусства и не имеет никакого права оценивать его творения.

Мастер вытирает пот со лба, облегченно вздыхает и осмеливается спросить:

— Мадемуазель, я был бы вам сердечно благодарен, если бы вы указали мне различие между

вашей Дамой… и вот этой…

Бернадетта рассеянно улыбается и глядит куда-то мимо статуи.

— О, моя Дама, — говорит она едва слышно, — намного естественнее, и не такая усталая, и не молится все время…

Этими неуклюжими, но бьющими в самую точку словами она выражает вот что: здесь стоит всего лишь еще одна статуя Богоматери, каких сотни во всех церквах. А моя Дама — одна-единственная, и никто, кроме меня, не знает, как она выглядит, она принадлежит мне одной.

И это правда. Скульптор Фабиш, мадам Милле и все прочие воспроизводят в своем воображении лишь многократно воспроизведенное. И это приносит им удовлетворение. Их вера и сомнение, даже их зрение и слух ограничены готовыми клише. Но как быть душе, встретившейся с самим прообразом?

Задолго до завершения строительства базилики на скале народ провинции Бигорр требует, чтобы Грот, отвоеванный им четыре года назад, был наконец освящен. Епископ, нанесший культу Дамы столько вреда, теперь решает в знак искупления, достойного такого видного церковного деятеля, как он, устроить церковный праздник с

небывалым в его епархии размахом и блеском. Он сам возглавит процессию из ста тысяч паломников, Бернадетте в этот день тоже воздадут высочайшие почести. Празднество назначается на четвертое апреля, когда весеннее цветение в садах пиренейских долин только начинается. Лакаде приказывает вывесить флаги по всему городу. Вечером накануне торжества во всех домах загораются тысячи свечей. Тогда же в Лурд прибывает епископ Бертран Север. В его свите — все каноники и прелаты его капитула. Пятьсот священников завтра будут помогать ему при самой торжественной мессе в его жизни. Гарнизон устроит парадный смотр под командованием полковника. Епископ будет шествовать в окружении представителей различных монашеских орденов — кармелитов и кармелиток, школьных братьев, милосердных сестер, Неверских монахинь и сестер из монастыря Святого Иосифа. А сам он будет в парадном своем облачении с епитрахилью и митрой и с золотым пастырским посохом в руке.

Утром этого дня Бернадетта хочет встать с постели. Но не может. Ноги ее не слушаются. После нескольких попыток она в изнеможении валится на подушку. Дыхание ее останавливает-

ся. Приступ астмы такой силы, какого не бывало уже несколько лет. Поднимается жар. Доктор Дозу вынужден известить комитет празднества, что об участии Бернадетты в шествии нечего и думать. Начинается колокольный звон во всех церквах. Стотысячная толпа заполняет улицы и переулки города и выплескивается в долину Гава. Народ жаждет устроить невиданное чествование маленькой Субиру, дочери народа. До слуха Бернадетты доносится необычайный шум. Но она не обращает на него внимания. Все ее силы отданы попыткам глотнуть хоть немного воздуха. Ровно в полдень праздник кончается. Ровно в полдень Бернадетта вновь начинает свободно дышать. Приступ астмы длился ровно столько, сколько было необходимо, чтобы, согласно пророчеству Дамы, избежать по-земному счастливого дня.

Монсеньор Форкад, епископ Неверский, задает Бернадетте Субиру несколько малозначащих вопросов, та на них отвечает, а под конец говорит, что ей не просто нужно, а очень хочется удалиться от мирской жизни и постричься в монахини в обители Неверских сестер, которых она почитает с детства. Высокий гость благосклонно кивает в знак одобрения и объясняет, что рад и готов помочь ей осуществить принятое решение. Он

удивительно быстро выполняет свое обещание, и вскоре Бернадетта получает приглашение. Двум лурдским монахиням поручено сопровождать ее в Невер.

Супруги Субиру уже почти год владеют небольшой мельницей в верхнем течении Лапака. Дела у них идут неплохо. Да и то сказать: надо уж очень постараться, чтобы довести до разорения весело тарахтящую мельничку теперь, когда Лурд наводнен приезжими. Каждые полгода новый отель распахивает свои двери. Рестораны процветают. Толстый булочник Мезонгрос приобрел множество конкурентов. И если теперь Франсуа Субиру приходит к булочнику, его встречают совсем иначе, чем в пятьдесят восьмом году. Толстяк услужливо проводит гостя в парадную комнату за лавкой и угощает рюмочкой выдержанного коньяка «наполеон». Да и почтмейстер Казенав, ныне еще и хозяин отеля, уже не кормилец для Франсуа, а его приятель и лучший клиент. Теперь Субиру лишь изредка называет его «господин капитан». А в заведении папаши Бабу, где мельник время от времени появляется, представители вооруженных сил не отважились бы теперь на грязные намеки по его адресу. Бригадир д'Англа, жандарм Белаш и полицейский Калле почти-

тельно вскакивают при виде отца Бернадетты и, здороваясь с ним, вытягиваются в струнку. Субиру возвысился над всеми своими соседями по улице Пти-Фоссе. Кашо опустел. Дядюшка Сажу больше его не сдает. Но сегодня, в дождливый летний день, старые соседи толпятся перед обветшалым зданием бывшей тюрьмы. Бернадетта уезжает, чтобы стать послушницей в монастыре. И все ее прежние друзья и враги, приверженцы и противники, все поверившие в нее позже, хотят попрощаться с ней. Удачная мысль устроить прощальную встречу в кашо пришла в голову портнихе Антуанетте Пере. День нынче будний. Только что прибыла новая партия больных. У всех работы по горло, да и до мельнички на Лапака путь неблизкий. Последние недели Бернадетта жила там с родными. Они и уговорили ее пойти навстречу пожеланиям Сажу и других давних соседей и ненадолго появиться в кашо.

Комната с толстенными сырыми стенами и зарешеченными окошками неравной величины пуста. Обезлюдевший кашо похож на дом скорби, из которого только что вынесли покойника. Семейство Субиру торжественно выстроилось в ряд. Возле Франсуа и Луизы — оба мальчика, Жан Мари и Жюстен, уже подростки. Одежда трина-

дцатилетнего Жана Мари и двенадцатилетнего Жюстена припорошена мукой: оба они помогают отцу на мельнице. Бернадетте приходится вынести странную процедуру прощания. Люди один за другим подходят к ней, пожимают ей руку и пытаются ее поцеловать, некоторые обнимают ее, и у многих на глаза наворачиваются слезы. Соседка Бугугорт пришла с сыном, которому теперь уже минуло восемь лет; он совершенно здоров, только ножки кривоваты.

— Взгляни еще раз на этого ангела, малыш, — всхлипывает мадам Бугугорт. — Всю жизнь будешь помнить этот час, даже если доживешь до ста лет…

Сын Бугугортов бросает на Бернадетту испуганно-любопытный взгляд, поспешно кланяется и ныряет в толпу. Длинной вереницей тянутся провожающие перед Бернадеттой с застывшей на лице приветливой улыбкой: «Прощайте, месье Бурьет, прощайте тетушка Пигюно, прощайте, мадам Раваль, прощайте, месье Барренг…» Антуанетта содрогается от горьких рыданий:

— Не забудь, что я первая поверила в тебя!

И мадам Милле прижимает Бернадетту к своей пышной груди.

— Помолись за меня, несчастную и покинутую.

Тетя Бернарда, оракул семейства, успевает дать несколько толковых советов насчет поведения в монастыре. А тихая тетя Люсиль всовывает Бернадетте в руку золотой крестик и шепчет:

— Как я тебе завидую, как я тебе завидую, моя маленькая…

В довершение всего появляется еще и мэр Лакаде с коробкой засахаренных фруктов.

— Немного сладенького на дорожку для благословенной дочери Лурда!

Бернадетта удивлена, что среди пришедших проститься нет Антуана Николо.

Наконец и эта церемония кончается, и семью Субиру оставляют в покое. Родные провожают Бернадетту до больницы, где ее уже ждет коляска, которая должна доставить ее и двух монахинь в Тарб. Здесь прощание не затягивается. Франсуа Субиру, в душе которого отцовская гордость борется с какой-то смутной тревогой, как всегда в поворотные моменты жизни, держится с чопорным и суровым достоинством. И хотя уголки губ у него предательски вздрагивают, он считает своим долгом сказать отъезжающей дочери несколько напутственных слов:

— Держись молодцом, дитя мое, не посрами своих родителей и там, в монастыре.

Луиза Субиру, у которой в последние годы выпали все передние зубы, выглядит очень постаревшей и удрученной. Она старается скрыть свои чувства, бессмысленно суетясь, как делают все матери, надолго расстающиеся с детьми. Зачем-то опять перекладывает вещи в тощем баульчике Бернадетты и вынимает из него шелковый платок — свой прощальный подарок. На Бернадетте новое черное платье городского покроя.

— Повяжи этим платком голову, любовь моя, — просит ее мать. — Пусть увидят, как хороша моя доченька…

И дочь послушно выполняет эту просьбу. Вдруг лицо матери покрывается мертвенной бледностью.

— Мы с тобой больше никогда не увидимся, Бернадетта…

— Ну что ты, мама, — пытается рассмеяться Бернадетта. — Почему это мы не увидимся?

— Ты будешь так далеко, так далеко от меня! — наконец разражается горючими слезами Луиза.

Бернадетта силится придать своему голосу беззаботность:

— Мамочка, но меня можно навещать, и по железной дороге вы быстро доедете до Невера. Ведь отец теперь зарабатывает достаточно, что-

бы вы все могли отправиться в это приятное путешествие…

Лишь когда коляска уже с грохотом катится по дороге и родные скрываются из виду, Бернадетту пронзает резкая боль. Но боль эта не столько от разлуки с близкими, сколько от непонятной и внезапной жалости к родителям и братьям. И жалость эта безутешна. Спутницы ее замечают, что Бернадетта, закрыв глаза, в напряженной позе забилась в угол коляски. Они обмениваются понимающим взглядом. Обе еще раньше сговорились доставить девушке последнюю радость. Пусть она попрощается со своим любимым Гротом и еще раз вознесет там молитву своей незримой покровительнице. Кучер, заранее извещенный об этом, останавливает лошадей на новой эспланаде в трех минутах ходьбы от грота Массабьель. Но как несказанно удивлены добрые монахини, увидев, что Бернадетта вовсе не бросается в страстном порыве на колени, как бывало, а просто осеняет себя крестным знамением. Она стоит у Грота, как любой добропорядочный человек стоит у могилы. Что для десятков тысяч — чудотворное место небесной благодати, то для Бернадетты — место упокоения ее любви. Другим суждено пользоваться тем, что она утратила.

Она больше не увидит живую Даму. Вместо нее в Гроте стоит заурядная статуя Мадонны работы скульптора Фабиша, копия миллионов пустых копий, которые так же мало походят на живую и любимую Даму, как надгробный памятник на лежащего под ним. Ей и без того было неимоверно тяжко глядеть в покинутый Грот после того последнего прощания. И все же эта покинутость, эта темная пустота оставалась фоном былого присутствия и возможного возвращения. А теперь там стоит чуждая ей фигура из каррарского мрамора с выкрашенным голубой краской поясом, некогда вылепленная мастером из гипса, — стоит всегда, и в любую минуту ее может увидеть каждый. Она вытесняет реальную и живую из памяти той, кто ее действительно видел. С тяжелым сердцем Бернадетта отворачивается и уходит. Но изумленные монахини склонны считать это странное поведение свидетельством отсутствия у Бернадетты подлинного благочестия.

При выезде из города коляске еще раз приходится остановиться. Откуда-то появляется мельник Антуан Николо; он бежит рядом с коляской, держа в руках букет белых роз, который смущенно протягивает Бернадетте.

— Эти розы — будущей Христовой невесте и

любимому чаду Царицы Роз, — торжественно возглашает он, радуясь, что не запнулся на этой с трудом заученной фразе.

— О, месье Антуан, эти розы слишком хороши, будет жаль, если они завянут за долгую дорогу! — испуганно лепечет Бернадетта, а одна из монахинь тем временем спокойно принимает из рук Антуана букет.

— Я не хотел сегодня идти к кашо вместе со всеми, мадемуазель Бернадетта, — с трудом выдавливает Антуан. — Но я хочу вам кое-что сказать…

— Что же вы хотите мне сказать, месье Антуан?

— Что я хочу сказать… Это так трудно…

Долгое молчание. Спутницы Бернадетты сидят в коляске, бдительно выпрямив спины. Бернадетта пристально вглядывается в лицо Антуана. А он в полном отчаянии теребит свои черные усы, на лбу крупными каплями выступает пот.

— Я хочу сказать, — наконец выпаливает он, — что моя матушка уже очень стара. А мы с ней так привыкли друг к другу и так славно ладим между собой. Да и мне скоро уж тридцать четыре. Вот я и решил вовсе не жениться, мадемуазель Бернадетта. Ведь мать и невестка обычно ладят плохо,

правда? Лучше уж я останусь бобылем, вот что я хотел вам сказать… И желаю вам счастливого пути, Бернадетта…

Она вынимает из букета одну розу и протягивает ему:

— Прощайте, месье Антуан…

Глава тридцать девятая
Наставница послушниц

Мать Жозефина Энбер, настоятельница монастыря Святой Жильдарды, спускается по лестнице в приемную, где Бернадетта ждет ее уже битый час. По лицу почтенной монахини не заметно, что наверху, в своей келье, она только что усердно молилась, чтобы унять в душе тревогу, вызванную прибытием в монастырь знаменитой чудотворицы из Лурда, которая должна стать послушницей в их обители. Словно не ведая, кто ее ожидает в приемной, мать Энбер бегло оглядывает посетительницу, вставшую при ее появлении.

— Значит, это вас привезли к нам из Лурда? Вы собираетесь стать послушницей в нашей обители? — строго спрашивает она, и сразу оробевшая Бернадетта догадывается, что ей опять собираются учинить допрос. Голос ее звучит едва слышно:

— Да, мадам настоятельница.

— А как вас зовут?

«О боже, она ведь наверняка знает, как меня зовут! Просто поступает как все. Но нельзя подавать виду».

— Меня зовут Бернадетта Субиру, мадам настоятельница.

— Сколько вам лет?

— Уже минуло двадцать, мадам настоятельница.

— Что вы умеете делать?

— О, совсем немногое, мадам настоятельница, — говорит Бернадетта.

В который раз ответ ее настолько правдив, что кажется дерзким. Настоятельница слегка поднимает взгляд, стараясь прочесть что-то на непроницаемо спокойном лице Бернадетты.

— Ну так как же, дитя мое? — говорит она. — Как же нам с вами поступить?

Бернадетта полагает, что отвечать на этот вопрос не ее дело. Поэтому молчит. И почтенная настоятельница, выдержав паузу, вынуждена продолжить беседу:

— Однако каким делом вы собирались заняться в миру?

— О, мадам настоятельница, я думала, что, может быть, справлюсь с работой служанки…

В этом ответе настоятельнице опять мерещится какой-то намек, недоступный ее пониманию. Что же такое эта девица? Пятидесятилетняя монахиня поджимает губы, так что складки у

рта прорисовываются еще резче. И в следующем вопросе звучит уже некоторая язвительность:

— Кто же рекомендовал вас в нашу обитель?

— Думаю, его милость господин епископ Неверский…

— Вот как, монсеньор Форкад! — слегка насмешливо восклицает настоятельница, обращаясь уже к долговязой и тощей монахине, в этот момент появившейся в дверях. — Вы слышали? Монсеньор Форкад, этот дорогой нам всем святой человек! Эта детская душа вечно дает рекомендации кому попало… Это новая кандидатка в послушницы, приехала из Лурда. Как вы сказали вас зовут, дочь моя?

— Бернадетта Субиру, мадам настоятельница.

— А это наша высокочтимая мать наставница послушниц, которой вам надлежит повиноваться.

— Мы уже знакомы, — говорит мать Тереза Возу, не выдавая своего удивления. Некогда миловидное лицо бывшей учительницы, этой, по выражению аббата Помьяна, Христовой воительницы, за последний год обвисло, тонкие губы, растягиваясь в улыбке, некрасиво обнажают десны. В маленьких, глубоко посаженных глазках нет мира и покоя самоотречения, в них сверкает

какая-то странная горечь. Бернадетта смотрит на Возу так, как часто смотрела на нее раньше, одиноко стоя перед ней в пустоте пространства, где ее подвергали экзамену. Мать Энбер спрашивает уже наставницу:

— Недавно послушница Анжелин по собственному желанию вернулась в мир; кто теперь выполняет ее работу?

— Поскольку послушница Анжелин лишь вчера покинула нашу обитель, — отвечает мать Возу, — работа помощницы на кухне еще никому не поручена, мадам настоятельница.

— Тем лучше. Значит, новенькая уже с завтрашнего дня могла бы взять на себя это послушание… — И, обращаясь к Бернадетте, добавляет со снисходительной мягкостью в голосе: — При условии, дитя мое, что к завтрашнему дню вы успеете отдохнуть с дороги и что состояние вашего здоровья позволяет выполнять эту работу. Речь идет в основном о мытье посуды, чистке овощей и картофеля, мытье пола и подметании коридоров и лестниц — короче говоря, о всей черной работе, какую у нас тут приходится делать. Заметьте: я вам не приказываю, а только предлагаю. Ежели вы чувствуете, что не в состоянии принять мое предложение по причинам

физического или душевного свойства, скажите об этом тотчас, пожалуйста.

— О нет, мадам настоятельница! — перебивает ее Бернадетта. — Эта работа мне по душе, я даже очень рада, что мне поручат работу на кухне…

Она и не подозревает, что своим ответом блестяще выдержала «экзамен на унижение». И этот устроенный настоятельницей экзамен — такое же досадное недоразумение, как и многие другие, случающиеся при общении Бернадетты с окружающими. Она не генеральская дочь, как мать наставница, и не дочь землевладельца, как мать Энбер. Мытье посуды и полов, подметание лестниц — повседневный труд ее матери, в ее глазах он не унизителен и оскорбителен, а просто знаком с детства и естествен: работа как работа. Монахини ожидали увидеть тщеславную мирянку, опьяненную своей славой. После всех торжеств вокруг Массабьеля такое предположение напрашивалось само собой. А Бернадетта искренне рада, что на нее хотят возложить самую черную работу. Она счастливо улыбается, и настоятельница удовлетворенно кивает:

— Ну хорошо. А теперь следуйте за матерью наставницей, которая проводит вас в трапезную, где вы сможете поужинать за столом наших

лурдских сестер…

— Разрешите, мадам настоятельница, обсудить еще один вопрос, — подает голос Мария Тереза Возу. — Новенькая носит имя, которое вызвало в миру много шума, то и дело мелькает в газетах и даже превозносится в Пастырских посланиях одного епископа. Для нас же здесь, в стенах монастыря, громкие имена имеют мало смысла, даже если они приобретены ценой больших усилий. Мы отрешаемся от всего, что мы сами значим для мира и что мир значит для нас. Кроме того, имя Бернадетта звучит по-детски ласкательно…

— Совершенно с вами согласна! — подхватывает мать Жозефина. — Перед принятием послушания вам надлежит выбрать себе другое имя. И лучше всего сделать это сейчас… Может быть, вы уже подумали о том, какое имя выбрать, дитя мое?

Нет, Бернадетта не подумала.

— А как зовут вашу крестную мать?

— Моя крестная — тетушка Бернарда Кастеро, мадам настоятельница.

— Тогда вам наверняка понравится, если вас нарекут Мария Бернарда, — решает настоятельница.

И Бернадетта легко и радостно приносит

первую жертву — свое мирское имя, которым ее всегда звали и которое она любит.

На следующий день ко времени обеда в трапезной собралось около сорока женщин, в том числе девять уже облачившихся в послушническое платье, за столом которых Бернадетта занимает место в дальнем конце. Чтица, стоящая за кафедрой, только успевает открыть ту страницу Библии, которая на сегодняшний день выбрана для чтения вслух, как вдруг по знаку матери Жозефины Энбер берет слово мать наставница:

— Дорогие сестры, вы знаете, что со вчерашнего дня в нашей обители появилась новенькая. Ее зовут Бернадетта Субиру, и родом она из Лурда. В ближайшие дни она примет послушание, и ее нарекут Мария Бернарда. Кое-кто из вас наверняка наслышан о таинственных явлениях и мистических событиях, которые выпали на долю мадемуазель Субиру и целительное действие которых вызвало такую сенсацию. Им посвящено также Пастырское послание епископа Тарбского… Подойдите сюда, дочь моя, и расскажите нам просто и коротко о тех днях…

Бернадетта стоит за кафедрой и обводит растерянным взглядом лица молодых и старых женщин; на этих лицах написано странное без-

различие ко всему, бесстрастное спокойствие и явная усталость после тяжелой работы с раннего утра. Некоторые взирают на новенькую с детским любопытством, другие — потухшими глазами, три-четыре пары глаз излучают тепло и приязнь. Бернадетта, столько раз уже рассказывавшая свою историю, совсем теряется, впервые столкнувшись с таким сдержанно-холодным приемом. Запинаясь на каждом слове, как семилетний ребенок, она с трудом выдавливает несколько корявых фраз.

— Однажды зимой… родители послали нас — мою сестру Марию и меня — набрать хворосту, и с нами была еще одна девочка, ее звали Жанна Абади. Мария и Жанна оставили меня одну на острове Шале, что у мельничного ручья, напротив Грота. И вдруг в нише скалы наверху появилась очень красивая Дама. И одежда на ней тоже была очень красивая. Позже я рассказала о ней Марии и Жанне, а потом матери. Но мама запретила мне туда ходить. А я все-таки пошла. И каждый раз видела Даму. И на третий раз она заговорила со мной и попросила, чтобы я приходила к Гроту каждый день пятнадцать дней кряду. И я приходила туда пятнадцать дней кряду, и Дамы не было только два раза, один раз в понедельник,

другой — в пятницу. В третий четверг она велела мне омыть лицо и руки и напиться из источника. Но никакого источника не было, и только на второй день он потек из маленькой ямки, которую я вырыла руками в правом углу грота. После тех пятнадцати дней Дама являлась мне еще три раза. В последний раз она исчезла, и я ее больше не видела…

Вот и все ее сухое повествование, кое-как скрепленное союзами «и». Рассказ Бернадетты падает в пустоту. Все лица словно окаменели.

— Благодарим вас, дитя мое, — вновь берет слово наставница. — Надеюсь, что и дорогие мои сестры, и послушницы, и вы, Мария Бернарда, правильно поймете меня, если я выскажу убеждение, что с этого часа в наших стенах не будут вестись бесконечные разговоры об услышанном. Мы не станем вас к этому побуждать, да вы и сами не пожелаете к этому возвращаться… Вот и все. А теперь давайте побыстрее покончим с трапезой.

Когда Бернадетта возвращается на свое место, соседка по столу разочарованно шепчет:

— Это и вправду все, мадемуазель? Больше ничего не было?

Бернадетта кивает:

— Да, мадемуазель, это все. И больше ничего

не было.

Накануне принятия послушания, двадцать восьмого июля, после молебна в монастырской церкви Бернадетту приглашают к Марии Терезе. Наставница принимает ее в своей келье, еще более строгой и неуютной, чем кельи других монахинь. На стенах нет ничего, кроме железного распятия, висящего над ложем из голых досок, на котором наставница спит по особому разрешению настоятельницы.

— Выслушайте меня, дочь моя, — начинает Возу. — Завтра вы вступаете на трудный путь. Это путь, который благодаря отречению от суеты сует ведет к вечному блаженству. Правда, послушничество — всего лишь начальный отрезок этого пути, но для некоторых этот отрезок самый трудный. Давая монашеский обет, мы обретаем более надежную опору, чтобы противостоять многим искушениям. Я пригласила вас потому, что хочу выяснить кое-что с глазу на глаз. Прежде всего, я не знаю, имеете ли вы ясное представление о моих обязанностях — обязанностях наставницы послушниц.

Бернадетта, не отвечая, спокойно глядит в глаза монахини.

— Нашей настоятельницей мне поручено, —

продолжает Мария Тереза, — укрепить вашу душу, Мария Бернарда: само собой, не иначе, чем делает это родная мать, которая растит своих детей, закаляя их тела и души против всех опасностей, поджидающих их в жизни. Так что те требования, которые будут предъявлены к вам в ближайшее время, имеют одну-единственную святую цель: закалить вашу душу и отделить в ней зерна от плевел. Вы меня поняли?

— О да, мать наставница, мне кажется, поняла…

— Итак, мой долг — впредь быть вашей духовной наставницей. Именно по этой причине я вновь возвращаюсь к явлениям в Гроте, хотя знаю, что вы не любите говорить на эту тему. Признаюсь откровенно, я долгое время не верила вам и считала все эти ваши видения чистой выдумкой. Но за истекшее время многие высокие духовные особы благодаря имевшим место чудесным исцелениям решили дело в вашу пользу. Я подчиняюсь этому решению. Ничего другого мне не остается. Ибо кто я такая? Поэтому теперь я верю, Мария Бернарда, что в дни чудесных явлений вы были избранницей Неба и что на вас низошла неисповедимая милость Божья. Мне кажется, однако, что вы меня не слушаете. Вы

что, не успеваете следить за моей мыслью?

— О нет, мать наставница, я успеваю.

— Вы должны прочувствовать, дочь моя, насколько ваше вступление в послушничество усложняет мои обязанности. Обычно наши послушницы — это юные создания, в которых мы стараемся вдохнуть дух истинной и ревностной веры. В какой степени эти юные души окажутся подготовлены к будущей жизни, зависит от их собственных сил. Но вы, Мария Бернарда, — особый случай. Раз вы избранница Неба, то возрастает и моя ответственность не только перед вами, но и перед Небом. Четырнадцатилетней девочкой вы восприняли немыслимую благодать, как играющий ребенок воспринимает солнечный свет. В том и состоит тайна Небесной благодати, что она ниспосылается за заслуги Спасителя, а не за наши собственные добродетели. Понимаете ли вы это, дочь моя? Если вы устали, можете присесть на это ложе.

— О нет, я не устала…

— Для вас начинается новая жизнь, — глубоко вздохнув, говорит наставница. — Ваш долг — хотя бы теперь в какой-то мере собственными заслугами оправдать ниспосланную вам некогда благодать, если это вообще в пределах чело-

веческих возможностей. Ведь именно по этой причине вы, конечно, и стремились принять постриг. Наша бессмертная душа продолжает жить на Небе, и что она приобрела на земле, то у нее и пребудет, а чего не приобрела, того уж не обретет. Вас, как свою избранницу, и на Небе примут не так, как нас, простых смертных. Но какой был бы стыд и позор, если бы на Небесах вдруг появилась прежняя Бернадетта, какую я, ее учительница, имела возможность наблюдать долгие годы: ленивая, рассеянная, безразличная ко всему девочка, не проявлявшая ни малейшего интереса к догматам веры, кое-как научившаяся читать и писать и вообще жившая бесцельно, как какой-нибудь мотылек. К тому же легкомысленная и, смотря на показную скромность, полная скрытого коварства и надменной строптивости. Девочка, у которой всегда были наготове самоуверенные, а иногда и дерзкие ответы. Прежняя Бернадетта, больше всего стремившаяся увидеть весь мир поверженным к ее стопам. Вот какое мнение сложилось у меня о вас, Мария Бернарда, какое-то время назад. Но спустя столько лет вы имеете полное право сказать: мать Возу, вы ошиблись во мне. Я не такая, какой вы меня описываете. У меня нет этих недостатков…

— У меня очень много недостатков, — быстро вставляет Бернадетта.

Но монахиня не дает себя сбить:

— Обследовал ли вас наш монастырский врач, доктор Сен-Сир?

— Да, вчера, когда он был здесь.

— И что же он вам сказал, дитя мое?

— Он сказал, что я вполне здорова.

— Именно так и сказал?

— Да! Вот только астма… Но она у меня давно…

Наставница криво улыбается, обнажая десны:

— Вот я и ловлю вас на первой лжи, Мария Бернарда. Доктор Сен-Сир прямо сказал вам, что ваши легкие не совсем в порядке.

— Но это ничего! — смеется Бернарда. — Я себя очень хорошо чувствую.

— Меня радует эта ваша святая ложь, дочь моя. Она доказывает, что вы, вероятно, догадываетесь: сами наши болезни и страдания могут стать орудиями сверхъестественных сил. И мы должны превратить в эти орудия наши болезни и земные страдания, берущие начало в грехопадении человека. Понимаете?

— Нет, матушка, этого я, кажется, не поняла…

— Когда-нибудь поймете, Мария Бернарда… Но сейчас я должна вас предупредить, что вы не

только вправе, но просто обязаны отказываться от любой работы, если она вам не по силам.

— О, работа на кухне мне очень нравится, мать наставница. Я привыкла к такому труду…

Мария Тереза выпрямляется.

— Но самое главное, Мария Бернарда, — говорит она, понизив голос, — чтобы вы поняли смысл повиновения, нашего третьего обета. Оно не имеет ничего общего с повиновением в мирской жизни, даже с воинской дисциплиной, с которой я, дочь солдата, хорошо знакома. У нас повиновение — не слепое, не вынужденное и мертвое, а добровольное, осознанное и живое. Мы всегда сознаем, что, следуя третьему обету, мы трудимся ради главной цели, ради приготовления и очищения нашего «я» для вечности. Вы и я, дорогая моя дочь, отныне неразрывно связаны и вместе будем трудиться ради этой цели. Настоятельно прошу вас: не подумайте, что я просто своенравная учительница и хочу вас помучить своей строгостью. Главное — полная добровольность. Без добровольной самоотдачи любая жертва становится бесплодной, досадной и излишней. Монастырь — не тюрьма. Здесь нет принуждения. И пока не дали монашеский обет, вы можете в любую минуту покинуть нашу

обитель. Вашей предшественнице, послушнице Анжелин, никто не чинил ни малейших препятствий. Дверь для нее была открыта. У нас здесь не обитель страданий и скорби, а место душевной радости, которая неизмеримо выше всех мирских удовольствий. Но что бы вы ни делали, всегда помните, какую небесную благодать вы должны оправдать своей жертвой! Вот и все, Мария Бернарда. Спокойной ночи!

— Спокойной ночи, мать наставница!

Бернадетта уже берется за ручку двери, когда мать Возу напутствует ее еще одним советом:

— Поскорее научитесь мгновенно засыпать. Крепкий сон — великое искусство святых обителей.

При этих словах наставница бросает взгляд на свое жесткое ложе, покрытое грубым шерстяным одеялом. А Бернадетта, сама не зная почему, вдруг вспоминает залитый молочно-белым светом луны прекрасный спелый персик, лежавший нетронутым на тарелочке в изголовье Возу.

Глава сороковая
Мой час еще не пробил

Крепкий сон бежит от Бернадетты, ей не дается великое искусство святых обителей. Ночь за ночью лежит она без сна на своем соломенном тюфяке. Но не жесткость ложа гонит от нее сон: кровать, которую она делила с Марией в кашо, была куда хуже. И не тяжелая работа от зари до зари, прерываемая лишь общими молитвами, медитацией и испытанием совести, что требует напряжения всех сил и нервов. Сну мешает огонек жизни в душе Бернадетты, который слабо мерцает, но никак не хочет погаснуть. Мать Мария Тереза словно огромным молотом кует из своих подопечных гладкие и одинаковые болванки. Правда, цель у нее очень высокая: закалить их души и привести их к вечной жизни очищенными от земной скверны. В действительности же, несмотря на отличнейшую программу генеральской дочери, эти юные существа спустя некоторое время становятся очень похожими на взвод хорошо вымуштрованных солдат. Если этот взвод когда-нибудь окажется в таком месте, где

царят истина, радость и вечная жизнь, то солдат, наверное, придется сперва отучать от привычки ходить строем и строем же испытывать одинаковые чувства. Воспитание рода человеческого — одна и та же непрекращающаяся мука. Неограниченная свобода порождает бессмысленный хаос джунглей. А мундир — безжизненную пустыню. Вероятно, Гиацинт де Лафит был не так уж не прав, сказав однажды в кафе «Французское», что мир создан лишь для немногих избранных, чем вызвал возмущение Эстрада. Мол, только они одни способны избежать и джунглей, и пустыни. Как ни готова Бернарда идти навстречу требованиям наставницы, той не удается так же быстро и легко выковать из нее гладкую и похожую на всех остальных болванку.

«Мария Бернарда, вы тащитесь, словно гуляете на лоне природы. Но сейчас время работать, а не отдыхать». — «Мария Бернарда, когда вы наконец научитесь управляться с собственными глазами? Глаза полагается не пялить, а скромно опускать долу». — «Не глядите на меня, разинув рот, я вам не рыночный зазывала». — «Мария Бернарда, вы опять чрезвычайно рассеянны. Разве вы еще не поняли, что это блуждание мыслей весьма порочно? Мы здесь не для того, чтобы мечтать

и фантазировать, а для того, чтобы сосредоточиться на одной цели». — «Мария Бернарда, что за грубые плебейские интонации! Сквозь вашу правильную речь то и дело прорывается диалект! И потом, зачем говорить так громко? Что бы вы делали, окажись вокруг вас монахини созерцательного склада, к примеру картезианки, дающие обет молчания. Нам положено отвечать на вопросы тихим голосом. К сожалению, вы отстаете от других послушниц, Мария Бернарда…»

Это правда, Бернарда действительно отстает от других послушниц. Те уже научились мелкими шажками семенить по коридорам монастыря. Они не глядят на мир широко открытыми удивленными глазами, как Бернадетта, а скромно потупляют взор перед матерью Возу. И мысли их не блуждают где-то далеко, и отвечают они на вопросы тихим голосом. За считаные недели они обретают тот затравленный и отрешенный от мира облик, которого требует от них мать Тереза Возу, как в казарме требуют военной выправки. Все легко подчиняются требованиям и даже сами не замечают произошедших изменений. Лишь избраннице Неба трудно погрузиться в эти условности праведной жизни.

Ночами Бернадетта всегда лежит без сна. И

впервые ропщет на Даму. Не то чтобы она посмела желать нового появления Дамы. Но почему она не является ей хотя бы во сне? Ведь чего только не видит Бернадетта во сне, ее сны полны воспоминаний о давно ушедших людях и исчезнувших вещах. И лишь самое важное в ее жизни, ее единственную вечную любовь ей не дано увидеть во сне. Если бы Дама явилась ей во сне и сказала: уходите отсюда! Вернитесь в Бартрес и пасите скот у мадам Лагес! — она бы тотчас послушалась, хоть возраст уже не тот. Но Дама нарочно и намеренно избегает появляться в ее снах, и Бернадетта чувствует себя брошенной за ненадобностью, как бросают проржавевший инструмент. И еще одна боль мучает ночами душу послушницы. Она сострадет своей матушке. Это та же самая острая жалость, какую она ощутила при прощании. Дочь потому и страдает, что ее мать — женщина весьма сурового нрава, лишь очень редко проявляющая нежность к детям. Между ними осталось так много недосказанного и недовыявленного. Бернадетта без конца вспоминает и нищенскую трущобу в кашо, и дни, когда мать ходила стирать белье в чужие дома, и жидкую похлебку в кастрюле, и отца, храпящего в постели средь бела дня. Правда, теперь матушке

живется намного лучше, и все же Бернадетта не может избавиться от смутного чувства вины из-за того, что она тут занимается своей душой, вместо того чтобы помогать матери. Часто побудка в полпятого утра застает ее в слезах.

Все быстро встают и цепочкой тянутся в монастырскую церковь на утреннюю общую молитву. После нее мать Энбер или одна из пожилых монахинь кратко рассказывает о каком-нибудь эпизоде из жизни Иисуса, об уставе их монашеского ордена, о монашеском обете или о стремлении к совершенству. И вот уже священник, служащий мессу, подходит к алтарю. После этого все причащаются. Затем хором поют молитву в честь Пресвятой Девы. Бернадетта всей душой любит эту молитву. Потом следует завтрак, и начинается трудовой день. Бернадетта с радостью выполняет работу, так похожую на ту, что делала ее мать. Она ходит по воду. Чистит картошку и свеклу, моет салат. Картофель, салат и свекла так реальны. От них веет влажным ароматом земли. Так пахла земля в Бартресе, если зарыться лицом в траву. После обеда опять молитвенное пение хором. Потом мать Возу собирает послушниц для серьезной беседы, которую проводит либо в присутствии всех, либо — гораздо чаще — ин-

дивидуально, с каждой из новеньких отдельно. Эти собеседования затрагивают те проблемы нравственного образа жизни, на которые не распространяется тайна исповеди.

— Дорогая моя Мария Бернарда, очищение души, к которому мы обязаны стремиться, затрагивает, как вам известно, и наши достоинства, и наши пороки. О каком из ваших пороков мы беседовали в последний раз? Помогите мне вспомнить.

— Мы говорили о том, что я считаю себя особенной, отличной от других…

— И что дает вам право все еще считать себя особенной, отличной от других, дочь моя?

Бернадетта, понурившись, как некогда в школе, отвечает:

— Я все еще считаю себя выше других, потому что мне явилась Дама.

— После решения, принятого епископом Тарбским, вы можете спокойно называть ее не Дамой, а Пресвятой Девой, дорогое мое дитя. И как же вы боретесь со своей гордыней? Осознали ли вы никчемность восторженных оваций, некогда предназначавшихся вам?

Бернадетта поднимает мгновенно сверкнувший взгляд:

— Я никогда не придавала им значения, мать наставница.

— Это неправильное возражение, Мария Бернарда, — говорит наставница, нарочито мягким тоном подчеркивая бесконечность своего терпения. — Мы ведь уже не раз беседовали о дерзком характере таких возражений. Я была бы рада услышать другой ответ.

Бернадетта вновь опускает голову.

— Я осознала ничтожность оваций, мать наставница, — говорит она.

— И какую же епитимью наложили вы на себя, дабы сломить собственную гордыню?

Бернадетта, немного подумав, шепчет:

— Вот уже несколько дней я стараюсь держаться подальше от послушницы Натали.

— Гм, гм, это очень похвально, дорогая дочь моя, — кивает мать Тереза. — Вам следует еще больше ограничить общение с послушницей Натали, которую я очень ценю. Я боюсь, вас привлекает в этой послушнице ее мирское очарование, ведь девушка она миловидная и веселого нрава. Это простительно, дорогое мое дитя, и я вас ни в чем не упрекаю. Кроме того, послушница Натали — натура податливая, и это льстит вашему собственному властолюбию и строптивости.

Скажите сами, Мария Бернарда, не проявляли ли вы всегда строптивости по отношению к другим людям?

— Конечно, мать наставница, я проявляла строптивость по отношению к другим людям.

— Тогда, наверное, стоило бы выбрать для общения послушницу с более жестким и волевым характером. Что вы сами об этом думаете, дитя мое? Разве не стоило бы?

— О да, мать наставница, конечно стоило бы…

— А теперь поговорим о ваших добродетелях, — меняет тему наставница. — Какую из них вы намерены развивать?

Бернадетта заливается краской смущения, моргает и оживляется.

— Прошу прощения, мать наставница, но я почти уверена, что у меня есть какие-то способности к рисованию. Недавно я сделала набросок к портрету Натали, и он всем очень понравился…

Мария Тереза Возу всплескивает руками:

— Стоп, дитя мое, мы все еще не понимаем друг друга! Вы находитесь на ложном пути. Ваши способности к рисованию, которые я не собираюсь оспаривать, — это талант, а вовсе не добродетель. Талант — это врожденный задаток, которым мы пользуемся без особого труда. Добродетель не

принадлежит к чисто природным задаткам, и развивать ее трудно, очень трудно. Добродетелью я называю, к примеру, силу духа, позволяющую безропотно переносить боль. Другая добродетель — аскетизм. Так что о рисовании мы больше говорить не будем. Или вы не согласны со мной?

— Я согласна, мать наставница, о рисовании мы больше говорить не будем.

— Наш монашеский орден — не академия искусств, — криво улыбнувшись, заявляет наставница. — Наша задача — ухаживать за больными и обучать детей. А с вами творится все то же самое, дорогая моя Мария Бернарда. Ваша душа так и рвется к чему-то необычному и блистательному… Было бы весьма отрадно, если бы в следующую пятницу вы могли назвать мне истинную добродетель, которую склонны в себе развивать…

Но самое тяжкое для Бернадетты даже не эти педагогические беседы. Самое тяжкое для нее — послеобеденный отдых между часом и двумя пополудни. В монастыре Святой Жильдарды есть большой красивый парк. Посреди этого парка расположена круглая площадка. Трава на ней порядком вытоптана: это место для игр юных кандидаток в монахини.

Генеральская дочь Мария Тереза безусловно

права, придавая большое значение движению на свежем воздухе. В те времена такой взгляд был и новаторским, и уникальным. Она считает подвижные игры на воздухе эффективным противовесом молитве, умственным занятиям, физическому труду, медитации и постоянному испытанию совести. Однако и игры должны подчиняться воле и разуму, а не просто служить бездумному наслаждению души и тела. Послушницы обязаны целыми днями степенно ходить, молитвенно сложив ладони и опустив глаза долу, и говорить, смиренно понизив голос. А между часом и двумя — согласно оздоровительному принципу их начальницы — от них требуется выказывать радостное возбуждение. Когда подопечные матери Возу появляются на площадке, она всегда побуждает их активнее включиться в игру:

— А теперь, девушки, побегайте и повеселитесь вволю…

Это и есть сигнал к началу игры: девицы перебрасывают друг другу большой мяч или же отбивают деревянными лопаточками легкий воланчик из перьев, катают по траве ярко раскрашенные обручи или прыгают через веревочку, в общем предаются обычным детским радостям.

Наставница хочет, чтобы послушницы в этот час отдыха вели себя как наивные дети — дети своего монашеского ордена, которым даже дозволяется совершать всякие шалости и проказы. Предел этим шалостям кладет удивительное чувство такта их воспитательницы, которая не допускает, чтобы небесного жениха оскорбили безудержные проявления темперамента его будущих невест.

Хотя Бернадетта никогда не была сорвиголовой, но в далекие годы детства она с удовольствием играла с Марией, Жанной Абади, Мадлен Илло и другими девочками в те игры, которые были доступны детям бедняков. Но теперь ей уже за двадцать. И превращаться на час в день, по требованию наставницы, в малое дитя для нее оскорбительно. Почему люди, обладающие властью, все время хотят, чтобы им лгали? Неужели это им так приятно? Послушницы в длинных черных одеждах скачут и носятся по траве, и веселость их частью естественна, частью наиграна. Бернадетте глядеть на это зрелище нестерпимо.

— Дорогая Мария Бернарда, — машет ей рукой наставница, — почему это вы так понурились? Ведь, вообще-то, вы ходите с гордо поднятой головой. Сейчас у вас время отдыха. Разве вам не хочется немного повеселиться?

И Бернадетта заставляет себя принять участие в общем веселье. Но ничего путного из этого не получается.

Пасмурный и холодный день поздней осени. Общая молитва только что кончилась, близится час отдыха. В это время обычно приходит почта для членов монастырской общины. Мария Тереза Возу приглашает Бернадетту к себе. Вид у нее торжественный и в то же время ласковый. Ее длинные костлявые пальцы даже гладят послушницу Марию Бернарду по волосам.

— Дорогое мое, милое дитя, сегодняшний день требует от вас принести тяжкую жертву. Я и сама знаю, что это такое. Все искренние старания уйти от мира не могут разорвать некоторых естественных уз. Я, к примеру, испытываю к своему отцу почтительнейшую любовь…

Огромные глаза Бернадетты готовы, кажется, выскочить из орбит.

— Мой отец… С ним что-то стряслось?

— Нет, с вашим отцом все в порядке… Дорогая моя Мария Бернарда, соберитесь с силами! Ваша матушка упокоилась с миром, без страданий, исповедалась и причастилась перед смертью. Она скончалась в День Непорочного Зачатия. Пусть это послужит вам утешением и таинственным

подтверждением воли Небес!

— Моя матушка, — лепечет Бернадетта, — моя мамочка…

Ноги ее подламываются, так что строгой наставнице приходится прижать девушку к своей груди.

— Прилягте на мое ложе, дитя мое…

Бернадетта садится на доски, привалившись спиной к стене. Несколько минут обе молчат. Когда мертвенная бледность Бернадетты уступает место обычному для нее цвету лица, Возу нарушает молчание:

— Само собой разумеется, я освобождаю вас на ближайшие дни от всех обязанностей, которые вы не можете или не хотите выполнять. Если ваша печаль требует одиночества, вы можете пойти по своему выбору в церковь, в парк или куда-то еще. Со своей стороны я бы не советовала вам уединяться, дорогая дочь моя. — На серых щеках монахини появляются четко очерченные багровые пятна, признак очередного приступа воодушевления. — Мария Бернарда, сейчас вам представляется возможность превзойти самое себя. Ваша матушка умерла. Но ведь смерти нет. Вы увидитесь с ней. Спаситель своей смертью попрал смерть всех людей. Покажите, что вы верите в эту

истину. Примите свою утрату как сознательную жертву Небесам. Дайте пример для подражания. Приходите в час отдыха на площадку для игр. Пусть ваша несокрушимая вера обратит ваши слезы в благородную веселость духа. Поймите меня правильно, это всего лишь совет, дорогое дитя мое… Вы пойдете на площадку для игр?

Помолчав немного, Бернадетта ответила:

— Да, мать-наставница, я пойду.

Когда послушницы попарно подошли к площадке, Мария Тереза дала им знак выслушать ее:

— Наша дорогая Мария Бернарда испытала горечь утраты: скончалась ее матушка. Это самое большое горе, какое может постичь любящее сердце дочери на этой земле. Мария Бернарда готова пожертвовать своим горем. Веселыми играми помогите вашей сестре. — И наставница вкладывает в руку Бернадетты деревянную лопаточку. — Давайте сыграем с вами партию в волан, дорогая! — восклицает она и несколько минут сама орудует лопаточкой, отбивая воланчик, чего никогда прежде не делала и впредь делать не будет.

Бернадетта подбрасывает волан, толкает яркие обручи, бегает наперегонки, прыгает через веревочку. Причем прыгает быстро и безостановочно,

как заведенная, и наставница в конце концов не выдерживает:

— Стоп, Мария Бернарда, хватит! Вы слишком разгорячились…

Потом все собираются в кучку, разбиваются на пары и двигаются к дому. Ледяной ветер срывает с деревьев последние желтые листья. И послушницы думают про себя, что больше уже не будет этих игр на воздухе. Бернадетта и ее подружка Натали идут в последней паре.

Когда процессия входит в двери и втягивается в темный коридор, у Бернадетты внезапно подламываются ноги и она оседает на каменный пол. Все ее тело содрогается от приступа кашля. Натали опускается рядом с ней на колени и вдруг вопит что есть мочи:

— Помогите!.. Мария Бернарда… У нее кровь идет горлом…

Час ночи. По безлюдным, плохо освещенным переулкам Невера, борясь с ветром, пробирается одинокая фигура. Приземистый мужчина кутается в плащ и обеими руками придерживает на голове плоскую шляпу с широкими полями. Только по этой шляпе с фиолетовым шнуром можно узнать в нем прелата. Монсеньор Форкад, епископ Неверский, долго добирается до монастыря

Святой Жильдарды, как ни старается убыстрить шаг. Он боится опоздать. Не зря разбудили его среди ночи. Предстоящая кончина чудотворицы из Лурда требует присутствия епископа. История учит, что перед кончиной избранницы Неба обычно происходят чудеса. Кроме того, необходимо, чтобы последние признания и наставления благословенной девы принял лично один из высших священнослужителей. А поскольку жизнь на земле сложна и душа человеческая — потемки, то представляется не столь уж невероятным, что дева эта на пороге смерти и вечного возмездия может и взять обратно некоторые свои высказывания, а то и опровергнуть кое-что из того, на чем основывалось решение епископской комиссии. В воротах монастыря епископа уже ожидает настоятельница мать Жозефина Энбер. Располневший старик-епископ тяжело дышит от быстрой ходьбы и вытирает вспотевший лоб:

— Ну, как чувствует себя ваша больная?

Настоятельница, обычно воплощенное спокойствие, на сей раз глубоко взволнована. Фонарь, который она держит в руке, бросает отблески на ее дряблое лицо с резко выступающими скулами:

— Доктор Сен-Сир потерял всякую надежду,

ваше преосвященство, — отвечает она. — Какое тяжкое испытание, Пресвятая Богоматерь!

— И что же вы предприняли? — спрашивает епископ, нахмурив брови.

— Час назад Мария Бернарда должна была причаститься. Но сделать это не удалось, так как ее все время рвало. Потом ей принесли Святые Дары, монсеньор.

— А больная в сознании, мать Энбер?

— Она очень слаба, монсеньор, но в полном сознании.

Епископ, хорошо ориентирующийся в здании монастыря, входит в приемную для посетителей, настоятельница следует за ним. Он сбрасывает плащ и садится на стул, чтобы отдышаться.

— Как же могло такое случиться, боже мой? — спрашивает он. — Разве здесь не заботились как следует о ее здоровье?

Настоятельница возражает, скрестив на груди руки:

— Мы возложили на послушницу — с согласия вашей милости — работу на кухне. По совету доктора Сен-Сира ее уже в первую неделю освободили от всех тяжелых работ. Однако мы знаем, что трудиться на кухне доставляет этой послушнице большое удовлетворение…

Епископ бросает на настоятельницу сомневающийся взгляд.

— А не перестарались ли тут, перегрузив ее в духовном или душевном отношении? — допытывается монсеньор.

Мать Энбер сухо возражает:

— Я распорядилась, чтобы мать Возу взяла эту послушницу на свое попечение и проявила к ней максимум добросовестности и заботы.

— Как мне уже стало известно из различных источников, — говорит епископ, — час отдыха у ваших послушниц, по-видимому, проходит весьма своеобразно…

Настоятельница так поджимает губы, что рот превращается в щелку. Отвечая, она низко склоняет голову:

— Мнение нашей наставницы послушниц таково, что игры на свежем воздухе являются наилучшим противоядием против уныния, временами наступающего у юных созданий. Доктор Сен-Сир также настаивал, чтобы Марию Бернарду привлекали к участию в этих по-детски невинных играх…

Епископ Форкад испускает глубокий вздох:

— Я вне себя, дорогая моя, поистине вне себя! Летом вам вверяют Бернадетту Субиру, и не успе-

вает год кончиться, как… На Бернадетту Субиру взирает весь мир. Представьте себе, к каким последствиям приведет эта внезапная смерть. Чего только не наговорят, чего не напишут, боже милостивый! И какие жуткие подозрения она вызовет! Монсеньор Лоранс, мой коллега в Тарбе, старец честнейшей души и достойный всяческого восхищения…

Монсеньор Форкад предпочитает не заканчивать эту фразу. Вместо этого он требует, чтобы его немедленно провели в комнату умирающей. Она лежит в довольно большом помещении, как бы больничной палате при монастыре, лежит неподвижно на высоко взбитых подушках. Лицо ее страшно осунулось после тяжелого кровотечения и рвоты, длившейся несколько часов. Глаза блестят и выражают характерную для нее величественную апатию. Но дыхание у нее такое учащенное и хриплое, что можно подумать, будто агония уже началась. Доктор Сен-Сир следит за пульсом. Монастырский священник Февр шепчет отходную молитву, ему вторят несколько коленопреклоненных монахинь. Наставница послушниц тоже здесь — стоит выпрямившись и застыв как статуя, с молитвенно сложенными ладонями. Лицо Марии Терезы странно зеле-

новатого цвета. Ее глубоко посаженные глаза устремлены на Бернадетту и выражают прямо-таки невыносимое напряжение. Монсеньор Форкад подходит к кровати и ласково кладет свою пухлую ладонь на руку больной.

— Вы сможете понять то, что я скажу, дочь моя? — спрашивает он.

Бернадетта кивает.

— Не хотите ли поверить мне, вашему епископу, какое-то желание?

Бернадетта тихонько качает головой.

— В силах ли вы говорить?

Бернадетта опять качает головой.

Форкад опускается на колени и читает молитву. Потом, глубоко взволнованный, поднимается и просит настоятельницу предоставить ему келью на эту ночь. Идя по коридору за матерью Энбер, он слышит за собой громкий стук грубых башмаков. Это наставница послушниц.

— Ваше преосвященство! — начинает Мария Тереза срывающимся голосом. — Не прогневается ли на нас Пресвятая Дева, если ее избранница предстанет перед ней, не приняв монашеского обета?

— Вы так думаете? — довольно кисло отвечает ей вопросом на вопрос епископ, сразу проник-

шийся смутной неприязнью к этой монахине. — А вы лично хотели бы, чтобы умирающая приняла постриг?

— Я бы очень этого хотела, монсеньор, — взволнованно выпаливает та одним духом.

Епископ Форкад — человек умный, и его очень беспокоит, как отнесется ко всему этому честный и достойный всяческого восхищения старец из Тарба. Послушница — это ни рыба ни мясо. Может быть, удастся как-то смягчить удар, если по всем правилам принять Бернадетту в Христовы невесты, которые монашеским обетом заслужили преимущественное право предстать перед Господом.

— Епископ вправе принимать монашеский обет у умирающих. Мне уже приходилось это делать.

Все возвращаются к постели Марии Бернарды, состояние которой не изменилось, монсеньор Форкад склоняется над ней и говорит ласковым голосом:

— Соберитесь с силами, дорогая моя. Та, что являлась вам по своей Божественной Милости, будет рада видеть, что вы успели дать своему епископу священные обеты нестяжания, целомудрия и повиновения. Вам не придется отвечать на мои

вопросы, стоит лишь знаком дать понять, что вы согласны. Поняли ли вы, что я сказал, и готовы ли к этому?

Бернадетта с готовностью кивает.

После этого епископ начинает церемонию пострижения и делает это, ввиду необычайности ситуации, чрезвычайно тихим голосом и весьма деликатно. В больничной палате полным-полно монахинь; все они падают ниц по примеру Марии Терезы Возу. По окончании церемонии врач вливает в рот вконец обессилевшей Бернадетты несколько капель воды. И впервые за много часов у нее из-за этого не начинается рвота. Епископ подбадривает ее улыбкой:

— Поздравляю вас, сестра моя, с вашим новым саном.

Ему придвигают кресло поближе к кровати больной. Он бросает на доктора вопросительный взгляд, означающий: «Сколько еще это может продлиться?» Тот пожимает плечами. Минут пятнадцать в комнате царит мертвая тишина. Глаза монсеньора не отрываются от лица больной, которой каждый вздох дается с большим трудом. Видимо, конец близок, думает он и решается на еще одну попытку:

— Сестра моя, может, у вас есть что-то на серд-

це. Я готов выслушать вас. Все остальные оставят нас вдвоем…

Не успел епископ прошептать до конца эти слова, как произошло нечто совершенно неожиданное. Бернадетта несколько раз глубоко вздыхает. И все решают, что эти вздохи — последние признаки угасающего дыхания. Голос аббата Февра, бормотавшего отходную молитву, тут же крепнет. Но эти вздохи оказываются не последними, а первыми признаками нормализующегося дыхания, которыми обычно заканчивается приступ астмы. Бернадетта начинает ритмично дышать. И вдруг говорит тихо, но вполне внятно:

— Моя матушка умерла… Но я еще не умираю…

И как всегда, она оказалась права. Ибо уже шесть дней спустя смогла подняться с одра болезни. И доктор Сен-Сир нашел в ее легких меньше подозрительных шумов, чем было раньше.

Часть пятая
Польза страданий

Глава сорок первая
Золотые руки

Рядом с монастырской церковью Святой Жильдарды находится просторная комната. Она служит ризницей и сокровищницей. На стенах висит множество потемневших от времени картин, которые накопились в монастыре и для которых не нашлось лучшего места. Ведь монашеская обитель «Неверские сестры» возникла очень давно: она была основана Жаном Батистом де Лавеном почти двести лет назад. И хотя после бурных революционных лет монастырь пришлось отстроить заново, многое из прошлого достояния сохранилось. Самое крупное живописное полотно в ризнице изображает Святое семейство; картина эта, написанная сто лет назад, произведение довольно бесталанной и неумелой кисти. Богоматерь и младенец Христос на соломе. Здесь же бык и ослик, а также коленопреклоненные пастухи — все именно так, как знает и любит Бернадетта. Единственное исключение из правил — святой Иосиф, у которого, вопреки общепризнанной традиции, нет бороды и на голове

нечто вроде берета. В шкафах ризницы сложены священнические облачения, церковная парча, алтарные покровы. За стеклом видны несколько золотых и серебряных литургических сосудов. В особом ларе хранится куча ярко раскрашенных глиняных фигурок для яслей Христа, используемых во время рождественских мистерий.

Эта комната теперь в распоряжении Бернадетты. Спустя год после кровотечения она повторно дала монашеский обет в руки епископа Неверского. Так что период послушничества отбыла полностью. Зато потом монсеньор настоял, чтобы ее освободили от ухода за больными — это послушание она сама на себя возложила. И матери настоятельнице пришлось по поручению епископа доверить сестре Марии Бернарде самую деликатную и необременительную должность, какая только была в монастыре. Бернадетта стала монахиней при ризнице, в обязанности которой входит каждое утро наполнять дароносицу Святыми Дарами.

Как раз к этому времени престарелая сестра София уже не могла больше отправлять эту должность: с ней случился удар, после которого ее наполовину парализовало и она лишилась дара речи. София — одна из тех по-детски светлых

душ, каких никогда не встретишь в миру. Хотя из уст старой женщины исходят лишь нечленораздельные звуки, из глаз ее льется такой поток спокойствия и радости, что Бернадетта бывает счастлива, когда сестра София часами сидит рядом, наблюдая за ее работой.

А работа эта заключается вот в чем. После того как наставница послушниц в свое время, искренне перепугавшись, категорически запретила Бернадетте «развивать склонность к рисованию», не сочтя таковую за добродетель, молодая монахиня сразу после назначения в ризницу увлеклась сходным делом. Вышивание алтарных покровов, священнических облачений и прочих церковных украшений даже в глазах Марии Терезы не считается высокомерным тщеславием. Наоборот, это тихий и богоугодный труд, вполне приличествующий слабосильной монахине. И Бернадетта, еще послушницей внезапно обнаружившая в себе тягу к рисованию и лепке, обрела теперь прекрасное поприще для приложения своих сил. Эта душа остается верна себе. Для постороннего глаза она кажется равнодушной, рассеянной и вялой. Если же под воздействием скрытой в ней силы она направит свою волю к определенной цели, ее уже не остановить никому

— ни Жакоме, ни Дютуру, ни Масси, ни Перамалю, ни епископу, ни императору, и даже такая гранитная скала, как монахиня Возу, пред ней бессильна.

Бернадетта добилась, чтобы ее рукам позволили переносить на освященные куски материи волшебные краски и линии, зародившиеся в ее голове. Помимо необходимых материалов, ей предоставили еще и бумагу для эскизов и цветные карандаши, чтобы она могла делать наброски для будущих вышивок. Правда, вышивки эти настолько необычны и своеобразны, что лишь восхищение нескольких разбирающихся в искусстве клириков, которым их показали, смогло немного уменьшить робкий испуг матери настоятельницы и ледяное недоумение матери Возу. С тех пор иногда и другие люди просят разрешения посмотреть новые вышивки сестры Марии Бернарды. Однако настоятельница выполняет эти просьбы только в отсутствие самой мастерицы. Руководительницы монастыря все еще путают самобытность молодой монахини со стремлением выделиться. Поэтому Бернадетта знать ничего не знает о том впечатлении, какое производят на людей ее мечты, ожившие в вышивках.

Она всей душой отдается любимому делу. Вре-

мени у нее хоть отбавляй, ибо она освобождена от всех других работ, а по особому распоряжению епископа — еще и от участия в утомительных религиозных обрядах. И она, никогда не обучавшаяся рисованию, целыми днями стоит на коленях среди разбросанных на полу листов бумаги. В первое время она еще придерживалась канонов и образцов, но потом из-под ее маленьких неумелых рук начали выходить такие фантастические цветы, каких она никогда в жизни не видела, и орнаменты, похожие на цветные символы какой-то еще неведомой веры. А то вдруг цепочка птиц или ангелов, устремляющихся в фиолетовое сияние неба. Или же ягненок, у которого, как у единорога, на лбу четко виден крест. В душе ясновидицы, обладавшей сверхъестественной силой узреть блаженную плоть Дамы, роятся бесчисленные лики и силуэты. Но сама она ничего этого не сознает. Не знает, как и что изобразят ее пальцы. Сделав несколько набросков, Бернадетта кладет их на колени престарелой Софии. Немая очень хорошо видит разницу между хорошим и менее удачным. Сравнив глазами рисунки, она кивает на один из них: так происходит отбор. После чего канва зажимается в пяльцы и начинается работа, которая по утомительности и бесконечности

подобна труду Пенелопы. Но Бернадетта не знает, что такое нетерпение. Она словно вплетает цветным шелком в ткань секунды собственной жизни, спокойно и радостно избавляясь от них.

Работу прерывают лишь хоровые молитвы, прием пищи, адорации, розарий, дорога крестовая и ночной сон. В часе отдыха Бернадетта участвует, если ей захочется. В свободное время в ризницу иногда прокрадывается сестра Натали. Ей тоже нравится наблюдать, как возникают вышивки, и оценивать их. Однажды она спрашивает:

— Сестра, вы своими глазами видели Пресвятую Деву. Почему бы вам не вышить ее образ на одном из алтарных покровов?

— Что вы, сестра, как вы могли такое подумать? — возражает Мария Бернарда. — Даму нельзя ни нарисовать, ни написать красками, ни вышить.

— Может быть, вы просто не помните ее как следует? — удивляется Натали.

— О, я ее очень хорошо помню, очень хорошо, — улыбается Бернадетта, устремив неподвижный взгляд в окно, и обрывает разговор.

Невер — средневековый городок с узкими темными улочками. В марте после четырех часов дня

в ризнице уже темновато. Поэтому Бернадетта к трем часам передвигает пяльцы ближе к окну, чтобы подольше использовать дневной свет. Это тихий час сумерек, когда часть монахинь обычно занимается испытанием совести. В последние годы отдых послушниц перенесен на час позже. Иногда до Бернадетты доносятся из коридора звук шагов возвращающихся парами послушниц и подгоняющий их голос наставницы. Но вот совсем рядом, в церкви, начинает играть на органе монахиня, которая ведает музыкальным сопровождением мессы.

Кто-то стучит в дверь ризницы. Привратница сообщает, что к сестре Марии Бернарде пришел посетитель. И мадам наставница велела проводить его в ризницу. Он сейчас явится.

Бернадетта отрывается от работы. Она крайне удивлена: посетитель? К ней почти никто не приходит. Что за посетитель? Бернадетта не может не признать: мать настоятельница избавляет ее от назойливого любопытства визитеров. И большей частью она лишь случайно узнает от других монахинь, что время от времени какая-то важная персона или какое-то общество требовало разрешения посмотреть на знаменитую Субиру, как будто она диковинное животное. Бернадетта

же просила, чтобы ей раз и навсегда разрешили при посещении монастыря посторонними оставаться в своей келье. Следовательно, кто же этот посетитель?

Бернадетта поднимается с пола. Ее уставшие от напряженной работы глаза различают в темном проеме двери лишь высокую худощавую фигуру мужчины, не решающегося перешагнуть через порог.

— Хвала Господу нашему Иисусу Христу! — тихо и бесстрастно произносит он обычные слова приветствия в монастыре.

— Во веки веков, аминь! — отзывается Мария Бернарда. — Чем могу служить?

Мужчина мнет и вертит в руках свой берет:

— Я приехал, только чтобы узнать, как ты живешь, святая сестра…

Он делает шаг вперед и кланяется. У Бернадетты перехватывает дыхание. Она узнает в смущенном посетителе собственного отца, которого не видела долгие-долгие годы. Раскрыв объятия, она медленно подходит к нему и шепчет:

— Папочка, это ты… Возможно ли?

— Я это, я… Приехал к тебе на поезде, Мария Бернарда…

Чтобы не расплакаться, она плотнее сжимает

губы, даже пытается засмеяться:

— Почему ты называешь меня «сестра» и «Мария Бернарда»? Ведь для тебя я по-прежнему Бернадетта…

Она обнимает отца и прижимается головой в чепце к его лицу. Но мельник Франсуа Субиру все еще не решается оттаять. С тех пор как его дочь, лурдская чудотворица, стала еще и суровой монахиней, его отцовская скованность стала ужасающей. Иногда, содрогаясь в душе, он все еще вспоминает, что хотел прогнать эту свою благословенную дочь к бродячим циркачам и цыганам. Он отвечает на ее объятия, почтительно приобняв ее за плечи.

— О, как я рада, что ты ко мне приехал, папа! — говорит наконец Бернадетта, справившись с первым волнением.

— Да я давно уже просил разрешения… Много лет… Но тогда отвечали, что, мол, нежелательно… А после смерти матери… Знаешь, я был так подавлен, не мог двинуться с места…

Бернадетта прикрывает веки, и голос ее звучит глухо:

— О, мама… Как она умерла?

Мельник Субиру поседел. Ему за пятьдесят. К его характеру, сохранявшему чувство собствен-

ного достоинства даже в годы нищеты и пьяного угара, с течением лет и под влиянием происшедших за эти годы событий добавилась набожность. Он осеняет себя крестным знамением.

— Твоя мать померла легкой смертью, маленькая моя Бернадетта. Проболела всего несколько дней и не знала, что ее дни сочтены. Видимо, над ней простер свою руку святой Иосиф, да поможет он нам всем умереть такой смертью. А ты, дитя мое, была ее самой большой радостью, одна ты. Твой портрет всегда лежал на ее груди, пока она болела. Знаешь, сейчас есть много твоих портретов. Твое имя не сходило с ее уст до последней минуты…

— Мамочка уже тогда знала, что мы с ней не увидимся больше. А я не знала, — кивает в ответ Бернадетта и шепчет: — Мир праху твоему, мама!

— А мы заказали маленькие портреты покойницы, — гордо заявляет Субиру. — Они называются «миниатюры», и художникам за них хорошо платят. Одну такую миниатюру — портрет матери — я тебе привез, дитя мое.

Франсуа протягивает дочери позолоченный медальон на цепочке, на котором заурядные черты бедной Луизы приукрашены в интересах сбыта.

— Тебе разрешат его взять? — спрашивает он, памятуя об обете нестяжания.

— Думаю, мать настоятельница разрешит, — отвечает Бернадетта, по-детски радуясь портрету. Потом пододвигает отцу стул. — Расскажи мне, отец, как вам всем живется?

Субиру громко откашливается в знак того, что трудное для него и дочери начало свидания, к счастью, позади.

— Не могу пожаловаться, дитя мое. Дела помаленьку идут. Ведь я всегда был хорошим мельником, сама знаешь, меня подкосили засушливые годы, да и не меня одного, правду сказать. А теперь мы, мельники, просто не поспеваем за спросом. С последней осени в Лурде уже пятнадцать гостиниц, не больше и не меньше — пятнадцать! А Лакаде построил большую городскую больницу на несколько сот коек. Она называется больница Семи скорбей Богоматери. И моя мельница на Верхнем Лапака поставляет в эту больницу муку. А твои братья Жан Мари и Жюстен довольно ловко помогают мне на мельнице, теперь им некогда заниматься глупостями. Да, они передают тебе самый теплый привет. У твоей сестры Марии сынок и две дочки. Завтра она приедет повидаться с тобой, а с ней и еще

кое-кто из лурдских знакомых. Мне, слава господу, удалось скопить немного деньжат, чтобы осталось детям и внукам, когда меня не станет…

Бернадетта выслушала все это, не сводя глаз с его губ, словно вдруг стала туга на ухо.

— Ах, папочка, — говорит она, когда его рассказ окончен, — я так рада слышать, что вам всем теперь хорошо живется…

У Франсуа Субиру вдруг на глаза наворачиваются слезы.

— А меня, Бернадетта, ночами часто совесть гложет. Как подумаю, что не мог тогда, в кашо, создать для тебя сносную жизнь… А теперь — теперь-то я мог бы обеспечить тебя куда лучше…

— Но ведь я тогда ничего дурного не чувствовала, отец, — улыбается Бернадетта. — А теперь — теперь у меня все есть…

— Тебе правда ничего не нужно, дорогая моя девочка? — спрашивает Субиру, понизив голос. — Мне кажется, ты что-то уж слишком бледная…

— О, это все чепец, мы все кажемся в нем бледными. Я совершенно здорова. Еще никогда не чувствовала себя так хорошо. Даже астмы у меня нет… — И словно для того, чтобы переменить тему разговора, спрашивает: — Когда прибыл твой поезд, отец?

— Ровно час назад… А остальные приедут завтра…

— Боже милостивый, значит, ты наверняка хочешь есть и пить! — ахает Бернадетта, вскакивает и быстро выбегает из комнаты.

У нее хватает духу постучаться к настоятельнице.

— Мадам настоятельница! — выпаливает она, задыхаясь от быстрого бега. — Мой отец только что приехал на поезде. У него целый день маковой росинки во рту не было. Можно мне…

— Само собой разумеется, дитя мое… Попросите сестру-хозяйку, она даст вам кофе с пирожными и ликер…

Бернадетта сама вносит в комнату поднос с угощением и накрывает маленький столик для отца. Щеки ее пылают, так рада она оказать отцу женское внимание, хоть раз сделать для него то, что всегда делала мать. Она любовно смотрит на него, пока он ест — жадно и в то же время скованно: как-никак, непривычно ему есть, когда кругом картины на священные сюжеты и облачения священников. Под конец дочь наливает ему рюмку ликера. Субиру отказывается — больше для виду.

— В последнее время, — говорит он важно, — я

позволяю себе лишь изредка рюмочку вина и в рот не беру ничего более крепкого. При моей работе это вредно…

— Но сегодня, — улыбается Бернадетта, — сегодня тебе же не нужно работать…

И на память ей приходит отвратительное пойло «Чертова травка», которое мать всегда прятала от отца.

— Ты так думаешь? — уже колеблется мельник. — Твоя правда, дорога и впрямь неблизкая…

— Ну вот видишь, — подбадривает его она. — И я с тобой выпью. Я совсем не боюсь…

И она опрокидывает рюмку, не моргнув глазом. Это что-то новенькое, думает Субиру и после третьей рюмки чувствует себя уже совсем уютно в этом святилище, где всем распоряжается его дочь. Разговор не клеится. В сущности, говорить-то им не о чем. Бернадетта зажигает несколько свечей. Темное полотно со Святым семейством вдруг начинает сиять красками, которых на нем не было и нет. Молодая монахиня сидит как раз под ним. Святой Иосиф, дарующий легкую смерть, с серьезным видом сидит на заднем плане. Богоматерь с улыбкой глядит на младенца-сына. Папаша Субиру не может удержаться от мысли: это в какой-то мере и семья моей дочери.

Кощунственный вопрос бригадира д’Англа он давно позабыл.

Глава сорок вторая
Сразу много гостей

Группа посетителей, прибывающая на следующий день в монастырь Святой Жильдарды, при всей разношерстности являет собой представительную делегацию города Лурда к самой знаменитой из его дочерей. Мэр Лакаде прислал своего секретаря Куррежа, а декан Перамаль — аббата Помьяна, дабы те своими глазами убедились в хорошем самочувствии сестры Марии Бернарды. Ибо в миру никто ничего не знает о Бернадетте. Газеты молчат о чудотворице Грота, и даже известие о перенесенной ею смертельной болезни просочилось лишь мало-помалу, да и то весьма смутно.

Аббат Помьян возглавляет делегацию, которой пришлось совершить довольно длительную и утомительную поездку. Кроме доверенного лица мэра, к нему присоединились отец Бернадетты, ее сестра — жена простого крестьянина из Сен-Пе, тетя Бернарда Кастеро, оракул всего семейства, с годами не утратившая остроты ума, тетя Люсиль и, помимо них, еще двое посторонних: исцелив-

шийся инвалид Луи Бурьет и владелица самого крупного в Лурде ателье мод Антуанетта Пере. Эти двое также были посланы — портниха вдовой Милле, а Бурьет мельником Антуаном Николо — для того, чтобы рассказать дома о состоянии здоровья Бернадетты. Мадам Милле очень разболелась и постарела, а кроме того, испытывает суеверный страх перед железной дорогой. Поэтому, как ни жаждала она увидеться с Бернадеттой, не решилась на эту утомительную поездку и послала вместо себя надежную и опытную Пере. Антуан тоже не смог отважиться на поездку в монастырь и послал за себя менее опытного человека — правда, по другим причинам. Вся эта компания воспользовалась пунктами пересадки для того, чтобы осмотреть достопримечательности городов, лежавших на их пути. Лишь папаша Субиру не утерпел и с последней станции поехал дальше один.

Бернадетта всю ночь лежит без сна. Свидание с отцом сильно взволновало ее. Воображение, обузданное с таким трудом и направленное в определенное русло, разбушевалось и насылает на нее одну за другой картины прошлого. А перед завтрашним визитом она испытывает скорее страх, чем радость.

Мать Жозефина Энбер и мать Мария Тереза Возу не упускают случая лично оказать почетный прием делегации из Лурда. По распоряжению настоятельницы гостей угощают прохладительными напитками. Бернадетте не по себе от этой толпы визитеров и этого торжественного приема.

Все чинно расселись в большом зале для гостей, мрачном помещении с красными плюшевыми креслами, громоздким диваном, железной печкой, которая обычно дымит, серым распятием и голубой Мадонной на стене. Все здороваются с Бернадеттой так официально, словно до этого были с ней незнакомы. Аббат Помьян, похоже бесследно утративший чувство юмора, открывает список ораторов тщательно взвешенными словами:

— Дорогая сестра, мне поручено передать вам сердечнейший привет от нашего декана. Декан Перамаль пребывает в добром здравии, несмотря на неустанные труды свои. Вы легко можете себе представить, сестра, насколько их прибавилось с тех пор, как вы нас покинули. В некоторые дни в город приезжают не только тысячи паломников, но и целые поезда страждущих со всего света. Временами даже у нашего декана голова идет

кругом. Он будет весьма рад услышать хоть слово от вас, сестра Мария Бернарда. Что передать вашему престарелому кюре?

— О, господин аббат, — очень тихо отвечает Бернадетта, помолчав, — я так благодарна господину декану за то, что он вспоминает обо мне…

Слыша это, настоятельница монастыря удовлетворенно кивает. Ей нравится безукоризненная форма ответа. И ей даже в голову не приходит, что слова Бернадетты продиктованы только наивной искренностью.

Теперь очередь секретаря мэра, Куррежа; этот также передает привет от своего патрона:

— Вы даже не представляете себе, дорогая сестра, как мы гордимся вами. Город откупил кашо у Андре Сажу. И будет поддерживать дом в том виде, в каком он был…

— Лучше бы его снести, — перебивает его Бернадетта испуганно и чуть ли не запальчиво. — Во дворе такая грязь…

— Нельзя этого делать, сестра, — снисходительно улыбается чиновник. — Этот дом имеет историческую ценность. Когда-нибудь на нем будет висеть мемориальная доска…

Бернадетта бросает испуганный взгляд на Марию Терезу. Боже правый, что та сейчас думает!

Но ведь она тут ни при чем. И чтобы побыстрее переменить тему, она спрашивает:

— А как поживает ваша дочка, милая Аннетт, месье?

— О, Аннетт давно замужем, как и большинство девушек вашего возраста. За исключением Катрин Манго, о которой приходится слышать не слишком приятные вещи.

Поскольку разговор течет вяло и даже на таких скользких местах оживляется весьма слабо, самый робкий из гостей, Луи Бурьет, собирается с духом и открывает рот, чтобы тоже передать привет от своего друга. Дела у мельника Антуана идут хорошо, а живет он вместе со своей матушкой, которая по-прежнему бодра. Сам Антуан, один из самых статных мужчин в городе, всегда возглавляет процессии в Массабьель с огромной хоругвью в руках. Он заслужил эту честь, так как был одним из первых лиц мужского пола — свидетелей явлений Дамы в Гроте. Бернадетта отвечает на неуклюжую речь дядюшки Бурьета слабым подобием улыбки и забывает поблагодарить за привет от Антуана. Но неумолимому оратору неймется: он тщится что-то прояснить насчет чувств, испытываемых к Бернадетте его другом, и вдруг начинает — наполовину на

местном диалекте — превозносить маленькую девочку с улицы Пти-Фоссе, добившуюся таких больших успехов:

— Как жалко, что вы не видите, как изменился за это время Лурд! Господи боже, вот бы вы удивились! У нас теперь полным-полно шикарных магазинов, где можно купить статуэтку Пресвятой Девы и свечи к ней, а также бокалы для воды из источника и четки всех размеров. А ваш портрет, дорогая сестра, ваш портрет можно уже купить за два су…

— Больше я и не стою, — сухо роняет Бернадетта.

Бурьет спохватывается. Видимо, он брякнул что-то лишнее и подвел своего друга.

— Да нет, есть и более дорогие портреты. Даже по два с половиной франка — такие большие, цветные…

Бернадетта неотрывно глядит в пол. Почему этот несчастный не замолчит! Но каменотес Луи Бурьет — человек другого склада, чем Антуан Николо. Он ничего не замечает. И его несет все дальше и дальше.

— Можно купить даже целые книжки про вас — если кто умеет читать. И там все как есть написано, как и что было тогда…

Бернадетта судорожно сцепляет пальцы, как всегда в мучительные минуты. Но и это не останавливает Бурьета, который старается по поручению своего друга порадовать сердце обожаемого существа:

— А еще намечено построить целую панораму, на которой будет изображена вся эта история. И называться она будет «Панорама Бернадетты Субиру».

Тут не выдерживает уже сама настоятельница:

— Мне кажется, дорогая моя сестра Мария Бернарда, что вашим гостям хочется осмотреть нашу прекрасную церковь. И ежели кто-то из них пожелает увидеть ваши вышивки, можете показать им некоторые ваши работы. Господа, сестра Мария Бернарда — искусная рукодельница. А потом вы сможете немного поболтать наедине со своими родными, дочь моя. И конечно, вправе принять вашу сестру и тетушек в собственной келье.

Бернадетта ровным голосом дает пояснения гостям, показывая достопримечательности монастыря, как это обычно делается по воскресеньям, когда сюда наезжают посетители. В Лурде уже прослышали о ее вышивках. И Антуанетта Пере, сама искусная вышивальщица, настаивает,

чтобы ей непременно их показали. После долгих упрашиваний Бернадетта с явной неохотой раскладывает несколько вышивок на столе в ризнице.

— Пресвятая Дева! — восклицает Пере вне себя от изумления. — Чего вы только не умеете! Вы вышили это по образцам?

— О нет, мадемуазель Пере, — равнодушно возражает Бернадетта. — У меня нет никаких образцов.

— Значит, все эти удивительные птицы, цветы, животные и орнаменты рождаются в вашей голове?

— Да, мадемуазель, в моей собственной голове.

— Я всегда знала, что в вашей головке таится много всего, — кивает кособокая портниха, не упускающая случая заявить всем и каждому, что именно ей принадлежит честь открытия необыкновенной одаренности лурдской чудотворицы.

— Видите, мадемуазель, а мне и до сих пор неясно, что таится в этой головке, — шутливо вмешивается в разговор мать Возу, в этот момент появившаяся в дверях церкви.

— А какая работа! — продолжает восхищаться Пере. — Какая изумительная работа! Кажется, вам все дается легко, за что бы вы ни взялись. Все

у вас получается лучше некуда!

— О нет, мне это стоило большого труда, мадемуазель Пере, — защищается Бернадетта.

А секретарь Курреж, верный ученик своего патрона, только покачивает головой.

— Если бы выложить на продажу несколько этих вещиц в одном из наших больших магазинов для рождественских подарков, на каждой можно было бы заработать сотни франков…

— О нет, — быстро возражает Бернадетта, — это сделано только для нашей общины. — И поспешно сворачивает свои вышивки.

Потом она провела Марию и тетушек в келью. Четыре женщины, в том числе неуклюжая Бернарда Кастеро, заполняют каморку так, что даже стоять тесно.

— Здесь ты и живешь, дитя мое? — спрашивает тетя Бернарда.

— Да, здесь и живу, тетя, то есть здесь я молюсь, думаю или сплю…

— По тебе и видно, что ты больше молишься и думаешь, чем ешь, милое мое дитя, — изрекает семейный оракул, не так легко отказывающийся от былого превосходства над племянницей, как другие.

— Мы здесь в монастыре очень хорошо пи-

таемся, — уверяет Бернадетта. — И еда очень вкусная…

Но тетушка отнюдь не склонна верить этому заявлению. Она качает головой:

— Тебе нужно лучше питаться, дитя мое. Я поговорю с настоятельницей. Я имею право: как-никак я твоя крестная и теперь тебе вместо матери. Побереги себя, малышка. Хотя у нас в семье Кастеро все здоровяки и твоя мать просто печальное исключение. Но вот о семье твоего отца я невысокого мнения…

Бернадетта прижимает к себе сестру, которая заметно округлилась за эти годы и все время робко жмется в сторонке.

— А от тебя я еще ни словечка не слышала, дорогая моя сестренка…

— Да мне и рассказывать-то почти нечего, Бернадетта. Я простая крестьянка, этим все сказано…

— Отец говорит, что ты счастлива, что у тебя дети…

— Счастлива! — прыскает в кулак Мария. — Коли хватает на жизнь, и урожай неплох, и все здоровы, и нет никаких особых бед — считай, что счастлива. Дети у меня и правда есть, целых трое, да вот и четвертый уже на подходе…

— И ты все же приехала ко мне, несмотря ни на что, дорогая моя сестренка…

— Крестьянки работают вплоть до девятого месяца, а то и позже. Я все могу вынести, у меня кожа дубленая. Зато и поездка была что надо! И с тобой наконец повидалась. А вообще-то, я не всегда такая бочка.

— О, ты прекрасно выглядишь, сестренка! — восклицает Бернадетта, оглядывая располневшую фигуру сестры и ее красные узловатые руки. Ее собственные руки давно уже не похожи на прежние, натруженные тяжелой работой, они у нее бледные и худые. То ли дело сестра — кровь с молоком; когда-то они спали в одной постели, и после известных событий в Гроте сестра внушала ей некоторое отвращение… Внезапно Мария с обычной для беременных женщин бесцеремонностью хватает хрупкую руку Бернадетты и прижимает ее к своему животу.

— Чувствуешь, как оно там шевелится?

Бернадетта ощущает тепло сестриного тела под юбкой. Чувствует и легкие толчки, от которых ее пробирает какая-то странная дрожь. Она быстро отдергивает руку.

Отъезд гостей назначен на утро следующего дня. Настоятельница предлагает Бернадетте про-

водить родных и друзей на станцию. И дает ей в провожатые одну из монахинь. Всем приходится долго стоять на перроне и произносить пустые и мучительные для всех прощальные слова. Но все делают вид, будто прощаются ненадолго.

— Мы еще приедем к тебе, Бернадетта… И даже очень скоро приедем, дорогое мое дитя… А ты не могла бы устроить так, чтобы тебя послали когда-нибудь в Лурд? Ведь там у нас много ваших монахинь…

— О, может быть, меня тоже пошлют в Лурд… Во всяком случае, мы скоро увидимся — с папой, с Марией, тут или там…

Произнося эти слова, Бернадетта точно знает, что прощание это не на время, а навсегда. Перед глазами у нее все плывет. Уже несколько лет она не бывала в таком людном месте. И на душе у нее так тошно, что она еле держится на ногах. Но прежде чем поезд прибывает к перрону, аббат Помьян отводит ее в сторонку.

— У меня есть еще одно поручение к вам от декана, весьма секретного свойства. Он посылает вам этот образок Мадонны. Такой же он обычно раздает школьникам. И просит меня передать вам на словах, что, если декан вам когда-нибудь понадобится, просто пошлите ему этот образок…

Рассеянно поблагодарив, Бернадетта прячет образок в карман.

Монахиням вообще не слишком приятно ходить по оживленным улицам. Кое-кто из встречных здоровается с ними, другие бросают на них враждебные взгляды, а некоторые даже суеверно хватаются за пуговицу.

Возвращаясь со станции, Бернадетта думает: «Отрешение от мирской жизни произошло, причем как бы помимо моей воли. У меня нет ничего общего с теми, кто сейчас уехал на поезде. И я от души благодарна нашей наставнице. О, как утомителен был этот день…»

В монастыре в эти минуты все садятся за стол в трапезной. И вновь, как тогда, на второй день после прибытия Бернадетты в монастырь, мать Мария Тереза обращается ко всем с краткой речью:

— У нашей дорогой сестры Марии Бернарды сегодня были гости — миряне. Годами она не виделась со своими ближайшими родственниками и знакомыми. Для всех нас было бы весьма полезно узнать, как действует такое свидание на душу, ступившую на стезю отрешения от всего мирского. Я была бы вам благодарна, сестра моя, если бы вы сказали нам об этом несколько поучи-

тельных слов…

— О, мать Тереза, — спокойно отвечает Бернадетта, не вставая с места, — разве из камня можно выжать что-нибудь поучительное?

Глава сорок третья
Знамение

Сестра София умерла. Смерть ее была тихой и светлой — святой Иосиф особо постарался ради нее. Больную не поместили в больницу при монастыре. Она несколько раз намекала, что хотела бы остаться в стенах обители.

В последние дни перед кончиной престарелая монахиня не хотела видеть подле своего одра никого, кроме Бернадетты. А поскольку сестра София была наиболее любимой и почитаемой среди других монахинь общины, то предпочтение, отдаваемое ею Марии Бернарде, вызвало у них ревность. Душевный склад девушки из Лурда в который раз перечеркивает дальновидные планы перевоспитания, вынашиваемые настоятельницей монастыря и наставницей послушниц. По этому плану личность должна соответствовать определенному типу — типу всех монахинь Невера, сочетающему бенедиктинскую набожность с наибольшей активностью в трудах на ниве любви к ближнему. В случае с Бернадеттой, небесной избранницей, следует добиться наиболее полного

воплощения желаемого стереотипа: души простодушного и пассивного ребенка без каких-либо ярко выраженных черт характера, то есть той же Бернадетты, но такой, какая никогда не стала бы бороться за свою Даму. Ее изначальная избранническая сущность должна, согласно этому плану, встроиться в ряды тех, кто в наименьшей степени обладает собственным духовным миром. Бернадетта охотно согласилась бы и на эту жертву, если бы у нее получилось. Но она и здесь, как повсюду, вносит в души окружающих невидимый глазу раскол, вызывает у одних веру, у других неверие, восхищение или неприятие, не произнося ни слова в свою пользу или защиту. У нее есть рьяные сторонницы, как, например, сестра Натали, которая за истекшее время стала такой ревностной монахиней, что мать Энбер собирается назначить ее вскорости своей второй помощницей. Но умирающая сестра София так явно отличает Бернадетту перед остальными, что знаком просит их выйти из комнаты, когда Бернадетта сидит у ее изголовья.

Смерть в монастыре — нечто совсем иное, чем смерть в миру. В мирской жизни смерть похожа на несчастный случай при строительстве небоскреба. Один из рабочих, в поте лица вка-

лывающий на лесах, вдруг срывается с большой высоты, и его товарищи на несколько секунд вынимают трубку изо рта и робко заглядывают в зияющую под ногами пропасть, сознавая, что не сегодня, так завтра такая же участь постигнет и их самих. А смерть в монастыре похожа скорее на праздник по случаю окончания строительства дома, какой устраивают каменщики и плотники. Это праздник души. Люди трудились без устали ради этого единственного дня, когда можно будет перевести дух — в надежде, что дом выстроен на совесть и будет стоять вечно. День смерти в монастыре, подобно всякой сенсации, может вызывать и любопытство. Монахини сбегаются к одру умирающей и предаются горячей молитве. Они верят, что этим помогают своей сестре перенести последние страдания. Они ощущают себя умудренными высшим разумом, как бы повивальными бабками переселения души в иной мир. Тем более когда умирает такая сестра, как София, намного старше и опытнее их всех, более полувека отдавшая монашескому служению. От такой кончины вполне можно ожидать Небесной Благодати, поднимающей дух и рвение истинно верующих.

Эта благодать и нисходит на Бернадетту. На

ее глазах впервые умирает человек, и как ни легка эта кончина, она переворачивает до дна ее душу. Молодость любого человека кончается в ту минуту, когда он воочию видит реальную смерть другого. Бернадетта не сводит глаз с лица умирающей, находящейся в полном сознании и из последних сил старающейся улыбнуться. Эта улыбка предназначена ей, Бернадетте, единственной свидетельнице, дабы навеки остаться в ее душе. Бернадетта понимает, что эта улыбка без слов говорит ей о Даме: «Не поддавайся никому и ничему, Мария Бернарда. Дама знает, что делает. Знает, почему явилась тебе, а не кому-то другому. И знает, почему теперь дарует тебе земную жизнь. Просто иначе нельзя, так нужно. Но если дожить до моих лет, то умирать легко, я рада и счастлива, как никто. А ты, дитя мое, будешь еще радостнее в свой смертный час. Ибо Дама наблюдает за тобой — как в жизни, так и в смерти».

После похорон сестры Софии Бернадетта пытается вновь взяться за вышивание. Но не может. Руки словно одеревенели. Глаза не различают цвета шелковых нитей. Как будто Дама лично говорит ей: «Хватит играть в эту игру!» И она покоряется. Больше не занимается вышивкой. Проходит год, в течение которого мать Энбер и

монастырский священник Февр замечают: в Бернадетте что-то меняется. Но сама она ни перед кем не изливает душу. Теперь она относится к служению Богу уже не как прежде, по-детски, как ученица относится к домашнему заданию, которое надо выполнить; теперь служение Богу — это путь, который нужно пройти до конца, все более ясно осознавая его суть и цель. И хотя ей, по распоряжению заботливого епископа, все еще предоставляют различные послабления, она теперь участвует во всех занятиях и работах монахинь с каким-то небывалым рвением. Монахини этой общины не погружаются в самосозерцание, а деятельно трудятся в больницах и школах. Поэтому ночные молитвы здесь не предусмотрены ни уставом, ни обычаем. Лишь несколько престарелых или освобожденных от дневной работы монахинь встают в три часа ночи, чтобы пойти на утреннюю службу в церкви. К ним теперь все чаще присоединяется Мария Бернарда, пока настоятельница, ввиду ее слабого здоровья, не налагает запрет на раннее вставание. Бернадетта теперь как будто борется против чего-то старающегося ее поглотить, надвигаясь со всех сторон.

Община выписывает одну-единственную га-

зету, да и ту в одном экземпляре. Это «Юнивер», газета знаменитого Луи Вэйо, в свое время вставшего на защиту Бернадетты и лурдских чудес. В основном ее читают лишь настоятельница и наставница послушниц. Остальные монахини не испытывают большого интереса к текущим событиям за стенами монастыря, да и слишком устают за день тяжкого труда, чтобы читать газету. Но приходит такое время, когда «Юнивер» начинают передавать из рук в руки. Жирные заголовки кричат: «Война объявлена! Преступление Пруссии! На Берлин!» Потом появляются сообщения о значительных победах французского оружия. Потом побед все меньше. И под конец все с ужасом читают названия французских городов, захваченных неприятелем. В довершение всего оказывается, что император Наполеон взят в плен и пруссаки держат в осаде Париж.

Уже в первые недели войны монастырь Святой Жильдарды очень быстро пустеет. Первый отряд наиболее опытных сестер милосердия разъезжается по военным госпиталям, создаваемым в Париже и в других городах. А поскольку на этой войне льются реки крови, а кроме того, тут и там вспыхивают эпидемии, городские власти требуют все новых и новых санитарок. Теперь

зову Родины должны последовать и те монахини, которых готовили учительствовать в школах. Те немногие, что остаются в Неверской обители и в ее двухстах филиалах, щиплют корпию и готовят перевязочный материал. В их числе и Бернадетта. С каждым днем она становится все беспокойнее. Она прожужжала все уши мадам Энбер, умоляя послать ее в какой-нибудь госпиталь — ведь после послушничества она успела выучиться на санитарку. Настоятельница обещает при первой же возможности доложить о ее желании епископу. Однако епископ Форкад отнюдь не склонен подвергать опасности драгоценность, вверенную его попечению епископом Тарбским. Но в один прекрасный день обстоятельства круто меняются. В одной из епархий освобождается место епископа. И монсеньор Форкад получает новое назначение. На несколько дней Неверская епархия остается без главы. За эти дни замещающий епископа викарий удовлетворяет просьбу сестры Марии Бернарды. Городская больница в Невере переполнена, так как даже сюда, в городок, расположенный в ста тридцати милях от Парижа, везут и везут раненых. Большая часть прежнего персонала переброшена на север и запад страны. Так что срочно нужны руки, тем более умелые.

И вот Бернадетту Субиру направляют сестрой милосердия в неверскую городскую больницу. Но и мать Мария Тереза не может больше сидеть на месте. Монастырь Святой Жильдарды совсем обезлюдел. Наставница послушниц, учительница по профессии, тоже вызывается ухаживать за ранеными. Ее тоже направляют в городскую больницу Невера на должность сестры-распорядительницы.

И вновь миру является какая-то совсем новая Бернадетта. Тетушка Бернарда любила повторять, что в роду Кастеро все без исключения прирожденные доктора. У них легкая рука на лечение. Луиза Субиру не раз доказывала истинность этого утверждения, когда выхаживала сыночка Бугугортов и еще кое-кого из соседских ребятишек на улице Пти-Фоссе. А теперь и Бернадетта доказывает, что она истинная Кастеро, и трудно отделаться от мысли, что Дама, стремясь как-то помочь людям справиться с болезнями, сделала и в этом отношении правильный выбор, явившись именно ей.

Никто в больнице не знает, что сестра Мария Бернарда и есть та самая чудотворица из Лурда. Все видят в ней одну из монахинь-сиделок, такую же, как остальные, отличающуюся разве

что огромными глазами и приятными чертами лица. И как-то получается, что все больше раненых и больных взывают к ее помощи, даже в тех палатах, которые она не обслуживает. Целыми днями только и слышно, как все зовут к себе сестру Марию Бернарду. Решительность ее натуры, унаследованная от тети Бернарды и подавленная жизнью в монастыре, теперь выходит на первый план. В госпитале очень много солдат из линейных и кавалерийских частей, мобилизованных в По, Тарбе и других пиренейских округах. Бернадетта разговаривает с ними на местном диалекте, которым все еще владеет лучше, чем литературным французским. И делает это так живо, ее ответы так находчивы, она умеет шутить с таким чисто крестьянским юмором, что повсюду, где ей приходится появляться, возникает атмосфера веселости и радостного оживления. Если нужно утихомирить какого-нибудь заупрямившегося больного, тут же зовут на помощь Марию Бернарду. Работы у нее через край. Но силы Бернадетты от этого как будто только растут. Вид у нее такой здоровый, какого не было уже несколько лет. Врачи и священники, обслуживающие госпиталь, не могут нахвалиться Бернадеттой, и их высокая оценка доходит до ушей нового епископа, монсе-

ньора Лелонжа.

Мария Тереза Возу тоже отдает работе все силы; более того, она просто тянет из себя жилы. Часто трудится ночи напролет. Жертвует перерывами на отдых. Неустанно следит, чтобы предписания врачей строго выполнялись, чтобы больных кормили вовремя, обильно и вкусно. Часами простаивает на кухне и в бельевых, выдавая продукты и белье, все подсчитывая и пересчитывая с присущим ей безграничным педантизмом. Потом вновь обходит все палаты, медленно двигаясь от койки к койке, и ее глубоко посаженные острые глаза бдительно выискивают малейшие упущения. Но никто никогда не подзывает к себе сестру Возу, хотя делает она в сто раз больше реальных дел, чем Бернадетта. Она тоже говорит раненым ласковые слова, пишет под их диктовку письма, обещает самым бедным позаботиться об их будущем. И тем не менее стоит ей появиться в дверях, как над рядами кроватей проносится дуновение страха, словно большой воинский начальник прибыл делать смотр проштрафившихся. Как-то под вечер Мария Тереза и Мария Бернарда оказываются одни в комнате отдыха для сестер милосердия и сиделок.

— Я знаю вас уже столько лет, сестра моя, —

начинает разговор бывшая наставница, — и поверьте, мое уважение к вам растет день ото дня. Как вам удается привлекать к себе сердца людей и в мгновение ока приручать самых строптивых! Когда-то я была вашей учительницей в Лурде. Но теперь мне впору пойти к вам в обучение трудному искусству общения со страждущими душами, каковы мы все. Как вы это делаете, Мария Бернарда?

— Да что вы, — удивленно пожимает плечами Бернадетта. — Разве я что-то делаю? Ничего я такого не делаю…

— Вот-вот, именно так, сестра моя, — с готовностью кивает Мария Тереза. — В самую точку. Ничего вы такого не делаете…

Проносится слух, что император с императрицей эмигрировали в Англию. Газета огромными буквами печатает новое имя: Гамбетта. И опять вести с театра боевых действий. Поступают новые партии раненых. Но потом и это кончается, война кончается. Однако бои уходят в прошлое быстрее, чем заживают размозженные кости, загноившиеся внутренности и другие военные раны. Лишь к концу года монастырь Святой Жильдарды вновь заполняется вернувшимися сестрами; Марию Бернарду и Марию Терезу

тоже отпускают домой. Как-то вечером они обе в последний раз выходят из госпиталя; каждая несет в руке небольшой баульчик. Мария Возу замечает, что Бернадетта слегка приволакивает левую ногу. Но ничего не говорит, ибо душу ее вновь охватывает всегдашнее подозрение: «Ага, понятно, хочет мне показать, как она изможденa и утомлена после долгой работы в госпитале!»

Все ночи, следующие после возвращения в монастырь, Марию Терезу мучает один и тот же навязчивый сон. Будто бы она стоит перед гротом Массабьель. Но Грот не похож на тот, который ей знаком. Скорее, это глубокий провал, несмотря на обилие горящих свечей, смахивающий скорее на преддверие преисподней. Но где-то в глубине черного провала притаилось чудовище, злой великан, падший от своей гордыни. Мимо Грота течет не Гав, а серая от пены бурная река шире Луары. Туман мало-помалу рассеивается. И оказывается, что у берега по колено в воде стоят люди в грязных бинтах, опирающиеся на палки или костыли, калеки на деревяшках вместо ног. И все они с надеждой смотрят в сторону Грота. А там — Бернадетта, девочка-подросток, играет с другими детьми в пятнашки, водит хоровод и хлопает в ладоши. Время от времени Бернадетта

заливается таким громким хохотом, что наставница послушниц даже во сне краснеет от стыда. Спящей кажется, будто эта играющая девочка смеется над всем миром…

Сон этот, преследующий ее несколько ночей кряду, ввергает Марию Терезу в сильное беспокойство. Может, теперь, четырнадцать лет спустя после событий в Массабьеле, ей надлежит усмотреть в этом навязчивом ночном кошмаре некое пророческое предзнаменование, подтверждающее ее давнишние сомнения? Она молит Господа, чтобы Мария Бернарда не оправдала ее подозрений. Молит, чтобы Мария Бернарда волочила ногу не из желания подчеркнуть свои заслуги — это особенно больно ранит душу воспитательницы. И однажды вечером Мария Тереза не выдерживает и входит в келью Марии Бернарды. Входит без кровинки в лице, словно после тяжелой болезни.

— Помогите мне, сестра моя! — жалобно восклицает она, всем своим видом являя зрелище такого душевного смятения, какого Бернадетта никак не могла от нее ожидать.

— О, с какой радостью! Чем я могла бы вам помочь?

— Только вы можете мне помочь, сестра, ибо

речь идет о вас…

— Обо мне? — испуганно переспрашивает Бернадетта. — Может, я совершила какую-то ошибку?

— Если бы я знала, сестра моя! — скорбно выдыхает та. — Я не имею права так говорить с вами. Я не ваш духовник, не ваша мать настоятельница, да и им не дано такого права. Но я прошу вашей помощи, потому что сомнения гложут мою душу…

— О каких сомнениях вы говорите, мать моя?

Мария Тереза опирается о стену, словно ноги уже не держат ее.

— Бернадетта Субиру, помогите мне! Потому что я не верю вам…

— Разве я в последнее время солгала вам хотя бы раз? — обескураженно спрашивает Бернадетта.

— О нет, вы ни разу не сказали неправды, сестра… И тем не менее мысль о том, правдива или лжива вся ваша жизнь, не дает мне покоя…

— Этого я не понимаю, мать моя, — отвечает Бернадетта потупившись.

— Я сдержала свое слово, Мария Бернарда, и после нашей первой встречи больше ни разу не заговорила с вами о явлениях в Гроте. Знаю, с моей стороны непорядочно теперь нарушать

свое собственное обещание. Знаю также, что непростительный грех — пребывать в сомнении вопреки решению богословской комиссии, расследовавшей ваш случай, вопреки мнению епископа и даже вопреки мнению его святейшества папы. Но Господь видит мои сердечные муки, сомнения точат мою душу, и я не могу положить им конец. Вот почему я пришла к вам, сестра моя, и прошу вашей помощи.

Бернадетта медленно и серьезно отрывает глаза от пола:

— И в чем же вы мне не верите?

— Хороший вопрос, Мария Бернарда! Я верю, что у вас были видения, и даже несколько раз. Но не в силах поверить, будто привидевшаяся вам говорила с вами на местном диалекте и внятно сама себя назвала. Сколько лет я имею дело с вами, столько лет думаю и молюсь о вас. Об этом я могу дать отчет перед Богом. Я знаю ваш по-детски милый и легкий характер. Вашу — как бы это назвать? — художественную натуру. Знаю также вашу почти безудержную фантазию, по тем эскизам, какие вы делали для вышивок. Может быть, эта безудержная фантазия и присочинила кое-что существенное к тем видениям, которые у вас действительно были, а вы потом уже и сами

не могли отличить, что было, а чего в действительности не было? Может быть, в свое время, в те февральские дни, даже пересуды женщин и девочек, толпившихся вокруг вас, еще подогрели эту фантазию, так что вам уже казалось, будто вы видите и слышите то, что вам внушили заранее? Вы умеете привлекать к себе людей, как никто другой. Это тоже дар Божий, но дар опасный. Так одно могло подстегнуть другое. Вы тогда были ребенком. Вы и сейчас ребенок. Вы сами уже не могли определить границу между действительно виденным и порожденным вашей фантазией. Рассказанное все больше казалось действительным. А став однажды на этот путь, вы уже не могли отступить. Благодаря вашему дару будить сердца людей вы привлекли на свою сторону членов епископской комиссии точно так же, как еще ранее до слез растрогали его преосвященство епископа Монпелье. Разве не могло все быть именно так, дорогое мое дитя?

— Нет! Все было совсем не так, мать моя, — тихим голосом отвечает Бернадетта.

— О, вы освободили бы меня от ужасных мук, если бы сумели меня переубедить! А так — кроме отъявленных безбожников, вероятно, только одна я, недостойная, еще сомневаюсь в вас. Я ведь и

сама в ужасе оттого, что вынуждена так говорить с вами. Но назовите мне знамение, которое могло бы мне помочь.

— Разве исцеления водой из источника — не знамение? — спрашивает Бернадетта после долгого молчания.

— Знамение, и даже очень важное, сестра моя, самое важное из всех возможных. Но мне требуется другое, касающееся лично вас, Мария Бернарда. Выслушайте меня. Я хочу рассказать вам случай из того времени, когда я сама была послушницей. В ту пору в монастыре жила престарелая сестра Раймонда. Она была человеком того же склада, что и недавно ушедшая от нас сестра София. Но покуда у нее были силы, сестра Раймонда много трудилась, гораздо больше сестры Софии — причем не где-нибудь, а в больнице при богадельне Нима, где приходится ухаживать за совсем дряхлыми стариками, что, как вы знаете, благодарным трудом никак не назовешь. Тем не менее сестра Раймонда была во всем первой — и в молитве, и в медитации. И при этом всегда такая тихая и светлая, как дитя малое. В миру о ней никто ничего не знал. Она не утверждала, что у нее были видения. Ни газеты, ни высокие церковные пастыри ничего о ней не писали и

не говорили. Кроме, может быть, ее духовника, никто не знал, какой благодатью она была отмечена. И все мы до самой ее смерти тоже не знали, что ей была ниспослана Небом самая большая милость: у нее были стигматы на руках…

Бернадетта резко, даже возмущенно вскидывает голову.

— Боюсь, что ничем не смогу вам помочь, мать моя, — роняет она.

Потом садится на свое ложе и сидит не двигаясь. Возу тоже застывает и смотрит на нее неотрывно. Спустя какое-то время Бернадетта поднимает глаза, словно ей в голову вдруг пришла какая-то мысль, и слабо улыбается.

— Может быть, у меня все же есть для вас знамение, — шепотом сообщает она и медленно приподнимает подол, открывая левую ногу. Колено ее страшно изуродовано опухолью, величиной чуть ли не с голову ребенка. При виде этой опухоли Возу вздрагивает. Шатаясь, идет к двери. Возвращается. Открывает рот, пытаясь что-то сказать. Но не может выдавить ни слова. Молча валится на пол перед Бернадеттой, сломленная открывшейся ей связью причин и следствий.

Глава сорок четвертая
Не для меня этот источник

А связь причин и следствий, мгновенно открывшаяся Марии Терезе Возу, когда она повалилась на пол при виде ужасного знамения на ноге Бернадетты, состоит вот в чем.

Дама Массабьеля избрала невинное создание на роль исполнителя своей воли и первым делом вложила ему в уста многократно повторенный призыв к искуплению, хотя создание это по молодости лет и наивности не могло понимать смысл этого призыва, адресованного грешникам во всем мире. Искупление! Искупление! Искупление! Мир тонет в грязи и болезнях! Молитесь за грешников! Молитесь за больной мир! Связь между искуплением и грехом светла, а связь между грехом и болезнью темна. Призыв к искуплению — лишь подготовка к осуществлению замысла Дамы. При необычных обстоятельствах (глотание земли, рвота) невинная и наивная девочка откапывает благословенный источник, который мало-помалу являет людям свою чудодейственную силу и сверхъестественными исцелениями

раскалывает весь мир на сторонников и противников Дамы. Открытием источника задача ребенка практически выполнена, и он как бы отстраняется от служения Даме. Церковные власти подвергают феномен в Гроте тщательнейшей, чуть ли не предвзятой проверке, занимающей целых четыре года. Лишь после этого церковь официально признает сверхъестественную природу этого явления. А что же происходит с Бернадеттой, посредницей между Дамой и миром? Епископ Тарбский давно уже взял на себя заботу о том, чтобы это Божье создание попало под покровительство церкви. Он помещает этот цветок в один из самых прославленных монастырских садов Франции, дабы он расцветал там в уединении и стремлении к совершенству, доступному лишь лицам духовного звания, которое только и может соответствовать высочайшей избранности в прошлом. Однако в садовницы этого монашеского ордена Провидение назначает не кого иного, как монахиню Марию Терезу, дочь генерала Возу. Та считает своей задачей взращивать души одного определенного типа, выработанного тысячелетней мудростью церкви, которая все точно знает и о человеке, и о его возможностях. В девяноста пяти случаях из ста

действительно удается вылепить из разных от природы людей этот проверенный веками тип. Однако сколь примечательно, что монахиня Возу, внешне безупречно воплощающая этот тип, своей неуемной душой страдает от собственного властолюбия и себялюбия и, несмотря на всю аскезу и самодисциплину, лишь внешне и лишь для видимости поддается стрижке под одну гребенку! Ее происхождение, кровь, текущая в ее жилах, ее образование, ее интеллект и энергия создают необоримые искушения глубоко затаившейся гордыне. Несгибаемая сила личности и есть та подлинная причина, по какой Возу не может справиться ни с собой, ни с Бернадеттой. Ибо Бернадетта тоже тверда, как алмаз. Все это отнюдь не означает простую арифметику душ. Смена притяжений и отталкиваний происходит где-то в темных глубинах подсознания. Об этом никто не знает, ни духовник наставницы, ни тем более она сама. Она вынуждена все время бороться с Бернадеттой. И делала это еще в Лурде. Но тогда с Бернадеттой боролись все — не только светские власти, но и клирики, в том числе декан Перамаль и епископ Бертран Север. Вплоть до окончательного вердикта епископской комиссии они так же не доверяли девочке, как и она, ее учи-

тельница. Но Мария Тереза Возу, к сожалению, обречена не верить избраннице Неба вопреки ясному языку фактов. Она и сама противится этому неверию, отдавая многие часы молитвам. Однако молитвы ее, очевидно, остаются неуслышанными. Ибо какой-нибудь незначительный поступок Бернадетты или случайно оброненное ею слово вновь и вновь ввергают Возу в душевные муки. Пускай все подтверждено и проверено, но в глубине души она никак не может примириться с тем, что эту, как ей кажется, обыкновенную, поверхностную и скрытно-строптивую натуру Небо почему-то предпочло всем остальным людям. В самых тайных закоулках ее души кровоточит страшный вопрос: «Почему ее, а не меня?» И еще один, еще более страшный: «Правилен ли мой путь, путь вечного напряжения, если есть другая, которой дано играючи и бездумно преодолевать все препятствия на пути к Небу?» Многие годы Марии Терезе удается скрывать этот мучительный душевный разлад от Марии Бернарды, от всех остальных, тем паче — от собственной совести. Лишь тот навязчивый сон с адской пропастью в Массабьеле рассеивает туман, скрывающий этот разлад. И Возу, образец сдержанности и самообладания, уже не может совладать с собой и

требует от несчастной девушки доказательств ее избранности. И что же? Она воочию видит Божье знамение на ноге Бернадетты и сознает это в миг озарения, швырнувшего ее в бездну! На Бернадетте стигма! Эта стигма — знамение ее смертельной болезни. Благодаря этой болезни та, кто по указанию Пресвятой Девы откопала источник тысячекратных излечений, становится протагонисткой всех страждущих. Тем самым Бог ниспосылает ей после всех чудес, которые творит ее руками, еще одну милость — претерпеть страдания, как терпел их Христос, то есть уподобиться самому Спасителю! У монахини Возу голова идет кругом. Распростершись на полу, она вжимает худое лицо в костлявые ладони. В мозгу у нее никак не умещается то ужасное и одновременно возвышенное, что выпало на долю Бернадетты. Раскаяние и благоговейный страх перед таинственной силой придавливают Марию Терезу к полу. А обладательница столь страшного дара уже прикрыла подолом колено, и на лице ее даже светится легкая улыбка, словно все это вполне естественно и по-другому и быть не может.

Монахиня Возу в минуту озарения ставит правильный диагноз. Опухоль на колене Бернадетты возникла не в результате вполне излечимого

заражения. Она симптом смертельного заболевания. Костный туберкулез — одна из наиболее продолжительных смертельных болезней, к тому же еще и одна из самых мучительных. Периоды облегчения лишь подчеркивают неотвратимость конца. А в периоды обострения добавляются еще и жестокие осложнения в виде воспаления нервных окончаний. Страдания лурдской чудотворицы длятся не семь дней, а больше семи лет. А семь лет — это две тысячи пятьсот пятьдесят пять дней.

Бернадетта принимает болезнь, как принимала все, что преподносила ей жизнь: не строя никаких планов и не докапываясь до причин. Точно так же выполняла она указания Дамы, когда жевала горькую траву, когда глотала сырую землю, когда дважды на протяжении одного дня осмеливалась войти в львиное логово Перамаля. Точно так же выдерживала она допросы и обследования психиатра или глупые приставания любопытных, оскорбления, восхваления и назойливость окружающих. Так и теперь она принимает болезнь как нечто вполне естественное, ни разу ни словом не обмолвившись о божественном смысле предзнаменования, который осознала монахиня Возу и который для нее самой отнюдь не является

тайной. Однажды она сказала Натали:

— Ведь эта болезнь послана мне просто потому, что было неизвестно, что дальше со мной делать…

В этих полушутливых словах нет ни следа стандартного смирения. Они того же порядка, что ответ Бернадетты на вопрос настоятельницы в первый же день, когда та спросила, что Бернадетта умеет делать: «О, очень немногое, мадам настоятельница!» Этот ответ продиктован не смирением, а еще более редкой добродетелью: самой строгой и трезвой самооценкой, которую не в состоянии поколебать ни милости Неба, ни восхваления жителей Земли. И во время долгой своей болезни Бернадетта ни минуты не изображает из себя героиню и страстотерпицу. Когда боли становятся нестерпимыми, она плачет и стонет и просит дать ей что-нибудь болеутоляющее. Монахиня Возу, если бы заболела — а она, слава богу, здорова, — даже испытывая жесточайшие муки, не издала бы ни звука, а лежала бы, бледная и неподвижная, как средневековая королева, страдая безмолвно и жертвенно. Не такова Бернадетта. Ей и в голову не приходит считать жертвой то, что все равно неотвратимо. Она не ждет награды за страдания. И так долго

скрывала страшную опухоль лишь для того, чтобы ее не отстранили от работы в госпитале. А теперь молчать уже незачем. И если она все же старается удержаться от стенаний, то лишь из страха, что ее переведут в больницу. А она хочет остаться в монастыре — точно так же, как ее покойная подруга сестра София.

Болезнь высится перед Бернадеттой, словно огромный холм, сквозь который она слабыми своими руками должна прорыться, чтобы когда-нибудь увидеть свет. И она роет и роет сотни дней и ночей, не теряя мужества, сохраняя бодрость и неутомимость труженицы. Она все время в трудах. Ибо трудно теперь все: лежать, сидеть, делать любое движение, дышать, засыпать, просыпаться. Так же как некогда вышивкой, теперь она полностью поглощена своей болезнью. Но никакого нетерпения не проявляет. Ни разу не высказывает желания, чтобы все это поскорее кончилось. К своему величайшему удивлению, монахини замечают, как сильно Мария Бернарда любит жизнь, хотя жизнь ее — сплошные мучения. Разрушение костных тканей ног и плеч требует время от времени хирургического вмешательства. В такие периоды приходится доставлять Бернадетту в больницу. И когда она

потом возвращается в родные стены, то при всей своей беспомощности находит в себе силы шутить и радоваться.

Присущий Бернадетте дар влиять на души людей теперь, во время ее болезни, проявляется еще сильнее. Сестры Неверской обители осознают наконец, каким драгоценным сокровищем одарила их на время судьба. Келья Марии Бернарды становится центром притяжения для всего монастыря, хотя ничего особенного здесь не происходит. Как и прежде, уроженка Лурда никогда не говорит ничего необычного и выходящего за пределы повседневного опыта. Ее уста не изрекают поучений или мистических истин. Однако то тут, то там в простейших ее словах проблескивает смысл, который ощущается лишь спустя какое-то время и вызывает слезы на глазах у сестры Натали и даже у самой настоятельницы.

Больше всех под влиянием общения с Бернадеттой меняется Мария Тереза Возу. Но и эта перемена опять-таки всего лишь результат самовоспитания бывшей наставницы. После того как мать Возу признала превосходство Бернадетты и убедилась в никчемности своего собственного, чисто волевого пути к спасению души, она отвергает его и старается обрести себя в простом

смирении, которое так чуждо ее натуре. Но главным для генеральской дочери теперь становится непрестанное служение дочери простолюдина, во всем доказавшей свое превосходство. Решительная монахиня властно берет в свои руки весь уход за больной. Поэтому настоятельнице часто приходится улаживать конфликты между бывшей наставницей послушниц и своей второй помощницей Натали, которая никак не хочет уступить свой пост у постели возлюбленной Марии Бернарды. Но горькая ирония жизни заключается в том, что Бернадетта отнюдь не чувствует себя осчастливленной, когда ее учительница и наставница с прежним упорством оказывает ей услуги. Наоборот, она стесняется и стыдится столь неподобающей перемены положения. И получается, что, несмотря на все душевные усилия и жертвенность Марии Терезы, прежний гнет по-прежнему давит на Бернадетту, только по-новому.

Развитие болезни приводит к тому, что уже на второй год болезни ноги отказывают Бернадетте. Но, поскольку она хочет участвовать и в общих молитвах, и в общих трапезах, приходится носить ее и в церковь, и в трапезную на руках. И тут вновь вспыхивает конфликт между Марией

Терезой и Натали. Но на этот раз настоятельница легко разрешает их спор. Натали — существо хрупкое, субтильное. А у Марии Возу, рослой и жилистой, хватило бы сил носить на руках трех таких пушинок, как Бернадетта. Поэтому Мария Тереза по нескольку раз в день берет ее на руки и очень бережно несет по лестницам, причем в глазах у больной неизменно гнездится страх.

Между собой монахини часто поговаривали, но по каким-то причинам не решались всерьез и открыто сделать Бернадетте одно предложение. Но вот в течение нескольких недель Бернадетта чувствует себя лучше, даже в весе немного прибавила. И к концу трапезы мать Жозефина Энбер обращается к ней:

— Готова побиться об заклад, что вы, дорогое мое дитя, и сами частенько подумывали о том же, что и мы все. Но пока у вас были сильные боли, нельзя было и помыслить о дальней поездке.

— Я не знаю, о чем вы говорите, мадам настоятельница, — робко замечает Бернадетта.

Мать Энбер заставляет себя улыбнуться:

— Разве вам самой не стоит воспользоваться той благодатью, которая с вашей помощью даровано Небом всем страждущим?

— Что вы хотите этим сказать, мадам настоя-

тельница? Что-то я в толк не возьму…

— В вашем нынешнем состоянии — вам ведь заметно полегчало — можно было бы решиться на поездку в Лурд…

— О нет, ни в коем случае! — испуганно вскрикивает Бернадетта.

— Отчего же, дорогая дочь моя?

— Оттого, что этот источник — не для меня, мадам настоятельница.

Монахини, сидящие за столами, долгое время молчат. Наконец Натали спрашивает:

— Этого я не понимаю. Почему это источник именно на вас не подействует, сестра?

— Нет, нет, для меня этого источника нет! — упорно стоит на своем Бернадетта.

— Откуда вы это знаете, дитя мое? — допытывается Возу, долгим взглядом вглядываясь в лицо больной.

— Просто знаю, и все, — роняет Бернадетта.

— Это сказала вам Дама? — не отстает Возу.

— Дама больше не говорит со мной.

— Может, она дала вам это почувствовать?

— О нет, Дама больше не обращает на меня внимания… — И еще раз повторяет, прежде чем перевести разговор на другое: — Знаю, и все…

Глава сорок пятая
Дьявол терзает Бернадетту

За последние два года Бернадетта исхудала так, что стала почти невесомой. Но сама болезнь как будто затаилась или, лучше сказать, выдохлась. Ночи ужасных болей случаются все реже. Зато наступает период необычайно обостренной душевной ранимости. Когда Бернадетта была здорова, она никогда не испытывала угрызений совести и излишнего чувства вины. Скорее наоборот! Обаяние этой души как раз и заключалось в том, что она жила как живется, ничего и никого не опасаясь. А теперь вдруг ни с того ни с сего превратилась в чувствительнейшие весы для мельчайших поступков, отягчавших ее совесть. И чем больше прошлое, годы, прожитые в Лурде, оттесняют на задний план внешнюю бессодержательность теперешней жизни больной, тем острее ее приступы раскаяния. Постепенно настоящее и прошлое сливаются в болезненно ранящую нерасторжимость. Случается, Натали застает Бернадетту в слезах.

— Ради бога, что с вами, сестра?

— О, я вела себя так отвратительно…

— Что вы такое говорите, друг мой? По отношению к кому вы могли себя так вести?

— А вот смогла же, Натали! По отношению к моей матери. В тот раз, когда…

— Но ведь ваша матушка умерла больше десяти лет назад, Мария Бернарда…

— Она сварила луковый суп и налила мне полную миску. А я была сердита, бог знает почему, и закричала на мать: «Отстань от меня наконец со своим луковым супом, видеть его не могу!» Я в самом деле сказала эти слова…

— Но с той поры прошло столько времени, больше шестнадцати лет, — удивленно качает головой Натали.

— Ничто не проходит, все остается навсегда, — рыдает Бернадетта. — О, бедная моя мамочка, как тяжко ей жилось на белом свете, а я, я тоже портила ей жизнь…

В другой раз Бернадетта делает глазами знак Марии Терезе:

— А вы и не знаете, мать моя, что я вырвала из катехизиса два листа…

— О каком катехизисе вы говорите, сестра?

— О том, который был у меня в школе…

— И вы все еще о нем помните, дорогое дитя

мое?

— Помню ли? Так ведь он лежит вон там, среди моих вещей. А вырвала я эти страницы просто по злобе. Я разозлилась на Жанну Абади за то, что она кичилась своими успехами в учебе, только об этом и говорила…

Чувство вины мучает Бернадетту и по отношению к престарелой сестре Софии, омрачая светлую память о ней.

— О, она сидела рядом со мной часами, — не раз говорит Бернадетта сестре Натали, — а я рисую и вышиваю как одержимая. Но ведь она, бедная, не может говорить, не может сказать, что хочет, только шевелит и шевелит губами. А я-то и внимания на нее не обращаю и думаю про себя: «Не понимаю я, чего ты хочешь!» И не пытаюсь ей как-то помочь, Натали, даже не пытаюсь. О Иисус и Мария, как можно быть такой злой…

Много таких мелких грехов выплывает из ее памяти, словно капли крови из свежей раны. Любую другую монахиню, мучающуюся от подобных пустяков, сочли бы лгуньей и истеричкой. Но у Бернадетты муки эти вырываются с такой силой и жизненной правдой, что исторгают слезы у Натали и других свидетельниц ее страданий. И чем явственнее проступает прошлое, тем больше

блекнет настоящее. Когда Бернадетта получает телеграмму от брата, извещающую о кончине мельника Франсуа Субиру, она только осеняет себя крестным знамением и не произносит ни слова.

Но на ее долю выпадает еще одно необычайное испытание, повергающее в ужас весь монастырь Святой Жильдарды. Душа человеческая, столь сильно рвущаяся к свету, корнями уходит в мрак и ужас. И душа Бернадетты в этом смысле не исключение. Еще в раннем детстве, до того как ей выпало счастье лицезреть посланницу небес, ясновидящие ее глаза обладали даром населять окружающее пространство чудовищами и призраками. Сырые пятна на стене их комнаты в кашо. Облака в Бартресе. Листва, колышущаяся под слабым ветерком. Белые камни на дне Гава и ручейков. Все это служило реальным обрамлением для призрачных образов, теснившихся в душе ребенка. Причем большинство этих образов были не милыми, приятными или хотя бы нейтральными, а их полной противоположностью, что, в общем-то, странно, поскольку девочка во всем жаждала красоты. Пятно на стене представлялось ей головой козла. Просвет в колеблющейся на ветру кроне казался зловещим гномом. Камни на

дне реки становились черепами утопленников. И все это вместе порождало в душе девочки, родившейся в Пиренеях, невыносимый страх перед миром. В очень нежном возрасте Бернадетта уже научилась связывать этот свой страх с носителем имени Зла.

Но теперь, когда поток ее жизни устремляется в последнюю теснину, водовороты этого страха множатся на отвесном склоне. Кажется, будто эта светлая душа по велению высших сил должна в муках изрыгнуть из себя все ужасные образы, таящиеся в ее глубине, прежде чем ей дано будет покинуть эту землю. В сумерках побеленные стены кельи и больничной палаты, кроны деревьев за окном, формы и тени каждого предмета оживают.

Разве грот Массабьель не был местом свалки для всякого зловонного мусора, прежде чем стал возвышен и осиян? Разве горестный и яростный рев Гава не свидетельствовал о скрытой в нем демонической силе? И разве самой Даме не пришлось строгим взглядом усмирить эту силу, когда та даже в ее присутствии баламутила воду в реке? Всегда эта сила была где-то рядом и сковывала душу страхом.

Другими словами, Бернадетту терзает дьявол.

Это нищий черт, которому нечего предложить ей в обмен на душу. Он не может разложить перед дочерью мельника все сокровища мира, ибо это искушение до нее просто не дойдет. Он даже не может соблазнять ее сочным персиком. Вот с монахиней Возу этот номер, может быть, и прошел бы. Но угасающая плоть Марии Бернарды не ощущает уже никаких желаний, кроме одного: избавления от болей. Злу трудно справиться с ней. Ему не остается ничего другого, как подослать к ней совсем простенького, примитивного черта, живущего в ущельях Пиренеев, под глетчерами Пик-дю-Миди или Виньмаля и пускающего в ход не изощренные приемы искушения, а смертный страх и голый ужас. Простолюдинка Бернадетта, достигшая высочайших степеней душевной свободы, попала во власть рогатого и хвостатого черта, каким его издавна представляет себе простой народ провинции Бигорр. Он с грохотом, похожим на рокот Гава, проносится мимо ее кровати и рычит: «Проваливай!» и «Спасайся!» В образе черной свиньи с хрюканьем наваливается на ее задыхающуюся грудь. Принимает отвратительный облик получеловека-полузверя в разных сочетаниях. А иногда вдруг превращается в пестрого паяца и грозится подпалить ее головешкой.

Или вдруг становится точь-в-точь похожим на Виталя Дютура, только с кривыми рожками на восковой лысине. Примечательно, что из всех ее преследователей черт выбирает именно Дютура, от которого она настрадалась куда меньше, чем от полицейского комиссара Жакоме, следователя Рива, провокатора в облике богача-англичанина или рыжебородого профессора-психиатра.

— Подумай хорошенько, что ты собираешься сказать, малышка, — советует ей черт-Дютур, нос которого от постоянного насморка приобрел цвет адского пламени. Бернадетта стонет. Но черт-Дютур не теряет дружелюбия: — Надеюсь, ты не отвергнешь помощь, которую я тебе предлагаю в твои последние минуты…

— Сгинь, сатана! — вопит Бернадетта, как ее когда-то учили, и больной рукой быстро-быстро крестит лицо и грудь. Ночами этот вопль часто разносится по спящему дому. И каждый раз монахини одна за другой входят в комнату больной, чтобы молитвами помочь своей сестре и отогнать грозного притеснителя.

— О дорогие мои, — шепчет та, стуча зубами от страха, — сегодня он опять подступался ко мне.

Но мать Возу — отважная воительница. И Бернадетта, дрожа от страха, укрывается за ее

командирским голосом, читающим молитвы.

После праздника Трех Царей монастырский доктор Сен-Сир сообщает настоятельнице, что приходится ожидать скорой кончины бедняжки. Настоятельница немедленно отправляется к епископу, монсеньору Лелонжу. Епископ Неверский пишет письмо епископу Тарбскому. Зовут того Пишено, а не Бертран Север Лоранс. Когда монсеньора Лоранса, в числе прочих епископов, папа Пий IX призвал на Ватиканский собор, ему перевалило за восемьдесят и он был уже тяжело болен. Пытались было отговорить его от трудной поездки. Но монсеньор, в свое время сильно навредивший Даме, ответил советчикам: «Вы считаете, что могила в Риме не стоит того, чтобы вынести тридцать часов в поезде?» Старец получил то, что хотел. Его преемник Пишено посылает двух ученых богословов из тарбской семинарии в Невер, где они встречаются с двумя учеными богословами из тамошней семинарии. В результате вновь создается нечто вроде комиссии, задачей которой является проведение последней проверки лурдского чуда, пока главная свидетельница еще в сознании. Искаженные слухи об угрызениях совести и адских муках Бернадетты проникли сквозь монастырские стены в мир, неизвестно с

чьей помощью. Однако одна из газет уже осмеливается сообщить, что муки совести смертельно больной чудотворицы из Лурда служат явным доказательством того, как сильно она страшится, что ей придется держать ответ за свою ловкую мистификацию с чудесами.

Однажды, в холодный зимний день, мать Жозефина Энбер подходит к постели больной со словами:

— Дорогое дитя мое, их преосвященства епископы Неверский и Тарбский хотят еще раз услышать из ваших уст подтверждение того, что для вас и с вашей помощью совершила Пресвятая Дева. С этой целью они послали четырех ученых мужей, которые хотят нынче под вечер выслушать ваше клятвенное подтверждение тех явлений, которыми отметило вас Небо. Мать настоятельница нашего духовного ордена и совет нашей конгрегации также почтят вас своим присутствием.

Если бы в лице Бернадетты оставалась хотя бы кровинка, она бы побледнела. А так — она лишь прикрывает веки и хватает ртом воздух. Настоятельница пытается успокоить и подбодрить ее:

— Примите это, Мария Бернарда, как долг повиновения. А я буду следить, чтобы вас не пе-

реутомили. Даю вам слово…

Торжественная церемония происходит в просторном и холодном зале, где составлены полукругом два десятка кресел. Согбенная от старости настоятельница ордена, восемь наиболее уважаемых монахинь капитула, главный викарий Невера, представители обоих епископов и еще несколько клириков встают с кресел и стоя встречают предшествуемые настоятельницей монастыря и сестрой Возу носилки, на которых вносят в холодный зал Марию Бернарду. Толпа монахинь скромно жмется у задней стенки. Старший из богословов деликатно склоняется над Бернадеттой.

— Мы постараемся как можно меньше утомить вас, сестра. Будет зачитан протокол епископской комиссии, занимавшейся расследованием вашего дела в тысяча восемьсот пятьдесят восьмом году. В нем зафиксированы все показания, сделанные вами ровно двадцать лет назад. Мы просим вас лишь подтвердить эти показания. В состоянии ли вы это сделать?

Бернадетта обводит всех расширенными от страха глазами и едва заметно кивает. Опять допрос? Монотонный голос читающего бьется в ее ушах. Словно из бесконечной дали доносится

до нее рассказ о четырнадцатилетней девочке, которая пошла за хворостом и вдруг увидела прекрасную Даму. Долго, очень долго длится этот рассказ, и все ее тело деревенеет от холода. Слабое дыхание облачком пара колеблется у ее губ. Бернадетта напрягает все силы, чтобы выдержать этот допрос. Закончив очередной абзац протокола, ласковый голос читающего спрашивает:

— Сестра Мария Бернарда, можете ли вы еще раз подтвердить истинность того, что только что слышали?

Молящим взглядом смотрит Бернадетта в пустоту. Потом слабым детским голоском шепчет:

— О да, о да… Я ее видела…

Чтение продолжается. Кажется, время остановилось. Тихий голос читающего время от времени спрашивает:

— Сестра Мария Бернарда, можете ли подтвердить истинность того, что только что слышали?

Все так же глядя куда-то вдаль, Бернадетта отвечает одно и то же:

— Я ее видела, да, я ее видела…

Примерно час спустя ее относят назад в келью, где она остается наедине с Натали, и одеревенелость мало-помалу исчезает. Она сменяется судорожными рыданиями, сотрясающими все

ее тело. Кажется, все, что в ней еще осталось от плоти, готово распасться на части.

— О боже! — стонет она, когда вновь обретает способность говорить. — Они будут все время приходить — и завтра, и послезавтра, и спрашивать, и спрашивать до самого последнего дня…

Натали опускается на колени и кладет ладонь на ее лоб.

— Вы же при всех подтвердили правдивость своих слов, друг мой… И никто больше не будет вас терзать…

— О, это мне лучше знать, — жалобно вздыхает Бернадетта. — Меня будут мучить, пока я жива. И будут все спрашивать и спрашивать… Выйдя за дверь, они сразу все забывают и хотят снова и снова все это слышать. — И потом, когда рыдания утихают, добавляет: — Никак не могут мне поверить… И я понимаю почему… Слишком большая честь была мне оказана…

После этого приступа отчаяния Бернадетта как будто бы засыпает. Натали тихо сидит рядом. Но больная вдруг приподнимает голову:

— Не подадите ли мне мой белый мешочек, сестра?

Натали достает из шкафа ветхую, выцветшую от времени холщовую сумку, с которой Берна-

детта ходила в школу. Когда-то в ней лежали букварь, катехизис, вязаный чулок, горбушка хлеба, кусочек леденца и глиняный ослик с отбитой ножкой. Когда Натали высыпает содержимое сумки на одеяло, в наличии оказываются лишь букварь и ослик. Бернадетта удовлетворенно кивает. Сколь преходящи сокровища богачей, столь долговечны богатства бедняков. Бернадетта показывает пальцем на образок Богоматери, подаренный ей Перамалем.

— Возьмите этот образок, сестра, — просит она, — положите в конверт и напишите адрес: «В город Лурд, досточтимому декану Мари Доминику Перамалю».

— Только образок, больше ничего не надо? — удивленно спрашивает Натали.

— Этого достаточно, — отвечает Бернадетта. Но когда Натали уже собирается уйти, больная подзывает ее к себе. — Сестра, напишите, пожалуйста, за меня: «Дорогой кюре, Бернадетта Субиру помнит о Вас!»

Час спустя Мария Бернарда впадает в беспамятство. В тот же вечер ее перевозят в больницу. Навсегда.

Глава сорок шестая
Адские мучения плоти

В тот же день, когда престарелый декан Перамаль собрался наконец поехать в Невер, в Лурд приезжает Гиацинт де Лафит, литератор, с той памятной весны двадцать один год назад ни разу не ступавший на здешнюю землю. Подвигли месье де Лафита на это путешествие две явные причины и одна тайная. Один из племянников, навестивший его в Париже, весьма настойчиво пригласил дядюшку провести несколько недель перед Пасхой на его собственной вилле в окрестностях Лурда. Семейство Лафит давно лишилось старинного родового замка на острове Шале. Замок этот, как и сам остров, был откуплен Тарбским епископатом и погиб в результате изменения русла реки Гав и строительства новых сооружений вблизи Грота. Члены этого разветвленного семейства построили себе комфортабельные виллы в живописных окрестностях, вдали от суеты, создаваемой толпами больных и паломников.

Гиацинт де Лафит — все тот же прозябающий в нищете и безвестности литератор, каким

был больше двадцати лет назад. Его юношеские мечтания о пробуждении к новой жизни классического александрийского стиха и тем самым придании прочности мрамора романтической душе давно отброшены и позабыты. Никто в мире не интересуется александрийским стихом, равно как и классиками или романтиками. Литература на всех парах несется по рельсам реализма, силясь угнаться за развитием человечества, и описывает жизнь паровозных машинистов, судовых кочегаров, фабричных рабочих и шахтеров угольных копей. В центре ее внимания все убогое и неказистое. Она копается в душевных и сексуальных терзаниях мелкобуржуазных провинциалок и в смятенных чувствах коммивояжеров. К досаде Лафита, благородный французский язык треплется на рынках, в лавках и кабаках предместий, угоднически подхватывая на лету пошлейшие словечки и обороты речи. И вся эта обыденность подается под издавна привычным пресным соусом прогресса и науки. Неудивительно, что в эти времена такое уникальное произведение, как «Основание города Тарба», не может быть даже завершено, а уж тем более оценено по достоинству.

Человек, живущий давней похвалой Викто-

ра Гюго и редкими гонорарами за статейки в газетах, не может себе позволить отказаться от соблазнительного приглашения, на несколько месяцев освобождающего от забот о хлебе насущном. Вторая причина его приезда состоит в том, что Лафит некоторое время назад свиделся со старым знакомым из Лурда — Жаном Батистом Эстрадом, давно уже дослужившимся до поста директора налоговой службы в Бордо. Господин Эстрад ежегодно проводит отпуск в Лурде, причем как раз в весенние месяцы перед Пасхой. Он так напористо выразил желание показать своему бывшему соратнику по диспутам в кафе «Французское» неузнаваемо изменившийся город чудесных исцелений, что Лафит не смог устоять и согласился.

Третья же, тайная причина скрыта даже от того, кто ею движим. Гиацинт де Лафит чувствует, что он болен, — нет, он *знает*, что он смертельно болен. Болезнь сидит у него в гортани, где уже много раз возникали опухоли, потом, правда, сходившие на нет. На прямой вопрос пациента, не рак ли это, врач ответил, что не исключает такой возможности. А уж литератор Лафит, от природы склонный к пессимизму, конечно же, трактует эту возможность как неизбежность. И

считает себя обреченным. Он уже не верит, что ему способна помочь наука или целительный источник в Лурде. Его гордый дух отвергает и то и другое. Однако о лурдском источнике пишут как-никак не только клерикальные газеты, что он стократ доказал свою волшебную силу. Да и такой разумный человек, как Эстрад, утверждает, что не раз был очевидцем мгновенных исцелений. После разговора с директором налоговой службы в душе Лафита поселилось какое-то смутное беспокойство, которое он и сам не может внятно объяснить. И, уже сидя в поезде, думает: «Ну, поживу какое-то время в этом дрянном городишке, освежу кое-какие воспоминания. Только и всего».

Гиацинту де Лафиту пятьдесят девять лет. Старые знакомые, увидев его, думают про себя, что он выглядит куда старше своих лет. Но все же находят, что густая седая шевелюра, обрамляющая высокий лоб благородной формы, и бледное узкое лицо производят еще более сильное впечатление, чем в прошлые годы, и несомненно свидетельствуют о его гениальной одаренности. Из старых приятелей кое-кто уже умер, в том числе директор лицея Кларан, постоянный оппонент Лафита в их давнишних высокоученых дебатах, и

старый, овеянный славой мэр Лакаде, вечно подшучивавший над поэтом. Перед кончиной мэр успел убедиться, что действительность превзошла самые смелые его мечты о городе-курорте.

Лафит прогуливается в обществе Эстрада и доктора Дозу по бульвару де ля Грот, новой главной улице города, которая ведет от построенного несколько лет назад моста Мишель к святым местам. Стоит ясная, солнечная погода. Лафит только диву дается — так изменился за эти годы старый замшелый городишко. Сплошные ряды новых отелей. Вот только на зданиях этих не заметно ни следа монастырской скромности, покоя и достоинства, которые были бы здесь уместны. Этот парад перегруженных завитушками фасадов похож скорее на шабаш уродов, порожденных пошлым архитектурным вкусом, прикрывающим свою шутовскую рожу святыми именами на вывесках. Оглядываясь вокруг, думаешь, что попал либо на курорт низкого пошиба, либо в увеселительные кварталы портового города, а вовсе не в Лурд — город святых чудес. Повсюду ощущается стиль заштатных казино, захудалых провинциальных варьете и ипподромов. Лафит ужасается, увидев в первых этажах жилых домов бесконечные ряды лавок, торгующих предме-

тами религиозного культа. При виде «святых» безделушек, выставленных там на продажу, он начинает кипеть от негодования. Еще скульптору Фабишу из Лиона удалось в давние времена превратить в маргарин настоящий каррарский мрамор, из которого он ваял Даму. В тысячах копий предлагается теперь это произведение, от которого в свое время в ужасе отвернулась Бернадетта, в виде безвкусно размалеванных гипсовых статуэток с чудовищно ярким голубым поясом. Кругом, куда ни кинешь взгляд, высятся вавилонские башни религиозных сувениров. И повсюду Бернадетта играет главную роль. В белом капюле она красуется, коленопреклоненная, молитвенно взирая снизу вверх на слащавую красавицу — Мадонну, причем не только на олеографиях, литографиях, репродукциях всех видов, но и на одеялах, платках, вышивках, а также объемно — даже на пресс-папье и столовых наборах для соли, горчицы и перца. Гиацинт де Лафит вспыхивает от негодования:

— Двадцать лет назад в этом городе родилась прекраснейшая сказка. Невинное дитя увидело Пресвятую Деву и рассказало о случившемся живыми и незатасканными словами. Но потом наступает это постыдное время, и подлые люди

низводят подлинную сказку до пошлого уровня собственного восприятия. А церковь покровительствует этой мерзости…

— Вы, пожалуй, правы в отношении всех этих безвкусных поделок, — замечает Эстрад. — Но церковь, которая все это терпит, вероятно, мудрее, чем мы думаем. Высокие умы от нее отвернулись, и преданным ей — наряду с родовой аристократией — остался лишь простой народ. Вот церковь и идет навстречу базарному вкусу этого народа, который ничего другого бы и не принял. Уж не думаете ли вы, что церкви следовало бы заказывать изображения своих святых какому-нибудь современному разнузданному малевателю?

— Я категорически с вами не согласен, дорогой Эстрад, — распаляется писатель. — Когда церковь чего-то стоила, на ее стороне было высочайшее искусство. Ибо из творений человека нет на земле ничего более святого, чем красота, воплощенная в высоком искусстве. Поэтому в моих глазах утрачивает святость такая церковь, которая отворачивается от красоты из-за того, что либо разделяет вкус троглодитов, либо не хочет его задевать.

— А нельзя ли вывернуть ваше суждение наизнанку, друг мой? — снисходительно улыбается

Эстрад. — Когда искусство еще чего-то стоило, церковь была на его стороне…

Доктор Дозу, молча шагавший рядом с ними, показывает рукой на большое здание по ту сторону моста.

— Сейчас мы увидим самое серьезное, что только есть на этом свете, — говорит он.

Ведомые старым доктором, они входят в вестибюль больницы Семи скорбей Богоматери. Здесь плотными рядами теснятся ручные тележки наподобие тех, какими пользуются рикши: служители, называемые здесь «бранкардье», с их помощью доставляют больных к Гроту, к ваннам с водой из Источника и к храму. Потом все трое проходят по центральному коридору в огромнейший зал, уставленный длинными столами, за которыми как раз в эти минуты рассаживаются обедать сотни людей. Здесь царит такой порядок, как будто каждый из этих страдальцев ради собственного спокойствия сознательно способствует гладкому протеканию неизбежных церемоний. Обслуживающие больных сестры длинной чередой проходят между тесно поставленными столами и наливают в миски суп, а в стаканы — темно-красное вино. Больные производят впечатление не подавленных, а как-то

странно возбужденных людей. Болтают между собой, даже смеются. Может быть, они рассказывают друг другу о повседневных событиях в зоне действия чуда. Ибо в Лурде чудо стало уже повседневностью.

— У этих нет болей, — тихонько говорит доктор на ухо Лафиту. — Мы находимся как бы в первом круге Дантова ада. Это круг слепых и частично парализованных.

Когда близорукому Лафиту удается получше приглядеться к сидящим за столами, он убеждается, что почти все здесь либо хромают, опираясь на костыли или палки, либо руки у них скрючены или плетью висят вдоль тела. Другие же, странно подмигивая, незряче улыбаются в пустоту. Лафит пытается скрыть свое волнение.

— И сколько этих несчастных излечится? — спрашивает он у доктора.

— За последние десятилетия уже многие излечились. Тем не менее бесспорно необъяснимые исцеления — большая редкость. Они подлежат регистрации и освидетельствованию в специальном медицинском бюро. И будьте уверены, друг мой, что скепсис с нашей стороны, со стороны врачей, ни на йоту не убывает. Правда, облегчения и улучшения при тяжких органических недугах

случаются довольно часто. Посмотрите на этих людей! Если хоть один из сотен и тысяч вдруг прозреет или вернет своим ногам способность ходить — что является истинным чудом, — то это переворачивает душу всем остальным. В них вселяется надежда, которая не желает считаться ни с чем. Если в этом году не повезло, повезет в следующем. Понимаете? — Дозу открывает какую-то дверь. — А здесь лежат полностью парализованные, не испытывающие болей…

Еще три зала. Плотные ряды коек. Тихо лежат больные под белыми одеялами. Кое-где из-под одеяла торчит ортопедический аппарат. У некоторых коек сидят близкие — муж, жена, мать или кто-то еще из родных. Под койками сложены жалкие пожитки бедняков, в чемоданах по семь су за штуку. Здесь, в отличие от столовой, стынет тишина. На лицах этих прикованных к постели людей лежит печать неимоверной усталости, они все еще без сил после долгого пути к станции «Последняя надежда». У некоторых глаза устремлены куда-то вдаль, другие спят глубоким, каким-то непробудным сном.

Теперь Гиацинту де Лафиту приходится крепко держать себя в руках, ибо они входят в следующие круги здешнего ада. Всю свою жизнь он

избегал вида болезней и уродств, щадя свою чувствительность. Хотя у него, поэта-романтика, излюбленной темой была темная сторона жизни, в действительности он старался обходить ее стороной. Он даже не знал, что на свете существует то, что он здесь увидел. Поэтому он то и дело опускает веки. Но уши он заткнуть не может, когда в палатах больных, испытывающих невыносимые страдания, его плотно окружают сдавленные стоны, пронзительные вопли и бессвязный бред. Здесь палата «внутренних болезней»: люди с разрушенными легкими, у которых на губах то и дело выступает кровавая пена, люди с раком кишечника, не способные удерживать экскременты. Лафиту не терпится поскорее уйти отсюда. Но неумолимый доктор Дозу вводит его в боковую комнату. Там в кресле с подъемным устройством сидит мальчик лет одиннадцати с такими глазами, которые Лафиту никогда не забыть. Бесформенные ноги мальчика от бедер до подошв покрыты красными пятнами всех оттенков от светло-розового до темно-бурого. Из открытых гангренозных язв сочится кровянистый гной. Насквозь пропитавшиеся им повязки валяются рядом на полу. Возле мальчика сидит изможденная старуха — только

она одна выдержала во время пути гнилостную вонь, исходящую от его ног.

— Ну, как дела, молодой человек? — нарочито бодрым голосом спрашивает Дозу.

— Пресвятая Дева помогла мне, — с готовностью отзывается мальчик. — Кое-где язвы уже подсохли. Поглядите сами, месье…

— Великолепно, дружок. Завтра она тебе опять поможет. И так день за днем, всю неделю, пока все не подсохнет…

— Да, месье, я твердо в это верю! — восклицает мальчик, и в его смертельно усталых глазах появляется проблеск надежды.

Лафит бегом бежит из этой комнатки. И попадает в палату смертников. Здесь лежат люди, рухнувшие на пороге последней надежды. Большинство из них уже причастились. У каждой койки стоит священник. И Лафит вдруг с ужасом ощущает собственную смерть, засевшую у него в гортани. Он пробует сглотнуть слюну. Час назад это получалось без труда. А сейчас он явственно ощущает плотный узелок, замкнувший гортань. Вид умирающих приблизил его собственную смерть. Он знает, что и он — звено этой длинной цепи обреченных, хоть пока еще в силах играть роль важной персоны, спокойно осматриваю-

щей этот ад, будто самому ему ничего не грозит. Страх перехватывает ему горло. Он боится обнаружить свою слабость и опозориться перед спутниками…

Все трое идут дальше и входят в палату женщин, больных волчанкой. Они неподвижно и молча сидят на кроватях, завесив лицо густой черной вуалью, поскольку сами не выносят вида друг друга. Доктор просит одну из женщин приподнять вуаль, и Лафит с Эстрадом на миг отворачиваются. Голова женщины похожа на голый череп, только цвет у нее как у сырого мяса. Глаза лихорадочно блестят в глубине кровавых провалов. Болезнь начисто съела ее нос и губы. В зияющих дырах ноздрей торчат ватные тампоны. Эта женщина только что выпила чашку кофе, следя, чтобы кофе попал в нужное отверстие. Доктор Дозу говорит с этим кроваво-красным черепом спокойно и деловито, как с вполне нормальным существом:

— В прошлом году у нас была больная, состояние которой было куда хуже, чем ваше, мадам. И эта пациентка излечилась, полностью выздоровела. Понимаете?.. А теперь дайте мне слово, что наберетесь терпения и больше не станете делать глупости…

Кроваво-красный череп энергично кивает.

Выходя из палаты, Дозу шепчет на ухо друзьям:

— Вчера она пыталась покончить с собой…

— А это правда, что такое лицо когда-то излечилось и вообще может излечиться? — с трудом произносит Лафит.

— Чистая правда, — отвечает доктор. — И в бюро вы можете посмотреть фотоснимки. Последняя больная, излечившаяся от волчанки, сначала и не заметила, что у нее вдруг появились нормальный нос и рот.

В одной из боковых комнат низенькая женщина неподвижно стоит в углу лицом к стене. Так она стоит целый день, словно нашаливший ребенок, которого в наказание поставили в угол и теперь он на всех дуется.

— Мадам, я врач и пришел навестить вас, — обращается к ней Дозу. Женщина медленно оборачивается. Ее лицо еще меньше похоже на нормальное человеческое лицо, чем тот изъеденный волчанкой кроваво-красный череп. Вместо лица у нее сплошная темно-коричневая опухоль, из которой наружу выступают лишь губы, похожие скорее на огромные темно-лиловые наросты вроде разлапистых грибов на стволе дерева. Эта

чудовищная голова Медузы начинает говорить, и говорит с жаром, но слышится только глухое бормотанье, словно из-за плотно обитой двери. Но Дозу понимает, что она хочет сказать, и вежливо кивает в ответ:

— Ваше желание будет исполнено, мадам. После полуночи вас переведут в ванны, где вы будете совсем одна и никто вас не увидит…

Гиацинт де Лафит медленно спускается по лестнице, прижимая сжатую в кулак руку к груди. Мысли путаются у него в голове. И страшные вопросы сверлят мозг: неужели это природа — чистая, бескорыстная, бездуховная и бесчувственная богиня — не только уничтожает свои творения в процессе беспрерывного обновления, но с тем же безразличием приговаривает их к гниению заживо? Для нее яркая раскраска на крыльях бразильской бабочки и столь же яркие краски на заживо разлагающемся лице, пораженном волчанкой, — одно и то же. Она не делает различия между красотой и уродством — этими ориентирами человека, самого жалкого из ее творений. А может, это варварский Бог Земли, вроде Шиутекутли у ацтеков, извлекает из таких ужасных лиц и измученных тел извращенное наслаждение жертвой? Или же эти немыслимые

болезни насылает на людей Бог еврейской Библии и христианской церкви, который терпит эти немыслимые болезни как недоступный нашему разуму силлогизм между первородным грехом одушевленной материи, ставшей человеком, и его спасением на Небе?

Выбравшись наконец на свежий воздух, доктор говорит Лафиту:

— Вот вы и увидели, друг мой, как глубоко проникает ад в нашу жизнь…

— Да, месье, — подхватывает Эстрад. — И Лурд на нашей планете — та точка, где ад пересекается с раем.

Друзья двигаются дальше. Доктор берет Лафита под руку:

— Вы увидели лишь крошечный сколок страданий, которыми полон мир, их больше, чем полагают люди. И все они выплескиваются сюда непрерывным потоком. Завтра прибудут еще пять составов с больными. Причем едут к нам не только наивно верующие люди, ищущие в Лурде исцеления, и даже не только католики, но также и протестанты, и евреи. Все они — отчаявшиеся люди, не видящие другого выхода…

— И от отчаяния излечиваются чаще, чем от болезни, — тихо добавляет Эстрад.

Доктор Дозу останавливается и обводит взглядом панораму города.

— Могли ли мы двадцать лет назад, сидя в кафе у Дюрана и дискутируя о литературе и науке, представить себе все это? Могли ли вообразить, что возникнет этот новый Лурд, словно по мановению волшебной палочки? И все лишь потому, что нищая девочка с грязной улочки Пти-Фоссе увидела в гроте Массабьель прекраснейшую Даму и стала за нее бороться. Если у нас здесь и существуют чудеса, то Бернадетта Субиру — самое большое из них. Что вы на это скажете, писатель?

Но Гиацинт де Лафит, мастер возвышенного слова, не произносит ни звука.

Глава сорок седьмая
Внезапное озарение

Уже в три часа утра бранкардье вкатили тележки с больными на широкую площадку перед базиликой, возвышающейся на скале Массабьель, словно корабль с высокой мачтой на вздыбленной волне. Сотни таких тележек, большей частью защищенных от солнца тентами, выстраиваются широкой дугой, образуя первый ряд хора, сопровождающего зрелище. А зрелище это во всех отношениях необычайное, если учесть, что кто-то из этого хора может стать объектом чуда, если с его лица, изъеденного волчанкой, вдруг отпадет годами нараставшая корка, словно слой старой штукатурки, и из-под нее выглянет новая, здоровая кожа… И зрелище это — вовсе не театр, не слух и не пустая болтовня, а подлинная реальность, в которой каждый из присутствующих может удостовериться сам. Зрелище это производит такое сильное впечатление и наносит такой сокрушительный удар по умственной природе человека, что словами невозможно заставить кого-либо во все это поверить: даже очевидцы

событий со временем начинают сомневаться в достоверности собственных воспоминаний.

Сразу за рядом тележек с парализованными и испытывающими нестерпимые боли становятся хромые и слепые, сумевшие самостоятельно добраться до места. А за ними уже толпятся десятки тысяч паломников и просто любопытных, ожидающих увидеть потрясающее чудо, какое на нашей населенной смертными земле может произойти только здесь. Сердца одних исполнены жгучего желания, сердца других — жгучего любопытства. В самой гуще толпы стоят Дозу, Лафит и Эстрад. Врач решил дать поэту возможность прочувствовать этот великий час там, где бьется сердце народа. Со знанием дела он выбрал для них троих место, откуда площадка перед храмом видна как на ладони.

— Сегодня — великий день, — заявляет Эстрад. — Вам повезло, дорогой Лафит: монсеньор Пишено, епископ Тарбский, прибыл сюда, чтобы лично возглавить торжественную процессию.

— А обычно это делает декан Перамаль? — интересуется Лафит.

Доктор изумленно глядит на него:

— Разве вы не знаете, что Перамаля, можно сказать, оттерли в сторону? Старик по-прежнему

вспыльчив, несмотря на возраст. Он терпеть не может орденское духовенство. Те отвечают ему взаимностью. В свое время от него отвернулся даже монсеньор Лоранс, его могущественный покровитель. Так что теперь здесь заправляют священники Грота. И главный среди них — отец Санпе, бывший капеллан и доверенное лицо декана.

Лафит не испытывает большого интереса к этим интригам в среде клириков. Ему гораздо интереснее узнать, в чем значение этих процессий.

— Епископ благословляет Святыми Дарами каждого больного в отдельности, — просвещает его Эстрад. — И большинство исцелений происходит после этого благословения.

— А разве не благодаря целительной воде источника? — допытывается Лафит.

— Благодаря и тому и другому, — вмешивается Дозу. — Но меня лично особенно потрясают те исцеления, которым не сопутствует публичность. К примеру, несколько дней назад внезапно выздоровела молодая женщина с безнадежно негнущимся коленным суставом. А ведь она просто сидела на скамье в парке и глядела на реку. Причем перед этим не молилась и не пила воду из источника. Вот это было настоящее чудо…

Тени начинают удлиняться, день клонится к вечеру, а толпа все растет и растет. Нарастает и витающее над ней возбуждение. Дозу и Эстрад, давние свидетели явлений в Гроте, утверждают, что точь-в-точь такое же возбуждение охватило толпы, собравшиеся в Массабьеле в тот знаменитый четверг, когда все ожидали «чуда розы». Люди беспокойно снуют с одного места на другое. Словно океанские волны рокочут, накатывая со стороны бретонского креста в дальнем конце парка на пологий подъем к базилике. И разбиваются о мертвую, погруженную в себя тишину в рядах тяжелобольных, недвижно сидящих в своих тележках. Так молчать могут только эти несчастные, под тяжестью судьбы и долгого ожидания уронившие голову на грудь или плечо.

Лафит присматривается к людям, к которым его прижало в толпе. Тут не только простой народ Южной Франции, каким его все знают: изможденные старухи в черных платьях из дешевой ткани и вязаных нитяных перчатках без пальцев на натруженных руках, мужчины в воскресных костюмах, плохо выбритые и глядящие в одну точку перед собой задумчивыми голубыми глазами. Хотя эти люди и составляют значительную часть толпы, но все же они и тут не в большинстве.

Бросается в глаза, как много здесь хорошо одетой публики. Вот, например, рядом с Лафитом стоит господин средних лет — вероятно, ученый. Кустистые брови, пышные холеные усы, золотое пенсне на черном шнурке. Эта одухотворенная личность до недавнего времени без сомнения отвечала на вопрос всех вопросов честно: «Ignorabimus!» — «Мы не знаем и никогда не узнаем!» Точно так же, как и Гиацинт де Лафит, который, по его собственному признанию, считает материалистический атеизм всего лишь религией, к тому же худшей из всех. А теперь пышноусый господин нервно переступает с ноги на ногу, чуть ли не десять раз снимает пенсне, протирает его и вновь надевает. Тяжело вздыхает. Вытирает пот со лба. Явно ждет чего-то и не знает, желать этого или страшиться. То же самое смутное чувство гложет и сердце литератора.

Колокола начинают звонить в знак того, что процессия во главе с епископом, повинуясь давнему зову Дамы, направляется к Гроту, где Тело Христово будет помещено в дароносицу. Толпа приходит в движение. Все теснятся поближе к рядам больных. Несколько минут спустя раздаются глухие выкрики: «Идут, идут!» И многотысячная толпа замирает, словно переставая дышать. На

возвышении перед храмом появляется малорослый человечек с хоругвью, на которой изображен лик Мадонны, за ним движутся другие люди с хоругвями.

— Видите там впереди кривоногого паренька? — тихонько спрашивает доктор. — Он несет первую хоругвь, даже впереди мельника Никола, поскольку он, так сказать, первенец чуда. Здесь его все еще называют «ребенок Бугугорт», хотя ему уже перевалило за двадцать пять. Вы, конечно, помните тот взбудораживший всех случай, когда простая женщина в один из первых дней окунула своего умирающего младенца в источник…

Гиацинт де Лафит не помнит.

Под бархатным балдахином появляется епископ. Его красновато-лиловое облачение сверкает в лучах яркого солнца на фоне белых одеяний многочисленной свиты. Он выходит из-под балдахина. Со сверкающей дароносицей в руках высокий сановник церкви приближается к стоящим полукругом тележкам с больными. Колокола умолкают. Лишь маленький колокольчик тоненько звякает, когда епископ подходит к правому концу дуги и благословляет дароносицей первого больного. Все опускаются на колени,

в том числе Эстрад и Дозу. Лафит скосил глаза на незнакомого господина, стоявшего рядом. Немного помедлив, тот тоже опускается на одно колено. С ранней юности поэт Лафит ни разу не становился на колени. Он не любит участвовать в массовых действах. Ведь он избран Господом для того, чтобы восседать в ложе для придворных. И теперь преклонить колена ему стыдно перед собой и другими, но и торчать столбом тоже стыдно. Поэтому он как можно ниже наклоняется и остается в этой позе. А епископ тем временем переходит от одного больного к другому, благословляя каждого. Длится это довольно долго. И вдруг из сердцевины толпы вырывается пронзительный возглас:

Боже, зрение им верни!

Боже, пусть снова слышат они!

Эту мольбу, это магическое заклинание подхватывает вся масса столпившихся людей. Теперь мольба со всех сторон возносится к Богу, чтобы заставить его спуститься на землю. Кажется, будто находишься не в цивилизованной Европе в век математиков и изобретателей, а в седой древности человечества, когда народные толпы еще не утратили способности исторгать потоки

чувств такой волшебной силы, которая могла заставить богов спуститься на землю. Лафит ощущает, что и его затягивают эти потоки. И уже не удивляется, когда стоящий рядом господин вдруг бьет себя в грудь и вторит стихийной мольбе, родившейся в толпе:

Боже, зрение им верни!

Боже, пусть снова слышат они!

Тем временем епископ успел обойти всю дугу. Теперь он торжественным шагом поднимается по ступеням лестницы к входу в храм и, подъяв над головой золотую дароносицу, неописуемо округлым движением рук благословляет всех собравшихся. По огромному пространству разносится тоненький звон колокольчика. И вновь вступают большие колокола. Обряд благословения окончен, но ничего из ряда вон выходящего, по-видимому, не произошло.

Епископ и его свита скрываются в дверях храма. Толпа, как бы освобождаясь от чар, сплотивших ее в одно целое, начинает колыхаться и распадаться на группы. Бранкардье берутся за ручки тележек. Они ждут только, чтобы площадка освободилась и они могли развезти своих подопечных по больницам.

— А теперь — вперед! — командует доктор.

Но Лафит медлит. Разве что-то произошло? Оказывается, произошло. Сначала это лишь смутно ощущается. Но потом там, на другом конце дуги, вдруг вспыхивает шум. Множество рук указывают куда-то в одну точку. Людские водовороты выравниваются в единый поток, который втягивает в себя Лафита и его спутников. Дозу работает локтями, энергично пробиваясь вперед, и тащит за собой остальных. Друзья добираются до тележек с больными, где привычные к таким сценам бранкардье, сцепив руки, образовали заграждение. А за ним, в просторном и безлюдном пространстве между лестницей и тележками, которое с каждой секундой кажется все просторнее, стоит одна женщина.

Точнее, это не женщина, а бесформенная гора жира и мяса. Она немного приподняла подол платья, словно переходя через лужу. Ноги ее раздуты и имеют форму гладких цилиндров такого чудовищного размера, что стопы по сравнению с ними кажутся просто обрубками. И этими жалкими обрубками гора жира ступает — очень медленно и осторожно, целиком отдавшись процессу ходьбы и делая шажок за шажком равномерно и целеустремленно, словно кукла-марионетка. Го-

лова у женщины откинута далеко назад, так что нелепая ее шляпка с цветочками совсем съехала на затылок. Подол она уже опустила. И теперь идет, балансируя растопыренными руками, словно не по земле, а по канату. Один из бранкардье привычно следует за ней по пятам, чтобы подхватить ее, если понадобится. Другой толкает за ней ее тележку. А она идет и идет вперед, словно находится в центре невидимого шара, изъятого из времени и пространства и двигающегося вместе с ней. Толпа затаила дыхание и не может оторвать от нее глаз. Лафит слышит чей-то шепот:

— Я хорошо ее знаю. Десять лет она не могла сделать ни шагу…

«Когда она свалится?» — думает про себя Лафит. Но она и не думает валиться, а шагает и шагает вперед своими распухшими ногами и этой странной дергающейся походкой, пока наконец не скрывается из виду в дверях базилики. И только тут мертвая тишина взрывается. Какой-то коротышка с лицом, залитым слезами, срывающимся тенорком затягивает «Магнификат»: «Величит душа моя Господа…» «И возрадуется дух мой о Боге, Спасителе моем», — подхватывает группа священников, смешавшихся со зрителями. Теперь по всей огромной площади перед храмом

разносится гимн Господу: «Низложил сильных с престолов и вознес смиренных; алчущих исполнил благ и богатящихся отпустил ни с чем; воспринял Израиля, отрока своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века».

Лафиту кажется, что у него внутри все оборвалось. И только чтобы услышать собственный голос, он спрашивает у доктора:

— Она действительно излечилась?

Дозу разводит руками.

— Сперва должно пройти много дней, зачастую даже недель, — говорит он, — пока мы сможем судить об этом с полной уверенностью. Нужно собрать все медицинские заключения по данному случаю…

Доктор предлагает Эстраду и Лафиту пойти вместе в бюро регистрации исцелений. Лафит лишь заглядывает в комнату: она кажется ему похожей не столько на ординаторскую, сколько на штурманскую рубку парусного судна. И он тут же поворачивает обратно. На душе у него скверно. Ему нужно побыть одному.

Глава сорок восьмая
Я никого не любил

Грот на склоне дня. Небо над Пиренеями еще напоено светом и яркими красками. А внизу все уже погружается в сумрак. Огромный железный подсвечник перед входом в Грот, похожий на ель, мигает сотнями язычков пламени, вытесняя остатки дневного света из глубины Грота. Статуя Дамы в овальной нише окутана танцующими тенями. Куст дикой розы, уже начинающей зеленеть, выглядит так же, как двадцать лет назад. Темная скала под Гротом поблескивает от влаги. Капля за каплей сочится из нее и стекает вниз вода. Нависающий над Гротом кусок скалы, напоминающий череп, светится тусклой желтизной. Когда Гиацинт де Лафит медленно поднимается от берега Гава к Гроту, ему кажется, будто дырявая завеса или причудливый ковер либо же ажурный готический орнамент покрывает этот череп из светлого камня. Но это всего лишь целая сеть из костылей, палок, ортопедических шин и лангеток, развешанных излечившимися. Этот Грот уже не имеет ничего общего с той заброшен-

ной пещерой, какая осталась в памяти Лафита со времени его давних прогулок в этих местах. Однако внутри Грот не подвергся изменениям. Только вход в него огорожен красивой высокой решеткой, оставляющей слева и справа два узких прохода. Вдоль всей решетки тянется вырубленная в скале ступень для коленопреклоненных верующих, которые причащаются здесь во время мессы или же просто хотят быть поближе к входу в святое место, когда обращаются с мольбой к Деве. На площадке перед скалой расставлено примерно двадцать рядов скамей с широким проходом посредине; здесь могут разместиться несколько сот молящихся. В этот предвечерний час площадка заполнена людьми. На высокой кафедре слева от Грота стоит молодой священник, мягким вкрадчивым голосом читающий Лоретскую литанию. По мере приближения к Гроту Лафит все яснее улавливает его слова и начинает понимать, к кому обращена молитва:

— Матерь благодати Божией… Матерь пречистая…

Каждая пауза в молитвенной речи священника заполняется дружным бормотанием паствы, повторяющей его слова:

— Матерь целомудренная… Матерь несквер-

ная… Матерь непорочная… Матерь прелюбимая… Матерь предивная… Матерь доброго совета… Моли о нас…

«Какие прекрасные эпитеты! — думает Лафит. — И какой успокоительный ритм!» И впрямь: приглушенный голос молодого священника перемежается глухим бормотанием множества голосов, и все сливается в колыбельную песню, которая в сочетании со сгущающимися сумерками действует усыпляюще. Многие из стоящих на коленях молятся, разведя руки в стороны. Так они собственным телом изображают крест и страдания распятого Христа. Простояв с четверть часа в такой напряженной позе и вытерпев ломоту во всем теле, они исполняют призыв к искуплению, внушенный Дамой Бернадетте.

Гиацинт де Лафит останавливается в изрядном отдалении от последних скамей. Подойти ближе ему не позволяет элементарная робость. Ему неловко, он ощущает себя здесь чужаком, случайно оказавшимся в компании близких друзей, куда его никто не приглашал. Десятилетиями он посещал святые храмы лишь ради находящихся там произведений искусства. «Я не такой, как они все, — думает Лафит. — У меня нет их наивной веры. Мой мозг изъеден всеми разлагающими

идеями, которые дали миру люди. Мой разум спотыкается об интеллект человечества, бредущего во мраке. Я знаю, что все мы — жалкая порода живых тварей, отличающихся от насекомых и амфибий лишь тем, что у нас немного больше нервных окончаний и ложных выводов. Истина нам в биллионы раз недоступнее, чем блохе интегральное исчисление. Наше современное мышление, без всяких оснований настроенное ко всему критически, мнит себя выше прежнего, религиозного образа мыслей. И в своей ограниченности забывает, что и оно всего лишь форма существования мысли. Теперь я догадываюсь, что прошлые способы мышления когда-нибудь станут будущими и будут взирать на всю нашу критику с презрительной усмешкой превосходства. Как часто я желал удовольствоваться малым, но мое жалкое сердце всегда жаждало большего. Что с того, что я знаю: наши боги — зеркальное отражение нашей собственной природы, и если бы пеликаны верили в бога, у них он был бы похож на пеликана. Это вовсе не доказывает отсутствия Бога, а доказывает лишь ограниченность нашего земного интеллекта, не могущего существовать вне образов и слов. Для меня невыносимо было бы навсегда отречься от

Бога, с которым я, несмотря на все, ощущаю духовное родство. Я не принадлежу к этим людям, верящим в Рай на Небесах. Но не принадлежу и к тем глупцам, кто верит, что с помощью совершенных законов и умных машин можно устроить рай на земле. Нет, уж скорее — и точнее, — я принадлежу к этим вот людям, искренне верящим в Рай на Небесах…»

Лафит делает еще несколько шагов к Гроту.

— Дева премудрая… Дева досточтимая… Дева достославная… Дева всесильная… Дева милосердная… Зерцало справедливости…

«Если бы старина Кларан был рядом, я бы не упустил случая его позлить: „Вслушайтесь в эту великолепную литанию, друг мой! Ведь в свое время благочестивые жители Эфеса восхваляли свою Диану точно таким же образом. Разве я не прав?“ — „Я — историк, дорогой Гиацинт, — ответил бы Кларан, — а потому и не переоцениваю роль истории. Она не что иное, как преломление вечной смены событий в текущей воде времени. Каждая эпоха видит одни и те же вещи в ином преломлении света. И Аполлон или Христос, Диана или Мария — лишь разные имена и разные воплощения для одной и той же вечной веры человека в существование высших сил. Да вы

и сами в этот миг больше, чем кто-либо другой, ощущаете их существование“. — „Вы всерьез так думаете, друг мой Кларан? Правда, я, несмотря на мой критический ум, человек довольно старомодный. Поэты всегда старомодны. Но после нас, вероятно, появятся люди, которых не будут мучить подобные чувства“. — „Можете быть спокойны, дорогой Гиацинт. На земле вновь и вновь будут рождаться Бернадетты, которые будут давать людям возможность узреть их незримую Даму, per saecula saeculorum — во веки веков…“»

Лафит делает еще шаг к Гроту. И подходит вплотную к последнему ряду скамей.

— Источник нашей радости… Святыня Духа Святого… Святыня славы Божией… Святыня глубокой набожности…

«Послушайте, Кларан! Не хочу вас дольше обманывать. У меня рак. Один бессердечный врач сказал мне об этом прямо в лицо. Но мне не нужен врач. Сначала рак дал о себе знать в гортани. Потом он проникнет в желудок, печень, кишечник. Это называется метастазы. Я в курсе дела. Дни мои сочтены, Кларан, мне осталось совсем немного. И не надо мне говорить, что покуда я выгляжу вполне нормально. Через год, а может, всего через несколько месяцев я тоже превращусь в такой же

жалкий комочек плоти, какие мне сегодня довелось увидеть в больнице Семи скорбей. Я отнюдь не герой, я дрожащий от страха трус. Да, дни мои сочтены и ночи мои тягостны. Но страх смерти — далеко не самое страшное. Со смертью можно примириться. Лежишь и ждешь своего часа. Но в ночи тяжких раздумий я понял нечто другое, куда более ужасное. Вы не станете надо мной смеяться, Кларан, ведь вы человек верующий. С возрастом я не поглупел, а поумнел. Я понял, что в этом мире я, Гиацинт де Лафит, — самый большой грешник, я безымянный пописыватель статеек, я полный нуль, ничего не значащая величина. Не подумайте, Кларан, что в эти минуты я просто рисуюсь, чтобы быть похожим на лорда Байрона! И речь идет не о каких-то мелких грешках, порожденных распущенностью и слабостью плоти, которыми моя душа пятнает себя изо дня в день. Я говорю о главном моем врожденном грехе, которым я пронизан с ног до головы, — о глупейшей, смехотворной и абсурднейшей гордыне, стоявшей у колыбели моего духа. Уже десяти лет от роду я стал ее жертвой. Из гордыни я не желал быть обязанным ни в чем и никому, даже своей родной матери. Из гордыни я хотел стать человеком, который всем обязан только

самому себе и надеется только на себя. Мысль о том, что я человек, как все родившиеся из чрева матери, и что суть моя обусловлена семьей, родиной, ее языком, кровью, что течет в моих жилах, и обменом веществ, — эта мысль была для меня невыносима. Независимый до безумия, я поклялся себе, что буду единственным живым существом, не принадлежащим ни к какому сообществу. Я был убежден, что никто меня не воспитал, никто на меня не влиял и никто мной не руководил. Я сам себя создал. Тщеславная самооценка вознесла меня выше всех мыслимых пределов. И если я не признавал Бога, то лишь потому, что для меня невыносима была сама мысль, что я — не Он. Поэтому и троном моим, с которого я правил миром, был анализ. Но сегодня мне кажется, будто я стою здесь и сейчас за своей собственной спиной и впервые объемно вижу самого себя, словно кого-то другого. Мой грех, Кларан, — это грех Люцифера, хоть я всего лишь полное ничтожество, да еще и болен раком. Но за последний год, в ночи тяжелых раздумий, я понял также, что наши грехи меньше вредят Богу, чем нам самим. И мне стало ясно, что меня погубила гордыня…»

Кое-кто из молящихся удивленно поглядывает

в сторону Лафита, стоящего в проходе между рядами скамей.

— Роза таинственная… Башня Давидова… Башня из слоновой кости… Дом драгоценнейший… Хранилище Завета… Дверь Небесная… Звезда Утренняя…

«На чем я остановился? Ах да, на башне из слоновой кости! Я тоже башня. Но башня эта разваливается и полна крыс и мокриц. Да, ты — обитель света. Мое „я“ — тоже моя обитель. Мне ее сдали в аренду. А я замарал ее и испакостил. Но скоро договор об аренде будет расторгнут, меня выставят за порог, и я уже ничего не успею привести в порядок. О, Звезда Утренняя, как я прожил свою жизнь? Несмотря на нищету, это была в общем вполне благополучная жизнь. Небо не покарало меня заживо гниющими членами, как того невинного мальчика в больнице. Лицо мое не было изъедено волчанкой, хотя я заслужил это, пожалуй, в сто раз больше, чем те бедные простые женщины. Мне не приходилось стоять в углу, отвернувшись к стене и стыдясь показать людям свое обезображенное болезнью лицо. А мне полагалось бы стоять в углу, замирая от страха, куда больше, чем той женщине, ибо, по сути, я больше похож на Медузу, чем она. Я

растратил всю свою жизнь до секунды на пошлейшее щекотание чувств, на их волнение. После гордыни это мой второй грех, ворочающийся на дне души, словно бегемот в болоте. Что мне осталось от миллионов секунд этой благополучной жизни? Женщины, которых я обнимал, давно умерли в моей душе и превратились в призраки. А восхищение красотой и мощью человеческого интеллекта, которое мне дано было испытать? Я был недостаточно поглощен им и слишком инертен, чтобы его окрылить. В душе осталась одна горечь, о Звезда Утренняя…»

— Болящим исцеление… Грешникам прибежище… Скорбящим утешение… Верным помощь…

«Христианин ли я? Не знаю. Знаю только, что все блестящие афоризмы, порожденные моим интеллектом, немногим отличаются от кваканья лягушек и стрекота кузнечиков. Реально для меня лишь мое одиночество. Ибо своей гордыней я отпугнул от себя всех. И когда появится очередная опухоль, я ничего не скажу своим родственникам, не стану искать исцеления, а вернусь в Париж и укроюсь в логове смерти. Никого не будет там рядом со мной, о Прибежище грешников, о Утешительница скорбящих! Но я не жалуюсь. Ибо не люди меня отринули, я сам их отринул…»

Пением «Agnus Dei» литания завершается. Священник и вторящая ему паства несколько раз пропели «Ave Maria». Пламя сотен свечей все ярче сияет в сгущающейся темноте. Статуя Дамы кажется теперь лишь белым пятном в глубине Грота, а молящиеся с раскинутыми в стороны руками — призрачными крестами.

— Все абсолютно логично, — вполголоса вздыхает Лафит. Этому вздоху предшествует длинная цепь смутных мыслей, завершающаяся выводом: «Моя покинутость Богом — абсолютно логичное следствие. Ибо я не любил. Никого и ничего, даже себя самого…»

Между тем Лафит, сам того не заметив, подошел вплотную к Гроту. Он мог бы даже прислониться головой к решетке. Пустыми глазами глядит он вглубь тонущей во мраке пещеры. Но чем дольше глядит, тем явственнее исчезает болезненное ощущение, мучающее его уже несколько часов, когда кажется, будто внутри все оторвалось и опустилось. Ему спокойно и легко дышится, и он с наслаждением ощущает приятную усталость во всем теле, которая отодвигает на задний план его «я».

Равномерен, как весенняя капель, вкрадчивый голос молодого священника! Равномерно и

ответное бормотание паствы! Слова этой нескончаемой колыбельной уже едва различимы:

— Попроси за нас… Теперь и в час нашего упокоения…

Ритмичное бормотание превращается в приятный для слуха рокот. Оно похоже на мягкую спинку кресла, к которой так приятно прислониться спиной. Одновременно возникает ощущение, будто ты окружен, объят, даже втянут в какую-то благостную атмосферу. Звучащая вокруг молитва завораживает Гиацинта де Лафита. Его охватывает какая-то снисходительная ирония по отношению к самому себе. Высокомерен и холоден? Да! Но разве я в самом деле так одинок, более одинок, чем другие? Разве при всей чудовищной сомнительности любого знания мало быть не более самоуверенным, чем эти люди вокруг меня? В чем различие между мной и ими? Чуть более рафинированное владение языком, в который я облекаю свое полное невежество, я легкомысленнее, чем они, я менее честен. Не потому ли я пал так низко, что не верил, будто есть руки, которые могли бы меня поддержать? О материнская сила Вселенной, о Утренняя Звезда!

Неужели у него появляется опора в жизни? Как будто молитва, звучащая за его спиной, дотраги-

вается до него множеством ласковых ладоней. Он, всегда презиравший любое скопление людей как скопище низких инстинктов и низменных интересов, теперь ощущает молящихся позади него как единое, любящее и бестелесное тело, которое стремится ему помочь. Не чувствуя ничего особенного, кроме исчезновения стыда, поэт Лафит тоже опускается на колени и шепчет Гроту знакомые с детства, не раз слышанные от матери слова Приветствия Ангела. В его сознании не появляется ничего нового. Он знает лишь, что эта пустота, эта критичная опустошенность, которой он некогда так гордился, всегда была наполнена некой уверенностью в своей правоте, лишь теперь рассеивающейся и блекнущей, как туман. Не бывает обращения в веру, бывает лишь возврат к ней. Ибо вера — не функция души, а сама эта душа в своей неприкрытой наготе. Лафит пребывает в неведомом ему доселе ладу с самим собой; но вот ночь вступает в свои права, молящиеся расходятся, и из всего живого остается лишь зыбкое пламя свечей. И Лафит вдруг, еще не встав с колен, сам не зная почему, восклицает:

— Бернадетта Субиру, молись за меня!

В этот час Бернадетта еще жива. Несколько дней назад у нее опять начались страшные боли.

В палате зажжены все лампы. Взгляд Бернадетты прикован к распятию, висящему на стене среди танцующих теней. Она не знает, что в эти минуты закоренелый в гордыне грешник и противник ее Дамы стоит перед Дамой на коленях.

Глава сорок девятая
Я люблю

Мари Доминик Перамаль в свои шестьдесят восемь лет все еще высок и могуч. Но глаза его не мечут молнии, как прежде. Они сдержанно взирают на мир, и лицо его — заурядное и плоское лицо священника — уже слегка одутловато. Из всех его врагов самым зловредным оказался его собственный темперамент. Когда семнадцать лет назад вышло Пастырское послание его покровителя Бертрана Севера Лоранса, превратившее Лурд в новый центр католического мира, Перамаль решил, что ему предназначена роль естественного правителя этого нового Лурда. Он спорил с архитекторами, отбрасывал их чертежи, собственноручно делал наброски для базилики, для склепа под алтарем, для будущей нижней церкви — Розария. Его диктаторские замашки озлобили людей. Они толпами бегали жаловаться на него старику-епископу. Справедливый и глубоко порядочный старец был, по словам монсеньора Форкада, не тем человеком, чтобы простить виновника причиняемого ему беспо-

койства. Он решил, что Перамаль под влиянием изменившихся обстоятельств приобрел манию величия. Придется дать ему по рукам. И епископ дал лурдскому декану по рукам, причем весьма сурово. Его монументальные замыслы, гордость его сердца, были частично перечеркнуты, частично изменены в угоду вкусам черни. Наушники и интриганы взяли верх. Победил художественный вкус церковных служек, богомолок и ханжей. Мари Доминик, потомок трех поколений врачей и ученых, человек просвещенный и обладающий художественным воображением, возмечтал воздвигнуть ансамбль храмов, долженствовавших превзойти своим величием все священные постройки своего века. И вот его высокие мечты рухнули, не успев воплотиться. Кондитеры от церковной архитектуры и искусства победили по всему фронту.

Честолюбивый декан хотел превратить Лурд во второй Рим. Если учесть потоки паломников, устремляющихся туда из года в год, Лурд и стал вторым Римом. Но в этом Риме властный декан был кем угодно, только не Святым Отцом. Миллионам паломников и страждущих, прибывающих в город каждый год, нужна была опека целой армии клириков. Но их могли предоставить городу

только монашеские ордены. Они взяли в свои руки опеку над больницами и святыми местами. И Перамалю пришлось примириться с тем, что его оттеснили на прежнюю роль местного кюре, не оказывающего никакого влияния на жизнь нового Лурда, играющего теперь главную роль. Некогда, до Грота, он был неограниченным властителем в своем приходе. И если люди, встречаясь с ним, кланялись ему в пояс, они лишь платили полагающуюся ему дань уважения. Теперь же он чувствовал себя свергнутым владыкой. И, встречаясь с ним, люди просто здоровались. Но самым обидным было то, что этим поражением — по его собственному, не совсем справедливому мнению — он был обязан одному ловкому подхалиму, змее, пригретой им на своей груди. Отец Санпе, монастырский священник, долгие годы служил под его началом третьим капелланом, и он, Перамаль, всегда предпочитал этого Санпе двум другим своим подчиненным — острому на язык аббату Помьяну и тишайшему аббату Пену. Видит Бог, Санпе казался ему еще тише, чем Пен! Но покуда этот тихоня расшаркивался и сгибался перед ним в три погибели, он с необычайной ловкостью и энергией мало-помалу захватил в свои руки всю власть. И теперь он

куратор Грота и главный человек в Лурде. Но в неменьшей степени и навязчивая идея престарелого декана, и червь, точащий его мозг.

Выходя из здания вокзала в Невере с потертым баулом в руке, Мари Доминик Перамаль вспоминает некогда шепотом сказанные ему слова Санпе, насмехавшегося над Бернадеттой чаще и дольше, чем Помьян, Пен и все остальные: «А знаете ли, месье декан, что делает эта знаменитая святая, когда приходит в себя после экстаза? Тут же начинает ловить на себе вшей!» Перамаль склонен считать бесславный конец своей карьеры справедливой карой, поскольку вел себя как Фома неверующий даже в последнем долгом разговоре с Бернадеттой перед Рождеством шестьдесят третьего года. «И тем не менее — о Провидение Господне, пути твои поистине неисповедимы! — думает он, — тем не менее этот подлый Санпе, не веривший Бернадетте еще больше, чем я, именно благодаря ей взлетел наверх!»

Дородный старик, шагающий с баулом в руке по улицам Невера, очень взволнован. Близящееся свидание с той, кого он хотел вымести поганой метлой из храма, тревожит его душу. Бернадетта Субиру была самым большим подарком судьбы в

его жизни. А он оказался слепым, глупым ослом, незаслуженно удостоившимся чести стоять у колыбели великого чуда современности. Ведь это ему было адресовано требование Дамы построить часовню и приводить к Гроту процессии верующих. А в благодарность он просто посмеялся над ней, выставив свои глупые требования денег на строительство часовни и дикой розы, цветущей в феврале. Так что Дама имела все основания перечеркнуть его планы и поручить процессии другим людям. Но тогда — почему именно Санпе? Почему она его терпит? Видимо, парень этот настолько ловок, что ни разу не показал свое истинное лицо. Перамаль давно уже подумывал, что надо бы съездить к Бернадетте. Но всякий раз его останавливала мысль, что она вовсе не желает его видеть; много лет назад возникла идея послать ей образок. О болезни Бернадетты известно было уже очень давно. Но точных сведений не удавалось получить даже в Невере. И только странные слова: «Дорогой кюре, я помню о Вас. Ваша Бернадетта» — так потрясли священника, что он тут же решился на эту поездку. Уже и железнодорожный билет был куплен, когда начались неприятные события, вынудившие его на некоторое время отложить отъезд. Но пока

он занимался этими делами, он днем и ночью постоянно ощущал глубокое недовольство собой, какую-то внутреннюю тревогу, часто перераставшую в чувство вины. Он не мог отделаться от мысли, что Бернадетта позвала его, своего бывшего покровителя, на помощь. А когда он наконец покончил с делами, началась Страстная неделя. Священник, бросающий свою паству накануне великого церковного праздника, нарушает все общепринятые правила. Но Перамаль именно так и поступил.

— А что, если бы меня уже не было? — сказал он своему заместителю перед отъездом. — Я старый больной человек и живу лишь по недосмотру нашего милосердного Творца, который глядит на это сквозь пальцы.

Мать Жозефина Энбер встречает лурдского кюре с почетом и уважением. Фиолетовый воротничок его рясы доказывает, что отверженный священник еще обладает всевозможными званиями и имеет право на обращение «монсеньор». Настоятельница тут же предлагает ему воспользоваться гостеприимством вверенной ей обители. Что касается нашей сестры Марии Бернарды, то просто уму непостижимо, как она еще жива, ведь болезнь, по мнению врачей, давно

разрушила ее бедное тело. И лишь невероятно сильная и твердая воля бедняжки поддерживает в ней едва тлеющий огонек земной жизни. Вероятно, высшие силы решили продлить жизнь своей избранницы до конца Страстной недели. Однако доктор Сен-Сир еще три дня назад выразил уверенность, что смерть лурдской ясновидицы — вопрос лишь нескольких часов. Но со вчерашнего дня Мария Бернарда не испытывает болей. Монсеньор Лелонж, епископ Неверский, распорядился, чтобы посетителей к умирающей допускали только с его согласия. И она, мать Энбер, опасается, что и для него, высокочтимого господина декана из Лурда, нельзя будет сделать исключение из этого правила. Но запрос в канцелярию епископа она пошлет немедля. А пока — не угодно ли господину канонику расположиться поудобнее и слегка перекусить с дороги.

Перамаль едва удерживается, чтобы не вспылить, услышав о необходимости получить разрешение епископа. Однако берет себя в руки и говорит своим все еще густым басом:

— Бернадетта Субиру — дитя моего прихода. Провидение на долгие годы препоручило ее моему слабому покровительству…

— Кому же это не известно, монсеньор! —

улыбается настоятельница, слегка наклонив голову. — Хотя по указанию свыше в нашей обители было не принято излишне обсуждать те великие события, мы все же достаточно осведомлены о них во всех подробностях.

После обеда Мария Возу и сестра Натали заходят за деканом, чтобы проводить его к больной. Сердце старика колотится учащенно.

— Узна́ет ли она меня? — спрашивает он.

— О, она ясно мыслит и спокойна, как никогда! — отвечает Натали, не скрывая слез.

Просторная палата с двумя высокими окнами и тремя кроватями под общим прозрачным пологом, подвешенным в центре комнаты к потолку. Две кровати пусты. Бернадетта лежит на третьей, в правом углу. У противоположной стены стоит узкий комодик со статуей Мадонны — но не копией той, что некогда изготовил Фабиш. Выше, на стене, распятие. Вот и все, если не считать кресла и нескольких низеньких стульев. Мари Доминик Перамаль, тяжело ступая — звук собственных шагов неприятно отдается в его ушах, — подходит к кровати в правом углу. И видит перед собой не монахиню тридцати пяти лет, а совсем юную девушку с узким прозрачно-бледным лицом. Крылья носа необычайно благородной формы

слегка вздрагивают. Детские губы почти бескровны. Довольно высокий лоб наполовину скрыт компрессом. Огромные темные глаза глядят на мир внимательно и в то же время отрешенно. Это глаза Бернадетты Субиру! Декан, старик под семьдесят, заливается краской смущения. Откашлявшись и помолчав, он наконец выдавливает:

— Вот я и приехал…

Кто-то пододвигает ему низенький стульчик, и дородный старик осторожно садится, опасаясь, что под его тяжестью стульчик развалится. На одеяле покоятся две крохотные руки цвета старой слоновой кости, которые пытаются протянуться навстречу гостю. Попытка не удается. С величайшей осторожностью декан берет своей огромной ручищей одну из этих бессильных миниатюрных рук и из почтения едва прикасается к ней губами. Проходит целых две минуты, прежде чем Бернадетте удается тихо, но удивительно четко и внятно произнести:

— Месье кюре, я вам не солгала…

Перамаль с трудом удерживает слезы.

— Бог видит, сестра, вы мне не солгали! — шепчет он. — Но я был недостоин вас.

Отсвет пережитого страха пробегает по лицу девушки.

— А меня все расспрашивают и расспрашивают… — И после томительной паузы дрожащим голосом выдыхает: — Я ее видела… Да, я ее видела…

Декан не знает, как и почему на язык ему вдруг наворачивается прежнее «ты», словно не прошло двух десятков лет и перед ним лежит не монахиня Мария Бернарда с печатью духовного совершенства на лице, а маленькая девочка Бернадетта Субиру, существо чистое, как родник, в котором люди, однако, ничего разглядеть не могут. Перамаль придвигает лицо ближе к умирающей.

— Да, ты ее видела, о дитя мое! — кивает он. — И скоро вновь увидишь…

Огромные глаза Бернадетты затягиваются дымкой. Она думает. А думы будят воспоминания. «Вон там у камина в своем кабинете сидит кюре. Я тоже там, и на мне капюле, потому что на дворе очень холодно. И я хочу пойти в услужение к мадам Милле. А он спрашивает, не найдет ли Дама лучшего занятия для меня…»

И тут у Бернадетты со вздохом вырывается:

— О нет, месье кюре, я вовсе не уверена, что Дама возьмет меня к себе в услужение…

Наконец-то декану удается перейти на тот легкий непринужденный тон, к какому он с самого

начала стремился.

— Если в чем-то вообще можно быть уверенным, дитя мое, — говорит он, — то только в этом. Это — самое меньшее, что сделает для тебя Дама…

В глазах девушки появляется лукавая, даже насмешливая искорка. Теперь все так добры и ласковы с ней. Искренне ли или только делают вид из жалости?

— Нет, я совсем не уверена, совсем не уверена, о нет! — говорит тоненький голосок, правдивый, как всегда. — Ведь я ничего не сделала, только болела… И наверное, недостаточно страдала…

На этот раз Перамалю не удается подавить рыдания:

— Ты страдала более чем достаточно, верь мне, дитя мое…

Тут на застывшем лице девушки мелькает подобие улыбки. И тоненький голосок говорит уже не по-французски, а на грубом наречии ее детства и родных мест.

— Да что вы, господин декан! — возражает дочка Франсуа Субиру с улицы Пти-Фоссе. — Знаю я больных. Мы все немного преувеличиваем. И страдания наши вовсе не так уж велики… — И, судорожно ловя ртом воздух, продолжает, запина-

ясь на каждом слове: — Думаю… у меня в жизни… было… меньше страданий… чем радостей… В те дни… в те дни…

Силы отказывают ей. Прозрачно-бледное лицо искажается мукой. Глаза вылезают из орбит. Доктор Сен-Сир, стоящий в глубине комнаты, делает Перамалю знак отойти. Тот с трудом поднимается со стульчика. Его деревенские башмаки невыносимо скрипят.

Все это происходит в среду шестнадцатого апреля. День стоит ясный и теплый. Завтра — Чистый четверг, а значит, и торжественная литургия в церкви. В это время у милосердных сестер обители Святой Жильдарды всегда много дел. Около полудня Натали возвращается из города. В воротах она вдруг останавливается: будто что-то давит на нее, мешая идти. «Мария Бернарда!» — мелькает в ее мозгу. Она стремглав бросается в больницу, встроенную в комплекс монастырских зданий. Сестры, приставленные к больной, усадили Бернадетту в кресло: лежа она дышать не может. И, как-то боком привалившись к спинке кресла, она глядит на Натали расширенными от ужаса глазами и криком кричит:

— Сестра!.. Я боюсь… Я боюсь, сестра…

Натали бросается перед ней на колени, ловит

ее руки:

— Почему вы боитесь, чего вы боитесь, друг мой?

Грудь больной с трудом поднимается и опускается. Она может выдавить лишь отдельные слова:

— Мне… была… оказана… такая… милость… Я должна… оправдать… а не могу…

— Думайте о нашем любимом Спасителе, сестра! — уговаривает больную Натали, изо всех сил борясь с подступающими к горлу рыданиями. Но Бернадетта думает только об одном: о той милости, которая выпала ей на долю и которой она недостойна.

— Я боюсь… боюсь… — стонет она. И опять: — Я боюсь… я так боюсь…

Натали тщетно ищет успокоительные капли. Потом просто кладет ладони на лоб Бернадетты, не зная больше, чем ей помочь.

— У вас опять сильные боли, — шепчет она, стиснув зубы.

— Недостаточно сильные… недостаточно… — хрипит Бернадетта.

Натали наклоняется к ее лицу:

— Мы все будем помогать вам, любимая Мария Бернарда… Мы будем горячо и помногу молиться

за вас, все время, и теперь, и потом…

— О, пожалуйста, сестра, обязательно сделайте это! — по-детски просит Бернадетта.

Натали посылает к настоятельнице сказать, что дела очень плохи. Нужно срочно позвать доктора Сен-Сира и аббата Февра. Бернадетта еще несколько минут корчится от боли. Потом вдруг глубоко вздыхает и спрашивает спокойно, как люди спрашивают, который час:

— Какой у нас нынче день недели?

— Среда Страстной недели, сестра, — отвечает Натали.

— Значит, завтра четверг, — удивляется Бернадетта.

— Да, завтра большой праздник — Чистый четверг!

— Большой праздник — Чистый четверг! — эхом отзывается Бернадетта, и радость достигнутой цели лучится в ее глазах. Натали ничего не понимает. Ей в голову не приходит, что одиннадцатого февраля, когда дочки Субиру пошли за хворостом и Бернадетта сидела на берегу ручья, сняв один чулок и держа его в руке, а другой рукой терла глаза, силясь понять, спит она или нет, тоже был четверг. И еще был четверг, когда Дама сказала: идите к источнику, напейтесь и омойте

лицо и руки. И в четверг же Дама назвала себя. Четверг — это ее день. Четверг — это день великих подарков судьбы. И завтра снова четверг…

— Я больше ничего не боюсь, сестра, я буду спокойно лежать, — говорит Бернадетта, словно раскаявшийся шалун, обещающий няньке хорошо себя вести.

И тут же заваливается на бок. Ее переносят на кровать. И считают, что она умерла. Но дыхание возвращается к ней тяжелыми, короткими толчками. Палата заполняется людьми. Доктор и капеллан делают свое дело. Мать Энбер, мать Возу и другие монахини стоят на коленях. Мария Тереза бледна как смерть. Возле двери неподвижно стоит Перамаль: он слишком высок и слишком громоздок для этой комнаты и этой тихой смерти. Пальцы его судорожно сцеплены перед грудью.

Бернадетта вновь открывает глаза. Она все понимает. С неожиданной силой, какой за ней не наблюдалось уже много дней, она вдруг размашисто крестит свое лицо — так, как учила ее Дама. Присутствующие начинают читать отходную молитву. Аббат Февр затягивает Песнь песней Соломона — те слова, которыми душа девушки приветствует Небесного Жениха:

— «Я сплю, а сердце мое бодрствует; вот голос

моего возлюбленного, который стучится: „Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя! потому что голова моя вся покрыта росою, кудри мои — ночною влагою…“»

Глаза Бернадетты, странно сияя, смотрят куда-то в пустоту. Окружающие думают, что она взглядом ищет распятие. Его снимают со стены и кладут ей на грудь. Она горячо прижимает его к себе. Но глаза ее по-прежнему устремлены вдаль. Внезапно судорога пробегает по ее телу. Кажется, будто какая-то сила поднимает ее с ложа. И из ее груди вырывается звучный вибрирующий женский голос, отзывающийся долгим эхом:

— Я люблю… Люблю!

Это вибрирующее «Я люблю!» плывет по комнате, словно звук колокола. Оно звучит так властно, что молитва прекращается и все в комнате умолкают. Лишь Мария Тереза, раскинув в стороны руки наподобие креста, подползает на коленях к одру смерти, чтобы быть поближе к благословенной избраннице. Мало кто из людей видел наставницу плачущей. Но теперь она поверила: Дама здесь, в комнате. Всеблагая, Всемилостивая сама явилась, чтобы встретить и перенести на Небо свое дитя. Мария Тереза верит, что в полном одиночестве умирания святая девушка именно

Ей, вновь возвратившейся, крикнула: «Я люблю! Я люблю Тебя!» И теперь она, монахиня Возу, вечно сомневавшаяся, тоже удостоилась чести присутствовать при явлении Дамы. «Взгляни на меня, отвергнутую, ожесточенную, завистливую и безжалостную!» Рыдания рвутся из груди Марии Терезы. Прерывающимся голосом она начинает «Ave». Но Бернадетта бросает на свою бывшую учительницу строгий взгляд, взывающий к сочувствию. Она знает: от нее ждут, чтобы она повторила слова молитвы. Но последние силы она потратила на великий зов любви, и губы ее шевелятся беззвучно. Потом ей все же удается повторить несколько слов:

— Теперь и в час…

И больше ничего.

Обычно смерть в одно мгновение гасит жизнь на лице человека. Но лицо Бернадетты Субиру она так же мгновенно заставляет светиться. С последним вздохом к нему вернулось то выражение полной отрешенности, какое бывало, когда Бернадетта сквозь все лица и предметы мира тянулась взглядом к Даме. При виде этого лица все чувствуют то же, что некогда почувствовал Антуан Николо и выразил словами: «До такого создания и дотронуться-то нельзя».

«Я люблю!» В ушах Перамаля еще звучат слова последнего признания Бернадетты. Он по-прежнему неподвижно стоит на коленях возле двери. Кто-то распахнул окна. Бесплотными тенями кажутся коленопреклоненные фигуры монахинь, молящихся вокруг смертного одра их сестры. Другие, столь же бесплотные, двигаются по комнате: обряжают усопшую в рясу и чепец, приносят толстые свечи, ставят их в подсвечники и зажигают. Но стоящий на коленях и погруженный в молитву декан мало что замечает вокруг себя. Лишь временами он обращает взгляд к окну, где серебром разбрызгивается свет весеннего солнца. Ему видны цветущие плодовые деревья в саду и плывущие по небу облака. Вся жизнь вдруг представляется Перамалю неописуемо легкой, все, даже его собственное массивное тело. Ревматические колени как бы не чувствуют давящей на них тяжести. Лишь мало-помалу до него доходит, какую высшую отраду принесла ему эта смерть. Все преобразилось! Разве теперь его станет жечь изнутри обида и горечь? Солнечный свет отливает серебром, а пламя свечей — золотом. И оба ласкают лик Бернадетты, застывший в своей отрешенности. Перамаль не может оторвать взгляд от этого лика и неожиданно слышит свой

собственный шепот:

— Твоя жизнь только начинается, о Бернадетта!

Эти слова значат не только: ты теперь на Небе, о Бернадетта. Они значат: ты теперь на Небе и на земле, о Бернадетта. Твои глаза видели больше, чем наши. В твоем сердце было больше любви, чем могли вместить наши огрубевшие сердца. Поэтому ты не только действуешь и существуешь ежедневно и ежечасно в источнике Массабьеля, но и в каждом цветущем дереве за окном. Твоя жизнь только начинается, о Бернадетта!

С удивительной легкостью грузный Перамаль поднимается с колен. Он бросает последний взгляд на Бернадетту и, осенив ее крестным знамением, прощается с ней и уходит.

Глава пятидесятая
Пятьдесят «Ave Maria»

В этот день величайшего чествования здесь собралась целая толпа детей, внуков, племянников и племянниц — потомков сестры и братьев Бернадетты Субиру. Но истинным центром всеобщего внимания являются не они, родственники по крови, а первенец чуда, «ребенок Бугугорт». «Ребенку» этому, а точнее, Жюстену Адолару Дюконту Бугугорту исполнилось семьдесят семь лет. Это щуплый старичок с веселыми глазками и лукавым изгибом губ под все еще темными усами. Бугугорту, все еще, несмотря на годы, занимающемуся цветоводством в городе По, вручили билет второго класса до Рима и адрес, где он будет квартировать и столоваться. Ибо первенцу чудесного исцеления в Лурде надлежит принять участие в торжестве по случаю канонизации Бернадетты Субиру папой Пием XI. Христианский мир не знает церемонии более торжественной, чем канонизация, проводимая святым наместником Бога на земле. О Бугугорте люди говорят, что новоявленная святая семьдесят пять лет назад

частенько носила его на руках, когда соседские семьи ходили друг к другу в гости. Правда, старый цветовод из По помнит об этом весьма смутно. Но с годами фантазия, подстегнутая частыми расспросами и рассказами, существенно обогатила его воспоминания. Старик любит обстоятельно и подробно описывать внешность, голос, характер и поведение той, кому он обязан своим чудесным спасением и скромным даром долголетия.

— В младенчестве у меня случались судороги и отнимались руки и ноги, о чем вы наверняка читали, — обычно начинает он. — Так что Бернадетта и ее матушка часто носили меня на руках и усердно трясли, чтобы приступ прошел. И я много раз видел ее, пока она не распрощалась со всеми и не уехала в Невер, чтобы постричься в монахини. В то время мне было восемь или девять лет. Субиру были лучшими друзьями нашей семьи, я знаю это от собственных родителей. Так что теперь, по прошествии семидесяти лет, кроме меня, не осталось в живых никого из тех, кто был близко знаком с нашей милой заступницей в те годы, когда сама она была еще подростком, и я так ясно вижу перед собой дорогое ее лицо, словно мы расстались несколько часов назад. Тут не могут со мной сравниться уважаемые потомки

семейства Субиру. Они не общались с ней лично. И знают обо всем лишь по книгам, картинкам и понаслышке.

На празднество канонизации Бернадетты в Рим прибыли пятьдесят тысяч гостей из сорока стран. Наиболее многочисленная группа прибыла из Франции: пятнадцать тысяч клириков и мирян, ядро которых составляют посланцы провинции Бигорр. Неудивительно, что единственного свидетеля, своими глазами видевшего Бернадетту еще до известных февральских событий, и первого, на ком благословенный источник столь молниеносно и неопровержимо доказал свою чудодейственную силу, окружили здесь особым вниманием. Люди толпятся вокруг старого садовода из По, а тот смущенно пожимает сотни протянутых к нему рук. Его представляют разным светским и духовным знаменитостям. Месье Шарль Ру, посол Франции, заводит с ним разговор и следит, чтобы он получил хорошее место на трибуне для почетных гостей. И вот «ребенок Бугугорт» сидит в окружении высокопоставленных особ в соборе Святого Петра в Риме и, растерянно жмурясь, рассматривает огромный неф.

Тридцать третий год этого века — святой год. Восьмое декабря. День Непорочного Зачатия.

Девять часов утра. Рядом с Бугугортом сидит его земляк, общительный господин, давно живущий в Риме и потому хорошо осведомленный. Он пространно комментирует происходящее в соборе:

— Только при канонизациях все огромные окна собора Святого Петра и даже маленькие окошки в куполе завешивают красной камкой, чтобы дневной свет не проникал внутрь храма. Такого зрелища больше никогда не увидишь. Я сам, можно сказать, наполовину римлянин, лишь один-единственный раз присутствовал при канонизации. Подумать только: не считая прожекторов, в соборе горят шестьсот паникадил с двенадцатью тысячами лампочек, каждая из которых светит как сто свечей! А значит, храм сейчас освещают миллион двести тысяч свечей…

Сделав этот окончательный подсчет, сведущий господин торжествующе глядит на Бугугорта, тот согласно кивает. Однако говорливый земляк еще отнюдь не закончил свои подсчеты:

— Вы только поглядите на это море голов! Собор Святого Петра вмещает восемьдесят тысяч человек! Убежден, что сегодня сюда втиснулось тысяч на десять больше. При этом в середине оставлен широкий проход для торжественного

внесения портшеза его святейшества. Свиту его составляют все кардиналы курии. Стоит назвать лишь такие известные имена, как Гаспарри, Гранито ди Бельмонте, Пачелли, Маркетти. Имена архиепископов и епископов даже не называют. Ибо их сто восемнадцать. Ну, что вы скажете об этом великолепном зрелище, месье?

— Великолепное зрелище! — вторит ему Бугугорт.

— А каково у вас-то на душе, почтеннейший! Вы еще ребенком были близко знакомы с семейством Субиру. Своими глазами видели их бедность, их нищету. О, вы наверняка все это помните, ибо детские впечатления не так легко забываются…

— Да, жили они хуже некуда! — искренне вздыхает старик.

— А теперь — эта роскошь, этот блеск! — воодушевляется разговорчивый господин. — Такого блеска не увидишь нигде на земле. И это через пятьдесят четыре года после смерти! Что значат рядом с Бернадеттой Субиру монарх, президент или диктатор? Всех их смывает волнами времени в глубокую пропасть. И что остается? Лишь имя в пожелтевших фолиантах истории! Взять хотя бы нашего Наполеона Третьего! Нет на земле ничего более тленного и даже смехотворного, чем

властитель, лишенный власти и уже не могущий никому причинить зла. Смерть властителя — его окончательное поражение. Правда, судьба великих умов человечества уже немного лучше. Но, говоря по-простому, нет карьеры возвышеннее, чем тернистый путь, ведущий в Рай. Вы со мной согласны, месье Бугугорт?

Старичок и кивает, и качает головой, как бы не решаясь категорически судить об этой проблеме.

Грянули серебряные трубы. Папский портшез проплыл по проходу в сопровождении швейцарской гвардии, папских камергеров и носильщиков в пурпурных одеждах, адвокатов консистории в черном бархате, прелатов папской канцелярии и духовников, опирающихся на длинные, увитые гирляндами посохи. Разговорчивый земляк все объяснил и все показал престарелому садоводу из По. И теперь тот старательно щурится, пытаясь разобраться в этом море впечатлений и впитать их в себя.

Папский престол возвышается в глубине апсиды под «Славой» работы Бернини. По бокам от папы восседают шестнадцать кардиналов, а на ступенях у его ног рассаживаются папские прелаты. Бугугорту сосед не только называет имена их всех, но и растолковывает смысл тор-

жественной церемонии, которая только теперь начинает медленно разворачиваться. Фигура в черном приближается к престолу его святейшества, опускается на колени и произносит несколько латинских слов. Это адвокат консистории, который на завершающей стадии вел процесс канонизации Бернадетты Субиру в качестве ее представителя. Процесс этот тянется уже несколько десятилетий, тщательно исследуя все за и против и подвергаясь безжалостному воздействию времени, которое, словно азотная кислота, отделяет подлинное от мнимого. Среди адвокатов консистории, собравшихся здесь, находится и тот, кто на заседаниях папского трибунала в какой-то мере представлял «противную сторону», то есть скептиков, за что и носит титул «адвокат дьявола». Бернадетта создала «адвокату дьявола» не меньше трудностей, чем некогда прокурору Виталю Дютуру. Еще не будучи захороненной, она спокойно и упорно, как всегда при жизни, опровергала все возможные возражения. С ее телом с самого начала происходили странные вещи. Когда его через четыре дня после смерти понесли для захоронения в склеп церкви Святого Иосифа, то на теле, несмотря на долгую изнурительную болезнь, не было ни малейшего следа тления. Не

было также и запаха. У основания ногтей изумленные очевидцы отметили нежно-розовый цвет, как у ногтей ребенка. Спустя тридцать девять лет папский трибунал, рассматривающий дела по канонизации святых, назначил специальную комиссию, которая вскрыла склеп, эксгумировала труп и осмотрела его в присутствии нескольких врачей, включая городского врача из Невера. Девически легкое тело Бернадетты не истлело, даже почти не изменилось. Кожа на лице и руках была белая, ткани мягкие. А рот был слегка приоткрыт, словно она дышала, и были видны два ряда блестящих зубов. Глазные яблоки, прикрытые веками, немного запали. И на лице ясновидицы все еще лежала печать мечтательной отрешенности. Все остальное тело было застывшим и не тронутым тлением, так что неверские монахини, присутствовавшие при осмотре, без труда подняли его и, словно только что усопшую, в полной сохранности положили в новый гроб. Протокол, зафиксировавший осмотр трупа, произвел большую сенсацию. В прессе раздавались голоса, утверждавшие, что эта история с нетленным телом — грубый обман. Мол, труп в свое время, то есть через несколько часов после смерти, искусно набальзамировали и теперь хотят обычную му-

мию выдать за святые нетленные мощи небесной избранницы. «Адвокат дьявола» тоже прибег к этому аргументу. По его требованию через семнадцать лет после первой комиссии была создана вторая, склеп вновь вскрыт, и неизменившееся тело вновь подвергнуто осмотру. Ни единого признака, подтверждающего то подозрение, не было обнаружено. Это произошло в 1925 году. «Противная сторона» сняла свои возражения. Бернадетту объявили блаженной праведницей.

Прошло еще целых восемь лет, и теперь в глубине апсиды, под «Славой» Бернини, адвокат Бернадетты, успешно доведший процесс до конца по всем инстанциям, смиренно просит Великого Понтифика, чтобы тот причислил Бернадетту к лику святых. Папа отвечает не сам, а через своего доверенного, монсеньора Баччи, сидящего на скамеечке у его ног, полуобернувшись к Пию. Баччи объявляет, что его святейшество всем сердцем одобряет канонизацию Бернадетты. Но, прежде чем произойдет это торжественное событие, необходимо еще раз обратиться за советом к Божественному Свету. Преклонив колена, все собравшиеся поют литанию святых. Потом папа дает знак перейти к пению «Veni Creator Spiritus», и голоса священников и мальчиков из Сикстин-

ской капеллы плывут под сводами огромного нефа. После гимна адвокат Бернадетты еще раз повторяет свою просьбу. Монсеньор Баччи поднимается со скамеечки, преклоняет колена перед его святейшеством и вытягивает перед собой руки со словами:

— Встань, святой Петр, живой в своем преемнике, и говори! — И, обернувшись к толпе, заполнившей собор, громко возвещает: — Благоговейно слушайте непогрешимое пророчество святого Петра!

Перед Папой поставили микрофон. Усиленный динамиками по всему периметру собора, звучный голос Пия XI проникает во все уголки собора Святого Петра.

— Мы решаем и объявляем, что покойная Бернадетта Субиру — святая праведница. Мы причисляем ее к лику святых. Мы постановляем, что память этой святой будет ежегодно отмечаться церковным праздником Святой Девы шестнадцатого апреля, в день ее вознесения на Небо!

Это — официальная формула. Едва она произнесена, тысячеголосый хор возносит под своды собора молитву «Te Deum», поддержанную серебряными звуками труб и басовыми раскатами огромных колоколов. В эту сумятицу звуков вплe-

тается колокольный звон трехсот церквей Рима и бесчисленного множества других колоколов по всей земле, возвещая вечную славу маленькой девочки Бернадетты Субиру с улочки Пти-Фоссе. Одиннадцать часов утра. Папа приступает к главной мессе. Он служит ее на латыни и греческом, дабы подчеркнуть всеохватную универсальность Церкви и этого дня. После Евангелия он читает проповедь. И вновь его звучный бархатный баритон льется из всех динамиков зала. Святых, говорит он, можно сравнить с телескопами астрономов. Благодаря им мы видим звезды, которые простым глазом увидеть нельзя. А благодаря святым мы учимся яснее видеть вечные истины, которые повседневная жизнь скрывает от наших слабых глаз. Папа превозносит душевную чистоту Бернадетты, ее наивность и беззаветное мужество, с каким она защищала истинность своих видений от целого сонма скептиков, насмешников и ненавистников. Не только в благословенных чудесах Лурда, но во всей жизни новоявленной святой заключено неисчерпаемо богатое смыслом послание к людям. Пий говорит и о зловещих голосах, которые слышала Бернадетта во время своих видений. Голоса эти с той поры неисчислимо умножились. Мир полнится

ими, и значительная часть человечества подпала под власть зла. Лихорадка бредовых лжеучений грозит ввергнуть человечество в кровавое безумие. И в этой тяжкой борьбе за окончательную победу Добра над Злом не только Лурд стоит как скала, но и сама жизнь Бернадетты Субиру продолжает освещать людям путь в грядущее.

От всего этого круговорота слов, музыки, огней и красок голова старичка Бугугорта начинает предательски клониться набок. Услужливый сосед уже перевел ему проповедь папы. А праздник все никак не кончается. Кардинал Верде впервые запевает молитву святой Бернадетте. Вероятно, уже двенадцать часов. Но лишь после часу дня стиснутый густой толпой Бугугорт наконец-то выбирается на воздух.

Площадь перед собором запружена народом так, что Бугугорт потерял в толпе своего гида. И, безвольно отдавшись общему потоку, очутился в одной из боковых улочек. Солнце, несмотря на декабрь, ярко светит с безоблачного неба. Старик не только обессилел, но еще и страдает от голода и жажды. И вдруг он оказывается в маленькой траттории, выставившей по случаю хорошей погоды столы прямо на тротуар. Он съедает большую тарелку макарон, запивая их лиловатым

вином из Кампаньи. После еды настроение у него поднимается. Он сидит и с удовольствием наблюдает текущие мимо людские толпы.

«Гляди-ка, — говорит сам себе Бугугорт, — а ведь этот господин, что сидел рядом, был прав! Карьера Бернадетты и впрямь лучше всех прочих! И ведь она носила меня на руках. Я был рядом с ней в те дни. И ясно помню, какая нищета была у них в кашо. Зато теперь Бернадетта — важная шишка на Небе, и папа с кардиналами обращаются к ней с просьбами. А раз я в кашо был с ней рядом, может, я и на Небе окажусь подле нее, если только под конец не согрешу ненароком…»

Старик, жмурясь, глядит вверх на просторное ясное небо Рима. Он убежден, что именно там, в небе над Римом, плотными рядами восседают в вечном блаженстве все признанные церковью святые. В конце концов, там им самое место. Может, Бернадетта как раз в эту минуту глядит сверху и видит, как он сидит на ласковом солнышке, один-одинешенек среди веселой толпы, здоровый и крепкий в свои семьдесят семь лет. И тут на Бугугорта находит желание немедленно пообщаться с Бернадеттой. И он делает то, к чему привык с детства: пальцы его нащупывают в кармане четки. Правда, молиться полагается не

на улице, а в храме. Но разве весь этот Рим — не один сплошной храм? И садовник из По мысленно обращается не к скорбному, не к радостному, а к славному кругу розария, который должен настроить души людей на победу, на славу, на вознесение на Небо. Губы его шепчут одно «Ave» за другим, а сам он храбро борется с усталостью. Его все еще улыбающиеся глазки наблюдают за жизнью на улице. Мимо несутся потоки машин. Продавец мороженого звоночком созывает уличных мальчишек и служанок. Из боковых переулков доносятся заунывные голоса торговцев, предлагающих купить апельсины, фенхель и лук. Под небом Рима, где собрались все святые, чтобы поздравить новую святую, с грохотом проносится военный самолет.

После сороковой молитвы веки улыбчивых глазок тяжелеют, а на пятидесятом «Ave» «ребенок Бугугорт» засыпает. Но душа его ликует и во сне.

1941